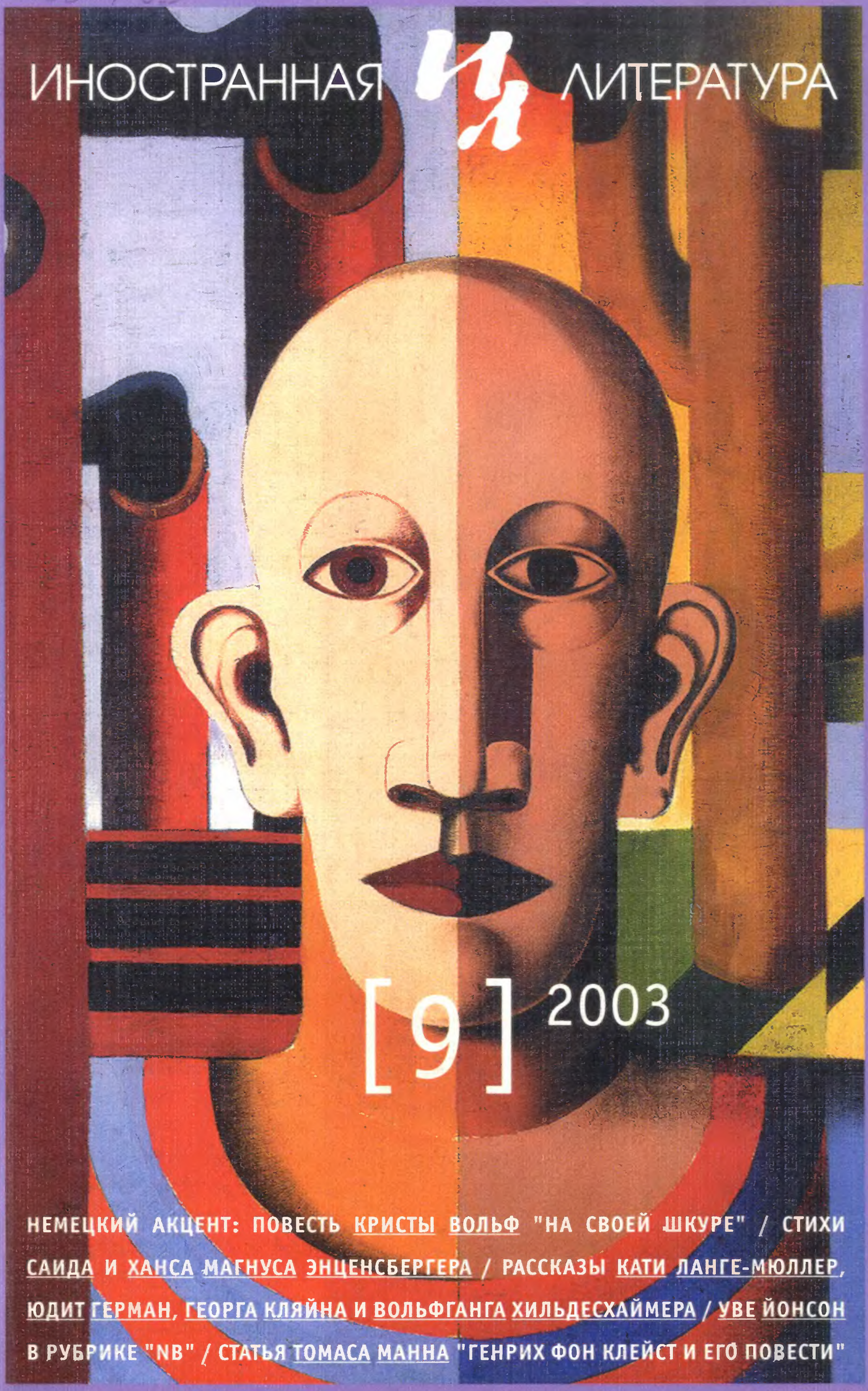
85-7 8.2

ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[9] 2003

НЕМЕЦКИЙ АКЦЕНТ: ПОВЕСТЬ КРИСТЫ ВОЛЬФ "НА СВОЕЙ ШКУРЕ" / СТИХИ САИДА И ХАНСА МАГНУСА ЭНЦЕНСБЕРГЕРА / РАССКАЗЫ КАТИ ЛАНГЕ-МЮЛЛЕР, ЮДИТ ГЕРМАН, ГЕОРГА КЛЯЙНА И ВОЛЬФГАНГА ХИЛЬДЕСХАЙМЕРА / УВЕ ЙОНСОН В РУБРИКЕ "NB" / СТАТЬЯ ТОМАСА МАННА "ГЕНРИХ ФОН КЛЕЙСТ И ЕГО ПОВЕСТИ"

Основан в 1891 году

[9]

2003

Ежемесячный литературно-художественный журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Номер издан при поддержке посольства Федеративной Республики Германии

НЕМЕЦКИЙ АКЦЕНТ

3 Гюнтер Грасс. *Метафорам можно доверять.* Торжественная речь, произнесенная в Лейпциге по случаю вручения Кристе Вольф Немецкой литературной премии. Перевод Н. Федоровой

5 Криста Вольф. *На своей шкуре.* Повесть. Перевод Н. Федоровой

71 Саид. *Стихи.* Из сборника "Будь ночью мне. Стихи о любви". Перевод Е. Колесова. Вступление Андрея Битова

81 Катя Ланге-Мюллер. *Рассказы.* Перевод и вступление Г. Косарик

95 Юдит Герман. *Кругом одни привидения.* Рассказ. Перевод С. Шлапоберской

113 Георг Кляйн. *Про немцев.* Рассказ. Перевод М. Рудницкого

121 Ханс Магнус Энценсбергер. *Стихи.* Перевод С. Морейно

124 Вольфганг Хильдесхаймер. *Конец света.* Рассказ. Перевод Галины Окуловой

Из классики XX века

129 Ханс Хенни Янн. *Деревянный корабль.* Фрагменты книги. Перевод Т. Баскаковой. Вступление Н. С. Павловой

144 Готфрид Бенн. *Стихи.* Перевод С. Морейно

№

147 Уве Йонсон. *Я о себе самом. Рассказы. Из переписки Уве Йонсона и Макса Фриша.* Перевод С. Фридлянд. Вступление Павла Топера

Публицистика

206 Фридрих Хитцер. *Короткие замыкания и переменные токи.* Эссе о терроризме и антитерроризме. Перевод Н. Федоровой

Статьи, эссе

234 Томас Манн. *Генрих фон Клейст и его повести.* Перевод и вступление С. Апта

245 Е. Соколова. *С Востока на Запад и обратно.* Литература Германии после объединения

Наши интервью

255 Ингрид Нолль: "*Женщина как личность мне интереснее мужчины...*"

Возвращаясь к напечатанному

258 Л. Лазарев. "*А по пятам война грохочет вслед...*" О "Траектории краба" Г. Грасса

Среди книг

266 Элина Драйтова. *Безумная Женщина в белом на рубеже веков.* Сергей Кузнецов. *Без пяти 1984.* Элина Драйтова. *Книги и люди: взгляд из Германии.* Антонина Балакина. *Рим всюду*

Курьер "ИЛ" 276

Немецкая литература на страницах "ИЛ" 279

Авторы номера 283

© "Иностранная литература", 2003

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

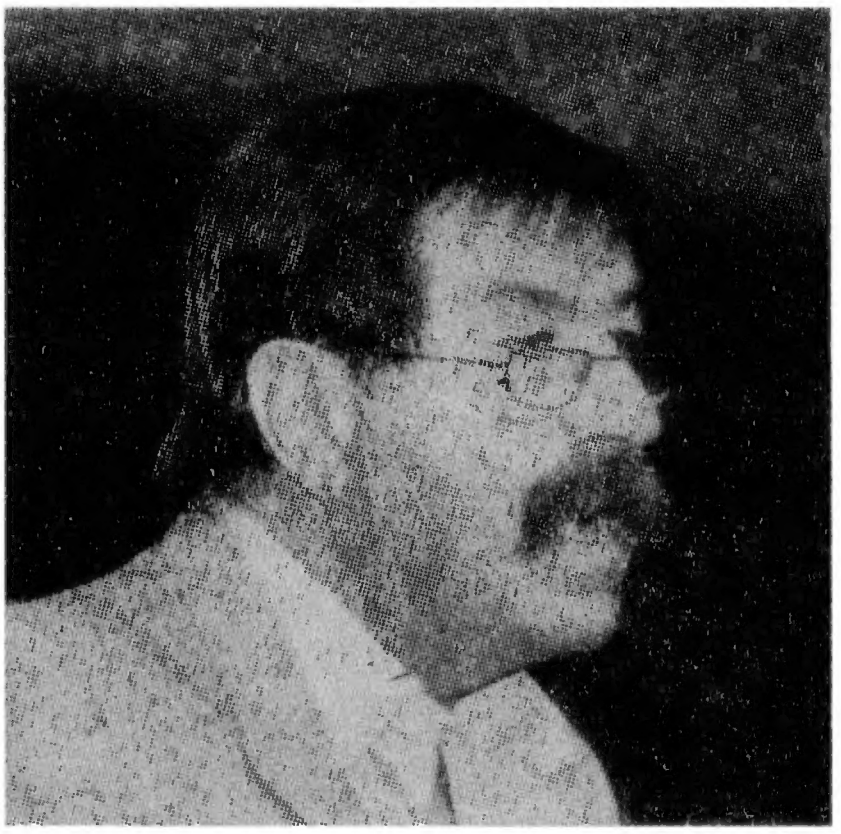
Редакция :

О. Г. Басинская
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ и Министерства печати РФ.

Ежегодные литературные премии журнала
спонсирует МДМ Банк (Московский деловой мир).

Гюнтер Грасс



Метафорам можно доверять

Торжественная речь, произнесенная в Лейпциге по случаю вручения Кристе Вольф Немецкой литературной премии (за творчество в целом)[1]

Я счастлив, дорогая Криста, вручить Тебе эту, что ни говори, престижную премию за еще не завершенный труд Твоей жизни. Для моей хвалебной речи отведены лишь три краткие минуты. Поскольку же мы — вопреки внешнему впечатлению — не в Голливуде, а в Лейпциге и эта торжественная церемония происходит на по-прежнему живой Лейпцигской книжной ярмарке, я сразу перейду к делу.

Писательница с мировым именем, у себя дома Ты всегда вызывала бурные споры. И здесь, и на той стороне. Сходным образом обстояло и обстоит со мной — как в разделенной, так и в объединенной стране. Это делает честь нам обоим, но ставит и Тебя, и меня в двусмысленное положение — сейчас, правда, на парадных подмостках. Начиная с первой книги, попавшей мне в руки много лет назад, с "Расколотого неба", и дальше, когда вышли "Размышления о Кристе Т.", потом "Образы детства", потом тоненькая книжка под заголовком "Что остается", — вокруг Тебя и Твоих книг неизменно разгорались споры. Восточные цензоры и западные хулители десятки лет неотступно следили в Германии за каждым Твоим шагом. Одержимые расколом, они развивали лихорадочную деятельность.

Однако Твои читатели, к которым я отношу и себя, не пошли у них на поводу, не раскололи свои ряды. Твои книги — в том числе такие, как "Кассандра" и "Медея", — были для них важны, помогали выжить, и публичная их спорность не имела значения. Читатели оставляли без внима-

© Н. Федорова. Перевод. 2003

1. Перевод сделан с текста, опубликованного в Интернете.

ния идеологическую грызню, ибо знали, что могут доверять тонким оттенкам и убедительности Твоих метафор.

Мы оба принадлежим к поколению, на плечи которого еще в начале пути взвалили тяжкий груз. Спасибо Тебе, что Ты без устали несла эту ношу, не сбрасывала ее, напротив, Тебе снова и снова удавалось переправить германскую обузу через границу, в том числе языковую, с уверенностью, что нам, Твоим читателям, тягота-память на пользу и в помощь.

Такой уж у Тебя характер: Ты не даешь ране закрыться. Снова и снова ставишь вопросы. Не упускаешь даже мимолетного мгновения, чтобы не задуматься над ним. Испытываешь себя самое со всей резкостью и беспристрастностью искусства слова. Ищешь противодействия в материале, громоздящемся огромными кучами, точно мусор на свалке. Чутко относишься к авариям. Оживляешь древние мифы, раскрывая их извечно современную суть. Все это – Твои отличительные черты. А теперь вот боль, которая будит прозорливость и, напоминая, вновь бередит память о выстраданной боли. Я говорю о Твоей последней книге, о повести "На своей шкуре". По собственным Твоим словам, Ты, снимая слой за слоем, занимаешься "внутренней археологией". Писательский процесс, где боль от повторных операций используется как стимулятор, чтобы осознать иную, не физическую боль. Читая эту повесть, я испытывал, наверное, то же, что и многие другие ее читатели: сквозь проломы в стенах я спускался за Тобой в лабиринт туннелей, словно он мой собственный. Книга увлекающая, ведущая нас к нам самим, обойти ее стороной нельзя. Но это можно сказать обо всем Твоем творчестве, которому мы сегодня воздаем заслуженную честь.

Перевод Н. Федоровой

Криста Вольф

На своей шкуре

Повесть

Перевод Н. Федоровой

БОЛЬНО.

Что-то жалуется, без слов. Словесный напор разбивается о немоту, которая неуклонно ширится, вместе с беспамятством. Сознание то всплывает, то снова тонет в фантастическом первопотоке. Память — как островки. Теперь ее уносит туда, куда слова не достигают, — кажется, это одна из последних отчетливых ее мыслей. Что-то жалуется, плачет. В ней, о ней. И нет никого, кто бы мог принять эту жалобу. Лишь поток и дух над водами. Странная идея. По давней привычке к вежливости она шепчет, едва ворочая опухшим непослушным языком: Какие же скверные рессоры у машин "скорой помощи". Врач, сидящий на откидном сиденье возле носилок, с жаром, до странности возбужденно, подхватывает эту фразу. Позор, твердит он, сущий позор, сколько ни протестовали, все без толку. Потом просит ее не двигать левой рукой. Из прозрачной овальной емкости, которая в ритме санитарной машины трясется над головой, капля за каплей сплывают по трубкам в ее локтевую вену. Эликсир. Жизненный эликсир. Правой рукой она поневоле цепляется за рукоятку, свисающую с потолка, иначе можно скатиться с жесткого ложа. Боль в ране усиливается; а что удивляться, в таких-то условиях, сердито бросает врач. Дорога долгая. Подъемы и спуски. Провалы. И ведь именно тогда жалобы становятся громче. Ухожу. Новая, высокая волна того же потока увлекает меня за собой. Тону. Даю себя утопить. Темнота. Безмолвие.

Этот голос. Назойливый. Упорно твердит два слога, в которых ей постепенно слышится что-то знакомое. Имя. Ее имя. Почему он обраща-

© 2002 Luchterhand
© Н. Федорова. Перевод, 2003

ется ко мне по имени. Молодое мужское лицо, обрамленное узкой каемкой бороды. Совсем близко. Слишком близко. Снова и снова он требовательно выкликает это имя, слишком громко. Ей это мешает. Что ему нужно? Она должна ответить, но не может. С трудом кивает. И наконец-то он оставляет ее в покое. — Она поняла. — Тряска прекратилась. Кончиками пальцев она ощупывает подстилку: мягкая. Над нею две капельницы. Беленый потолок. Комната, белая комната. По ощущению, что-то вроде приемной, шумно, сквозняк. Она закрывает глаза и падает в серо-черное внутреннее пространство, парит над сонной водой. Жизнь человека воде подобна[1]. — Э-эй. Очнитесь. — Назойливо. Она уходит в глубину. Стук изнутри заставляет ее испуганно вздрогнуть, она не сразу узнаёт его. Так бьется сердце. Галопом. Кто-то зовет, опять. Собрать все силы, чтобы открыть глаза. Лицо совсем юной девушки, розовый халатик. Она произносит, наверное беззвучно, несколько слов, в том числе и слово "сердце", девушка не понимает. До ужаса медленно берет ее запястье, считает пульс. — Господин доктор, сумасшедшее сердцебиение. — Рядом с лицом слишком уж юного врача нежданно-негаданно — твое лицо. Что тебе нужно, откуда ты взялся. Наверное, она должна что-то почувствовать. Ты что-то говоришь? Я тону, ухожу вглубь. Сердце неистовствует. Мне слышны слова. Частота пульса. Пароксизмальная. Они задевают лишь самый краешек сознания. Я ухожу вглубь, мимо скользит умирающее лицо матери. Я стою у окна ее больничной палаты и вижу себя ее глазами — черный силуэт на фоне летнего света. Слышу свой голос: Они вошли в Прагу. И шепот матери: Бывает и хуже. Она умирает. Я думаю о Праге.

Как же их много, этих внутренних пространств. Сейчас она угодила в такое, где происходит нечто ужасное. Здесь стоит адский шум, мерзостный шум, в дальней дали брезжит поползновение нажаловаться, но ему недостает гнева, который обеспечит заряд энергии. Вместо этого кто-то допытывается, что́ нужно ей колоть. Медикамент! — кричит он. Вспомните. — Ее выбрасывает на поверхность, она открывает глаза. Слишком много света. Губы врача произносят название, которое кажется ей незнакомым, она отрицательно качает головой. И слышит: Попробуем это. — Не очень-то он уверен. — Что же ты делаешь, произносит твой голос. Как это понимать. Она вслушивается в вопрос. — Не волнуйтесь. Мы с этим сладим.

Но я же вовсе не волнуюсь. При всем желании у нее нет сил волноваться. Штука очень неприятная, однажды сказал ей кто-то, но не смертельная. Тогда это случилось в первый раз, а сказала так докторша из поликлиники на киностудии, тебя там не было, предстояли "просмотр и сдача" нашего фильма, на мой взгляд эти слова звучали предательски, но Лотар меня успокаивал, мы сидели возле студии, на скамейке под березой, и он твердил, что все будет хорошо, сейчас самое время для фильмов вроде нашего, публика созрела для них, а наверху как раз сейчас никто не заинтересован в конфликтах с деятелями искусства. И вот тут мое сердце сбилось с ритма. Неужели я действительно думаю, услышала я голос Лотара, что он позволит им разорвать нас в клочья, он засмеялся, а я сказала: Я не могу идти на просмотр. Смех оборвался. Он воспринял это как трусость, как недоверие к его твердости и был обижен, это выра-

1. Перифраз первых строк "Песни духов над водами" Гёте: "Душа человека воде подобна...". Перевод Н. Вольпин. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

жение лица я хорошо знала. Пощупай мой пульс, сказала я, он нехотя подчинился. Ахнул и сам отвел меня в барак, где размещалась поликлиника, внимательный, как всегда в подобных случаях. Два ощущения боролись во мне, как сейчас помню; лучше всего я запоминаю противоречивые ощущения: мне было неловко, что я свалилась тут на глазах у всех и тем выдала свое душевное состояние — страх, как я сама только сейчас поняла. С другой же стороны, меня очень устраивало, что теперь можно не ходить на просмотр; конечно-конечно, несколько раз повторил Лотар. Ни в коем случае, мы и одни справимся. Глубоко во мне кто-то хихикал, со мной и надо мной.

Врач упорно пристает с вопросами. Укол не подействовал, как и следовало ожидать. Она должна сделать усилие и вспомнить необходимое лекарство. Значит, ты им сказал, что такие приступы бывают довольно часто и что от этого помогает одно средство, но какое именно, ты не знаешь, поскольку у тебя в голове названия медикаментов вообще не держатся. Подумай хорошенько, слышу я твой голос. Ты будто сердишься на мою забывчивость. Вспомнить необходимо. Перед лицом опасности не худо бы мозгу и прервать всеобщую забастовку. Она представляет себе коробочку, в которой лежит лекарство. Коробочка светло-зеленая, с белой надписью. Теперь название можно прочитать. Шепотом она сообщает его молодому врачу, дежурящему в неотложке, он громко повторяет название, вопросительным тоном, в подтверждение она опускает и поднимает веки. Врач приноровился к ее системе общения и теперь как будто бы ею доволен, она слышит, как он отдает распоряжение медсестре. — У нас это есть? — Есть. — Ну, тогда порядок.

В тот раз мне тоже было плохо, плоховато, с сегодняшним не сравнить, но ни сгущать краски, ни притворяться не пришлось, я действительно нуждалась в поддержке Лотара, не могла идти быстрее, дышала с трудом, однако ж заметила, что помощь его носила скорее официальный, чем личный характер, хотя он с подчеркнутым великодушием сглаживал щекотливую для нас обоих ситуацию. И ведь придал своему лицу то самое деловито-озабоченное, слегка заносчивое выражение, какого можно было ожидать от него в подобных, к счастью весьма редких, случаях. А в поликлинике держался с той самой бесстрастной, но очевидной авторитетностью, в которой сквозили точно отмеренные вкрапления резкости и которая заставила шевелиться сперва сестру в регистратуре, а затем и докторшу. Я когда-нибудь рассказывала тебе об этом? Странно, я все это приметила и, ложась на жесткую кушетку, спросила себя, когда и где Лотар мог всему этому научиться. В студенческие годы он такого еще не умел. Я старалась перебороть слабость, даже изобразила фальшивую ухмылку, хотя немного встревожилась, совсем чуть-чуть, тревога была вполне благотворная, хотя в ближайшие два часа ей предстояло слегка усилиться, об этом я никогда тебе не говорила, однако ж она еще никак не заслуживала названия "страх смерти", которое предложила докторша, правда в форме вопроса: Страха смерти не испытываете? — Нет. — Похоже, страх смерти принадлежал к числу обязательных симптомов тахикардии, ах вот как, это слово вам совершенно незнакомо?

Теперь оно ей знакомо, только нужды в нем нет, а страха смерти она все равно не испытывает, вероятно оттого, что слишком слаба. По сути, ее не тревожит, что и этот укол не действует, она ведь большой специалист по части таких приступов, как недавно сказал ей один доктор. Тот

первый приступ застиг меня врасплох, нежданно, безвинно, если это слово здесь к месту, а стало быть, и непритворно, и я тогда понятия не имела, о чем говорило то, что он упорно не прекращался и час, и другой, пока докторша не послала в аптеку за более сильным средством, какого у нее в запасе не оказалось. Лотар заглядывал в кабинет, ему единственному разрешалось заглядывать, как-никак при большой должности человек, заверял, что будет сделано все. Будто у нее могли возникнуть какие-то сомнения. Она хорошо рассмотрела светлое стерильное помещение, где лежала, — по стенам ряд стеклянных шкафов с инструментами и коробочками лекарств, большое окно, выходящее в парк. Верхушки берез шелестели на ветру, и ей было хорошо, теперь это слово утратило для меня всякий смысл, я даже представить себе не могу хорошее самочувствие, почему ты так смотришь на меня.

Лотар сурово и все же доверительно предложил докторше свои услуги. Может, послать машину, разыскать более эффективное лекарство, даже такое, какого у нас нет? Вызвать врача-специалиста? Нельзя упускать ни единого шанса. Мне было неловко перед докторшей за его поведение, да и она, видимо, чувствовала неловкость и отвечала односложно, его окружала аура фальши, с каких же пор? Фальшь, резкое слово, однажды ты им воспользовался, не по адресу Лотара, а по адресу Урбана, и думаю, много позже. С чего бы это я вспомнила Урбана. Ты оказался прозорлив, насчет него. Слишком прозорлив, сказала я тебе, мы оба знали, что́ я имела в виду, ты пожал плечами. Такие слова, как "ревность", были у нас не в ходу. Между прочим, заметил Лотар, я прямо с просмотра. Могу сказать только одно: поздравляю.

Тут я спросила себя, уж не учинило ли мое тело, чьи козни я потихоньку раскрывала, своего рода спектакль, затем только, чтобы такое вот заявление Лотара могло оставить меня совершенно равнодушной. Кстати, звонил Урбан, сказал Лотар. Забавно, что, говоря об авторитетах, он сохранял свою надменно-важную мину. Мы вечно над этим подтрунивали, в особенности Урбан никогда не отказывал себе в подобном удовольствии: Внимание, всем встать, Лотар вещает. Забавно, что теперь Урбан стал для Лотара авторитетом. Когда это случилось? Неужели все дело в том, что Урбан обошел Лотара по службе и теперь мог давать ему указания и оценивать его работу? Оценивать, по возможности, мягко или, коль скоро критика неизбежна, облекать эту критику в иронию, прозрачно намекая, что, если уж на то пошло, все мы, как он говаривал, вышли из одного инкубатора. Этим заверением, пусть даже высказанным обиняками, Лотар весьма дорожил. Вот видишь, Урбан сразу же позвонил, чтобы узнать, как прошел просмотр. И был очень доволен благоприятным исходом. И тревожился за меня, и передавал мне привет.

Так дело не пойдет, говорит молодой врач. Тем временем ее подключили к аппарату, отображающему на мониторе частоту ее пульса, худенькая докторша, появления которой она совершенно не заметила, что-то делает возле этого аппарата, волосы у нее с проседью, шапочкой облегают голову; очень учащенный пульс, укоризненно говорит она, молодой врач с каемкой бороды на щеках и подбородке принимает все это чуть ли не в штыки, подробно перечисляет свои назначения, будто должен оправдываться, и ей самой ужасно хочется взять его под защиту. Докторша, которая теперь, стало быть, командует, называет какой-то медикамент. Знаком ли он ей. Она отвечает отрицательно. Это новое средство, говорит докторша. Вводить будем осторожненько, под контролем мони-

тора. Да вы ведь насквозь мокрая. Короткий обмен репликами между нею и белокурой медсестрой в розовом халатике. Нет, здесь, в неотложке, меня переодеть нельзя, вот переведут в отделение, так сразу и переоденут.

Докторша в той поликлинике, помнится, промокнула мне лицо тампоном; как она выглядела, я уже забыла, лица стираются из моей памяти, недостаток, по сей день для тебя загадочный. А Лотар вдруг отбросил свои фальшивые манеры и сразу стал давним другом, я помню его лицо: озадаченное, смущенное, беспомощное — с таким видом мужчина обычно воспринимает недомогания женщины. Я невольно улыбнулась, улыбнулась ему, и он как будто бы почувствовал облегчение.

Надавить вы, по всей видимости, не можете? — спрашивает худая докторша, и молодой врач укоризненно предъявляет ей операционную рану на животе пациентки, ведь как-никак это и есть первичное заболевание; докторша не желает признавать себя побежденной, пробует сильно прижать большим пальцем сонную артерию, но и от этого частота пульса не снижается. — Ледяная вода? — Ей же нельзя пить. — Вот как. — Благорасположение худенькой докторши она теперь тоже потеряла.

Мое тело сдает. В символическом плане. Лишь символ — все бренное[1]. Иных строк она никогда толком не понимала, их смысл оставался скрыт от нее в рыхлой с виду, но непроницаемой тьме, вплоть до сегодняшнего дня, до этой мрачной минуты внезапного постижения. Когда же сто лет наконец истекут, колючий терновник припадет к земле, Тесей крепко сожмет в руке нить Ариадны и без колебаний найдет выход из Лабиринта, и раскроется любая тайна, которая долго не давалась в руки. Хочешь верь, хочешь нет, но я и теперь помню, что́ мельтешило у меня в голове тогда, в студийной поликлинике, мне было всего-навсего тридцать пять, молодая, такая молодая, время словно бы растягивалось, а сердце неистовствовало, как сейчас. — Страх? — Да. — Страх смерти? — Нет. — Нетипично.

Сейчас худенькая докторша отгоняет кого-то от двери, однако тщетно, он все равно входит. Да ведь это ты, где ты был так долго. Я пытаюсь глазами поздороваться с тобой, не зная, конечно, поймешь ли ты вот так сразу язык моих глаз, ты разговариваешь с врачами. Ей хочется взять на заметку, как велика может быть слабость, если человек даже радоваться не в силах, и на всем свете знает об этом лишь он один. Докторша садится на край кушетки, пробует вену на сгибе ее правого локтя, велит ей сжать кулак — крепче! — вводит в вену иглу, для нее почти незаметно, и, как в замедленном фильме, начинает давить на поршень шприца. Делает паузы. Внимательно следит за ломаной зеленой линией на мониторе, за частотой ее пульса. Переглядывается с молодым врачом, который стоит по другую сторону кушетки. Оба едва приметно качают головой. Сердце неистовствует. Ты еще здесь?

А что если мое сердце, поставленное перед выбором — остановиться совсем или забиться с сумасшедшей быстротой, — выбирает сумасшедшую гонку? Мне во благо, с такой точки зрения? Не то чтобы она мысленно формулировала подобные вопросы, они возникали сами собой. Всё вокруг: неуютное голое помещение, аппараты, к которым она подключена с помощью трубок и проводов, пульс, который никак не унимается, хотя докторша решительно впрыскивает ей в вену послед-

1. И.-В. Гёте. Фауст. Ч II. Акт 5. Chorus Mysticus. Перев. Н. Холодковского.

ние капли из шприца, — всё вокруг знаменует вопросы, какие она не может выразить словами. Уходи, говорю я тебе, пожалуйста, уходи. — Ей хочется взять на заметку, что присутствие близкого человека в той же комнате может быть слишком утомительным.

Сколько времени в тот раз понадобилось моему пульсу, чтобы унять-ся? Больше двух часов, если не ошибаюсь. Просмотр нашего фильма давно закончился, с успехом, как еще не раз заверил меня Лотар, здравый смысл подсказывает, что никаких сложностей со сдачей уже быть не может. Докторше велено позвонить ему, когда я буду "транспортабельна". Он заказал для меня служебную машину, и я порадовалась, что не придется карабкаться по ступенькам в автобус. Я выбилась из сил, но ощущение усталости было, пожалуй, даже приятным; не диво, услышала я, мое сердце совершило поистине марафонский забег. Дома я была одна и спала крепко и долго. Наутро первым позвонил Урбан, и я искренне поблагодарила его за участие. Затем искренности быстро поубавилось, с обеих сторон, надо признать. Ведь когда собеседник неискренен, думаешь, что и ты тоже вправе немного слукавить. Наше лукавство - помнишь? — заключалось в том, что мы долгое время делали вид, будто по-прежнему верим в искренность Урбана. Ведь вскоре вокруг фильма началась полемика. Лотар больше не поздравлял ни себя, ни меня, однако и крест на фильме поставил не сразу. Он сделал себя козлом отпущения, и мы зачли это в его пользу. Когда же нападки посыпались и лично на него, он начал потихоньку отмежевываться от фильма, не от нас, нет-нет. Самых злобных поношений он нам не пересказывал. Молчал, пока мог. О том, что и Урбан давил на него, мы узнали от других. Урбан сказал, что не сомневается в наших субъективно честных намерениях, но объективное воздействие этого фильма в теперешней ситуации, ну, в общем, двойственно. Это суждение Лотар в конце концов изложил нам как свое собственное. И смотрел сквозь нас. Все это было так давно, двадцать пять лет назад, четверть века минуло с тех пор. Теперь все это даже представить себе трудно. И не был ли Урбан потерян для них еще раньше? Как часто в жизни мы становимся другими и теряем тех, с кем вместе были молоды и, ну, невинны, что ли?

Ночь. Что-то вроде ночи, только глубже, темнее, уединеннее. Впоследствии она будет помнить не эту ночь из ночей, а лишь воспоминание о ней. Каким-то образом они, видимо, сумели-таки нормализовать ее пульс. Перевезли в отделение и уложили на койку. Она находится в палате, и в этой палате есть окно, от которого словно идет легкий свет, намек на свет. Рубашка на ней до сих пор влажная, постельное белье тоже. Пока она приходит в себя, поднимается чудовищный шум, оглушительный лязг, никогда прежде не слышанный, будто с неимоверной силой ударяют, лупят металлом по металлу, бряцают копья, мечи. Она видит схватку тел, неестественно перекрученных, сплетенных друг с другом. Это не шутка, кто-то взялся за меня всерьез. Если у меня когда-нибудь и мелькала мысль о гибели, то я наверняка не понимала, что означает это слово. Адский, пронизывающий до мозга костей скрежет, звон, визг, гром, стук, шипящий свист, превосходящий болевой порог. Я и не догадывалась, и никто не способен догадаться, что бывают такие звуки. И что их применяют как пытку. Теперь пришло время узнать. В этом больном зеленовато-голубом свете, источник которого мне неведом, среди этого адского грохота меня терзает история боли и пыток. Солдаты Ирода, пронзающие младенцев остриями своих мечей. Первохристиа-

не на арене, один на один с хищными зверями, которые с жутким рыком рвут их на куски. Гнусные жестокости конкистадоров, крестоносцев, князей после крестьянских войн. Убитая женщина в Ландверканале. А уж мой-то век ка́к начал. Мучительство всеми мыслимыми способами. Страдания и гибель тел, и моего среди них. Бывает благодетельное беспамятство, минуты ли, секунды — она не знает.

Боли чувствуете? — Должно быть, она не ответила вовсе или ответила неправильно. Сестра опять ушла.

Все имеет свою цену — фраза самая что ни на есть банальная, это ей известно, и, как всякая банальная фраза, банальной она остается, пока не испытываешь ее на себе. Цена того, что на этой койке чему-то придет конец, а потом, если Потом вообще будет, начнется нечто иное, — этот вот ужасный грохот и пытка тел, которую по неведомой причине нужно запечатлеть в моей памяти. Позорные столбы на рыночных площадях и привязанные к ним женщины. Дыбы и тиски для пальцев, раскаленные клещи, зловонная жижа, которую силком вливали в горло несчастным. Четвертование с помощью лошадей, колесование и повешение, утопление и удушение. Изнасилование. Вот когда пришла расплата за то, что она с детства спешила побыстрее пробежать описания таких кошмаров, в кино закрывала глаза, а если их показывали по телевизору, уходила из комнаты. И в бывшем концлагере побывала всего один раз. Снова и снова ей приходится теперь идти одним и тем же плохо освещенным бетонным коридором, который она как будто бы знает, но не узнаёт. По которому ее гонят вспять, стоит лишь приблизиться к выходу. Предвкушение, что за тяжелыми стальными дверями я встречу тебя, всякий раз глохнет. Что́ это означает — искать выход из подземного лабиринта именно там, где я надеюсь найти и тебя. Грохот оборачивается лязгом цепей, кандалов несчетных узников.

Так или иначе всегда настает утро. Появляется доктор, человек неприметной наружности, и с ним медсестра — опять новая, полноватая, — которая называет его "господин заведующий отделением". Он интересуется ее самочувствием. На самом деле интересуется? Видит она его впервые, имя не расслышала, да и ответить все равно не может. Кажется, он заметил, что ее пересохший рот не способен издать ни звука. Тампоном смачивает ей губы и рот. Теперь она может сказать: Почему мне так плохо?

Вопреки ожиданию завотделением принимает этот вопрос всерьез и, кажется, ничуть не удивлен и не раздосадован. Потому что вам недостает важнейших веществ, говорит он. Например, калия. Судя по картине крови, калия в вашем организме вообще нет. Не хватает магния. Кальция. Железа. Фосфора. Цинка. Практически всех минералов. Придется потихоньку вас восстанавливать.

Толковое разъяснение, которое она долго обдумывает. Вскользь спрашивает себя, кто бы это мог сожрать в ней калий и прочие "вещества", в голове мелькает что-то вроде "клетки-убийцы", но разбираться по-настоящему ей не хочется. А человек, которого сестра называет заведующим отделением, кажется, не намерен говорить больше, чем она вправду хочет знать. Он начинает натягивать пластиковые перчатки. Две пары рвутся, третьей пары его размера под рукой нет. Принесите, пожалуйста, перчатки, сестра Маргот, будьте добры, спокойно говорит он. Третья пара остается цела, он снимает перевязочную марлю с операционной раны у нее на животе, очищает рану, с помощью сестры накла-

дывает свежую повязку. Спрашивает о температуре. Сестра с непроницаемой миной подает ему листок бумаги. Он деловито произносит: Нужно подождать. Скоро я зайду снова.

За эти слова можно зацепиться. Две проворные молодые сестрички заботливо умывают ее, рассуждая при этом о совершенно недопустимой ситуации с городским транспортом. Где-то на свете, может даже совсем рядом, по-прежнему ходят трамваи, только очень уж редко, поэтому одна из сестер, маленькая блондинка, регулярно опаздывает на утреннюю смену и выслушивает нотации старшей сестры, но не станет же она из-за этого дурацкого трамвая вставать еще на полчаса раньше.

Между тем уже несколько трубок выведены из моего живота в емкости, стоящие справа от койки. Когда-то я ужасно перепугалась, увидев в таком положении одного из друзей. Сейчас я не пугаюсь. Значит, неправда, что человека более всего пугает то, что касается его самого. Хотя, возможно, бывает и по-другому, в зависимости от достаточности или нехватки калия. Эти вереницы узников, вновь бредущие мимо меня, могут, следовательно, мобилизовать волю к жизни, если калия у них еще достаточно. И капитулируют в случае нехватки всех минеральных веществ. Мусульмане[1]. Без калия, могла бы я теперь сказать заведующему отделением, если бы он еще раз смочил мне рот, молодые-то сестры, несмотря на распоряжение, об этом забыли, — без калия чувствуешь себя как лягушка, рогулькой прижатая к пыльной земле.

Образ меткий, раньше меткий образ принес бы ей удовлетворение, сейчас он ей безразличен. Шум возобновился. Вереницы, бредущие по каким-то унылым местам, гремят цепями. Понятно, всякому посылают наказание с той стороны, где он более всего уязвим, в моем случае это слух и страх перед физической болью, который еще в детстве — я тебе рассказывала? — побуждал меня устраивать испытания на мужество и боль и снискал мне репутацию человека храброго.

Как бы мы узнали, сколь протяжен наш внутренний мир, если бы некий особый ключ, к примеру высокая температура, не открывал его нам. Все время она вынуждена сперва идти по этому низкому, плохо освещенному и душному коридору, и каждый раз он кажется ей знакомым, только вот усилия, необходимого, чтобы вправду его узнать, она потребовать от себя не может. Однако эти фигуры в темно-серых комбинезонах она, несомненно, уже видела, сейчас они спрашивают у нее документы, без слов, даже не приказным, а привычным жестом, повергающим ее в панический ужас. Значит, и здесь надо предъявлять документы, но что она подразумевает под "здесь"? В карманах обнаруживается некий документ, картонный прямоугольничек, чье убожество прямо-таки бросается в глаза, однако эти двое — часовые? вахтеры? контролеры? — знаком велят ей проходить, иным способом им бы с нею и не объясниться, из-за адского шума здесь внизу, который никак не умолкает.

Она внизу, вне всякого сомнения. Стальные двери отворяются очень легко, беззвучно скользят по направляющим и в шарнирах, если такое слово, как "беззвучно", имеет смысл среди этого грохота. Очень легко она идет или скользит через множество обширных, переходящих одно в другое, вдвинутых одно в другое помещений, и ей понятно теперь, почему говорят о царстве теней — нижний мир, мир смерти как

1. Так называли узников гитлеровских концлагерей, потерявших волю к жизни и впавших в полную апатию.

царство теней — и почему новопреставленных называют тенями, надо лишь оставить сожаления, в которых они не нуждаются. Они слышат и видят, но ничего не чувствуют; во всяком случае, *транзитор*, посланный, чтобы к ним присоединиться, не чувствует ничего, это я могу засвидетельствовать.

Ты ведь знаешь, однажды мы, Урбан и я, встретились в этих коридорах, в зе́мном царстве теней, не тождественном потустороннему миру, однако похожем на него, — земной транзитны́й коридор, облицованный кафелем, как плавательный бассейн. Или как скотобойня. Вокзал Фридрихштрассе, замаскированный под пограничный пункт, сокращенно ПП. Урбан приехал тем же поездом городской надземки, что и я, линия "Зоологический сад—Вокзал Фридрихштрассе", тот же людской поток пронес его вниз по лестницам, а затем по подземному коридору, туда, где этот поток разделялся — на таких, кто хотел побывать в государстве, чьими гражданами мы являемся и чья территория здесь начиналась, и таких, кто, имея обычное разрешение на выезд, теперь в это государство возвращался, среди них много людей пожилых. Наконец, был еще тонкий ручеек дипломатов и командированных, к числу которых принадлежали мы оба, Урбан и я. Короче говоря, нам разрешалось или надлежало идти прямо вперед, вот тут-то я и увидела его, буквально перед глазами, отступать и прятаться было уже поздно: по его одеревенелой позе я поняла, что и он тоже меня заметил. В итоге у паспортного контроля мы столкнулись, что называется, нос к носу, притворно обрадовались: надо же, после стольких лет — оба тотчас начали подсчитывать — случай опять свел нас, и не где-нибудь, а именно здесь. Как раз в этом месте люди встречаются без всякого удовольствия. Не очень-то приятно, когда другой заглядывает в документы, которые дают тебе право временно перекочевать из одного мира в другой. Всяк невольно начинает оправдываться, торопливо рассказывать, какие срочные дела, работы или задания выполнял "за кордоном", а при этом иронически улыбается и краешком глаза следит, как один из сотрудников в форме, забрав у транзитника "выездной документ" и сравнив владельца с паспортной фотографией, сквозь узкую прорезь отправляет сей документ в контрольную будку, где, тщательно укрытый от взоров, сидит еще один сотрудник в форме и производит над бумагами какие-то процедуры, которые остаются тайной для ожидающих снаружи, однако длительность пребывания документов в будке позволяет сделать вывод о собственной благонадежности либо, если ждать приходится долго, о том, что компетентные органы относятся к твоей персоне с подозрением.

Мой друг Урбан принадлежал к первой категории. Он только-только успел начать, с подобающей порцией самоиронии, рассказ о том форуме в другой части города, на котором ему, официально приглашенному (этому он придавал большое значение), пришлось делать сообщение о новейших культурных событиях в нашей стране, как мы уже услыхали за непрозрачным окошком стук штемпеля, в прорези под окошком появился Урбанов документ, первый сотрудник в форме взял его и, еще раз сравнив фотографию с оригиналом, вручил владельцу. Не без легкой гордости тот принял свой документ: на компьютеры-то хотя бы можно положиться! — а затем из солидарности довольно долго ждал ее, после таможенного досмотра, который он тоже прошел без заминок. Да, на компьютеры можно было положиться, для сотрудника из будки в них явно внесли указание помурыжить ее на границе и даже на всякий случай

по телефону сообщить вышестоящей инстанции, что к ее пропуску не придерешься, она так и сказала Урбану, когда наконец очутилась с ним рядом, без таможенного досмотра, как и он сам. Он усмехнулся, немножко криво, конечно же испытывая какую-то противоестественную зависть к тому, что компьютеры не пропустили ее так гладко, как его, с другой же стороны, он бы обеспокоился, случись ему ждать своих документов так долго, как ей. У выхода из этой единственной в своем роде постройки, воздвигнутой над вратами в антимир и из антимира, их пути сразу разошлись. Ее старый друг Урбан направился к стоянке такси у вокзала Фридрихштрассе, а она свернула налево, к мосту Вайдендаммер-брюкке, проходя по которому я непременно шлю насмешливую улыбку чугунному прусскому орлу на парапете и даже стараюсь его потрогать.

Я не спросила Урбана, какой пост он теперь занимает, а он, видимо, ничуть не сомневался, что я следила за его карьерой, которая после убедительного для всех нас и бесспорного старта вполне логично вела его вверх по ступенькам, все выше, куда-то в незримость, но, очевидно, и там, за кулисами, успешно продолжалась. Я не оглянулась на него, однако спиной чувствовала, что он смотрит мне вслед.

Когда живешь на свете достаточно долго, ситуации повторяются, причем порой оборачиваются своей противоположностью. Однажды, много лет назад, я вот так же смотрела ему вслед, а он — дело, кажется, было после какого-то заседания — нарочито поспешно спустился по лестнице и исчез не попрощавшись, причину она запамятовала, вероятно ему было неловко перед нею из-за какого-то инцидента — так или иначе он не хотел попадаться ей на глаза. Да, она тогда долго смотрела ему вслед и чувствовала себя препаршиво.

А как она теперь себя чувствует? Надо бы всякий раз говорить заведующему отделением одно и то же: я на дне шахты, из которой мне не выбраться, потому что нет сил. Она говорит: Ничего. Похоже, он меньше полагается на ее ответы, чем на результаты собственного осмотра, ощупывает ее, считает пульс, приподнимает ей веки, спрашивает, какая температура была у нее при последнем измерении, но палатная сестра Кристина напоминает, что температуру меряют только два раза в день, после чего завотделением велит мерить температуру этой пациентке каждые три часа: будьте любезны, говорит он палатной сестре, у которой красивые белокурые волосы, локонами обрамляющие лицо. Она записывает распоряжение, не говоря ни слова. Однако же в уголках губ прячется обида. Что такое, сестра Кристина? — говорит завотделением. И слышит в ответ, что сестер в отделении недостаточно. Пациентка, хотя и не может толком говорить, но слышит вполне хорошо и отнюдь не хочет знать, какие сложности для ухода за больными отсюда проистекают, а потому благодарна заведующему отделением, когда он знáком показывает сестре, что это они обсудят позже. Пациентке он делает новое сенсационное назначение: ей можно "глоточками" выпить немного чаю. Перед ней опять возникает призрак огромного стакана пива, белая пена соблазнительно льется через край, ей никак не удается отогнать это видение. Она ждет чай и спрашивает себя, способна ли хоть одна из сестер — ей слышно, как они, смеясь, переговариваясь, двигая каталки, снуют по коридору, — представить себе, что́ значит для нее каждая лишняя минута ожидания. В конце концов одна из двух молоденьких приносит чашку, чернявая, миловидная, с родинкой на левой щеке́, она ловко

ставит чашку на ночной столик и опять исчезает, как видно не задумываясь над тем, сможет ли жаждущая дотянуться правой рукой до столика, сумеет ли достаточно высоко приподнять голову, чтобы напиться из этой чашки. Но тут — какое счастье! — в палату входит стриженный ежиком молодой человек в белом халате, который секунду-другую наблюдает за ее тщетными усилиями. Та-ак! — говорит он, выходит и спешно возвращается с поильником, переливает туда чай, приподнимает ей голову, подносит носик к губам. Она пьет; стало быть, на свете существует не только слово, но и само действие — пить. Спасибо, говорит она. Эвелин еще учится, говорит он. На втором курсе. Некоторые вещи ей пока невдомек. Его зовут Юрген, он на третьем курсе, скоро выпускные экзамены. Она отпивает всего три глотка, и он успокаивает ее. Вы даже не представляете себе, как быстро желудок съеживается, говорит он. И уходит.

Поток опять вздувается. У него есть имя: изнеможение. Сознание отступает, уходит на дно. Идти ко дну, погибать. На этот раз кромсающий уши грохот создают самолеты. Штурмовики, нескончаемая вереница штурмовиков прямо у нас над головами. Все-таки есть, наверно, некий тайный смысл в том, что мне демонстрируют все виды человеческих жертвоприношений. Хотя смысл может быть прост: после стольких лет, стольких десятилетий самообмана наконец-то убедить меня в пронзительной бессмысленности всего происходящего. Так, что ли? Ведь нам вбили в голову, что всё и вся, коль скоро оно может быть рассказано в форме истории, обретает смысл, доказывает свою осмысленность. Я начинаю догадываться, из каких источников идут картины, на которые меня заставляют смотреть, едва лишь режиссер на внутренней моей сцене отключается.

Я прошу тебя, раз уж ты вдруг опять здесь — какое сейчас, собственно, время дня, вечер? интересно как-никак, — я прошу тебя принести сюда синюю книжечку со стихами Гёте. Завтра же. Но замечаю, что в голове у тебя другие заботы. Стало быть, ты поговорил с заведующим отделением, у меня за спиной. Он слегка недоволен моей температурой. Думает, придется оперировать еще раз, чтобы удалить абсцесс, предположительно создающий такую температуру.

Дай мне, пожалуйста, попить. На сей раз она делает целых четыре глотка. Странным образом на ум ей приходят сплошь гётевские стихи. Какое стихотворение тебя интересует? — спрашиваешь ты. — Ах, в особенности вот это: Скорбь, радость купно / Тонут в грядущем, / Темно идущем, / Но неотступно / Стремимся дале[1]... Как дальше — не помню. Что-то насчет "покровов", кажется. Мне нужна книга.

Кстати, знаешь, как-то раз, не найдя этого стихотворения, я позвонила Конраду, потому что из наших друзей именно он помнил все стихи, какие когда-либо читал, а читал он их много. Я не догадалась поискать среди масонских песен, Конрад же сразу назвал мне стихотворение, он знал его наизусть и просветил меня насчет отношения Гёте к вольным каменщикам. В Йене, в нашем первом гётевском семинаре, Конрад задавал тон, он и выставку "Общество и культура гётевской эпохи" в веймарском замке помогал готовить, только об этом и говорил, когда вечером иной раз провожал меня, до комнатушки в доме Ницше. Дескать, нет ничего увлекательнее, чем исследовать, каким образом определенные об-

1. И.-В. Гёте. Символ. Перев. А. Кочеткова.

щественные отношения сковывают гения и какие приемы гений изыскивает, чтобы хоть на время и отчасти от этих оков освободиться.

Забавно, как работает мозг. Почему сейчас мне вспоминается Конрад? Он был человек порядочный, говорю я, неспособный действовать против своих убеждений. Не то что действовать, но даже высказываться против своих убеждений. Он бы и сегодня по-прежнему был нашим другом, тебе не кажется? Слишком рано он умер. Да, рассеянно говоришь ты, но мне сейчас не об этом надо беспокоиться. Ты принес черный радиоприемничек, на пробу включаешь его, мужской голос деловито сообщает о новом крушении рейсового самолета, число жертв... — Ради Бога, говорю я, выключи. — Ну конечно, говоришь ты. Конечно. А в чем дело? — Ни в чем. Ни в чем. Просто я не в силах вынести даже крошечного обрывка дурной вести, понимаешь? — Ладно, ладно.

А теперь уходи, пожалуйста, говорю я. И слышу в ответ: Ты просто закрой глаза. Не обращай на меня внимания. Я пытаюсь. В тот же миг снова начинается грохот. — Уходи. — Позднее я, наверно, стану удивляться, что выдерживала твое присутствие не более получаса. Теперь нет сил ни удивляться, ни выдерживать хотя бы и легкий намек на дурную новость. Надо взять на заметку, что слабость может достичь такого уровня, когда нельзя принять на свои плечи ни миллиграмма жалости и сострадания даже к людям очень далеким, не говоря уж о близких. Напрасно ты сказал мне, что у Хелены кашель, пускай и вышло так от замешательства, это я точно заметила, ведь я умоляла не рассказывать ничего плохого, и ты вообще не знал, о чем говорить, а пятилетнему ребенку кашель ничем особенно плохим не грозит, но так или иначе я бессильна помешать тому, что Хеленочка кашляет и кашляет, что у нее определенно начнется бронхит, который так легко может стать хроническим, со всеми ужасными последствиями, и меж тем как эти ужасные последствия распространяются во мне, рейсовый самолет снова и снова терпит крушение, падает вместе с еще живыми, но теперь, через доли секунды, размозженными, раздавленными, сгоревшими, искромсанными пассажирами, и я могу лишь надеяться, что в ближайшее время никому из тех, кого я люблю или просто знаю, не придется — по необходимости или по легкомыслию — лететь на рейсовом самолете, а если все-таки придется, то я знать об этом не хочу, как предпочла бы не знать, когда ты завтра собираешься быть у меня, ведь поневоле начну высчитывать, когда ты выедешь, а после целый час будешь колесить на машине по не то чтобы перегруженным, но определенно не вполне безопасным дорогам. Точно так же (это я теперь тоже знаю) мне бы не хотелось сейчас услышать, что у меня рак. Надо взять на заметку, что человеку, только-только прооперированному и еще очень слабому, нельзя говорить, что у него рак, — каковы бы ни были прежние уверения. Иными словами, есть обстоятельства, в которых честность, правда действуют губительно.

При случае непременно скажу об этом заведующему отделением, он как раз входит в палату и сообщает, что они решили сделать мне повторную операцию. Но прежде, еще сегодня, а точнее сию минуту, проведут дополнительное обследование. Чтобы с полной уверенностью установить границы очага, который нужно удалить. С недавних пор существует щадящая и очень надежная методика, говорит завотделением, не выпуская ее запястья и внимательно считая пульс, меж тем как она впервые задается вопросом о его возрасте. Наверно, все-таки добрый знак, что у меня пробуждается хоть и не жгучий, но интерес к возрасту

врача, чье слово, без сомнения, было решающим в консилиуме, по всей вероятности собиравшемся, чтобы обсудить мой случай. Во всех консилиумах, то бишь комиссиях, где заседала я сама, решающее слово всегда было за мужчиной, редко, очень редко за женщиной, и я вдруг понимаю, что *мне* решающее слово не принадлежало почти никогда, к счастью. А вот Урбану, моему другу и товарищу Урбану, решающее слово принадлежало по меньшей мере в трех комиссиях, куда входила и я. В первой он использовал его неловко и неуверенно, не был глух к аргументам, и я была им довольна, во второй в его руководство дискуссией закралась рутина, а в третьей ему уже ничего не стоило пользоваться властью и решать, он начал душить возражения, а я начала уклоняться от заседаний. И хвастаться тут нечем. Как давно все это было. Как глубоко кануло.

Завотделением между тем успел уйти, пришел Юрген, медбрат, с кружкой, которая вмещает целый литр жидкости, и, чтобы подготовиться к компьютерной томографии, ей предстоит в ближайшие четверть часа выпить эту жидкость. — Но я не смогу. Вы же знаете, пять глотков чаю — это предел. — Вы должны, неуверенно говорит Юрген. Без контрастной жидкости нельзя. — Ее бросает в пот. После первых же глотков она мокрая как мышь, но зная, что белья в отделении не хватает, поостережется снова просить чистую рубашку, сосредоточится на глотании этой омерзительной на вкус жидкости. Они требуют от меня невозможного, медбрат Юрген тоже об этом знает, подносит поильник к ее губам, еще глоточек, еще, молодчина, молодчина. Возврат в детство, тогда я тоже была свободна от обязанностей, как теперь, когда никто ничего от меня не требует, кроме содействия, так выразилась палатная сестра. Вы ведь готовы содействовать, правда? — и я, к собственной досаде, на самом деле смутно ощутила необходимость оправдать ее ожидания, но эту кружку я выпить не могу, последний поильник она отстраняет. Юрген молча выплескивает его содержимое в раковину. Увы, у него нет времени проводить ее вниз, в подвал, в нижний мир, говорит Юрген, он худо-бедно начитан, думает после училища еще годик-другой поработать медбратом, а потом получить от больницы направление в институт.

У сестры Эвелин таких честолюбивых притязаний нет, по всей видимости главная ее забота — выгодно подать свою внешность: черные как смоль волосы старательно уложены, прядка к прядке, глаза и губы безупречно подведены. Итак, вперед, по серединке, говорит она. Ей не дано провезти койку, благополучно минуя препятствия, они задевают каждый столб, каждый угол, каждую дверь лифта, сестра Эвелин каждый раз говорит: Оп-ля! — и неловко топчется с койкой туда-сюда, пациентка кривится, Эвелин говорит: Больно, да? Еще бы! — и едет дальше. Оказывается, в радиологическом отделении она до сих пор не бывала, она же только на втором курсе, впервые здесь на практике.

Пациентка не знает, как больница выглядит снаружи, но постепенно догадывается, что это не иначе как целый комплекс зданий, соединенных длинными бетонными коридорами, которые кажутся ей до странности знакомыми и не сулят ничего хорошего. Она боязливо всматривается в белые буквы светящихся указателей, отсылающих то в ОТДЕЛЕНИЕ В-1, то в ФИЗИОТЕРАПИЮ, а однажды и в РЕНТГЕН, но им нужно совсем другое. Рабочий день, видимо, кончился, в коридорах ни души, сестра Эвелин уже вслух спрашивает себя, доберутся ли они когда-нибудь до места, пациентка старается заглушить панику, под-

стерегающую у самой поверхности ее сознания, и тут перед ними, словно мираж, возникают две фигуры — молодые женщины в светлых блузках и широких летних юбках; жизнерадостные, они чуть ли не вприпрыжку идут по мрачному коридору, болтают между собой, смеются, не ведая никаких страхов, и — о чудо! — знают, где находится отделение, которое они разыскивают, с готовностью подробно описывают дорогу. Мы, по их словам, немножко заплутали. Когда сестра Эвелин вместе с койкой заворачивает в коридор, действительно снабженный указателем РАДИОЛОГИЯ, я чувствую, что по лицу текут слезы, впервые за все эти дни — а кстати, сколько их: пять? шесть? — с тех пор как сельская докторша, в конце концов вызванная наперекор ее протестам, прямо с порога поставила диагноз: Да ведь это аппендицит! — и сразу же, опять-таки не слушая ее возражений, заказала по телефону санитарную машину, которая по ухабистым дорогам повезла ее куда-то в антимир. Сейчас она на пределе, во всех смыслах. И вдруг вскрикивает: к ним приближаются глянцевитые чудища — самоходные роботы, неуклюжие, четырехугольные; они держат курс прямо на койку, и у каждого на лбу — позволительно ли так сказать? — возбужденно мигает красная сигнальная лампочка. Берегись! — кричит она, а сестра Эвелин невозмутимо роняет: Вот бандуры! — монстры же тем временем с гудением громыхают мимо, на волосок от них. — Что это было?! — Как что? Контейнеры с компьютерным управлением, они подвозят еду и постельное белье, на вид страшные, но очень практичные.

Когда ее наконец закатывают в помещение, где безмолвная и грозная стоит большая машина, этакий сверхмонстр, ей нужно лишь перебраться с койки на узкую платформу — опять невозможная задача, ведь на помощь-то позвать некого, экстренная бригада, слышит она. Задержались только ради нее. Она пережевывает слово "экстренный". Молодой врач показывает ей кружку: надо быстренько выпить. Но это невозможно, испуганно говорит она. Вы должны. Именно эта жидкость и необходима как контрастное вещество. Она пригубливает кружку, что-то льется в рот, ничего более омерзительного ей в жизни не доводилось ни есть, ни пить. Глотки, один за другим, без передышки. Она еще не отвела кружку от губ, а все проглоченное сейчас и выпитое раньше, в палате, фонтаном хлещет наружу, пачкая рубашку, простыню, пол, — неловко, но какое облегчение. Две медсестры пытаются обтереть ее, привести в порядок, даже чистая рубашка вдруг появляется; она говорит: Ну вот, все без толку, — однако молодой врач отступать не намерен. Он сделает инъекцию контрастного вещества. Почему же он сразу так не поступил, думает она, но молчит. Зачем эта пытка питьем, зачем это мерзкое пойло. И сама же храбро отвечает: наверно, инъекция — самое крайнее средство.

Теперь все ждут, пока инъекция подействует. А она между тем спускает мысли с поводка, и они торопливо шныряют вокруг, в поисках какого-нибудь предмета, за который смогут уцепиться, когда меня, будто хлеб в духовку, задвинут в тесную трубу, перед жерлом которой я лежу. К сожалению, ничего утешительного в голову не приходит, к сожалению, мысль, какой я до сих пор избегала, настигает меня именно здесь, теперь ее уже не стряхнуть, — мысль о том, что Урбан пропал. Теперь, как назло теперь, уже не вытеснить из памяти известие, которое недавно сообщили по телефону, Рената сообщила, его жена, когда-то близкий мне человек, но оттого, что мы избегали контактов с Урбаном, теперь тоже

чужая. Ее голос я узнала сразу, однако ж не поняла, что́ она с перепугу выпалила: Ханнес пропал. Ханнес? — едва не переспросила я, но вовремя вспомнила, что наш бывший друг, которого все, даже Рената, всегда звали по фамилии, Урбаном, носил имя Ханнес. По силе охватившего меня испуга я догадалась: произошло что-то скверное. — Пропал, что значит "пропал"? — То и значит, что сказала: пропал, не вернулся домой. — Откуда? — Из института. — Когда? — Неделю назад. — Его ищут? — А как ты думала. Всеми способами. — Во мне грянули набатные колокола. — Она, сказала Рената, просто хотела известить меня, чтобы я узнала об этом не из газет. Будто такие вещи печатают в газетах. Рената повесила трубку прежде, чем успела расплакаться. Я почувствовала, как во мне оживает давняя симпатия к ней, а против Урбана поднимается что-то вроде злости: надо же, причинить ей такую боль. И странное чувство ответственности, будто я обязана отправиться на поиски, пойти по его следам. А теперь вот он идет по моим следам, даже сюда добрался.

Мало того, что из тесной трубы выглядывает только голова. Вдобавок отсюда нипочем не вылезешь, ни в паническом страхе, ни в смертельном, о котором пока и речи быть не может, есть только предчувствие, что в этой трубе и без всякой клаустрофобии натерпишься страху. Но до поры до времени страх можно отодвинуть подальше, если сосредоточиться на командах, какие из-за толстой стеклянной перегородки отдает мне в микрофон безликий женский голос: Вдохните — задержите дыхание — выдохните. Голос этот понятия не имеет, как трудно выполнять его несложные приказы, снова и снова, уже целых десять минут, ведь круглые часы над дверью в темное помещение за стеклом попадают в поле моего зрения, когда я чуть склоняю голову влево, а повернув голову немного побольше вправо, я вижу пляску зеленоватых линий и цифр на мониторе маленького компьютера, в совокупности и при надлежащей интерпретации эта пляска даст врачу, который, надеюсь, умеет ее прочесть, важные сведения о происходящем в моей брюшной полости. Тошноты, что по-прежнему то и дело подкатывает к горлу, компьютер не замечает, но, если, как сказал радиолог, нам посчастливится, он выявит контуры абсцесса, повинного в моем лихорадочном состоянии. "Посчастливится", сказал он, а я осталась серьезна. Я ему не скажу — подумать об этом и то едва смею, — что соглашусь почти на все, только бы выйти из этой трубы. Куда девать руки, закинутые за голову, где пристроить кисти, уже начавшие затекать. Вдохните, задержите дыхание, выдохните. Я пытаюсь приспособиться к этому ритму, пытаюсь украдкой раз-другой вздохнуть в собственном ритме, пытаюсь под шумок кашлянуть, причем так, чтобы безликий, слегка искаженный механический голос меня на этом не поймал. Вдохните — еще пятнадцать минут, и всё кончится, а вероятно, даже меньше пятнадцати, ведь требовать от меня такого немыслимо, по сути кощунственно. — Сосредоточьтесь, пожалуйста. — Ничего от них не скроешь.

Спокойно. Спокойно спокойно спокойно. А ну-ка, возьмем себя в руки. Теперь я дышу совершенно механически, как желает голос, и при этом мне являются картины, возникающие сами собой. Мы втроем — ты, Урбан и я — выходим из аудитории доктора Лангханс. Я вижу нас, мы молоды, точь-в-точь как на фотографии тех лет, я вижу и улыбку Урбана, позднее ты обратишь на нее мое внимание: Видела? Его ироническую усмешку? Конечно, ты слышал, что я сказала Урбану: Нынче ты вправду был хорош, — на что он, с этой иронической усмешкой, ответил: Стара-

емся, как можем. А ты, когда мы шли по мосту через Заале, в темноте, заметил: Он ведь разыгрывает сопричастность. Насмехается, разве ты не видишь, — над текстом, над Лангханс, над всеми нами, над тобой. Я этого не видела. Не хотела видеть. Усмешка не просто ироническая, сказал ты. Дьявольская. Итак, слово было произнесено, я ему противилась, а оно все крепче в меня вцеплялось. Лишь спустя много лет это слово смогло вновь прозвучать между нами, и в свою очередь я лишь спустя много лет смогла доверить тебе догадки насчет главного урбановского изъяна и главной его тревоги, осенившие меня, когда он блистательно интерпретировал текст, который мы, остальные, еле-еле осилили: г-жа Лангханс выбрала для семинара по развитию выразительной речи "Тяжелый час" Томаса Манна[1], текст трудный, она этого не отрицала, один автор описывает кризис другого, камуфляж, каким он наполовину маскирует, наполовину обнаруживает собственный кризис. Читать трудно. Двоякие смыслы. Урбан справился мастерски. Я смотрела на теплицы Ботанического сада, по которому, наверно, гулял Фридрих Шиллер, когда работал над "Валленштейном", и на который сейчас выходили окна нашей маленькой аудитории, — смотрела туда, чтобы никто не заметил слез, навернувшихся мне на глаза, не только от сочувствия духовным и телесным мукам Фридриха Шиллера, но и, главным образом, от легкой дрожи в голосе Урбана. Урбан, любезный мой друг. В ту пору мое чуткое ухо бдительно следило за всеми его высказываниями, меня не обманула дрожь в его голосе, когда он прочитывал слова вроде "всеми покинутый", "блуждания" и "неисцелимая скорбь души" или фразу: "Боль... Как от этого слова ширится грудь!" Нет, не обманула. Эту фразу он вдобавок сумел прочесть с притворным сопереживанием, которое могло ввести в заблуждение любого, только не тебя. И не меня, хоть я вслушивалась в его слова по совершенно другим причинам. Он не смог ввести меня в заблуждение — ни насчет своей фальшивости, ни насчет искренности, потом, когда дошел до предложения, которое словно бы удивило его, больше того, ошеломило: "Самый талант его — разве это не боль?" Крохотная предательская пауза после этой фразы, глубокий вздох — в них не было актерства. Ты, в плену предвзятости, то ли их не заметил, то ли не сумел правильно истолковать. А вот я заметила и поняла, потому что вопрос этот зацепил за живое и меня, и Урбана и потому что я, скрепя сердце и не доверяя себе, начала улавливать едва внятный и совсем иной ответ, чем он. Он-то, я поняла, осознал убийственную правду, что талантом не обладает, а именно талант и был предметом его мечтаний, и что никакая сила на свете, в том числе и его собственное горячее желание, не способна восполнить этот недостаток. Мне было его жаль, я чувствовала себя чуть ли не виноватой, потому и опустила взгляд перед иронической усмешкой, за которой он, как обычно, спрятался, когда мы прощались возле университета, потому, дорогой мой, и была взволнована. Лишь позднее я научилась бояться мстительности бездарных честолюбцев, и бояться сильно.

Дышать уже не надо. Мерцающие зеленые линии на мониторе наконец-то гаснут. Я бы ни секунды больше не выдержала. Через микрофон слышен деловитый мужской голос, обращается ко мне по имени. Теперь мы сделаем небольшой перерыв. Половина обследования позади. Оста-

1. Это эссе Т. Манна написано в 1905 г. и посвящено Ф. Шиллеру; ниже цит. в переводе А. Федорова.

лось провести детальную съемку определенного участка брюшной полости, к которому надо присмотреться повнимательнее. Ну как, сможете? — спрашивает голос. С изумлением я слышу свое "да" и тотчас преисполняюсь презрения к себе. Надо же, никогда я не могу сказать "нет" на такие вопросы. Ведь подумать страшно, что еще десять, двадцать, тридцать минут придется вытягивать далеко назад вывернутые руки. А эта полная беззащитность в лучевой клетке, от которой всем остальным необходимо держаться на расстоянии. Я слышу, как открывается дверь. Шаги. Мужской голос, радиолог. Сейчас найдет что-нибудь, подложит мне под кисти. Волна благодарности захлестывает меня. Он заметил, и входит, и помогает. Необходимы еще более точные данные. Что-то там прорисовывается. Хирург сумеет оценить эту информацию.

Стало быть, все решено — хирург. Я сбиваюсь с дыхания, раз и другой, молодой мужской голос из микрофона отечески велит мне успокоиться. Сосредоточиться. Вдохните — задержите дыхание — выдохните. Получается. Я опять вхожу в ритм, перестаю думать. Один вопрос висит в пространстве: Что есть человеческое счастье? Тема для сочинения, а задала ее учительница, которая рассчитывала, что мы напишем: высшее счастье для нас — быть немцами.

Я рассказывала об этом Урбану, в те давние времена, когда еще не была знакома с тобой, в самом деле, с ним я познакомилась раньше, чем с тобой, и наверняка рассказывала ему такие вещи, какие позднее поверяла только тебе; мы стояли возле студенческой столовой, в те давно минувшие времена, куда я сейчас погружаюсь — меня погружают — лишь по причине тотального бессилия, ведь противиться я не в состоянии, здесь слово "тотальный" вполне на месте, хотя обычно я им пользоваться не могу, оно истрачено в одном чудовищном вопросе, который вплетен в жизнь целого поколения и отзывается в каждой фразе, где есть слово "тотальный" или "тотально", тотально сбрендил, тотально вымотался, говорят люди, вот и сегодня юная практикантка Эвелин: Ну, это было тотально излишне, — не знаю, о чем шла речь, и, наверно, она права, совершенно излишним может быть многое из того, что ей говорят или поручают, тотальной же бывает только война. Кстати, тоже тотально излишняя. Что́ есть человеческое счастье, теперь? Этот вопрос я задала Урбану возле столовой, он рассмеялся и сказал, шаржируя манеру завсегдатая собраний, с легким саксонским акцентом: Как "что", товарищ? Борьба против угнетателей! Я засмеялась, ты не поверишь, когда-то с Урбаном вполне можно было смеяться, такое слово, как "дьявольский", нам бы тогда и в голову не пришло, тут-то и явилась Лорхен, возвестила о тебе, я подняла глаза — ты стоял на лестнице, в выцветшем френче рядового вспомогательной службы люфтваффе, и досадливо смотрел на Лорхен, потом испытующе взглянул на меня, это и был тот самый взгляд. Картина эта отправилась в мой сокровенный архив, к нетленным страницам. Выдохните — не дышите. Человеческое счастье — всё за пределами этой окаянной машины, за пределами этого помещения с двумя крепко запертыми стальными дверями.

Снова лежать в знакомой, почти привычной палате, пусть даже из тела выведено множество трубок, похоже, их становится все больше, она теряет им счет. Не будь она так слаба, ее бы, верно, заинтересовало, что можно жить без еды и физиологических выделений. И круглые сутки неподвижно лежать на спине. Ты вдруг снова здесь, стоишь возле койки, скрывая озадаченность, расспрашиваешь об ограничениях, ко-

торые замечаешь. Нет, говорю я, это цветочки, настоящая пытка — кое-что другое. С ужасом в голосе рассказываю тебе про машину, затаившуюся глубоко в недрах этого здания, как Минотавр в Лабиринте. Ты смущен, я по лицу вижу, ты в сомнениях, вот сейчас в ответ на мои преувеличения ты произнесешь свое привычное "но", и ты действительно говоришь: Но теперь они хотя бы знают, где надо резать, завотделением тебе об этом сказал. — Значит, ты опять с ним разговаривал? — Вы заранее условились. — Ага.

Поутру. Поутру, дай-то Бог, ты проснешься опять. У мамы было много замечательных качеств, в том числе красивый голос. Сопрано. Прелестная садовница, зачем ты слезы льешь.

Ты что молчишь?

Я слушаю.

Так надо.

Кто это сказал — ты? Завотделением, который снова стоит возле койки? Стало быть, поутру. Оба глядят на нее, будто ждут согласия или протеста. Но ей не хочется сетовать на предстоящее, только на прошедшее. И она сетует на питье. На неимоверную дозу. Можно ли требовать, чтобы после такого долгого полнейшего воздержания она сразу столько выпила? Это же немыслимо, умоляюще говорит она, от лица всех, к кому еще предъявят подобное же требование. Верно, говорит завотделением, непоколебимый в своей вежливости. Что тут возразишь. Но в томографе он и сам однажды побывал, для пробы... Он умолкает. Она засчитывает в его пользу, что он умолкает, прикусывает язык. Для пробы. Интонацией он обозначает кавычки. Наверняка ведь это не по-настоящему. Возможно ли, чтобы завотделением и ведущий хирург смутился?

В руке у нее маленькая синяя книжечка. Можно держать ее одной правой рукой, а левой, той, из которой тянутся трубки, осторожно листать страницы. "Здесь в вечном молчанье / Венки соплетают. / Они увенчают / Творящих дерзанье".

Видишь, вот это я искала. — Лето нынче капризное, говоришь ты. В моем мозгу быстро раскручивается цепочка слов: капризно неровно бурно озорно непостоянно банально болезненно. Ощутимо. На своей шкуре. Ты спрашиваешь о том, о чем спрашиваешь редко, ведь это *мой* вопрос, а поскольку его задаешь ты, наверняка что-то случилось. О чем ты думаешь? И как ни печально, при всем желании я не знаю ответа.

Ты же знаешь, я всегда была доброжелательна, нередко даже очень, и всегда выказывала добрую волю, в конце концов уже чисто внешне, ведь не стану отрицать, от слишком частого употребления моя добрая воля мало-помалу износилась, растратилась и пропала. Теперь, свободная от доброй и злой воли, свободная от малейшего намека на волю, я могу смотреть на тебя и глазами говорить "нет". Пожалуйста, не приставай ко мне с этим вопросом. Он задан слишком поздно. Или слишком рано. Еще совсем недавно я бы постаралась ответить, чтобы не обижать тебя, теперь же бессилие освободило меня от всех и всяческих стараний. Я даже не могу удивиться тому, что должна была угодить сюда, на дно шахты, чтобы у меня пропала охота тревожиться и стараться. Смутно брезжит догадка: а вдруг весь этот дорогостоящий спектакль затеян именно по такой причине? Догадка гаснет. Тускнеет. Тусклые равнины. Таинственные. Совиные. Заколдованные. Уходи, говорю я тебе. Пожалуйста, уходи. Призрачные. Ужасные. Чудовищные.

Снова поток, неистовый поток, страшный, лихорадочный, неодолимый, ему нет удержу. Жар, говорит женский голос, очень сильный жар; меня, бессильную, бесчувственную, несет стремнина, и нежданно возникают два слова, задевают крохотное пятнышко в моем сознании, противоборствуют неистовому течению, закрепляются, и я могу с удивлением подумать: я страдаю. Шевелю губами, пытаюсь высказать это умозаключение: Я страдаю.

Да, произносит трезвый голос заведующего отделением. Я знаю.

Знаменательный миг. Я страдаю, и другой об этом знает. Никакой рисовки с моей стороны, никакого притворства — с его. Сухая констатация факта.

Холодные обертывания на икры, сестра Кристина, будьте добры, займитесь. В крайнем случае укол.

Лишь поздно вечером, ночью — хотя время дня и ночи во власти распада — поток схлынет, тенью возникнет палата, едва освещенная квадратным ночником на плинтусе возле двери; насквозь мокрая от испарины и обессиленная, она будет лежать в лодке своей постели, которая покачивается, но не опрокидывается, над нею — стойка с двумя прозрачными емкостями, бледный прямоугольник окна, полуприкрытого занавеской, а справа на ночном столике — маленький черный предмет, радиоприемник, за которым она потянется и который нерешительно включит, готовая к тому, что опять разбился какой-нибудь самолет или в прибрежных водах на севере затонула подводная лодка, что где-то далеко-далеко найден мертвым заложник или где-то близко застрелен беглец, что, иными словами, ход событий, который, кажется, выдерживают все, кроме нее, продолжался своим чередом. Готовая ко всему этому, заранее положив палец на крохотный выключатель, чтобы тотчас его нажать, она слышит, к счастью, нежный, чистый звук скрипки, потом еще один, на квинту выше, и еще, и еще, бас подхватывает первую ноту, низким, певучим голосом вступает кларнет, ее любимый инструмент, вот они уже сплели звукам тонкие паутинные сети, а вот ведут их путями волшебства, даже труба находит себе место в этом волшебном краю, взмывает высоко-высоко, унося с собою мое сердце, недостает только фортепиано, оно держалось в стороне, до последней минуты, но пришел и его черед, оно сопровождает и соединяет дивную мешанину звуков. Эй, люди, что есть человеческое счастье.

Лицо у нее тоже мокрое, чья-то рука осторожно промокает испарину тампоном, потом осторожно меняют рубашку, простыню, прочее постельное белье. У тихой безымянной ночной сестры появилась помощница — темноволосая молодая женщина, красивая (красота ее заключена в легких, едва ли не застенчивых движениях), женственная, подвижная, старательная, она сумела соединить в себе много такого, что крайне редко сходится воедино. Во-первых, глаза у нее темно-темно-карие, каких я в жизни не видела, так я ей и говорю. Она улыбается, без смущения. Сидит на краю койки, кладет ладонь мне на лоб, материнским жестом, но ведь она намного моложе, годится мне в дочери. Говорит, что она анестезиолог. Завтра утром поможет ей хорошенько заснуть. И будет рядом, когда она проснется. В наркоз надо постараться войти с добрым настроем, ведь как войдешь, так и выйдешь. Она будет внимательно за нею присматривать, можно не сомневаться. И обращение "госпожа доктор" совершенно излишне, у нее нет ученой степени. Зовут ее Бахман, Кора Бахман. Имя, богатое ассоциациями. Она не по-

нимает. Ей нужны кой-какие сведения, я сообщаю, что могу; конечно, говорит она, почти всё записано в моей истории болезни, но она предпочитает лично удостовериться, нет ли, например, аллергии к определенному наркотическому средству. Лично удостовериться, что пациенту оно подходит, хотя, говорит Кора, кто придумал называть подходящим яд, ведь любое наркотическое средство по сути своей есть яд. Странно. Даже о щекотливых темах она умеет сказать так, что защитный страх у меня не включается, — разве же средство, которое введет мне Кора, может быть хоть сколько-нибудь неподходящим?

Стало быть, она поведет меня во тьму, в Гадес, она, мой провожатый, будет присматривать за мной, следить за моим сердцебиением, я облегченно вздыхаю. До чего же долги эти ночи, роняет она, и Кора соглашается: Да, ее ночи, хоть и по-другому, но тоже долги, когда у нее ночное дежурство, как сегодня. А завтра утречком сразу в операционную! — сочувствует пациентка; ах, говорит Кора, зато не теряешь форму, а часок-другой сна, по крайней мере, нынче удастся перехватить.

Представляя себе Корину ночь, ревниво спрашивая себя, так же ли, как со мной, она приветлива с другими пациентами, которым завтра будет давать наркоз, возникает ли между ними такая же близость, я засыпаю. Фразу "Не покидай меня, темноволосая!" я услышала, наверно, уже во сне, вероятно, сама же ее и произнесла, сразу и радостно, и печально, а потом уговорила ее, Кору, прямо нынче ночью пройтись со мной по городу, точнее, полетать, потому что двигались мы с необычайной легкостью, в сантиметре над землей. Приказ, который мне отдавали так часто: Будь добра, спустись на землю! — был упразднен, мы легко выпорхнули из широкого окна нашей берлинской квартиры, слетели в темный ночной двор, куда падал лишь узкий луч света с шестого этажа левого флигеля, из кухни госпожи Балушек, которой в этот сонный ночной час вообще-то полагалось бы лежать в постели, ведь по поручению Городского жилищного управления она за мизерную плату моет лестницы в переднем доме и по собственному почину силится поддерживать спокойствие и порядок в нашем квартале, что, видит Бог, ох как непросто, публика-то, как она выражается, разноперая, особенно если вспомнить новых жильцов переднего дома, четвертый этаж направо, слов нет, что они вытворяют, этакому поведению есть только одно название, и госпожа Балушек смело его произносит: Ан-ти-об-щест-вен-но-е. Эти поганцы даже мусор в помойные баки бросить не могут, как все нормальные люди, непременно рядом вывалят. Скоро весь двор, где она с таким трудом поддерживает чистоту, будет усыпан отбросами.

У них у всех шарики за ролики заезжают, сказал ты, когда во дворе грянула перепалка между госпожой Балушек и нашими новыми соседями сверху, и закрыл все окна, а у меня и в мыслях не было вступать в пререкания с этой женщиной, чье подспудно тлеющее недоверие к нам с тобой я мало-помалу сумела загасить с помощью кофе и сигарет из валютного "Интершопа" на первом этаже. Однако чистые или загаженные дворы — проблема не моя, во всяком случае сегодня ночью, мы, темноволосая женщина и я, парим в бледном сиянии луны, восходящей над эстрадным театром "Фридрихштадтпалас", который берлинцы за архитектуру фасада прозвали "месть Хомейни", скользим мимо пустыря, оставшегося еще с войны, мимо гостиницы "Адрия", которая все больше смахивает на угрюмый сарай, непочтительно облетаем бронзового Брехта на скамейке перед "Берлинским ансамблем", он лукаво косится

на нас, но прикидывается мертвым — стратегия, достойная подражания, однако доступная не каждому. Либо всё, либо ничего, говорю я Коре, она согласно кивает и утешной тенью об руку со мною приближается к Шпрее.

Там, обнявшись, стоит пара. "Парочка" — слово неподходящее, эти двое не желторотые юнцы, на вид им лет по тридцать — тридцать пять. Кстати, судя по одежде — приблизившись, я точно вижу, — они из другого, более давнего десятилетия, можно по шляпам догадаться. Тридцатые годы, говорю я Коре. Она тоже так считает. За спиной этой пары мы проплываем через мост Вайдендаммер-брюкке. Возле прусского орла они останавливаются, склоняются над чугунным парапетом и глядят вниз, на воды Шпрее. Я совсем рядом с весьма привлекательной молодой женщиной — что она не видит меня, странным образом разумеется само собой, — я смотрю ей в лицо и испуганно оборачиваюсь к моей спутнице: Но это же... — Кора прикладывает палец к губам. Лучше мне помолчать.

Я молчу. Впадаю в глубокое смятение, потому что временны́е слои беспардонно переплетаются, но как это — беспардонно? Вместе с этими двумя людьми, которые мне как будто бы знакомы, однако называть их я не вправе, чтобы не подставить под удар, — вместе с этими двумя анонимами я приближаюсь к скверику на том берегу Шпрее, а скверик этот посажен вокруг запретного для непосвященных приземистого здания, которое они называют бункером слез, по-моему, да, так и есть, именно сюда они и направляются, хотят убежать, внезапно это мне совершенно ясно, хотят воспользоваться этим выходом и спастись, счастье, что он существует, надеюсь, визы у них не просрочены, надеюсь, еще не полночь, ведь в полночь пограничный пункт закрывается. И тут меня будто громом поражает: чего они ищут по ту сторону границы, он ведь еврей, и опасность грозит ему и здесь и там, где же они живут и где живу я, в какой эпохе. Кора! — кричу я, но ее нет, и я опять кричу: Не покидай меня!

Нет-нет, говорит чей-то голос. Не Кора Бахман, не сестра Кристина, а совсем другое существо стоит в рассеянном утреннем свете посреди моей палаты, подходит к койке, подает мне широкую пухлую руку, напористо и чуточку шепеляво желает мне доброго утра, а затем, поворачиваясь вокруг своей оси, она — это существо в самом деле женского пола — пристально изучает каждый предмет в палате, в том числе и меня, одобрительно, как мне представляется. Я — Эльвира, говорит она, с грохотом извлекает из железного футляра пустое мусорное ведро, выносит его в коридор, чтобы опорожнить, быстро возвращается и, опять-таки с изрядным шумом, водворяет его на место, снова подходит к моей койке, снова подает мне руку: Всего доброго вам и до свиданьица! Я вижу деформацию в лице Эльвиры, чувствую вялое пожатие бесформенной руки, стремление к четкой форме не сумело пробить себе дорогу в ее теле и выразиться, но в чертах сквозит нечто вроде симпатии. Я говорю: Спасибо, Эльвира. И до свидания. — До скорого, да? — говорит Эльвира. — Да, — отвечаю я. — До скорого.

Сестра Кристина досадует, что не смогла помешать Эльвире заявиться ко мне в такую рань. Сказала ведь ей, чтобы не тревожила меня, дала поспать, только очень уж она любопытная, вот в чем дело, никакого удержу. Сестра Кристина намерена сама проверить обе капельницы, и проконтролировать дренажи, выведенные из раны на животе, и поменять мешки, в которых собирается жидкость. Затем она передает паци-

ентку сестре Маргот, чуть толстоватой, чуть шумноватой и уже сейчас, ранним утром, пахнущей потом, запах чувствуется, когда она наклоняется умыть пациентку. И слишком громко говорит, обращаясь к ней во множественном числе: Сейчас-сейчас, мы быстро, приподнимем-ка ногу еще чуть-чуть, а? Нам ведь хочется выглядеть в операционной красиво, да? Наконец она открывает окно и уходит, а я с облегчением вдыхаю свежий утренний воздух. Так, говорит сестра Кристина, а теперь знаменитый укольчик, скоро все станет вам приятно-безразлично. Главное — думайте, что идете под нож последний раз. Она надевает пациентке марлевый чепчик, прячет под него волосы, которые в парикмахерской, к счастью, обкорнали совсем коротко, но в операционную ее везет, увы, опять сестра Эвелин, аккуратная, изящная, невзирая на ранний час, превосходно подкрашенная, и опять койка пересчитывает все углы. Вообще-то еще рано, ну да ничего. Все равно я первая на очереди.

На самом деле это не повод чувствовать себя польщенной, очередность в операционной наверняка устанавливают не в зависимости от чинов и заслуг, а, к примеру, в зависимости от серьезности положения. Она успевает немножко поиграть некоторой двусмысленностью этой фразы, потом вся в зеленом, вся цвета темной морской волны входит операционная сестра. Так она представляется: Я — операционная сестра, — и начинает разговор, простыми, короткими фразами. Пациентка слышит свои немногословные ответы, слышит как бы издалека. Узнаёт — сквозь все более толстый слой ваты, — что эта сестра нынче впервые вновь вышла на дежурство. Что она не одну неделю бюллетенила, из-за гепатита, в операционной заразилась. Что у нее двое детей и муж-инженер. Пациентка говорит: Вот как? И: Да что вы? И: Как замечательно для вас, — и видит, как операционная сестра, стоя к ней спиной, что-то достает из стеклянного шкафа, набирает шприцы, ловко совершает какие-то манипуляции. Входит мужчина, через дверь с табличкой ОПЕРАЦИОННАЯ 1, он тоже в темно-зеленом, и на голове у него зеленая шапочка, из-под которой — сейчас это отчетливо видно — выглядывают седеющие на висках волосы. Он хочет поздороваться с нею, пока она не уснула, это завотделением, он пожимает ей руку, вопросительно смотрит на сестру, та говорит: Все в порядке. Я с ней разговаривала. Пациентка осознает, что разговор с нею — одна из обязанностей операционной сестры, но это ей не мешает. Отлично, говорит завотделением. Все будет хорошо. Ну конечно, говорит она и с легкой иронией думает: а как же иначе-то?

Даже сюда, в операционную, добралось это словечко — "хороший". Вместе со своим вариантом — "добрый". Не оно ли было главной рифмой, которая задавала тон в детстве, — хороший, добрый, хороший? Хороший? Добрый? — как-то раз наорал на меня Урбан, ты что, наивная простушка? Хороший, добрый — вообще самые что ни на есть мещанские слова. "Благороден будь, скор на помощь и добр"[1], эти рассуждения насчет человека — самая что ни на есть мещанская шарманка, катехизис мелкого обывателя, из которого слова "добрый", "хороший" вырастят бесчеловечного монстра и сверхчеловека. Но к тому времени, возразила ему я, еще робко, к тому времени он все-таки давным-давно оставит словечки "хороший" и "добрый" позади. Как ты. Как мы, поправила я себя. А Урбан, поджав губы, отозвался: Думай, что говоришь.

1. И.-В. Гёте. Божественное. Перев. Вяч. Иванова.

Темноволосая женщина, с ног до головы в зеленом. Мы все, говорит пациентка слегка заплетающимся языком, мы все будто в аквариуме, под водой. Может и так показаться, говорит Кора и спрашивает, все ли о'кей. Язык молодежи. Да, отвечает она, все о'кей. Кстати, я видела вас во сне. Бог ты мой, говорит Кора и смеется, но ее глаза, карие, блестящие, не смеются. Операционная сестра, завязывая у нее на затылке ленточки маски, докладывает и ей, что разговаривала с пациенткой. Темноволосая женщина кивает. Можно, говорит она. Рядом вдруг возникает еще одна зеленая фигура, мужчина, он толкает каталку сзади, женщины идут по бокам, привычный строй.

Двери операционной отворяются. Большие яркие металлические лампы под потолком. Трое мужчин в зеленом, с поднятыми руками. Это налёт. Они разговаривают о садах. Розы, говорит один, почти всё известные сорта. Это завотделением, ишь ты, розы. Никаких искусственных удобрений! — говорит второй, а третий восклицает: Сад? Никогда в жизни! И всё это с поднятыми руками, будто они вовсе не налетчики, а жертвы, абсолютно покорные жертвы. Завотделением, продолжая рассуждать о розах, внимательно наблюдает, как троица перегружает ее на операционный стол (так выразился медбрат: Давайте-ка ее перегрузим) и тем самым помещает в той зоне, где разговаривают уже не с нею, а только о ней: Она спокойна? — Спокойна. — Можно? — Можно. Пока сестра и медбрат закрепляют ремнями ее руки и ноги, она шепчет темноволосой: Я позабыла ваше имя. — Кора, шепчет та в ответ. — Да. Так тому и быть. — Сейчас я сделаю укольчик в левую руку, шепчет Кора, и вы уснете. Добрых вам снов.

Жертвоприношение животных жертвоприношение людей безнравственно кощунственно.

Может, в этот самый первый раз, а может, в ближайшие дни, когда будет и второй раз, и третий, и четвертый, я в образе симпатичного веселого молодого блондина вылезаю из окна нашей квартиры на Фридрихштрассе, которое тотчас накрепко за мной закрывается, и я, с развевающимися волосами, в джинсах и голубой рубашке, стою на узком, опоясывающем дом карнизе, моим пальцам почти не за что уцепиться, но я, сантиметр за сантиметром, продвигаюсь влево, к балкону врача-ортопеда, а балкон этот мне, висящему, или висящей, над грохочущей Фридрихштрассе и, похоже, не замеченному, или не замеченной ни одной живой душою, представляется единственно мыслимой, хотя и невероятной возможностью спасения. Внезапно картина исчезает. Тот, кто сейчас так громко зовет меня по имени, никак не может быть моим спасителем, хотя, пожалуй, он все же меня освободил, а теперь вот и разбудить сумел, конечно, я его слышу, кричит-то он достаточно громко, придется мне наперекор свинцовой тяжести поднять веки, меж тем как он не переставая кричит на меня, спрашивает, слышу ли я его. Да, черт побери, слышу. Наконец мне удается легонько кивнуть головой, и ему этого, кажется, достаточно. Теперь я его вижу. Это один из хирургов, тот, который начисто отвергал сады, — высокий, русоволосый, со светло-голубыми глазами. — Она проснулась. Давайте еще подождем. — Так мы ведь и ждем, это второй голос, от окна. Дежурный пост, догадываюсь я. Зона третьего лица. — Промокните ей лицо, будьте добры. И губы смочите. Капельницу менять не пора?

Я, молодой блондин на наружном карнизе, не приблизилась к балкону ни на миллиметр. Сейчас мне необходимо либо вновь уснуть, чего

мне очень хочется, либо выйти из своего тела. А они, кажется, решили между собой не давать мне уснуть, пока я не скажу хоть одно слово, лучше всего — слово "да". — Вы проснулись? Пожалуйста, ответьте. — Только я и тот молодой человек на карнизе, только мы знаем, как глубоко слово иной раз бывает зарыто в телесном, какие преграды должен одолеть звук, прежде чем минует гортань и вместе с дыханием покинет рот. С хрипом и кашлем я что-то выдавливаю, при большом желании можно истолковать это как "да". Ну да, да, я проснулась, но бодрствовать не желаю, и тут они наконец разрешают мне вновь заснуть. Я мигом отправляюсь обратно на карниз, словно отныне это мое самое любимое место на свете, и опять вишу там, судорожно цепляясь за стену, заточенная в молодом и красивом мужском теле, которое, если беспристрастно оценить мое положение, обречено смерти. Шансы у него нулевые, говорит мне чей-то голос, я спрашиваю: У кого, у Урбана? — и слышу: У кого же еще. — Это Рената. Когда она так говорила со мной? Наверное, когда глухим голосом сказала по телефону: Они его не найдут... — Может, хочешь приехать? — спросила я, с сомнением, мы столько лет не виделись, примечательно, как люди в этой маленькой стране умеют обходить друг друга стороной. Она приехала. Отчужденность между нами не исчезла, разговор получился тягостный, но я выяснила, что после институтского собрания, где Урбана резко критиковали, он с виду спокойно прошел на стоянку к своей машине и уехал. В разговоре Рената обронила: Шансы у него были нулевые. Я поняла, но ничего не сказала. За доли секунды я все поняла, обо всем догадалась и осознала, что это и был его последний шанс — пропасть, пропасть навсегда. Я почувствовала, как во мне ожила давняя симпатия к ней, а к Урбану — что-то вроде злобы: надо же, причинить ей такое!

Много-много позже Рената рассказала мне, что после одной из этих моих операций ее брат, врач, сказал: Шансы у твоей подруги нулевые. А она, Рената, расплакалась и накричала на него: если при такой инфекции действительно выживает всего один процент пациентов, то именно я, ее подруга, и составлю этот процент. На что ее брат легонько пожал плечами: Думай как знаешь. Он, во всяком случае, совсем недавно видел, как пятнадцатилетний подросток умер от нагноения в брюшной полости, которое так ничем и не удалось остановить. После того как я узнала об этом подростке, меня заклинило, я постоянно думала о нем, словно что-то ему задолжала, чуть ли не жизнь, словно меня спасли вместо него.

Я забежала вперед, в то время, когда слово "время" снова наполнится смыслом, когда время будет течь, сжиматься, расширяться, когда опять возникнут временны́е сетки, выигрыши времени и его потери, отрезки времени, его моменты и промежутки, замеры времени и договоренности о времени, периоды спортивных встреч и периоды упадка, когда опять будут До и После, будут дни, слагающиеся из утр и вечеров, будут одновременности и межвременья, когда я буду на время обособляться, потом опять возвращаясь в настоящее, приходить заблаговременно, вовремя (или невовремя), когда смогу с чем-нибудь повременить или, наоборот, пойму, что теперь самое время, когда смогу улучить время или вмешаться не ко времени, чувствовать себя пережитком древних времен, верить в новые времена или, напротив, считать, что настал конец времен, конец света.

Однако ж теперь не существует ни доисторических, ни древних времен, ни доброго старого времени, ни тем паче трезвого настоящего, не существует ни нового времени, ни времени испытаний, ни хода времени. Все бренное, временно́е утонуло для меня в безвременье, мое время свернулось, претерпело коллапс — прямо из операционной она соскользнула во временной провал, наполненный бледным полусветом и видениями, но неподвластный исчислению времени, причем ни лица, которые поочередно возникают перед глазами, ни голоса, которые ей слышны, не способны упорядочить этот хаос. Нет больше ни своевременности, ни упущения, есть освобождение от хода времени, усомнится в этом лишь тот, кто пока не изведал такого, кому пока еще не доводилось из последних сил тащиться вперед по границе времен. Ведь балансирование на узком, очень узком стенном карнизе означает большое напряжение, уже сама невозможность сдвинуться хотя бы на миллиметр стоит огромных сил. Без сил, без решительности, без ответственности я выпала из временно́й сетки. Вне времени можно кое-что сказать: Да, я проснулась, да, мне больно, нет, вполне терпимо, — а вот рассказать вне времени ничего не расскажешь. Рассказывать мне теперь заказано, как заказано знать, спрашивать, оценивать, утверждать, поучать и понимать, обосновывать, делать выводы и открытия, измерять, сравнивать и действовать. Любить и ненавидеть.

Только учиться ее телу не заказано, в этом блеклом промежуточном мире оно учится непрестанно и без ее вмешательства, учится дни и недели напролет неподвижно лежать на спине, учится не шевелить рукой, которая трубками соединена с капельницами, учится самую малость поворачивать голову, чтобы дать себе хоть чуточку роздыха, учится питаться жидкостями, которые в него вливают. Тело учится выживать в неблагоприятных обстоятельствах, а вот мозг — наверно, чтобы ему не препятствовать, — приостановил свою деятельность, отключился, целиком ориентировал себя на телесные сигналы, то есть почти целиком — память работает. По крайней мере, в рудиментарных формах. Произвольно я из памяти черпать не могу. Но мимо прочной льдины в море бессознательного, на которой я обретаюсь, проплывают осколки воспоминаний, незваные и беспорядочные. Например, свет в передней, когда она положила красную телефонную трубку, а в ушах еще звучали слова Ренаты: Ханнес пропал. Утренний свет, падавший в переднюю из открытой двери большой комнаты. Помню, я тогда подумала: вот и это они подслушали. А потом: да они и так знают. И наконец: может, и мне стоит его поискать? — Нет, решительно сказал ты.

Непрестанно, каждую секунду, во мне явно идет борьба, мое тело обороняется от агрессоров, которых в лаборатории лихорадочно ищут, которых патолог назовет "особенно злокачественными", уже назвал, только не ей, и однажды в это нерасчлененное время завотделением говорит: Полагаю, теперь мы их знаем. Выходит, все-таки не зря девушки-лаборантки — рослая блондинка и темноволосая малышка — чуть не ежеминутно тыкали ей иголкой в мочку уха или в кончик пальца и выжимали, высасывали несколько капелек крови, а ординатор — тот, с черной каемкой бороды вокруг рта и подбородка, — вытягивал целые пробирки крови из локтевых вен, укоризненно и все более тревожно приговаривая, что они "еще кое-как годятся". Если бы только старший врач, отвергающий сады, бледный, бесцветный верзила, которому она не сразу находит должное место во врачебной иерархии и в котором уга-

дывает что-то вроде скептицизма, для нее отнюдь не приятного, даже пагубного, — если бы только он не обронил: Главное, чтобы лекарство доставили вовремя!

Это вот вторжение в ее вневременье, в ее запретный срок она едва стерпела. Что означало "вовремя" и откуда должны были доставить лекарство? Ведь ординатор словоохотливо разъясняет, что их, этих возбудителей, нужно, знаете ли, заблокировать! А завотделением, который, как ей сдается, все чаще и чаще появляется у ее койки, не переставая твердит, он-де совершенно уверен, что они отыскали верное средство.

Мне хочется взять на заметку, что они живут со мною не на одной земле. Что видят меня лежащей на койке, но не знают, даже не догадываются, где я на самом деле. Что стоят на Другом Берегу той реки, у которой нет имени, и голоса их доносятся до меня едва внятно, а мой голос до них уж точно не достигает. Что эта секунда, когда спадают все личины, отбрасывается всякое притворство и не остается ничего, кроме голой правды, которая зовется страданием, — эта секунда дарует мне крупицу удовлетворения: вот оно, значит, как. Что в голове у меня мелькает мысль: не затем ли меня прибило к этой границе, чтобы я именно об этом и могла узнать. Или пожелала узнать. Иными словами, что желать и мочь в истоках своих — одно и то же. Теперь я двигаюсь в сфере истоков, в сфере корней. То, что я теперь вижу, непреложно. И скоро изгладится из моей памяти.

Люди под наркозом разговаривают? — спрашивает она у Коры, которая сидит на краю койки. Кора понимает, о чем она: выдают ли они себя. И отвечает: нет, она даже не уверена, видят ли они сны. Мы стараемся подбирать дозировку так, чтобы вы плавали как раз на пограничье, чтобы наркоз был не слишком глубоким, но безусловно и не слишком поверхностным. — Знаю, в свободном паренье, говорю я. — Она не помнит нашего ночного полета, твердит, что и в Берлине-то почти не бывала, а уж на Фридрихштрассе вообще ни разу, она, мол, типичная провинциалка. Кора исчезает, я едва успеваю спросить, наверно слишком тихо: Что есть человеческое счастье? — как вдруг, будто мой вопрос был паролем, из темноты всплывает лицо, молодое, прелестное, брызжущее весельем, и ведь оно мне знакомо, это женщина, которая стояла с мужчиной у Шпрее, а потом прошла через мост Вайдендаммер-брюкке, в ту ночь, когда мы с Корой парили по-над Фридрихштрассе, — это лицо моей тети Лисбет, молодой тети Лисбет, пятьдесят лет назад, когда я была ребенком. Разве она не умерла? И почему идет к соседнему дому, разрушенному бомбой, но вдруг совершенно естественно вновь возникшему на том пустыре, где он стоял раньше. Я иду следом за тетей, которая поднимается по лестнице, почему эта лестница целая и невредимая, чистая, застланная красной ковровой дорожкой, а перила, резные деревянные перила поблескивают и искрятся, когда солнце заглядывает в окошко, где еще сохранился красивый цветной витраж начала века. Значит, войны еще не было. Я иду за молодой женщиной, за моей тетей, поднимаюсь с нею на четвертый этаж, где она останавливается перед дверью со скромной табличкой врача и нажимает кнопку звонка "Д-р мед. Альфонс Ляйтнер". Мужчина в белом халате открывает, я вижу, как они здороваются и как он учтиво ведет молодую женщину к себе в кабинет. У этого доктора нет помощницы. Он предлагает моей тете сесть и назвать причину визита, после чего выслушивает множество жалоб, в частности и на то, что ее врач, доктор Леви, как нарочно, в отпуске. Доктор Ляйтнер

говорит, что несколько раз видел в окно, как она шла по улице. У него, похоже, много времени, если он успевает смотреть из своего эркерного окна на Фридрихштрассе. Он углядел главное — что она несчастна. Разве она не знает, говорит он теперь, что визиты к врачу-еврею чреваты для нее неприятностями, а она небрежно, мечтательно отвечает: подумаешь, прежний-то ее врач тоже еврей, только вот сейчас он в отпуске. И доктор Ляйтнер, молодой, он видится мне молодым, с тонкой усмешкой возражает: Доктор Леви не в отпуске, он больше не вернется. А Лисбет, ей всего чуть за тридцать, говорит: Вот как? Ну, тогда лечить меня будете вы, не так ли, господин доктор? И он, доктор Ляйтнер, вежливо: Если вам так угодно, сударыня. — Да, говорит Лисбет. Да, ей так угодно.

Я же, наблюдая эту сцену, в подробностях известную мне от самого надежного источника, наблюдая этих влюбленных, которым грозит огромная опасность, — я имею теперь благовидно-неблаговидный повод облиться потом, от страха, ведь на одном этаже с евреем доктором Ляйтнером, более не имеющим права лечить арийцев, проживает та самая соседка, которая, специально подкараулив его, сообщает, что по улицам вот только что водили еврея с табличкой на груди "Я развратничал с немецкой женщиной", знает ли он об этом, и доктор Ляйтнер, неизменно учтивый, отвечает, что вполне может представить себе такое. Да, но... — говорю ему я, спустя десятки лет, и он отзывается: тогда он уже перестал дорожить жизнью. А вот Лисбет, моя тетя Лисбет, попросту пропускала мимо ушей все предостережения. Вы знаете, она была так счастлива. Едва ли не смущенная улыбка у него на лице. Кстати говоря, та соседка на них не донесла. И я, вся в поту, — неужели опять ночь? я спала? сплю сейчас? — я невольно представляю себе: Лисбет в бельэтаже. Доктор Ляйтнер в том же доме на четвертом этаже. И она снует по лестницам, туда-сюда, ведь нужно отнести ему поесть, в том числе и пирога, как я слышу. Меня охватывает ужас.

Снова завотделением, что-то зачастил он сюда, пришел заверить ее, что теперь, как он думает, они устранили "очаг", во всяком случае, температура поднялась уже не так сильно, она кивает в ответ на каждую его фразу, соглашается, говорит, что чувствует себя "неплохо". Завотделением, кажется, с этим не согласен, но кивает и уходит. Между прочим, она могла бы использовать появления Эльвиры (та появляется лишь раз в день, рано утром) как паузы в своем безвременном настоящем, но не помнит, сколько раз после пробуждения от наркоза успела увидеть Эльвиру, которая поворачивалась вокруг собственной оси и при каждом повороте пристально изучала каждый предмет, не помнит даже, в самый ли первый раз или позже — вчера? сегодня? — Эльвира рассказывала ей о своем женихе, с которым делит комнату в интернате и после доброго ужина проводит вечера перед телевизором. А потом вдруг, всякий раз совершенно неожиданно, цап ее за руку: Ну, тогда до свиданьица, и всего вам доброго.

Лишь после этого становится светло, хоть мы и держим курс на самый долгий день в году, по крайней мере так твердишь ты. По всей видимости, ты способен теперь говорить только о капризной погоде — уйма гроз по дороге! — да об ущербе, который несет сельское хозяйство от недостатка или же избытка осадков, а всё потому, что ты снова, как я случайно узнаю, встречался с заведующим отделением, стало быть, не удивительно, что о моем состоянии вы оба говорите одними и теми же словами, и я, жаждущая гармонии, не могу не ощущать это созвучие как

благотворное. Ты тоже становишься у окна и смотришь наружу, вид тебе нравится, а у меня пока и в мыслях нет, что когда-нибудь я смогу пройти эти несколько шагов и полюбоваться видом из окна.

В следующий раз, увидев Эльвиру, я не знаю, уж не видение ли передо мною, примыкающее к другим видениям моей иллюзорной жизни, которая постоянно, вновь и вновь избирает местом действия нашу лестничную клетку, и вновь г-жа Балушек в ядовито-зеленом берете, "невообразимая", как ты говоришь, г-жа Балушек настойчиво зовет меня все-таки поглядеть на это свинство, я знаю, она имеет в виду большую вонючую лужу за входной дверью, которую ей, увы, придется убирать, а в этом я ей, честное слово, не завидую, хотя ее дезинфицирующее средство воняет еще противнее, чем лужа, а поскольку я не вполне разделяю ее уверенность, что в этих безобразиях наверняка повинны антиобщественные элементы с четвертого этажа, то осторожно замечаю, что использовать наш подъезд (по причине сломанной двери он не запирается) в качестве писсуара могут и пьянчуги из "Адрии". Мне совсем не хочется потерять ее расположение, которое я долго завоевывала лестью и подношениями. Кербер, адский пес, думаю я и не требую от нее объяснений, когда она прямо на лестнице спроваживает посетителей, направляющихся к нам: мол, нас нету дома! Втайне я думала, что в этой бесцеремонности, вероятно, есть и свой плюс, ведь среди тех, кого спроваживала г-жа Балушек, возможно, были и такие совершенно посторонние люди, которые норовили звонить в нашу дверь в любое время дня и чуть ли не в любое время ночи, чтобы совать мне толстенные рукописи или излагать проблемы, зачастую неразрешимые и до крайности меня удручавшие, хотя сей горький опыт не помешал мне однажды вечером пригласить в квартиру и ту юную пару, а после не в меру долго слушать худого, слегка кривобокого парня, который явился лишь затем, чтобы меня обругать, так как на письмо с сумбурным памфлетом, переданное его сестрой, я ответила чересчур сдержанно, а должна была призвать к выступлениям против государства. Поначалу я отвечала дружелюбно и сочувственно, он же упорно глядел в пол, злился, бычился и вообще держался хамовато, а юная сестра смотрела на него с восторгом. Уже резче, недружелюбнее, агрессивнее я в конце концов спросила, что же именно мне, по его мнению, следовало сделать: возглавить несуществующее движение, а потом вызволять людей, угодивших из-за этого в тюрьму, в том числе, вероятно, и их с сестрой? В ответ он, в оскорбительных выражениях, обвинил меня в трусости и тотчас едва ли не испуганно извинился, но я, умышленно подогревая в себе злость, воспользовалась ситуацией и выставила его за дверь, вместе со строптивой сестрой, — уникальный поступок, который преследует меня и здесь, в этой шахте, откуда я никак не могу выбраться и где стало до того холодно, что она вдруг начинает дрожать, потом трястись, так что койка дребезжит, а у нее самой стучат зубы и сестра Эвелин, наконец-то, после назойливых звонков, появившаяся на пороге, невольно восклицает: Господи! Еще и озноб! — Эвелин опять исчезает, зато пулей прибегает сестра Кристина, сдергивает с пустой соседней койки одеяло, набрасывает на меня, подтыкает со всех сторон и за плечи прижимает меня к постели, а я дрожу, меня колотит озноб, корчит, швыряет из стороны в сторону, ничего хуже этого я здесь не испытывала, и рана, которая нуждается в покое, снова болит сильнее, и самообладание, которым я обычно так дорожу, исчезло, и телом своим я не владею.

В нормальном состоянии она бы никогда себя так не повела, так безудержно и разнузданно, так дерзко и нелепо, даже говорить разборчиво она уже не способна, органы речи тоже объяты дрожью и тряской, озноб передается даже сестре Кристине, которая пытается ее удерживать; сестра Кристина трясется вместе с нею, однако ничего смешного в этом зрелище, видимо, нет, ведь ординатор, спешно приведенный сестрой Эвелин, остается совершенно серьезен, спрашивает, давно ли это началось, сестра Кристина знает лишь про последние десять минут, а она, трясущаяся в ознобе, не ощущает времени, ей вообще не до того; сестра Эвелин — кто бы мог подумать, что она способна развить такую скорость! — быстро притаскивает кислородный баллон, ординатор ловко нахлобучивает маску на лицо трясущейся, велит ей дышать, задает ритм, и тряска в самом деле постепенно уменьшается, дрожь слабеет, сестра Кристина наконец отпускает ее, сует ей в рот термометр, показания которого, совершенно невообразимые, заставляют ординатора — кстати, его зовут доктор Кнабе — воскликнуть: Вот тебе и на!

А она теперь окончательно избавилась от всякой ответственности, или кто-то ее избавил, ну да это все равно. Если завотделением полагает, что еще может растревожить ее, и потому неуверенно и осторожно — кстати, он по-прежнему в зеленом операционном обмундировании — готовит ее к очередным процедурам, то он ошибается. Нужна повторная томография? Ему требуется вполне надежная информация о том, не возник ли новый абсцесс, и если да, то где? Что ж так робко-то? Смелей.

Меня охватывает жуткая бесшабашность. В мозгу мелькает: кто-то покушается на мою жизнь. Я забываю эту мысль, как забываю в последнее время все шальные мысли. Для работы проку маловато, думаю я. Кто-то во мне ухмыляется. Никогда бы я не стала преподносить заведующему отделением этакие повороты мыслей, мы же не в детективном романе. Даже от тебя я бы не потребовала таких фраз, дорогой мой, от тебя в самую последнюю очередь. От тебя я жду теперь главным образом опять-таки фраз о погоде, солнечных и дождливых фраз, ведь я и со своей койки вижу красивые причудливые облака, вижу и как они рассыпают полосы дождя над землей, а значит, и над озерами, ты ведь проезжаешь мимо этих озер, в одном месте даже через дамбу, разделяющую озеро пополам; и я охотно верю, что странно смотреть, как над правой половиной озера идет дождь, а над левой сияет солнце. Какие краски, говоришь ты. Что ж, я могла бы их себе представить, если бы захотела. Или если бы могла.

Кстати, лязг опять возобновился, побоища и мучения на внутренней моей арене опять идут полным ходом, и я вынуждена сказать себе, что была недостаточно благодарна и не насладилась как подобает дарованной передышкой, когда все прекратилось. В моем безвременье я, правда, не могу вообразить себе прекращение, но в следующий раз, если это опять прекратится и будет следующий раз, благодарно предамся покою и тишине. Ясное дело, о таких феноменах с заведующим отделением тоже говорить нельзя. Если что и ясно, так именно то, что о важных вещах речи вообще быть не может. Надеюсь, ты, наконец, возьмешь это на заметку, надеюсь, сделаешь выводы из этого непреложного практического опыта, надеюсь, больше не забудешь, как должен называться последний вывод, вернее, что он означает. Ведь "называться" он не может, так как в том-то и состоит, чтобы избегать наименований, имен, слов: они фальшивы. Вот я и говорю себе, прямо в звенящий гром железа, прямо

в жалобные стоны жертв: Если мне, в моей словесной одержимости, все же опять вздумается употреблять слова, я буду хотя бы знать и допускать, что они фальшивы.

На сей раз он будет присутствовать, говорит завотделением, который успел появиться вновь, теперь в белом, и если он полагает, что это меня утешит, то, пожалуй, прав. Пить мне ничего не придется, уверяет он, даже контрастное вещество колоть не нужно. Я киваю, киваю. Ему незачем извиняться за процессы в моей брюшной полости, с которыми они пока не совладали, на худой конец я могла бы кое-что рассказать ему о хитрых уловках моего тела, желающего меня парализовать, ведь я догадываюсь — хоть и не знаю, не хочу знать самого последнего, — из каких обязательств меня нужно вызволить. Разрешаю себе оправдательную мысль: что ни говори, напоследок было многовато всего, вот в чем дело. Еретическая мысль — хорошо, несмотря ни на что, хорошо оказаться выброшенной из временной сетки, ведь другой возможности больше никому и ничего не быть должной на этой земле не существует. Время как будто бы поджимает теперь других, у сестры Маргот времени явно в обрез, быстро, второпях она меняет мне рубашку, опять насквозь мокрую; нет, в самом деле, говорит она, в вас уже небось никакой жидкости не осталось; быстро, второпях, но ловко она толкает мою койку по коридорам и в двери лифтов, она знает дорогу, ее не пугает грозное оранжевое сверканье компьютерных монстров, которые опять бесцельно снуют в нижнем мире, она решительно командует: Ну-ка, ведите себя прилично! — и те останавливаются.

Она и мою историю болезни не забыла, книжка лежит в изножии, сестра Маргот — человек старательный, помогает даже переложить меня на ту платформу, на которой меня, с закинутыми далеко назад руками, сию минуту задвинут в тесную трубу томографа. Завотделением здесь, он сдержал слово и еще раз объясняет мне, что сейчас будут делать, рядом с ним стоит второй врач, хорошо подстриженный, волосы с проседью, одет в свинцовый фартук, подает мне руку, будто мы на званом приеме, он тоже заведующий отделением, только радиологическим, и останется возле меня.

В кои-то веки хорошая новость. Я теперь вообще не пикну, буду старательно выполнять команды, опять звучащие из-за стекла, и голос, кажется, тот же, молодой женский голос, — дышите, задержите дыхание. Радиоактивная нагрузка в этой трубе значительно меньше, чем та, какую создают обычные рентгеновские аппараты, дозы облучения здесь вообще низкие, иначе бы врач, какова бы ни была свинцовая защита, ни под каким видом не остался в этом помещении, не взял бы меня на минуту за руки, ищущие опоры у другого конца трубы, и не принес бы кожаную подушку, на которой я могу их устроить. Так лучше? Намного, намного лучше. Теперь плечевые суставы не выворачиваются, теперь я могу дышать и не дышать почти с удовольствием.

Думаю, на сей раз у меня получается хорошо, что выучено, то выучено, раньше, я имею в виду, когда была молода; ведь когда-то же она явно была молода, и ее тело сперва через короткие, потом через все более продолжительные промежутки времени подвергали облучению, "просвечивали" для контроля, как тогда говорили. Я воочию вижу дом, где этот контроль осуществлялся: старая, обветшалая постройка, в трещинах снаружи и внутри, каменные лестницы, грязная масляная краска на стенах, протертый линолеум. Раздвижное окошко в деревянной перего-

родке, отделявшей приемную от регистратуры, где по вызову разыскивали мою карточку, всюду огромные помещения, разделенные картонными переборками на клетушки – клетушки для ожидания, клетушки для раздевания, потом комната, где стояли сами аппараты, допотопные штуковины, к холодным пластинам которых нужно было прижиматься грудью, дышать, не дышать, снова дышать. Всегда легкий страх, "остаточный" сказали бы теперь, и безрассудное облегчение, с каким она опять выходила на улицу, – ничего не нашли.

Не после такого ли контрольного рентгена она как-то раз встретила Ренату? Та казалась растерянной, так мне сейчас вспоминается, по привычке спросила, как мои дела, хотя в действительности это ее не интересовало; по длинной неприглядной улице с ухабистой мостовой и разбитым тротуаром мы шли в сторону университета, я осторожно начала ее расспрашивать, и в конце концов она боязливо, точно оправдываясь, выложила: они с Урбаном теперь "по-настоящему вместе". Я невольно улыбнулась, в группе давно это обсуждали, но почему у нее такое несчастное лицо. Несчастное? – испуганно переспросила она, и вид у нее был уже не просто несчастный, но вдобавок и виноватый. Неброская и все же привлекательная, сама она ничего привлекательного в себе не находила, и у нее в голове не укладывалось, что именно Урбан, который мог выбрать чуть ли не любую девчонку, подъезжал к ней, да еще в странной своей манере, то бишь критикуя ее чаще прежнего и чаще всех остальных, и она, отроду неуверенная, робкая, от неуверенности совсем сникла, он же, когда она как-то раз чуть не плача убежала с группового собрания и я призвала его к ответу, только спросил, вежливо наклонив голову: а что такое, разве он вел себя некорректно по отношению к Ренате? Может, я нахожу, что он был к ней несправедлив? Или можно отделить личное от политического? Я этого не находила. И не нашла слов, чтобы выразить свое возмущение. Коротко говоря, Урбан счел своим долгом поставить группу в известность, что недавно в частной беседе Рената рассказала ему: она до сих пор привязана к своей родине, Силезии, хотя, разумеется, признаёт границу по Одеру–Нейсе. Чувства у нее не поспевают за разумом, это не позор, сказал Урбан, но Ренате невредно услышать, что она должна работать над собой. Рената не сказала ничего, а когда ее спросили, согласна ли она с такой оценкой, кивнула в ответ, хотя и побелела как полотно. Она ушла первая. Помнится, я тогда сказала Урбану: По-моему, тебе не мешало бы присмотреть за Ренатой. Само собой! – весело отозвался он. Безусловно!

Э-эй, мы сбились с такта! Она и сама заметила. Дыхание сбилось с ритма. Ничего страшного, говорит доктор в свинцовом фартуке, снова дотрагиваясь до ее пальцев, через несколько минут все равно перерыв, мы уже изрядно продвинулись. Еще только перерыв? Не может быть. Она опять дышит неправильно, и в голосе молодой женщины за стеклом опять сквозит нетерпение. Еще раз! – говорит она. Внимание! Все получается, и после перерыва тоже, ее ненадолго выдвинули из трубы, велели пошевелить руками, сообщили, сколько еще приблизительно продлится процедура – еще столько же, пожалуй, трудновато представить себе такое, но человек выдерживает куда больше, чем думает, говорила моя бабушка и выдержала много больше, чем могла бы выдержать я.

Кстати, вздумай я рассказывать о молодых годах Урбана, мне пришлось бы смотреть в оба, чтобы не переусердствовать в пылу праведно-

го негодования: Ага, каналья, прищучили мы тебя! Не прищучили мы его, не ухватили — эта фраза имеет теперь фатально двойственный смысл. Мы вообще ни разу его не прищучили, он всегда уходил от нашего приговора, а вот в Ренату вцепился мертвой хваткой и больше ее не выпустил, она еще толком не разобралась, чего хочет и хочет ли вообще, от него, вместе с ним, а уже вдруг успела сказать "да". Сама не знаю как, сказала она мне, мы стояли на Брюле, в витринах выставили первые меха, мы стояли и смотрели на витрину, где нам спокойно могли бы продемонстрировать не дорогое меховое манто, а луну — эффект был бы тот же. Но ты ведь любишь его, беспомощно сказала я. А она обронила: Я вправду не знаю, — и выглядела ужасно усталой. Вообще-то Урбану делает честь, что он выбрал себе эту незаметную, однако же чуткую и преданную девушку, не способную никому причинить зло.

Так, говорит врач в свинцовом фартуке — сейчас, когда он стоит возле самой ее головы, ей видно, что он немолод, седые волосы подстрижены коротеньким ежиком и придают ему моложавый вид, он загорелый, лето все ж таки, легко представить, как он на парусной яхте скользит по озеру, озер-то здесь великое множество; две глубокие складки бегут от крыльев носа к уголкам рта, но они ему даже к лицу, — та-ак, говорит он. На сегодня всё. Он помогает ей перебраться на койку, прощается, даже поклон отвешивает, званый прием окончен. Сейчас вам действительно нехорошо, говорит он напоследок, но это не навсегда. Лекарства есть, и мы наверняка их найдем.

Совсем не эти фразы она хочет услышать и в состоянии выдержать, как же он не понимает! Что значит "нехорошо", что значит "не навсегда"? Они всегда много говорят, когда день выдается долгий, замечает сестра Маргот, но ведь неприятное ощущение в области желудка испытывает не она, и это ощущение отступает очень медленно, приемничек и тот не помогает, время старинной музыки еще не пришло, под вечер, когда у больных поднимается температура, все станции передают так называемые "информационные программы", которых она боится как чумы и которые после первых же обрывочных фраз, большей частью жутковатых, поспешно выключает. Стало быть, где затонул паром, она до поры до времени выяснять не будет, как не будет выяснять и число погибших при наводнении, еще от нее требуют представить себе Вену, где идут переговоры о ракетах с атомными боеголовками, но она не может, все города, где происходят переговоры по каким-то безумным вопросам или какие-то встречи "на высшем уровне", оборачиваются для нее неживыми абстракциями, по которым, скажем, фиакры разъезжать никак не могут. И какая у нее температура, она тоже знать не хочет, не спрашивает и не протестует, когда сестра Маргот приходит с "жаропонижающим" уколом, которого, как им обеим известно, она не переносит. Ведь еще больше ослабеть она не может, постоянное вливание "питательной жидкости" через капельницу в вену должно принести результат, может быть, уже принесло, разве завотделением не обещал "восстановить" ее организм, так, может быть, это восстановление идет в ее клетках полным ходом, только она не замечает?

Восстанавливайте, стройте! — знакома ли ей эта песня, спрашиваю я у темноволосой женщины, она — кстати, я не знаю, в которой из многих реальностей, где я обретаюсь, на внутренней моей сцене или во внешнем мире, — снова сидит на краю моей койки и, как все врачи, старается скрыть тревогу, а владеет этим искусством не так хорошо, как завотделе-

нием или бледный долговязый старший врач, самый непроницаемый и безликий из всех моих докторов. Нет, Кора этой песни не знает и интереса к ней тоже не проявляет, она щупает мой лоб, считает пульс и говорит: Значит, опять! — но я ведь еще понятия не имею, что наутро ей снова предстоит меня усыплять, она боится и не может не сказать мне об этом, только завотделением ни в коем случае не должен заметить, что я уже все знаю, вообще-то поставить меня в известность — его задача, видимо, он где-то задержался. Неужели врачам никак не обойтись без этой табели о рангах — завотделением, старший врач, младший врач, неужели без этого нельзя? — спрашиваю я у нее и слышу в ответ короткий, рассеянный смешок. Но не могу удержаться и делюсь с нею проблемой, которая очень меня занимает: Возможно ли помыслить эту вот передрягу, в которую я угодила, как наказание? Кора приходит в ярость. За что?! — возмущенно восклицает она. — Что это вы придумали?! — кричит Кора, и на моей внутренней сцене отдается гулкое эхо. Да, что я, собственно, придумала?

И что себе думает завотделением, столь очевидно стараясь подбирать слова помягче, чтобы сообщить ей о необходимости новой операции, судя по компьютерной томограмме, другого выхода нет, но теперь он совершенно точно знает, где расположен очаг, знает и как до него добраться, во время операции он может прикрепить перед собой компьютерный снимок и ориентироваться по нему, это же просто роскошь, вот какие слова он произносит. А она говорит “да”, “да”, только “да”. Он огорчен, но принимает деловой вид и, уже на ходу, быстро накрывает ладонью ее руку и легонько пожимает, от этого у нее могут и слезы навернуться. Словом, как выражается сестра Маргот, “вся петрушка снова-здорово”.

Наконец-то мне вспоминается слово, метко характеризующее нынешнюю ситуацию, думаю я. Я отравлена. И нуждаюсь в дезинтоксикации, очищении, чистилище. Эврика! Удивительно, что это открытие пришло так поздно. И оказалось таким мучительным. Мучительнее самого отравления. Заражение наверняка состоялось давно, инкубационный период, продолжавшийся не один десяток лет, закончился, теперь начинается исцеление — как тяжелая болезнь. Остается только дать ей название. Назвал — изгнал. Где я это слышала?

Ночь после укола — сплошной кошмар, в палату поминутно кто-нибудь да заглядывает. В конце концов она засыпает. Всякий рассудок гибнет! — грозно и непререкаемо объявляют ей среди ночи, есть некий персонаж, произносящий такие вот фразы. Все остальное она уже знает: Эльвира, дребезжание ведер, вялое ее рукопожатие, безмерно утомительная процедура мытья, сестра Кристина с марлевым чепчиком и укол транквилизатора. Ну, еще разок сделаем им одолжение, но больше — ни-ни, ни под каким видом! Светлые кудряшки очень мило обрамляют ее лицо. Она сама везет пациентку в хирургию, в предоперационной на сей раз ждет другая сестра, Надежда, тоже пробует говорить с нею, но испытывает затруднения, потому что ее немецкий далек от совершенства, она родом из Ленинграда, замужем за здешним инженером. Надежда поворачивается к пациентке спиной, набирает шприцы, а та говорит: Хорошее имя — Надежда, по смыслу; сестру, кажется, радует, что она это знает.

Завотделением приходит сообщить, что на сей раз подступит к очагу сбоку, то есть сделает второй разрез. Он кажется ей очень добросове-

стным человеком, и Кора Бахман, под своей маской, опять тихонько смеется, когда она говорит ей об этом, чуть заплетающимся, непослушным языком. Вы единственная, кто при мне иной раз смеется, говорит она Коре, та сразу делается серьезной. Трое хирургов в зеленом молча стоят с поднятыми руками у операционного стола. Почетный караул, насмешливо говорит она. Сегодня никого рассмешить не удается. Можно начинать, говорит старший врач.

Это не погружение во тьму. Беспамятство объемлет меня не постепенно. Перехода нет. Только — здесь и уже не здесь. Что во мне происходит, спрашиваю я Кору, что разыгрывается, пока меня нет? — Мы не знаем, отвечает она. Правда, не знаем. Разъединяем мозг и тело, не даем мозгу регистрировать восприятия, которые заявляют ему о себе. Больше мы не знаем ничего. А остаточный риск? — спрашиваю я. Она молчит. Некоторый остаточный риск, конечно, есть, говорит старший врач. Завотделением, нехотя: Минимальный. Кажется, он совершенно точно знает, что я хочу услышать. И умирает человек точно так же? — спрашиваю я. Теперь и завотделением поневоле признаёт: Мы не знаем. — С каким же мозгом вы разъединяете связь? — спрашиваю я у Коры. Наверняка ведь с высокоразвитым мозгом млекопитающего, но не с мозгом рептилии. А стало быть, вполне возможно, что этот последний продолжает воспринимать раздражения и беспрепятственно передает их в соответствующие регионы моего тела, а значит, я — я только как пример, говорю я Коре, у нее опять ночное дежурство и, похоже, есть немного времени, — познаю́ себя как рептилия, хотя, разумеется, ничто из этого опыта не переходит в мою сознательную жизнь, а впрочем, кто знает? Вдруг отчасти именно потому я все чаще и кажусь себе этаким динозавром?

Кора опять улыбается — кстати, в ее улыбке нет и тени превосходства, — свет она не включала, лишь квадратный ночник на плинтусе струит тусклое сияние. Оконная занавеска наполовину задернута, тени облаков плывут мимо почти круглого месяца. "Снова топишь глушь и даль"[1] — знаете? — спрашиваю я у Коры. В школе, говорит она, я стихов не учила, у нас была противная училка. Я вдруг понимаю, что не представляла себе Кору без стихов. Надо все продумать заново. Она опять все время клала свою руку на те места моего тела, которым это приносит облегчение, влажной салфеткой осторожно протерла мне лицо, подложила под пятки свернутое одеяло, ведь они наверняка болят. Да, болят, уже который день, но я думала, так и должно быть. Пусть Кора спокойно сидит и не убирает ладонь с моего плеча, я воображаю, что она вновь улыбается, и сонно говорю: Но вы ведь мне в дочери годитесь, а она в ответ: Почему "но"? — тут ее мобильный телефон начинает пищать, она тихонько роняет в трубку, что сейчас придет, а мне говорит, что ей пора. Ночь у меня будет спокойная.

Кора, ночная и лунная женщина, хранительница моего сна, должна бы знать лунное стихотворение. "Отрешаешь вновь печаль / От души вполне". "Решать", "разрешать", "отрешать" — эти слова, насыщенные магическими силами, уносят меня на ту сторону и вниз. В глубину. В шахту. "Вот так спускается он в гору средь ночи темной, / с фонарем". Мое тело — гора, шахта. Огонек на каске рудокопа освещает путь впереди. Микроскопически маленький, он светит тускло, превращая каждую со-

1. Здесь и ниже цит.: И.-В. Гёте. К месяцу. Перев. А. Кочеткова.

матическую клетку в огромную пещеру, каждый сосуд — в речное русло, а кровь — в поток, который толчками расходится по широко разветвленной сети протоков, огонек же спускается по ней все глубже, ощупывает органы, причудливые горные массивы, болотистые равнины, дренажные системы, существующие сами по себе и сами для себя. Какое упоение сутью, после стольких лет, перегруженных значимостью, искромсанных воззваниями и антивоззваниями. Я отдаюсь на волю потока, но я ли это еще? Огонек сознания — здесь, внутри и внизу, его терпят лишь до поры до времени, пока он не становится помехой, — направляет меня дальше, через запруды, сети, противоборства, я с легкостью двигаюсь, плыву и скольжу в сфере уже почти бестелесного, призрачные, зримые процессы, не поддающиеся описанию, но все же приводящие меня к ошеломительному выводу, что есть некая сфера, или как ее там назвать, где различия меж духовным и телесным исчезают, где одно воздействует на другое, одно вытекает из другого. Одно *есть* другое. То бишь существует лишь Единое. Стало быть, здесь — обитель изначального, сущностного, и имеет смысл это узнать?

Внезапно мы — выходит, я больше не одна? — оказываемся в точке конфликта, на арене битвы, в гуще схватки. Жуткая картина, мороз по коже идет. Если все так... Кто же остановит эти злодейские массы? Необозримые легионы тлетворных клеток, атакующих здоровую ткань. Но так ведь нельзя. Надо что-то делать. Я — то "я", что последовало за мною сюда, — решает вмешаться и собирает мои силы. Выясняется, что они мне послушны и со всех сторон спешат сюда. Командная власть в моих руках. Я думаю, со всей энергией, на какую только способна: уничтожьте их! Мои силы повинуются. У меня на глазах антитела храбро устремляются в бой и истребляют целые полчища мерзких тварей, даже преследуют отступающих. Отлично. Так держать. Но это утомительно. На большее мы нынче не способны. Я дергаю за веревку. Поднимаясь, сознание вновь обретает значимость и забывает глубинные сцены.

Да, говорит ночной врач, раневая боль, могу себе представить. Если хотите, сделаем еще укол, вам он полагается. Она не хочет. Не хочет, чтобы опять разъединили связь между отдельными частями ее трехкомпонентного мозга. Действие наркоза еще не прекратилось. Как вам угодно, говорит ночной врач. По ее просьбе он отодвигает занавеску. Посреди большого окна в ясном небе сияет луна. "Называл ли я моим, / Что ценней всего". Если б могла, она бы рассмеялась — с такой точностью другой человек два столетия назад выразил ее ощущение. И что же? — однажды спросила я тебя. Что мы сделаем, когда то, что ценней всего, кончится, и кончится навсегда? Ты не любишь таких вопросов. Что значит "навсегда"? Откуда мне это известно. Между прочим, нельзя ведь просто взять и прекратить, потому только, что все уже не очень-то ценно. — Почему же? — подумала я, но не сказала. Почему же, собственно, нельзя? "Лютой скорбью век томим, / Вечно жду его". Теперь я могу, и с благодарностью, уцепиться за слово "скорбь" и не обязана сама произносить его.

Мы — безнадежные романтики, порой упрекал Урбан нас с Ренатой, никак не можем отделаться от идеализации авторов. Вместо того чтобы добиваться объективности. Мы вели с ним бесконечные дискуссии, помнишь, только ты один умел принять равнодушный вид и пожать плечами. Клейст? Это он-то — предтеча иррационализма? Неужели вы не видите, что Урбан понятия не имеет о литературе? Вот и всё. Но это было

не "всё". По крайней мере, далеко не всё о нашем друге Урбане. А о литературе он понятие имел, и даже очень. Помнишь, что однажды сказала ему уважаемая всеми нами преподавательница? Иногда, дорогой Урбан, можно подумать, вы любите литературу. Помнишь, как он тогда смутился?

Сна нет. Мне надо постараться отбросить на ночь кой-какие мысли. Еще до рассвета в голову приходит странная идея: незадолго до наступления возраста, когда, как я себе представляю, реальность блекнет, мне удалось еще раз испытать нечто реальное. И, между прочим, весьма невероятное. Чему я верить не вправе, ведь такая вера чертовски опасна. Однако же, думаю я в тот ясный час меж тремя и четырьмя утра, когда горячка сходит на нет, именно так обстоит с реальностью вообще: когда мы совершенно не можем в нее поверить, тогда-то она гуще всего. Ранним утром наконец на час приходит сон, приходит греза: моя мама на коленях у своей матери, обе вморожены в ледяную глыбу, а мой отец, склонясь над ними, тщетно пытается вызволить их из льда. Я, ребенок, на закорках у отца.

Проснувшись, она чувствует, что замерзла.

Перед нею стоит Эльвира, подает ей руку, осматривает, поворачиваясь, всю палату, потом дребезжит ведро. Сегодня она рассказывает, какие колбасы у них в интернате дают на ужин и что ее жених любит салями, а она сама — ливерную колбасу, поэтому бутербродами всегда можно поменяться, луч счастья пробегает по ее лицу, и отблеск его достается мне. Я вспоминаю бутерброды с ливерной колбасой, которые пятнадцатилетней девочкой в спортзале школы имени Германа Геринга делала под конец войны для беженцев, искавших приюта в нашем городе, еще не оставленном обитателями. Может, с той поры во мне и единоборствуют тоска по безопасности и сознание, что ее не существует?

Появляются другие, суетятся вокруг нее. Проверяют дренажи, меняют капельницы, моют, укладывают предмет, каким было для них мое тело. Такого я себе в жизни бы не пожелала, но в состоянии ли я сейчас пожелать, чтобы это незамедлительно прекратилось? Нет, не в состоянии. Отсюда следует, что пожелания требуют больше энергии, чем повествовательные фразы, энергии, которой у меня нет.

Число диагнозов, какие я не могу высказать заведующему отделением, растет. Надеюсь, он утаивает от меня меньше, чем я от него. И тут он преподносит мне сюрприз. Спрашивает, испытующе глядя на меня и словно в самом деле ожидая ответа: Почему ваша иммунная система так слаба?

Он, мой завотделением, бросает мне этот вопрос. Не знает разве, что я и без того мусолю его, пережевываю так и этак? Считает, что я уже достаточно восстановилась? Не видит другого способа вспугнуть меня, кроме подобных вопросов?

Уже в зеленом халате и зеленой шапочке, он быстро осведомляется у сестры Кристины о моей температуре, я догадываюсь — не вижу, ведь он прекрасно владеет собой, — что он недоволен услышанным, не совсем доволен, он нипочем бы не вскинул из-за этого бровь, как позднее вскинет ее ординатор доктор Кнабе, завотделением только говорит: Ладно, будем считать терпимо, принимая во внимание проведенную операцию. Пока терпимо, скажет доктор Кнабе и снова опустит брови. О моем иммунитете больше не упоминают, только вот температура в течение дня опять поднимается, а это они, по-видимому, уже не могут и не

хотят терпеть. Если это реакция на оперативное вмешательство, то слишком бурная, вдобавок не здоровая, не нормальная, а знак — они не говорят чего. Долговязый, бесцветный старший врач, видимо дежурящий во второй половине дня, когда остальные уходят, тоже немногословен.

И ты, разумеется, опять здесь и, разумеется, успел, как всегда, поговорить с заведующим отделением, но и тот, видимо, мало что говорит. Температуру надо понизить, но укола я не хочу, мне потом будет плохо. Как ребенок, я хочу обертывания на икры. Завотделением, который снова заглядывает в палату, хотя его дежурство явно давно закончилось, говорит: Почему бы нет? Ему тоже как-то раз делали такой укол, и он тоже почувствовал себя плохо, так что он меня понимает. Теперь он произносит такие эмоциональные слова, как "понимать". Стало быть, сестра Теа, не сочтите за труд... Будьте добры.

Сестра Теа кивает, я вижу ее впервые, она только сегодня вышла из отпуска. Маленькая, невзрачная. Завотделением удивляется, и я тоже удивляюсь, когда он находит на столике все необходимое для осмотра и перевязки моих операционных ран, ведь до сих пор такого не бывало почти ни разу. Даже пластиковые перчатки на месте, его размера, несколько пар, ведь одна-две вечно рвутся уже при надевании. На качество они повлиять не могут. Завотделением не чертыхается, ему это несвойственно, сегодня он вообще воздерживается от замечаний, невозмутимо бросает рваные перчатки на лоток, который у сестры Теа опять-таки под рукой, она ловко вскрывает новую упаковку, третья пара остается цела. Сестра Теа меж тем обнажила мои раны, она знает, сколько жидкости отошло через дренажи, может охарактеризовать консистенцию этой жидкости, знает наперед, что понадобится заведующему отделением в следующую минуту: пинцет, марлевая салфетка, дезинфицирующий раствор, приятный для кожи пластырь — у нас он есть? Конечно. Сестра Теа заранее приготовила полоски пластыря и теперь отцепляет их от края ночного столика, я почти не чувствую, как она закрепляет пластырем марлевые салфетки на ранах, вот и старую ночную рубашку — насквозь мокрую — уже с меня стянула и свежую уже надела. Завотделением все это время молча наблюдал за нею. Большое спасибо, сестра Теа, говорит он и уходит.

Потом вы оба — сестра Теа и ты — приступаете к обертываниям. Первые полотенца быстро высыхают, но, по моему ощущению, она считает это вполне нормальным. Надо просто запастись терпением, почаще их менять, и этим занимаешься ты. Сестра Теа тоже предпочитает такое натуральное средство вечным уколам, что нас обнадеживает. Полотенца меняют вроде бы чуть пореже? Возможно, мне только так кажется, я не могу следить за временем, даю себе волю, соскальзываю вниз, но слышу, как ты, снова обертывая мне икры холодным компрессом, сообщаешь: Сеногной сегодня, и дождь лил как из ведра. Значит, жди мокрого лета. С зерновыми уже неприятности начались. Отсырело все. Солнца слишком мало. Вдобавок то и дело грозы, говорит сестра Теа, которая живет в деревне неподалеку, у родителей пока, но хотя бы уже не в одной комнате с братом, он сейчас в армии. Она щупает ладонью мой лоб. Говорит: Ну, пожалуй, можно. Меряет температуру. Так-с. Человек становится скромным. Не то чтобы блестяще, но все-таки температура спала. Несомненно.

Кора, которая якобы забежала на минутку — по службе ей у меня сегодня, слава Богу, делать нечего, — тоже считает температуру "сносной" и думает, что обертывания надо продолжить. Ваш муж может ехать домой, говорит она, вместо него побудет она, Кора. Нет, ночевать подле жены ему нельзя, придется повременить. Кора кокетничает, ей это не идет. Завтра мир опять будет выглядеть по-другому. На сегодня, думаю, мы свое дело сделали. Ты ей не веришь, притворяться ты никогда не умел. Что означает твое добровольное желание заночевать в больнице? Эй, говорю я, давай-ка без выкрутасов. Это наш секретный код; да, конечно, говоришь ты, но лицо у тебя не светлеет.

Когда ты ушел, когда Кора и сестра Теа перестали менять полотенца, я, чтобы отвлечься, поддаюсь искушению включить радио. Несколько тактов музыки, которая мне нравится, Вивальди, узнаю я, и тотчас переход к новостям, а я не успеваю быстро выключить, потому что вынуждена манипулировать кнопками лежа, вот и слышу поневоле, что в подвале одного из берлинских домов найден мертвый младенец, убитый, как выяснилось, своим двенадцатилетним братом. Во мне за'ипает паника. Что теперь прикажете делать с этим мертвым младенцем? Будто эмбрион в стеклянной реторте, он уже плавает под моей сетчаткой, неистребимый, лишь через некоторое время я узнаю этот образ, но тогда я уже припустила бегом, вслепую, как мне кажется поначалу, опять нырнула в сплетенье своих сосудов, плыву, дрейфую в водовороты, где не за что уцепиться, совершенно нечаянно меня опять выносит на поле битвы, которое я узнаю с трудом, так оно переменилось, причем к худшему, поневоле констатирую я, больное и здоровое уже неразличимы, моя попытка повлиять на это остается безрезультатной, какая-то часть меня понимает, что это значит, но я уже двигаюсь дальше, я в другом месте, бреду по колено в воде или в чем-то ином — в крови? — неизменно выбирая в узловых пунктах путь, уводящий все глубже в потемки. Это уже не сосуды, я погружаюсь в глубины непроглядной тьмы, а перед глазами неотступно маячит эмбрион, светится в своей ретогрте — гомункул? — и, между прочим, растет.

Лестницы давно позади, должно быть, кто-то дал мне ключ от подвала, г-жа Балушек? Вряд ли, она свои ключи дает неохотно: Что это вам понадобилось в подвале, разве у вас там уголь? Газовая печка у вас возле наружной стены, всякому видать. То-то и оно! Значит, я, скорей всего, попросила ключ у двух дам, двух кузин, которые с недавних пор называют свой аптекарский магазинчик (он расположен прямо возле нашего подъезда) бутиком; в упорных стычках с местными властями сестры добились разрешения изменить ассортимент и теперь вместо мыла, зубной пасты и туалетной бумаги торгуют дедероновыми платками, подсвечниками и парфюмерией; в подвале у них, конечно, есть склад, и они охотно дают мне ключ, на сей раз даже закрывают магазинчик на десять-пятнадцать минут раньше, чтобы другие клиенты не помешали им рассказать мне о том работнике почты, который, как и я, хотя по иным причинам, нет-нет да и просит ключ от подвала: в распределительном шкафу якобы опять какой-то телефонный подвод не контачит, надо чинить. Однако дамы, хозяйки ключей от нижнего мира, знают (как, впрочем, и все в доме), что телефонные соединения в полном порядке — или у вас вправду телефон не работает? То-то и оно. Так они и сказали этому немногословному, но вполне вежливому человеку, который, несмотря на аккуратный новенький комбинезон или как раз по этой причине, ни-

как не может быть монтером из телефонного ведомства Германской почты, — сказали прямо в лицо и якобы даже спросили — ведь что им, собственно, было терять? нечего, — не пришел ли он вновь заменить у нас магнитофонные кассеты? "Магнитофонные кассеты" — эту фантастическую идею подсказал кузинам запломбированный светло-зеленый металлический ящичек, который находился в одном из ближних подвальных отсеков и к которому, как мы убедились, вел один-единственный провод, к сожалению именно от нашего телефона, и выходил оттуда опять-таки только один провод, чтобы через несколько метров как бы невзначай, с невинным видом, присоединиться к толстому пучку кабелей, что тянулись от других телефонов нашего дома и исчезали в большом, доступном каждому распределительном шкафу. Мы хоть и не верили, что в металлическом ящичке прятались "кассеты", однако считали целесообразным получать от владелиц бутика (одна была светлой блондинкой, вторая — жгучей брюнеткой, обе средних лет, но хорошо сохранились) надежную информацию о визитах монтера, каковые давали нам пищу для размышлений, иной раз мы даже задавались вопросом, уж не затем ли он исправно просил у дам ключ от подвала, чтобы мы об этом узнавали. О таких делах тоже ходили слухи.

Так вот, коль скоро я здесь, внизу, и отваживаюсь дальше, чем когда-либо, зайти в лабиринт подвальных переходов, я наверняка побывала у хозяек бутика, наверняка с грустью выслушала, что вскоре они перестанут торговать и тем бальзамом для душа, который я до сих пор всегда могла у них купить, хотя он был товаром дефицитным. Даже представить себе не могу, сказала я, ежедневный душ без этого бальзама, и тут брюнетка заговорщицки спросила у блондинки-кузины: Как ты думаешь, Марлиз, не стоит ли нам? — а Марлиз в знак согласия опустила веки: конечно, Жанетта. Пять флакончиков ромашкового бальзама "Иветта", запакованные по отдельности, уложены в пластиковую сумочку, на которой изящными буквами написано "Бутик Жанетта" и которую я, помнится, поначалу еще несла в руке. Где-то я, наверно, потеряла ее или оставила, когда, нащупывая мыском ноги дорогу, пробиралась в очередное темное подвальное помещение.

Лампочка здесь явно перегорела давным-давно, никто, в том числе и телефонные монтеры, сюда не забредает, много лет освещение здесь никому не требовалось. А реторта с гомункулом меж тем летит впереди — или, может, надо говорить "скользит"? — огибает углы, которых я не вижу, влечет меня дальше, туда, где порой еще действует разболтанный выключатель и лампочка, густо покрытая пылью, заступившая на службу, вероятно, в войну или сразу после войны, испускает тусклый неверный свет. Сложные, многомесячные работы по перестройке верхних частей жилого комплекса не коснулись подземелий. Как доверительно сообщил мне прораб, нет ни планов, ни карты, нет даже людей, знающих протяженный подземный лабиринт, с которым безусловно соединены наши подвалы. Если кто заблудится, пиши пропало, добавил прораб, впрочем, он провинциал, боязливый, не расположенный к всему столичному мекленбуржец.

Оказывается, каждое помещение соединено со следующими, где я еще никогда не бывала, позади в углу дощатая дверь, открывается она с трудом, потому что скребет по полу, но я, хоть и с робостью, должна ее отворить, мне нужно найти подвал, где был убит младенец. Подвалы образуют непостижимо сложную систему, теперь я бреду по щиколотку в

пыли, по углам кучи древнего мусора, однажды прямо у моей ноги не спеша пробегает крыса. Лишь теперь я замечаю, что светящаяся реторта с гомункулом исчезла, ничто уже не указывает мне дорогу, направление я потеряла давным-давно, знаю только, что должна отыскать убитого младенца, хотя несказанно его боюсь. Однажды приходит время вспомнить забытое. Я блуждаю в лабиринте могил детей, не произведенных на свет, мне нужно добраться до сути выражения "не произвести на свет", а при этом я иду, спотыкаюсь, ощупью бреду дальше, теперь даже и тусклых лампочек нет, теперь у меня в руке слабенький карманный фонарик, кому-то очень хочется, чтобы я продолжила путь, и он подумал за меня о самом важном. Сейчас я следую за некогда белыми, а теперь едва заметными стрелками на стене, под которыми виднеются буквы, незабываемые для тех, кто их в свое время знал: бомбоубежище. Мельком я удивляюсь, что бомбоубежище находилось в подвальном лабиринте так далеко от нашего дома, ведь наш дом почти не пострадал, а вот в соседний дом при одном из последних воздушных налетов попала фугасная бомба и полностью его разрушила, и тут я впервые невольно задаюсь вопросом, все ли жильцы соседнего дома тогда погибли, вдруг некоторые сумели спастись — к примеру, смогли с той стороны пробиться сюда, к этому месту, где я сейчас стою и разбираю поблекшую надпись: В СТЕНЕ ПРОЛОМ! Рефлекторный ужас: в какой стене?! Но здешняя стена проломлена очень давно, я карабкаюсь по осыпающимся под ногами обломкам, согнувшись пролезаю в дыру и попадаю в помещение, как две капли воды похожее на то, откуда пришла, нет, даже тождественное, а следующее — точь-в-точь как предпоследнее, я узнаю его по остаткам деревянных стеллажей у прежде правой, а теперь левой стены, уставленных пыльными, грязными банками, на этикетках которых я с трудом разбираю некогда аккуратные надписи, сделанные зюттерлиновским почерком немецкой домохозяйки: вишня, 1940 г.; крольчатина, 1942 г.; я пытаюсь представить себе, где эта женщина в 1942 году, в разгар войны, достала крольчатину, может, у ее родителей был садовый участок, но что меня тревожит по-настоящему, так это подозрение, а затем и уверенность, что, пройдя сквозь пролом, я очутилась на территории, с зеркальной точностью повторяющей ту, что находилась перед проломом. Есть тут и стрелки на стенах, указывающие в противоположном направлении, и мусор по углам, наконец и первый, зловеще и знакомо разболтанный выключатель, и крыса, убегающая прочь. Что же это такое, неужели я обречена вечно блуждать во все новых зеркальных коридорах. Я чувствую, что иду быстрее, дышу учащеннее, мне нужно выйти отсюда, и тут вновь появляется гомункул, в своей реторте, испускающей голубоватый свет, это уж чересчур.

Вдруг подходит женщина, молодая, привлекательная, полная жизни, подхватывает гомункула на руки — он уже вырос до младенца, — я узнаю ее, кричу: Лисбет! Но меня не видно и не слышно. Шапка-невидимка, бывало такая желанная. Женщина спешит прочь, в панике, я устремляюсь за ней, хочу успокоить, спасти, а к ней подходит мужчина, невысокий, хрупкий. Обнимает ее, гладит по спине, утешает, берет у нее ребенка, который, стало быть, не убит, а жив-здоров, теперь они втроем идут впереди, мы попадаем в те тускло освещенные подвальные помещения, которые мне уже знакомы, а вот и большой подвал, дощатыми переборками разгороженный на отсеки для множества квартиросъемщиков, в широкие просветы меж досками я вижу старомодные велосипеды,

кучи угля, аккуратные поленницы дров, всякую рухлядь, пачки газет, "Фёлькишер беобахтер" — читаю я и, будто во сне, иду дальше, безболезненно погруженная в 1936 год, будто во сне, иду по подвалам соседнего дома, разбомбленного сорок четыре года назад, в 1944-м, иду следом за семьей тети Лисбет, которая, как мне известно, вовсе не семья и под страхом гибели таковою стать не может и не станет, взбегаю с ними вверх по подвальной лестнице и ключом, полученным от владелиц бутика, незаметно отпираю дверь, а за этой дверью — я уже почти не удивляюсь — стоит моя пластиковая сумочка с бальзамом для душа. Следом за Лисбет, которая меж тем успокоилась и бережно несет своего малыша, я поднимаюсь на второй этаж, к двери, где значится имя ее мужа, а следовательно, и ее собственное и ее сыночка, тут она, стало быть, останавливается, достает из кармана халатика ключ, и их спутник, отец ее ребенка, который здесь должен с ними расстаться, обнимает ее, прежде настороженно оглянувшись по сторонам. Меня бросило в жар при мысли, что он может увидеть семилетнюю девочку, меня, бросило в жар от вопроса, как бы поступила эта девочка, узнай она, что у ее тети внебрачный ребенок от еврея. Он меня не видит, и я, с тяжелым, стесненным сердцем, незримо иду за этим мужчиной, а он медленно, ссутулясь поднимается еще на два этажа вверх по лестнице давным-давно не существующего дома, к двери с невзрачной, надписанной от руки картонной табличкой: "Д-р мед. Ляйтнер, практикующий врач, прием ежедневно, 17—19 час. (для арийцев запрещено)". Доктор Ляйтнер слегка кривит уголки рта, он знает (и я теперь тоже знаю), что и пациенты-евреи появляются редко, все реже и реже, их в этом городе почти не осталось, и что ему не выжить без супов, которые каждый день приносит тетя Лисбет, бесстрашно несет по лестнице наверх, не думая о том, кто может ей встретиться. Он бы погиб без хлеба, без пирогов, испеченных Лисбет, которая любит его.

Когда я просыпаюсь, ночь уже близится к концу. Кора опять здесь. Я говорю ей, что не нашла убитого младенца, он, видно, все-таки не в нашем подвале, она не отвечает, вместе с сестрой Кристиной читает показания термометра. Эльвиру, которая по обыкновению упорно рвется в палату, на сей раз выпроваживают: Не сегодня! Надо умыться, а что сил нет, и так ясно, сегодня мы вдвоем все сделаем; хорошо, что у вас опять утренняя смена, сестра Теа. Вчера была вечерняя, говорит сестра Теа, когда график сбивается, спать некогда. Температура слишком высокая для раннего утра, однако начинать холодные обертывания уже сейчас, пожалуй, бессмысленно. — Как по-вашему, сестра Теа, почему двенадцатилетний мальчик убивает родного брата, младенца? — Зависть и ревность правят миром, говорит сестра Теа, больше всего надо бояться обделенных, а если у них вдобавок и веры нет, то упаси нас Господь! У сестры Теа вера есть, она поет в церковном хоре, по-моему, для такой крепкой веры она чересчур молода, но, пожалуй, не станет спрашивать людей, отданных в ее власть, о вере и делить их по этому признаку. Что со мной будет, сестра Теа? — слышит она собственный голос, и сестра Теа говорит, что уверена, она выздоровеет. Заведующего отделением она об этом не спрашивает, он приходит сообщить, что возбудители, из-за которых у нее поднимается температура, выявлены и теперь с ними будут бороться средствами, специально для этого предназначенными. Ударим по ним из самых тяжелых орудий, говорит завотделением. У него за спиной уже стоит доктор Кнабе со шприцем.

Впервые завотделением испытывает потребность поблагодарить ее за "содействие". Это очень им помогает. Гм, где мы — на заводе, что ли? Разве она бы могла поступить иначе, спрашивает она позднее сестру Кристину, та считает, что она могла бы настроиться и совершенно по-другому. Она размышляет об этом, но не знает, как по-другому. Очевидно, существуют неприметные секунды, когда постоянное напряжение перерождается в перенапряжение, что-то в ней порою словно бы напрягается сильнее, чем надо, во всяком случае, сердце вдруг опять начинает неистовствовать. Сперва она не желает этому верить, потом все же хочешь не хочешь звонит; дежурит, увы, Эвелин, значит, уже опять за полдень, никого из врачей позвать нельзя, все на операциях, Эвелин только дивится неистовству ее сердца, она попробует найти кого-нибудь, но через двадцать минут врачи отделения по-прежнему на операции, а врача из другого отделения она без разрешения позвать не может, к тому же его нет на месте, он в неотложке, в третьей операционной, это сестра Эвелин точно знает, проходит сорок минут, ситуация без изменений, Эвелин щупает пациентке пульс, удивляется, что та опять мокрая как мышь, но переодевать ее сейчас бессмысленно, да и чистых рубашек тоже нету, однако пациентка вдруг выходит из себя, приказывает сию минуту, под ее ответственность, вызвать терапевта, все равно откуда. Эвелин нерешительно топчется у двери, а когда приказ повторяют еще резче, наконец исчезает. Через минуту-другую приходит молодая докторша из шестого отделения, со шприцем. Укол-то можно было сделать давным-давно, говорит она, в палату закатывают передвижной электрокардиограф, подключают контакты, докторша сразу нашла вену, осторожно ввела иглу и, глядя на монитор, медленно впрыскивает лекарство, а стало быть, сразу — еще прежде чем пациентка это ощущает — видит, как пульс возвращается в норму. Ну вот, говорит она. Впрочем, надо еще некоторое время понаблюдать.

Итак, теперь я подключена еще и к аппарату, который воспроизводит на мониторе частоту моего пульса в виде желтой зубчатой линии и ровно попискивает; все больше проводов ведет из моего тела во внешний мир. Приходишь ты, и вид у тебя далеко не бодрый. Эй, говорю я, что стряслось? Да так, ничего, говоришь ты, настроение у тебя никудышное, на вопросы тебе, по всей видимости, хочется отвечать только контрвопросами; когда я спрашиваю: Что сказал завотделением? — ты коротко роняешь: Ну что он может сказать. Потом опять начинаешь холодные обертывания. Нет, тут все ж таки сам черт подсудобил, говоришь ты. А это идея, думаю я, может, и впрямь сам черт подсудобил. Стоит над этим поразмыслить. Но какой черт? Слушай, говорю я, может, и правда существует черт, желавший вечно зла, творивший лишь благое[1]?

На сей раз ты не отвечаешь вообще, только искоса смотришь на меня, но вы ошибаетесь, не всё, что я говорю, рождено горячечной фантазией. Черт, которого я имею в виду, явился из самого что ни на есть рассудочного разума или выскользнул из него в никем не замеченный исторический миг, сновидение разума рождает чудовищ, разве я однажды не выдвигала Урбану этот аргумент, он был достаточно образован, чтобы поправить меня: сон разума — так Гойя назвал один из своих "Капричос"; но если уж я непременно настаиваю на сновидении: все дело в том, кто

1. Перифраз из Гёте: Фауст. Ч. I. Сц. 3 ("Частица силы я, / Желавшей вечно зла, творившей лишь благое"). Перев. Н. Холодковского.

его видит. Да, согласен, когда мелкие духи берут власть над сновидением... Что тогда, Урбан? — спросила я. Что тогда? Тогда разуму не до смеха, отозвался он. Он задолжал мне ответ, но я уверена, у нас обоих на лице было одинаковое выражение сомнения и испуга. Мы читали отчеты о процессе Райка[1]. Неужели путь в рай неизбежно ведет через ад?

Благодаря твоим стараниям температура немного падает, но уходить ты сегодня не желаешь. Через некоторое время — мне оно кажется продолжительным — я отсылаю тебя прочь, ты упираешься, говоришь, что спокойно мог бы переночевать здесь, ведь никому это не помешает, однако я твержу: Иди, дорогой. Пожалуйста, иди.

Все повторяется. Я замечаю, что утрачиваю перспективу. Завотделением — уже вечер, над моей койкой горит подвижная лампа, он в белом, значит, пришел не сразу после операции, — завотделением усматривает неплохой знак в том, что горячка поддается некоторому воздействию холодных обертываний на икры. Доктор Кнабе, обладатель ухоженных усов и бородки, замечает: Хотя сейчас ее, пожалуй, уже нельзя считать последствием операции. Не только последствием, коротко роняет завотделением. Доктор Кнабе уходит, он, как видно, обидчив, а завотделением остается возле койки, щупает мой пульс, проделывает какие-то манипуляции. Спрашивает, что это я читаю. Я протягиваю ему синюю книжечку. Стихотворения Гёте, говорит он. Тяжелая пища. Открывает заложенную страницу, тихонько читает: Творите, покуда / Не сбудется благо. / Здесь в вечном молчаньи / Венки соплетают. / Они увенчают / Творящих дерзанье. / Зовем вас к надежде. — Угу, бормочет завотделением. И немного погодя повторяет: Угу. Увенчают, неплохо сказано. Ну что ж. Подождем до завтра, а?

Как будто приободрившись, он уходит. Вы ведь поможете нам бороться, говорит он уже в дверях, но ответа не ждет. Никак у него опять дежурство, иначе что бы он здесь делал в такую позднюю. Кой-какие опоры, кажется, стоят крепко, и это наполняет ее сдержанным удовлетворением, что-то в таком роде ей хочется сказать Коре, когда та наконец входит в палату, и она тихонько шепчет ей, что поневоле размышляла над словом "бороться". Вот как, — говорит Кора. — Лучше бы вам поспать. — И вам тоже! — Тут Кора невольно улыбается. — Кто хочет жить, бороться должен — этого вы, надеюсь, не знаете. Кора качает головой. — А кто бороться в мире вечной битвы не желает, тот жизни недостоин. Сей афоризм висел на стене у нас в школе. — Н-да, — говорит Кора. — Те еще были времена.

Лисбет, моя тетя Лисбет, в эти самые времена полюбила врача-еврея и родила от него ребенка.

Господи! Вы об этом знали?

Я была девочкой. Она настояла, чтобы на крестинах отец ее ребенка сидел за столом вместе со всей нашей семьей, подле нее. А потом каждый говорил, какую песню хочет услышать, и врач-еврей, незаконный отец окрещенного младенца, пожелал услышать "У входа в город липа..."[2], и моя семья спела для него.

1. Ласло Райк (1909—1949) — венгерский политик, министр внутренних дел (1946), министр иностранных дел (1948); в 1949 г. осужден как приверженец Тито и казнен; в 1956 г. реабилитирован.
2. Имеется в виду песня Ф. Шуберта "Липа" из цикла "Зимний путь" на стихи В. Мюллера. Перев. С. Заяицкого.

Кора молчит.

Мне об этом рассказал сам доктор Ляйтнер. Специально приезжал из Америки.

Невероятно, говорит Кора. И тут у меня брызжут слезы. Я начинаю плакать, давно бы пора, я плачу и плачу и не могу остановиться, плачу о Лисбет, которая так изменилась, когда после "хрустальной ночи" отец ее ребенка покинул страну, плачу о ее ребенке, кузене Манфреде, плачу о докторе Ляйтнере и о нашей семье, плачу о себе. Кора тампоном утирает мне слезы. Все будет хорошо, шепчет она. Я мотаю головой. Нет. Ничего не будет хорошо. Уяснив себе это, я могу перестать плакать. Вы справитесь, шепчет Кора. Я киваю. Да, справлюсь. И засыпаю.

Ты ведь тоже борешься, говорит голос, который я узнаю не сразу, мне нужно время, чтобы соотнести его с одним из ранних слоев моей внутренней археологии, слишком уж плотно спрессовано в моей голове великое множество всяких-разных обломков. Вперед, вперед, к борьбе! / Мы рождены для битвы. Да. Это Урбан, снова и снова Урбан, который предпочел исчезнуть из реальности и с той поры нашел приют у меня в голове. Как мне истолковать его исчезновение? Как отказ от борьбы? Невероятно. Чтобы он? Никогда! — сказала мне Рената. Он не сдастся. Скорее лоб себе расшибет. Пустячная была история. На предприятии, где Урбан проходил практику как секретарь отдела культуры, решили разделить столовую: лучшую половину отвести руководящим сотрудникам и функционерам, другую — простым рабочим. Директива сверху, в плане борьбы с уравниловкой. Урбан протестовал, упирался. С тяжелым сердцем мы наблюдали, к чему это приведет. В столовой для руководства он не появлялся. И был вызван на партсобрание. Произнес пламенную речь. Ничего не признавал. Кричал: Где мы живем! Получил выговор, против голосовали только мы трое. А он нас раскритиковал: мы должны были соблюдать дисциплину. С ним дело другое, для него это вопрос принципа. Мне стало жутковато.

Надо его искать, срочно, поиски не терпят отлагательства. Для этого я должна встать, и я пытаюсь, пусть даже они станут мне препятствовать. Первым делом нужно освободить левую руку, которую они куда-то привязали, я тяну и дергаю, в локтевом сгибе возникает резкая боль, кровь течет по рубашке, сестры не обрадуются. А вот и они, как нарочно, Эвелин, со своими черными локонами, Господи Боже мой, что же вы делаете! — за нею вторая, сестра Кристина, а следом завотделением и доктор Кнабе. Что случилось? Я говорю, что должна его искать. Кого, простите? — спрашивает завотделением, а доктор Кнабе с непроницаемым видом передает ему мою историю болезни с результатами новейших обследований, я вижу, как его мизинец постукивает по странице: Вот и вот, а вдобавок еще и это. Да-да, говорит завотделением, вижу, и я не могу отделаться от ощущения, что он сердит на доктора Кнабе за эти результаты, и сам доктор Кнабе как будто бы тоже не может отделаться от этого ощущения. С поисками, говорит завотделением, придется немного повременить. Я соглашаюсь. Теперь он хочет осмотреть раны; к сожалению, дежурит сестра Эвелин, и в наличии, кажется, только пластиковые перчатки, которые заведующему не по размеру или рвутся при первой же попытке натянуть их на руку; чтобы немножко разрядить атмосферу, пациентка говорит: Перчаточная ария, — но подлинного веселья вызвать не удается. К ранам не придерешься, дело явно не в них. На ней всегда все мигом заживало, утверждает пациентка и пожинает в от-

вет весьма загадочный взгляд заведующего отделением. Пока Эвелин наклеивает неподходящий пластырь, он говорит как бы сам себе: Хотелось бы мне знать, что так ослабило вашу иммунную систему.

Очень важная фраза, давно я таких не слышала.

Я должна отдавать себе отчет, продолжает завотделением, что медикаменты, надлежащие медикаменты, которые, кстати, теперь имеются у них в достаточном количестве, начали широкое наступление на этих окаянных возбудителей, да-да, точно. Но и от них зависит далеко не все. Им необходима поддержка аутогенной иммунной системы.

Да, говорю я. Именно так я все себе и представляю.

Завотделением задумчиво смотрит на меня, потом решает продолжить. Деловым, слегка укоризненным тоном говорит, что ход болезни не вполне объясняет крах моей иммунной системы.

Ну-ну. Выходит, в конце концов он решил идти в открытую. До сих пор такие слова, как "крах", не звучали. Каждая клеточка моего тела понимает, что это значит.

Возможно, говорю я, пытаясь преодолеть замешательство, — возможно, причины не только физические... кое-что я худо-бедно могу объяснить... я имею в виду истощение, душевное истощение...

На мой лепет заведующий отделением не откликается. Принимает еще более официальный, еще более непроницаемый вид. Возникла необходимость повторного, хотя и совсем непродолжительного зондирования на компьютерном томографе. И состоится оно сегодня же. Как он уже говорил, много времени это не займет. На меня он не смотрит, обращается к доктору Кнабе, который уже все знает, я тоже тактично гляжу в сторону, моего согласия на сей раз, похоже, не требуется, происходящее сейчас происходит в величайшем деловом замешательстве, причем на меня никто не обращает внимания, сестра Кристина, с непроницаемым видом палатной сестры, меняет капельницы, ставит новый катетер, всё быстро, ловко, говорит, что сегодня местами опять ожидаются грозы, одним-единственным движением она прогоняет Эльвиру, которая хочет наконец опорожнить ведро, молодой медбрат Юрген, протирающий пол антисептическим раствором, от замешательства тоже вроде бы слишком бодрится; в этом году, сетует он, ему почти не удавалось посидеть возле отцовского лодочного сарая. И даже сестра Теа, которая пунктуально заступает на вечернее дежурство и, как всегда, сразу видит, что надо делать, задергивает занавеску, поскольку солнце ярко светит в окно, подсовывает мне под колени валик, меняет ночную рубашку, — даже сестра Теа в дискуссии не вступает.

Я занята словом "крах". Вижу адские картины — за какие грехи? Ругаю религию, которая, стоит случиться беде, тотчас внушает нам, что это расплата за грех, но при чем тут беда, разве я в беде? Ну, счастьем это опять же не назовешь, говорит Кора, однако она бы в любом случае предпочла, чтобы я сейчас не рассуждала и не размышляла так много, а просто поспала, я согласна, так лучше, но, увы, еще когда она стоит возле моей койки, я чувствую, как во мне тихонько начинается дрожь, нет, только не это, я не хочу, я сопротивляюсь, напрягаю мышцы, стискиваю зубы, она сильнее меня, она ломает мое сопротивление, вырывается на свободу, завладевает мною, трясет меня, трясет койку, заставляет зубы стучать. Карательная акция, думаю я. Плач и скрежет зубов. Вот, значит, о чем тут речь. Кора уже нажала кнопку звонка. Сестра Теа уже накрывает меня вторым одеялом, крепко держит мои трясущиеся плечи, как сте-

реотипны эти повторы, как безотрадны, кислородный баллон до сих пор стоит в палате, Кора нахлобучивает мне маску: Дышите, дышите. Глубоко дышите!

This is the point of no return[1]. Большие огненные письмена на темной стене.

Нет. Только этого недоставало. Опять яростный лязг оружия. Маловато я дорожила недавней тишиной. В следующий раз буду искренне благодарна за тишину и отсутствие образов в голове. Теперь придется терпеть этот адский шум и видеть лица мучеников, что бредут сквозь историю и глядят на меня из моего нутра. Не обвиняя. Страдая. Я вижу перед собою страждущих. Так бывает, только когда я страдаю сама. Потаенный смысл страдания открывается мне, но я знаю, что снова его забуду.

Чем объяснить крах вашей иммунной системы? Возможно, господин профессор, тем, что она выступила как заместитель и приняла на себя тот крах, какого личность себе не позволила. Тем, что она, хитрая, как и все потаенные силы внутри нас, подавила личность, заставила заболеть, чтобы этим обходным и несколько затяжным маневром изъять ее из смертельного круговорота и свалить ответственность на другого, а именно на вас, господин профессор. Здесь была причина вашего замешательства, вашего едва скрытого недовольства? Вы отвергаете роль, которую вам предстоит играть? Чутьем угадываете кое-что из намерений этой личности, сокрытых от нее самой, впрочем, их и намерениями назвать нельзя. Точно так же она предпочла бы говорить и думать не о крахе, а о распаде, о неуемном желании исчезнуть, его-то в первую очередь и выполняет, заместительно выполняет, таинственная иммунная система, а сама эта система, как столь многое, во что мы верим, есть всего-навсего представление, абстракция, заточенная в слове, чтобы мы утихли, безмятежно жили дальше, не обращая внимания на следы, какие наша безответственность и неосведомленность оставляет в наших телах. Например, в нашей иммунной системе, которая однажды, быть может, поневоле от нас отступится. Которой может надоесть роль надзирателя и стража, роль преследователя. Может попросту наскучить гоняться за каждым более или менее зловредным возбудителем, да еще и выслушивать бранные слова, вроде "клетки-убийцы". Она, иммунная система то есть, насквозь видит увертки этой пронырливой личности и просто улеглась спать, когда началось воспаление, с микроскопического очажка, который легко было взять под контроль, если б он был замечен. Наверно, она просто не видела причин вести себя умнее, жизнелюбивее, бдительнее, разумнее, чем сама личность. "Сама" — какое зыбкое, расплывчатое понятие.

Тело своевременно предупредило ее, но при первой атаке острейшей боли она не хотела думать ни о чем дурном, не хотела вызывать врача, прерывать поездку, предложила своему "перегруженному" желудку ромашковый настой, но как объяснить, что и недели спустя, при неистовых болях, неистовой тошноте, когда уже ни глотка настоя было не проглотить, она по-прежнему отказывалась от врача, упорно твердила о гастрите и не поверила докторше, которая прямо с порога поставила диагноз и вызвала по телефону санитарную машину.

1. Критическая точка, черта, за которой нет возврата (*англ.*).

Не стоит слишком уж упрощать и думать, будто она хотела себя угробить, а ведь именно об этом докторша и спросила ее: Вы что, хотите нарочно себя угробить? Скорее уж надо вспомнить, что в детстве душа представлялась ей чем-то вроде отростка слепой кишки, бледным кривым кусочком кожной трубки, располагавшимся, правда, в грудной полости, вблизи от желудка, где сидит страх. У нее, пожалуй, и в мыслях не было, что аппендикс, внешне так похожий на ее душу, могут вырезать. Она же останется тогда как бы без души, но кому об этом скажешь. Докторша, обнаружившая чуждую ей в иных обстоятельствах оперативность и строгость, в споры вступать не стала, только поинтересовалась, почему ее вызвали лишь теперь, покачала головой, когда она объявила, что эти боли совершенно не похожи на аппендицитные, но, как ни странно, в тряской "скорой помощи" они мгновенно переместились в правую сторону живота.

Вообще-то, говорит она заведующему отделением, вам бы не мешало расстараться, чтобы на санитарные машины ставили рессоры получше. Да, кивает он, непременно, видит Бог. Если не соблюдать осторожность, говорит она, не держаться покрепче, на деревенской брусчатке можно прямо с носилок свалиться на пол. Да, соглашается завотделением, тут вы совершенно правы. Завотделением больше не желает так именоваться, ему это не по душе, и ей тоже. Большинство пациентов, говорит Кора, особенно пациенток, с удовольствием пользуются титулом "заведующий отделением", они выше себя ценят, если могут сказать: Кстати, оперировал меня сам завотделением. А меня они зовут "госпожа доктор", хотя прекрасно знают, что я не имею ученой степени. Мне это обращение не нужно. Оно нужно им.

Пациентка спрашивает у Коры, сознает ли завотделением, профессор, что наносит ей ущерб, когда режет ее плоть, конечно ради исцеления, вырезает злокачественное, потому что она сама не способна от него избавиться. Кора не согласна с формулировкой "злокачественное", но ведь это несет в себе каждый, и в телесном смысле, и в переносном, ничего тут не поделаешь. А вот назвать это — совсем другое дело, верно? От называния мы стараемся увильнуть, даже на столе в операционной. Кора считает подобные домыслы притянутыми за волосы, и намерение пациентки спросить у профессора, что доставляет ему удовольствие или даже наслаждение, когда он ее кромсает, тоже ей не по душе, но она молчит.

А может, мне следовало избрать другой путь, тот, какой избрал Урбан? Что я об этом знаю? Пожалуй, всё, но не желаю знать. Этот вопрос откладывается на потом. Сегодня я должна спросить себя, что замыслило сделать со мною мое тело. Восстает ли оно против меня. Я вижу мое тело, вижу разрезы, которыми оно отмечено. Что за письмена запечатлевают в моем теле, смогу ли я когда-нибудь их прочесть. Мне это заказано? Заказано, заказывать — слова, чьей двусмысленности надо избегать.

Замешательством, каким-то виноватым замешательством отмечены утренние процедуры. Эльвира, конечно, не в счет, она проникает ко мне, по обыкновению поворачивается посреди палаты вокруг своей оси, пристально разглядывая каждый предмет, и меня тоже, с грохотом опорожняет ведро и по обыкновению прощается со мною вялым рукопожатием, на сей раз говорит не "до скорого!", а: Ну, всего добренького

вам! От Эльвирина участия у меня, совершенно не к месту, наворачиваются слезы.

Зато вполне к месту деловитая хлопотливость сестры Кристины, сестринская улыбка на ее совершенно непроницаемом лице, отработанный ритуал, привычные движения, она знает свое дело, и я ей подыгрываю. Может, я слишком часто подыгрывала в сходных ситуациях, может, мое тело старается намекнуть мне на это? Кора, темноволосая Кора, не увиливает. Ждет меня в предоперационной, не скрывает некоторого беспокойства, но говорит тоже немного. Только, что я должна верить в хирургов. А хирурги верят в меня. Верить, веровать, уповать, словесные игры. Я тоже говорю мало. Говорю: О'кей. Сестра Надежда скрупулезно выполняет Корины распоряжения, дар немецкой речи она словно бы совсем потеряла, но русская улыбка осталась при ней.

Резать. Обрезать. Прирезать. Двойственные значения слов так и текут ко мне. Вот тебе и срезала крюк, вконец заплутала. А Урбан, между прочим, в свое время норовил обрезать все контакты со мной, потому что появление в моем обществе могло ему повредить. Когда же это было? Та долгая история с Паулем, как давно я о ней не вспоминала.

Пауль, маленький, чуть слишком ретивый, но безоговорочно верный и надежный Пауль, которого мы все хоть и не принимали вполне всерьез, но любили и которого Урбан, получив в министерстве повышение, взял к себе не то личным референтом, не то мальчиком на побегушках, чем поверг всех нас в изумление. Как нарочно, именно Паулю и было доверено осуществить состряпанный Урбаном план, причем предполагалось, что венцом этого плана станет официальная декларация, в разработке которой участвовал кое-кто из нас и которая ознаменовала бы коренное изменение политики в отношении молодежи. Нам не мешало бы догадаться, что ничего хорошего из этого не выйдет, а Урбан наверняка знал об этом с самого начала и использовал Пауля как пешку. Ну так вот, когда Пауль получил нахлобучку и был "стерт в порошок", как перешептывались в урбановском окружении, Урбан тоже пошатнулся, а кто бы выиграл, если б вдобавок ушли и его? Во всяком случае, некоторое время он поневоле чурался людей не вполне непогрешимых. Рената изредка звонила, упрашивала отнестись к нему с пониманием. Непринужденность между нами исчезла навсегда. А Пауль — он захворал и много месяцев провел в санатории, — Пауль остался надежным, не изменил себе, но уже не поднялся. Работает в архиве, на какой-то ничтожной должности.

Приходит профессор, как обычно, не трусит, только неразговорчив. И чертовски, сверх всякой меры смущен. По обыкновению вежливо подает мне руку. Да, укол мне уже сделали, в голове начинается тихий, приятный звон. Ну как, можно? — Можно, говорю я. Добро, говорит он. Исчезает, зеленый в зеленом, за дверью операционной. Когда спустя несколько минут я следую за ним — вообще-то, меня следуют, но так сказать нельзя, — там снова, безмолвные и недвижные, стоят трое мужчин в зеленом, подняв руки вверх, сдаваясь, и пристально глядят на меня. Кто здесь на кого нападает? Кто кому сдается? Предается? Тебе предался смело / И телом, и душой, / Страна любви и дела, / Тебе, мой край родной[1].

1. Не вполне точная цитата из стихотворения немецкого поэта Ханса Фердинанда Масмана (1797–1874) "Обет". Перев. В. Бакусева.

Как всегда, последнее, что я вижу, — карие глаза Коры над маской. Маска. Потом система ходов, система ганглиев? Знакомая, но не близкая. Близкой она стать не может, но раз от разу знакома все больше. Вниз, в глубину, мимо светло-зеленого металлического ящичка. BIG BROTHER[1]. Приходится с этим жить, однажды сказал мне Урбан. Повсюду на свете мы должны с этим жить. С некоторых пор он начал как-то по-новому, почти заговорщицки говорить "мы". Мы, загадочно произносил он, подозреваемый своими же в собственной стране, принадлежащий к довольно многочисленному братству, которое утешало его и оправдывало и от которого исходил сильный соблазн. И для меня тоже? Да, и для меня. Какое-то время она жила в своем реальном городе с этим металлическим ящичком в подвале, где таинственно исчезал ее телефонный кабель, а одновременно в другом городе, городе надежды и человечности, который был или будет истинной ее родиной, который мы непременно вырвем у грядущего, создадим себе, "мы", те самые "мы", кого имел в виду и Урбан. С каких пор это его "мы" перестало вызывать в ней отклик, мне кажется, четкого и конкретного повода тут не было, все дело в стечении будничных и не вполне будничных поводов, возбуждавших ту непрестанную боль, что поневоле приводила к озарениям, которых Урбан чурался. И не самую слабую боль она испытала, осознав, что он с Ренатой обосновался в трехкомнатной квартире на Карл-Марксаллее и в кабинете некоего министерства, прочно и надолго. И оттуда он теперь, опять же навсегда, в этом она ни секунды не сомневалась, скрылся, сбежал. И это бегство вернуло его в сферу ее разумения. Непоправимые обстоятельства.

Обнажить, предстать во всей наготе, обнажить внутренности, из которых современные авгуры не могут вычитать ничего — ни счастья, ни злосчастья. Моя неприязнь к разоблачению других, к этому стриптизу. Деликатность ситуации, которая посредством заковыристого ритуала обретает наглядность. Разрезы. Сделанные согласно плану, в предписанных местах, иначе — врачебная ошибка. Кто не желает услышать, должен почувствовать, бабушкины слова. Кто не может почувствовать, того нужно ранить посильнее. А кто режет собственную плоть не слишком глубоко, не смеет резануть поглубже, тот дает кому-то другому повод выполнить эту обязанность вместо него, господин профессор. Хитроумные устройства и меры предосторожности. Как часто "душа", "сознание", что бы это ни было, безоружные и беззащитные лежали, позволяя манипулировать собою. Теперь манипуляции производят над моим телом, наконец-то восстанавливают в правах слова "манипулировать", "манипуляции". Работают рукой. Ловкой, тренированной, умелой, мытой как минимум четверть часа и затянутой в пластиковую перчатку. И эта рука пытается доискаться до правды тела, покуда в нем сокрытой. Роется во внутренностях. Действует согласно продуманному стратегическому плану, то бишь хитрым обходным путем, чтобы, не повреждая других органов, добраться до корня зла, до гнойного очага, туда, где раскаленное ядро правды совпадает с ядром лжи. Где они тождественны, профессор, хотите вы это признать или нет. Меж тем как сестра Надежда должна, держа края раны раздвинутыми, пускать в ход тампон. Меж тем как Кора наблюдает за аппаратами, временами поглаживая ладонью мой лоб. Резня.

1. Старший брат (*англ.*); зд.: спецслужба.

Думаю, на сей раз мы захватили все. – Где я? Классический вопрос просыпающихся, на который можно ответить лишь банальностью или промолчать. Сестра Теа просто называет номер моей палаты, как в гостинице. Профессор, весь в зеленом, должен уйти, но говорит, что скоро вернется. Уверен, на сей раз мы захватили все.

Входишь ты. Который же час? Вот как, уже за полдень. Просыпаться, говорю я тебе непослушным языком, всегда чудесно. Все позади, а ты и не заметил. Только этого недоставало, говоришь ты. Заглядывает доктор Кнабе, спрашивает у сестры Теа насчет моей температуры. Так-так, говорит он. Только этого недоставало. На сей раз, говорит он, вы захватили все. Там ничего не осталось. Не может остаться. Он отпускает дверную ручку, передает ее заведующему отделением, который пришел сообщить, что на сей раз ничего остаться не могло. По всей видимости. Я спрашиваю тебя: Почему ты не смеешься? Ты отвечаешь: Потом. – Ладно, соглашаюсь я. Но когда-нибудь мы непременно опять посмеемся.

Между прочим, говорю я, лабиринт у меня в мозгу, кажется, в точности повторяет лабиринт нашей подвальной системы. В твоих глазах испуг. Нет, говорю я. Это не бред. Просто я все время блуждаю по этим подземным коридорам, понимаешь? А ты спрашиваешь: Иначе нельзя? – Нет, говорю я, наверно, нельзя. Кстати, они нашли Урбана, а? Ты надеваешь непроницаемую маску и качаешь головой. Вижу, ты говорить не хочешь, да я и не хочу знать. Однажды он мне сказал, говорю я, что правда относительна, помнишь? Ты качаешь головой. Правда, сказал Урбан много лет назад, есть функция исторического развития. Все прочее – сентиментальная дешевка. – Он что же, имеет в виду, что цель оправдывает средства? – Он помедлил. Потом сказал: До известной степени. – До какой же именно? – спросила она, а он, все так же шепотом, потому что вокруг, в вагоне городской надземки, было полно народу, отозвался: Все зависит от конкретной ситуации. Она: И кто же выносит решение? Урбан: Всякий раз тот, кто лучше всех видит перспективу. Так или иначе, решение выносится в зависимости от расклада интересов, а не по критериям ее морального ригоризма. Он ведь нас разоружает, неужели она не видит. Тогда хоть сейчас вывешивай белый флаг, так, что ли? – Она прошептала: Не знаю. Правда не знаю. – А он: Подумай об этом.

Оказывается, ты успел уйти. Сестра Теа, видно, не очень занята, поминутно заходит в палату, проверяет капельницы, поудобнее устанавливает изголовье койки, холодной салфеткой обтирает ей лицо, смачивает губы и рот. Завтра, говорит она, все опять будет выглядеть по-другому. Да вы и сами знаете, вы же профессионал. Когда приходит профессор, весь в белом, она как раз измерила пациентке температуру и протягивает ему градусник. Так-так, говорит он, это уже получше. Мы, конечно, еще поколем это средство, сестра Теа, через каждые пять часов, будьте добры. Недоставало только, чтоб мы не справились с этими молодчиками. Сестра Теа тоже уверена, что теперь этим молодчикам конец. Я почти не чувствую уколов, когда их делает она. Ночью она, увы, не дежурит, но завтра утром придет опять.

На счастье, ночью дежурит Кора. Кора Бахман. Она приходит, когда уже совсем темно. На сей раз, говорит она, хирурги вправду добрались до самого очага. Там ничего не осталось, руку даю на отсечение. Я смотрю на Корину руку, узкую и очень женственную, и впервые мне приходит в голову, что у нее могут быть дети. Я спрашиваю, она кивает. Дочка,

четыре годика, Луиза. С кем же она остается, когда Кора на работе? С моей мамой или в детском саду. А отец? Мы в разводе, говорит Кора. Жаль, говорю я. Кора молчит. А немного погодя замечает, что женщины и мужчины в наших широтах словно бы все меньше подходят друг к другу. Потом мы обе молчим, Коре пора идти. Она вернется. Спите, говорит она.

Я и без того много времени потеряла на этот сон, и вообще я упускаю тут массу времени. Гораздо позже я понимаю, что это — первое мое ощущение из мира здоровых. Если выздоравливать значит уже не считать болезнь единственно возможным состоянием. Я отбиваюсь. Еще не пора. По знакомым рельсам сна опять чуть ли не с облегчением соскальзываю в промежуточную зону, где чувствую себя вполне вольготно, почему — спросить не могу, но что-то во мне знает ответ: потому что все мысли замирают, различия стираются, нет больше хорошего и плохого, правдивого и ложного, правильного и неправильного. Отдохновение измученной совести. Цвет — серый. Темноволосая женщина взяла меня за руку, не поймешь, кто кого ведет, она улыбается и говорит что-то вроде: Последний раз; я уже сама не рада, хотя этот последний раз еще впереди. Опять окно нашей берлинской квартиры, опять мы выпархиваем из него, наверно, так надо. Под нами двор, четырехугольник, зажатый стенами домов. Над нами квадрат неба, который здесь, в центре города, никогда не бывает совершенно темным. Резко очерченные световые сигналы немногих окон. Трескучая музыка с верхнего этажа. Всё как всегда, и всё по-новому. Мы спускаемся вниз, выплываем за ворота, створки которых странным образом распахнуты настежь.

Фридрихштрассе разрыта. Глубокие траншеи тянутся вдоль бровки тротуаров, окаймленные высокими кучами камней и песка. Мы, все так же в паренье, следуем ходу траншей, заглядываем в сумбур кабелей и труб под ногами. Обнажение внутренностей. Да, говорит Кора, можно и так сказать. Мы скользим мимо поздних посетителей, которые в легком подпитии выходят из "Маленького ревю", а на углу Ганноверше- и Шоссештрассе усаживаемся на кучу песка, насыпанную машинами. Призрачный свет брезжит из нижнего мира. На отвесных стенках траншеи можно отчетливо различить слои, какими минувшие десятилетия откладывали свой сор, свои обломки. Археология разрушений. Кора, не выпуская моей руки, делает мне знак, и мы спускаемся в траншею, на самый нижний слой, вскрытый экскаваторами. В Гадес, говорю я Коре. К богу нижнего мира, похитившему на своей золотой колеснице красавицу Персефону. Но безутешная скорбь ее матери Деметры и отказ от работы привели к тому, что она, дочь, получила разрешение две трети года проводить при ней, в светлом верхнем мире, плодородие которого зависело от нее.

Греческую мифологию Кора в школе не проходила. Под ногами у нас потрескавшиеся, разбитые плитки, на одной узор из зеленых побегов, на другой — гирлянда сосисок. Старомодная мясная лавка, должно быть прошлый век, засыпанная. Поскоблив немножко, расчищаем следующий слой, стенная кладка, на ней что-то нацарапано кириллицей, я разбираю имя и говорю Коре: Здесь был Павел. Читать по-русски она тоже умеет. Владимир был родом из Новгорода, говорит она. Может, лучше бы он там и остался. Послания давно минувшей эпохи. Как всё быстро, шепчу я Коре. И те, что приходят позднее, всегда торопятся прикрыть свидетельства минувшего своей брусчаткой и бетоном, по которому за-

тем маршируют новые солдаты. И если мы немножко копнем вглубь, в стены, то наткнемся на кости. Выбоины от снарядов и пуль в над- и подземных стенах домов говорят о шквальной перестрелке, и человеческая плоть наверняка попадала под пули.

Мы не копаем. Продолжаем путь по системе траншей, следуем за водопроводными и сточными трубами — из одних доносится журчание, другие, ржавые, заканчиваются тупиком, — натыкаемся на кабельные колодцы, где проводка давно сгнила и сейчас рядом (в этом и заключается смысл "раскопок") кладут в новые колодцы новые кабели, по которым течет ток, бегут туда-сюда телефонные разговоры, подслушиваемые и неподслушиваемые, а когда-нибудь, еще через полвека — мне увидеть это не суждено, — траншеи опять вскроют, и другие люди, нынче еще не рожденные, будут стоять здесь, ломая себе голову над непостижимыми замыслами предков.

Бросьте вы это, говорит Кора, она, стало быть, умеет читать мысли, что меня почти не удивляет. Не ломайте себе голову. — Но, говорю я, если вдуматься: как все повторяется, снова и снова. — Теперь вы впадаете в банальность, говорит Кора, ишь какие слова она использует, и добавляет: Кстати, для того, кто переживает повтор впервые, он всегда в новинку. — Угу. Я вежливо молчу. Она хочет подбодрить меня. Приставлена ко мне, чтобы вывести из тупика, в котором я, по всей видимости, застряла. Дешевыми средствами, и теми не брезгает. Ну-ка, сейчас я ее проверю: знакомо ли ей такое слово, как тщетность. — Она тихонько фыркает: Оно знакомо любому врачу, и еще как. — Размахнулись, да промахнулись, говорю я, и Кора смеется. Я к тому, что... — начинаю я, а она, начисто забыв и об учтивости, и о знаменитой своей чуткости, резко меня перебивает. Она прекрасно знает, что я имею в виду: ту огромную, всеохватную тщетность, которая так чудесно убаюкивает, так дивно обволакивает. — Теперь и я невольно смеюсь. Но если это все же правда? Если, здраво рассуждая, это и есть итог жизни — тщетность? — Послушайте-ка, говорит Кора — мы выбрались из траншей и парим вниз понад Фридрихштрассе, заворачиваем влево на Унтер-ден-Линден, безлюдье кругом, только несколько "вартбургов", будто неприкаянные души, блуждают по вымершему городу, который вдруг вызывает у меня огромную симпатию, — послушайте-ка, сейчас совершенно неподходящее время, чтобы лелеять ваши заблуждения, говорит Кора. По левую руку мимо проносится университет, едва успеваю кивнуть братьям Гумбольдт. Арсенал. — Кора, говорю я, об этом вы судить не можете. — Почему? — возражает она. Потому что я моложе вас? — И поэтому тоже, говорю я. А еще потому, что вы мой врач. — И оттого небеспристрастна? — бросает она. Она злится, такого я никак не ожидала. Тогда пусть уходит. Она отнимает у меня свою руку. — Не надо, говорю я.

Вдруг оказывается, что мы сидим на ступеньках Дворца республики. Тоже груда камней, думаю я, стекло и бетон, построен, чтобы сгинуть. Может быть, потому-то нынче ночью он самое подходящее место в этом гибнущем городе. Метрополия. Столица державы. Столица двух держав. Город, некогда святыня, осквернен. На глазах приходит в упадок. И нет возврата из нового варварства. От такой уверенности щемит сердце.

Кора, говорю я, вы ведь действуете по заданию, да? А Кора говорит, что я в самом деле испорченная. Теперь она печальна. Да, киваю я. Я испорченная, и теперь вам известно, что я разумела под тщетностью. Оседлавший тигра не спешивается. Идите теперь расскажите вашему

начальнику что-нибудь про мою никудышную иммунную систему. Спросите его, знает ли он старинные географические карты, с великим множеством белых пятен, где не долго думая писали: Hic sunt leones[1]. Спросите его, не наткнулся ли он, когда резал мою плоть, вскрывал мои раны, обнажал гнилостные места, — не наткнулся ли он на белые пятна, неведомые мне самой, неизученные, безымянные, где властвуют хищные звери. Спросите, может ли он представить себе, что как раз об эти-то устойчивые пятна разобьется какая угодно иммунная система.

Кого и о чем я должна спросить? — Ах, Кора. Где мы? — Где всегда, милая, и рубашка у вас опять насквозь мокрая от пота. — Приходит ночная сестра, вдвоем они быстро и ловко переодевают пациентку, обе твердят, что эта испарина пахнет совсем не так, как раньше. То бишь здоровее. Вы разве сами не замечаете? — говорит Кора. — Все еще по заданию? — О чем вы? — Голову себе ломать не надо? — Нет. Не надо. Надо радоваться, что теперь все окончательно осталось позади, надо решиться выздороветь. — Решиться? — Совершенно верно, говорит Кора с ударением. Твердо решиться и уже не отступать от своего решения. — Ну-ну. Ваши бы слова да Богу в уши. — Они смеются. Кора уходит.

Будит ее Эльвира. Становится посреди палаты, пристально оглядывает стены, потом пациентку, вроде бы удовлетворенно гремит ведром, подходит к койке, подает пациентке руку. И в конце концов говорит: Н-да. Чудом обошлось. Запросто могли на тот свет отправиться.

Что мне на это сказать, что думать? Что понимаешь прежде всего то, что слышишь? Кто не желает слышать, должен чувствовать, но мне чувствовать не удается. Эльвирины слова отзываются гулким эхом. Удариться в панику теперь — совершенно бессмысленно. Ведь Эльвира всего-навсего высказала вслух то, что я и сама должна бы знать. Я могу лишь удивляться, под сколькими же покровами прячется от слабого человека правда и в каком странном обличье она затем, в свое время, предстает перед ним. Ведь они же давным-давно мне об этом сообщили, врачи — своими непроницаемыми минами, сестры — своим поведением и, не в последнюю очередь, ты, мой дорогой, — своей неразговорчивостью. Но я не сумела воспринять эту весть, что-то во мне предостерегло правду от появления в неприкрытом виде. Тут нужно прийти Эльвире и выложить подслушанное в сестринской комнате и на кухне, и вот эти-то грубые, неприкрытые слова доходят до сознания. Они правдивы. К несчастью. Паника тоже опаздывает, как и всё.

Но как же так. Несчастье предотвращено, ощущение катастрофы может исчезнуть. А вместо этого оно набирает силу, растет и растет, пока не заполняет все мое существо. Срыв задним числом, когда опасность миновала, — старая, банальная история. Значит, благополучно проехала на лошади по тонкому льду да так с нее и не слезла. Что-то в таком духе я, кажется, и сказала профессору, который, уже в зеленом, заскочил в палату, чтобы выслушать от сестры Маргот вполне благоприятный доклад о моем самочувствии. Лед? — недоуменно спрашивает он, глядя на сестру Маргот, та слегка пожимает плечами и опускает уголки губ. — Ах, вот как. По тонкому льду. Что это вы о нем вспомнили? — Разве это неправда? — Правда, правда, неловко бросает профессор. У каждого человека правда своя, вам ли не знать. — И моя вам известна? — Конечно. Она та-

1. Здесь водятся львы (*лат.*).

кова: вы были больны, очень больны, но теперь опасность миновала, вы справились. Дело идет на поправку. А все прочее — глупости.

Мне не принудить профессора произнести такие слова, как "смерть" и "гибель", мелькающие в моей голове, меж тем как сестра Маргот и сестра Теа умывают меня, перестилают постель и непрерывно со мной разговаривают, о веселом, даже о тщетных попытках сестры Маргот похудеть; очень уместно, говорю я, у койки живого скелета, они смеются, нынче им все смешно, так велено, это мне ясно, и они знают, что я знаю. Могу представить себе, как профессор в коридоре сказал Маргот: Сделайте все, чтобы она теперь не расклеилась, будьте добры. Я бросаю вдогонку сестре Теа: Эй, в больнице, должно быть, не говорят о смерти? Она оборачивается, смотрит на меня в упор и говорит: Нет.

Ну вот, теперь ты все знаешь, торжествует кто-то во мне. Но я не желаю знать. Желаю ли я вообще взять на себя тяжкий труд шаг за шагом вновь отступить от тех врат, к которым помимо моей воли вынес меня поток, пока что не канувший в забвение. Пока что нет, но скоро я их забуду, эти мгновения, когда достаточно было малейшего согласия, ничтожной уступки — и поток навсегда, безвозвратно увлек бы меня в эти врата. Уйти навсегда, без сожаления. Этот миг я упустила. Почему я не согласилась? Как я устала. Сейчас опять отойду ко сну. Я ведь заранее решила, что буду благодарна, если на некоторое время избавлюсь от грохота? И пытаюсь быть благодарной, но не знаю, как это делается. Все наладится, произносит в мой сон чей-то утешительный голос. Все наладится. Парусник, на котором я затем плыву по весьма зыбкому озеру, носит название "Эсперанса" — "Надежда".

Ну-ну, думаю я, проснувшись, чуть насмешливо, это уж слишком, явный перебор. Ты стоишь в палате и знай твердишь о моей полуденной температуре, которая была умеренной, и о том, как профессор доволен моим состоянием. Что сказала мне нынче утром Эльвира, ты даже слышать не хочешь. Дескать, совершенно незачем теперь принимать всерьез подобные запоздалые оракулы. Ты подвигаешь вазу с цветами так, чтобы я видела ее, цветы все до одного из нашего сада, напоминаешь мне, где какой растет, перечисляешь цветы, которые еще распустятся, когда я вернусь домой, скоро. Перед моими глазами возникает смутная картина возвращения домой, но я тотчас ее стираю, ведь невозможно представить себе, что я вообще когда-нибудь встану с этой койки. Ты, наверно, очень за меня боялся, говорю я. Ты стоишь у окна, глядишь на пейзаж, которого я пока не видела, и говоришь: А как ты думаешь. Кстати, дождей не было уже целых три дня. Может, хоть часть урожая сумеют спасти.

Как же я думаю. Вообще-то никак, вдруг понимаю я. Вообще-то я уже давно ничего не думала, хоть и не лишилась этой способности. Вообще-то я вполне хорошо себя чувствовала не думая. И так тебе и говорю, ты оборачиваешься, морщишь лоб. Ну да, вполне хорошо, повторяю я. Все относительно. Вот как! — роняешь ты, коротко, однако ж таким тоном, который по-прежнему меня провоцирует, после стольких-то лет. Я просто имею в виду, говорю я, что иногда думать так больно, что тайком подменяешь эту боль какой-нибудь другою. Этакий закулисный торг с самим собой, понимаешь? — Молчание. — Вот, значит, какие теории ты здесь развиваешь. — Мне это только сейчас пришло в голову. По-твоему, ничего хорошего, да? — Слово "хороший" тебя не устраивает. Мне кажется, ты хочешь на время изгнать его из моего окружения, как видно, оно се-

бя не оправдало. Ладно, будь по-твоему. Поговорим о малом зле. Выходит, думать было для меня большим злом? Надо бы над этим поразмыслить, говорю я, пытаясь изобразить подобие усмешки. Я знаю, что ты думаешь: большего зла, чем смерть, быть не может, — но вслух ты ничего не говоришь. Минуту-другую мы оба молчим, хотя каждый знает, что думает другой, и оба разом приходим к одному и тому же: Слушай, говорю я, они нашли Урбана?

По твоему лицу я вижу, что ты ждал этого вопроса и он тебе не по нутру. Не дает Урбан мне покоя, и всё тут. Да. Нашли. Мертвого. — Я это знала. И не спрашиваю, как он умер. Сегодня не спрашиваю. В общем, было не так уж и плохо, когда я в слабости своей могла очень быстро выпроводить любого посетителя, даже тебя. Ты говорил с Ренатой? — спрашиваю я. Нет, отвечаешь ты. Без объяснений. Будь я дома, мне бы пришлось с нею поговорить. Годы вырабатывают такие вот разделения труда. Немного погодя я говорю: Постарели мы, ты не находишь? — Еще чуток поживем, говоришь ты. Ты так полагаешь, отзываюсь я, без настоящей уверенности.

Что-то мне мешает. После твоего ухода вдруг понимаю: я опять начинаю говорить тебе то, что ты хочешь услышать. Время беспощадности, кажется, миновало. Я догадываюсь, что это значит, но пока не хочу вникать. Между прочим, с Ренатой мы последний раз виделись на свадьбе Ютты. Она пришла попрощаться с Юттой, а Урбан нет, и все восприняли это как должное. Дания, сказала она, никто из нас в Дании не бывал; молодой датский дипломат, с которым уезжала Ютта, вызывал симпатию, только вот, судя по всему, не очень-то понимал, в какую игру ввязался, однако привык помогать, когда может, так его учили. А коль скоро эта хорошенькая молодая женщина могла покинуть свою страну, лишь выйдя за него замуж, он с готовностью заключил с нею брак и теперь угощал датскими деликатесами ее друзей, не настолько веселых, как бы полагалось на свадьбе, и смотрел, как все они танцевали с его молодой женой, к которой он не прикоснется, конечно же нет, а переводчицей она сумеет стать где угодно и в тягость ему не будет, конечно же нет. Позднее, ближе к полуночи, Урбан все-таки явился. Он, мол, за Ренатой, ей ведь в конце концов завтра с утра на службу. Рената покачала головой. Мы старались вести себя с Урбаном совершенно непринужденно, и в результате он обосновался возле импровизированного бара и начал пить. Вот тогда-то ты с ним сцепился, единственный раз. Стал рядом и сказал: Катись отсюда! Урбан круто повернулся и ушел. Много позже мы отвезли Ренату домой на такси, никто из нас не проронил ни слова.

Незачем мерить, говорю я сестре Теа. Нет у меня температуры. Послушайте, говорит она. Как замечательно, ничего лучше вы бы не могли мне сказать. Теперь и вправду можно порадоваться, да? Я не могу не согласиться. Сестра Теа — милый человек, я уверена, она молилась за меня и нынче вечером будет благодарить своего Бога. Ее переполняют благие пророчества. Скоро мы от нее избавимся, замечает она, меняя мне капельницу. И от этой кучи трубок, конечно, тоже, приговаривает она, проверяя стоки многочисленных дренажей. С ее точки зрения, все это мерзость. Такое я слышу от нее впервые, до сих пор она очень здраво и даже одобрительно отзывалась обо всех этих трубках, что в одном месте входят в меня, а в другом выходят. Но вы ведь не можете снять капельницу, говорю я, чуть ли не с испугом, я же с голоду умру. Тут сестра Теа

обнаруживает сарказм, чего я никак от нее не ожидала. Нормальные люди питаются через рот, говорит она. Забыли?

Что с нею случилось? Она боится голодной смерти? По этому поводу профессор поневоле отечески смеется, сестра Теа ему рассказала. Температура пациентки совершенно его не интересует, ей это чуть ли не обидно. Умереть с голоду! — говорит он. Опять же не очень красивая смерть. Давайте-ка держаться от нее подальше, а? Спокойно положитесь на нас.

А что еще мне остается.

Вот именно, говорит он. Пока ничего другого вам не остается. Однако ж до сих пор все шло хорошо, верно?

Он ждет похвалы за хорошую работу, ведь и этого еще не было. Что-то в палате явно переменилось, все нынче какие-то другие. Исполняя свой долг, она говорит: Да. Благодаря вам все действительно шло хорошо. Тут он смущается, ее профессор, и спешит попрощаться. Но прежде чем уйти, роняет с порога: Сегодня вечером вы нравитесь мне гораздо больше.

Урбан мертв, а я нравлюсь им гораздо больше. Скоро я опять так им понравлюсь, что они перестанут бросать на меня испытующие взгляды, перестанут призывать к содействию и терпению. Перестанут обращать на меня внимание, потому что больше не ждут от меня никаких неприятных сюрпризов. От Урбана мы тоже больше не ждем сюрпризов, ни неприятных, ни приятных. Напротив, я поставила на нем крест, вот в чем наконец необходимо отдать себе отчет. Он превратился в такого, кто все одобрял, был ко всему причастен и оставался бы причастен и впредь. До тех пор пока, к всеобщему удивлению, все же не возникло требование, которого он никак не мог выполнить. А ведь это, по сути, нечто вроде надежды, разве нет? Только вот надежда иной раз иссякает, неизбежно иссякает, это тоже надо признать. Когда он это осознал? Совершенно внезапно, когда они потребовали, чтобы он опроверг собственную речь, с которой выступил днем раньше, довольно радикальную речь, продиктованную отчаянием, как сказала по телефону Рената. — Отчаянием? Из-за чего? — Из-за того, что все будет потеряно, если мы сейчас не начнем заново. — Поздно, сказала я, поздно, поздно. Или я только подумала, чтобы не ранить ее еще больнее. Однако от нее донеслось как бы в ответ, очень тихо: И от отчаяния, что не возражал раньше. — И опять я, тихо: А почему он не возражал? — Потому что думал, тогда тем более все будет потеряно, сказала Рената и расплакалась навзрыд.

Вообще-то он был для этого слишком умен. Стало быть, давно попал в тиски. Урбан, который некогда очень мне нравился, но с годами нравился все меньше и меньше. На котором я поставила крест, будто друзей у меня пруд пруди, а надо было — что надо было? Поговорить с ним? Даже теперь, даже после такого конца я знаю, что это бы ничего не дало. Тот выход, какой он избрал, каким был избран, я отвергла. Удержалась от соблазна. Мы все-таки очень разные, Урбан и я, в корне разные, это я давно знаю. И ему сказала. Людям глупее его, сказала я, я бы могла простить такое поведение. Но не ему. После чего он принципиально стал меня избегать. А я избегала его. Наши сферы более не соприкасались, и в несчастье тоже. Самый удобный вариант, для обоих.

Ведь мало-помалу обнаружилось, что есть лишь две возможности — отречься либо от себя, либо от того, что они называли “дело”, “наше об-

щее дело", эпитеты давно отпали, все, один за другим. Этот вывод отчетливо высветил целый ряд лет.

Кора твердит то же, что всегда: Вы слишком много думаете. Слишком много говорите. Угомонитесь. Кору куда-то вызывают.

Из радиоприемника льется низкий голос кларнета, он по-прежнему существует. Она засыпает, без сновидений, и просыпается, когда ночная сестра приносит термометр, и опять спит, не замечает, как термометр вынимают, просыпает и шумное появление Эльвиры, и первый короткий визит профессора, о котором ей задним числом сообщает сестра Кристина. Он радовался. На улице светит солнце. Может, урожай еще оклемается. А теперь она вообще-то может сама правой рукой, свободной от капельницы, умыть себе лицо, верно? Она во всем соглашается с сестрой Кристиной и делает, как та говорит. После ухода сестры пациентка сразу же опять засыпает, просыпается, засыпает, видит, как на стене появляется солнечный луч, видит, что он двигается, исчезает, пока она спит, а потом возле койки стоишь ты и говоришь: Здоровый детский сон. — Я так устала, говорю я. — Не диво, говоришь ты. А по-моему, все ж таки диво.

Я говорю о полостях, где возникают чувства. Не могу сказать, откуда мне это известно. Понимаю, что иным вещам ты все равно не поверишь. Вообще-то они, чувства, не возникают. Они оттаивают. Словно были заморожены. Или оцепенели.

Отчего оцепенели.

От шока, ведь все, что я говорю и пишу, искажено ввиду того, чего я не говорю и не пишу.

Все нормально, милая, говоришь ты. Отложим это на потом, ладно?

Ладно. Как умер Урбан?

Повесился. В роще. Нашли его лишь спустя несколько недель.

Рената. Боже мой, Рената. Ей придется жить с этой картиной.

Ты говоришь, что звонил ей. Она была очень немногословна.

Его, говоришь ты, освободили от должности, при всех, на общем собрании. Руководство институтом должно было перейти к другому. Он опять закусил удила, забушевал, потом выбежал из конференц-зала, сел в машину и поехал куда глаза глядят. Машину он затем бросил, на сиденье лежала записка: Вам меня не найти.

Всё, на сегодня хватит. Да, говорю я и засыпаю. Пробуждаясь, слышу в мозгу: Лишь символ — всё бренное. Эту фразу она говорит Коре Бахман, которая как раз вошла в палату. Умные люди, классики-то, говорит она. Кстати, профессия у нас одна и та же. Вы отыскиваете боль в теле, я — в другом месте.

В душе, вы имеете в виду.

Мне вдруг подумалось, что душу ваши хирурги никогда не находят, сколь глубоко ни режут. Потому и не верят в нее.

Профессор любопытствует, во что же это он не верит, он стоял в дверях. Ах, вы о душе, мягко говорит он, будто речь идет о забавной зверушке. Почему же. Мы относимся к этому вполне серьезно.

К чему, простите?

Оказывается, к душе как повреждающему фактору. Ее никак нельзя недооценивать. Порой протекание болезни невозможно объяснить ничем, кроме таких вот нематериальных помех.

Вы и у меня их предполагали.

Профессор берет профессиональный тон. Нет. У нее однозначно была инфекция. Бактерии, которых мы призвали к порядку.

А как насчет моей слабой иммунной системы?

Н-да, говорит профессор и пожимает плечами.

Обе женщины смеются над ним, он тоже смеется. Мы и вашу иммунную систему приструним. Однако, если можно, он хотел бы спросить, испытывает ли она сейчас боли.

Она прислушивается к больным местам — ничего. Ну вот видите, говорит профессор, весьма отрадно. Он начинает натягивать перчатки, которые ему подает сестра Маргот. Две пары рвутся сразу, едва он сует в них пальцы. Впервые она слышит, как он чертыхается. Вечно одно и то же, говорит он, приличных перчаток — и тех уже выпустить не могут. Кого он имеет в виду, ей спрашивать незачем. Доктор Кнабе, который дежурит ночью и долго стоит у изножия ее койки, выражается яснее. Настроен он мрачно, что под стать его натуре. Толкует о дефиците, об упадке и развале. Ну разве же не позор, что в таком отделении, как это, не хватает сменных рубашек. Вы не представляете себе, говорит он, на какие ухищрения нам приходится идти изо дня в день. А кстати, как у нее с температурой?

Такое впечатление, будто все они только и ждали минуты, когда можно будет пренебречь ее температурой и прочими болезненными симптомами, чтобы наконец сосредоточиться на собственных проблемах. Она не знает, нравится ли ей это. Оказывается, можно привыкнуть, что все внимание и все заботы направлены на тебя. Мелькает мысль, что она вправе устать. Так она и говорит доктору Кнабе, который немедля уходит, и засыпает. Опять этот гомункул, упорно летит впереди меня через подземные коридоры, в своем голубоватом свечении. Меня охватывает чувство, которому я долго ищу имя, поневоле следуя за светом, что озаряет теперь имена, накорябанные на ветхих стенах подвала и ничего мне не говорящие. Внезапно я узнаю имена умерших родственников, и безымянное чувство усиливается. На закопченной стене возле хлипкой дощатой двери — меловые каракули: Ханнес Урбан. Теперь я понимаю, что это за чувство: ужас. Огонек хочет заманить меня за щелястую дверь. Тут что-то кричит: Стой! — и от гулкого эха я резко отшатываюсь.

Плохой сон, говорит Эльвира, я еще слышу тот крик, а Эльвира сообщает, что снов никогда не видит и во сне не кричит. Я ведь чуть было не увидела сейчас нечто такое, чего никогда бы не смогла забыть.

По мнению Эльвиры, сестра Теа очень хорошая. Лучшая из всех сестер; кто лучший из врачей, она сказать не может, их она почти не видит, а если и видит, они не обращают на нее внимания. Для врачей существует только медицинский персонал, гордо говорит Эльвира, и, конечно, пациенты. Так и должно быть. Да, она встает ни свет ни заря, чтобы добраться сюда вовремя, еще до прихода дневных сестер, к счастью, трамвай ходит мимо ее дома, а рано вставать ей нетрудно, ее дружок тоже встает рано, у него хорошее место в заводской столовой, он чистит картошку и моет овощи и питается там же, кормят хорошо, порции большие. Его там ценят, тут можно не сомневаться. Им обоим правда живется хорошо, говорит Эльвира. Здесь, в отделении, все к ней тоже хорошо относятся. Чему она здесь только не научилась! Ну ладно, хорошего вам денечка.

Время входит в свою колею. Образуются утро, полдень, вечер, из утра и вечера возникает новый день. И резкая ему противоположность —

ночь. У врачей тоже есть свое твердое расписание, к ней они заходят не чаще, чем к другим пациентам, только профессор по привычке ненадолго заглядывает в палату перед первой операцией. Все хорошо? Как прошла ночь?

Маленький радиоприемник начинает говорить, иногда читает ей кое-что вслух. И очень хорошо, ведь книгу она пока удержать не в силах. Однажды он хорошо поставленным, спокойным голосом произносит: Ведь так или иначе смерть — великий инструмент жизни. Ей это понятно, а потом опять непонятно. Все-таки, наверно, это справедливо, только когда смерть отступает, как ты думаешь? Чтобы жизнь после явила себя намного ярче, да? Ты об этом еще не задумывался, но, по-твоему, чтобы явить себя ярче или как там еще, жизнь не нуждается в смерти как в фоне. Кора Бахман, которая тоже заглядывает не так часто, опять же истолковывает эту фразу по-другому, а именно: жизнь использует этот инструмент, смерть, чтобы вырвать пресыщенного жизнью или разочарованного из недопустимой летаргии, целительным страхом вытолкнуть его обратно в жизнь, чтобы он вновь по-настоящему зашевелился и вновь осознал, зачем существует на свете.

Так зачем же, Кора? — Затем, чтобы жить. — Так оно и есть, говоришь ты.

Кора уходит. Она не вполне в твоем вкусе, говорю я. — Почему это? — Сам знаешь почему. Потому что она все подгоняет под свои мерки. А тебе такое претит. Ты не согласен. Ты же, мол, признал правильность Кориных слов, а в остальном ты слишком мало ее знаешь. — Словно это хоть раз мешало тебе составить суждение. — Тут ты не можешь не возразить, я не могу не стоять на своем, а потом мы вдруг замечаем, что готовы вот-вот поссориться, невольно смеемся и приходим к выводу, что это — самое яркое свидетельство перелома: я на пути к выздоровлению.

На следующий день, без предупреждения, приходит патолог. Она не ожидала его визита, но отказаться от разговора, конечно, не может. Да и как откажешься-то. Судя по его виду, это своего рода визит вежливости. Одет с иголочки, в безупречно белом отутюженном халате, который он носит нараспашку. Галстук серебристого цвета. Стройный, если не сказать худой, протягивает ей сухощавую руку. Холодное безжизненное пожатие. Ну что же, хрипловатым голосом говорит он, посланец нижнего мира, и ждет, что она засмеется. Сам он не смеется. В подвальных коридорах, говорит она, ее не раз провозили мимо стрелки с надписью ПАТОЛОГИЯ. Мимо, говорит он. Это хорошо. Очень хорошо. И улыбается, она бы предпочла не видеть этой улыбки. Впалые щеки, которые приходится брить минимум дважды в день и все равно они отливают синевой; густые, аккуратно подстриженные угольно-черные волосы, углом спускающиеся низко на лоб. По телефильмам нынче каждый знает, как выглядит отделение патологии, холодные неподвижные тела под белыми простынями или в морозильных камерах, люди выдерживают это зрелище только потому, что не соотносят его с самими собой, думает она в странной опережающей панике. Ну-ну, говорит посетитель, к этому он отношения не имеет, почти не имеет, и никак не объясняет, откуда ему известно, о чем она только что подумала. Люди есть люди, говорит патолог, за свое безрассудство они норовят поквитаться именно с тем, на кого взвалили неотвратимое. Так и было, да-да, немедля соглашается она, тут он безусловно прав, люди есть люди. Тот, на кого они возложили неотвратимое, обиженно и язвительно скривил губы. Она вряд

ли поверит, но зашел он, между прочим, из любопытства. Хотел взглянуть на женщину, которая растила в себе таких опасных тварей. Он изучал их под микроскопом, выделил и определил, эти весьма особенные экземпляры, какие даже опытный человек вроде него видит не каждый день: Enterobacteriaceae.

Теперь ей захотелось пошутить. И она спросила, надо ли этим гордиться. Он испытующе глянул на нее. Это как посмотреть. Она не спросила как, не было никакого желания продолжать разговор. И это нежелание росло с каждой секундой, собеседник же, ничего не подозревая, расположился поболтать. Результатом можно гордиться или не гордиться, смотря на что она рассчитывала. Я? — спросила она с самым невинным видом. Посетитель скупым жестом отмел ее нелепый вопрос. Если она — только в порядке допущения — рассчитывала на летальный исход, то эта шайка, которую она призвала, чтобы обеспечить такой результат, оказалась чуточку, совсем чуточку слабовата. Если же ей просто нужен был убедительный повод для передышки в крайне абсурдной жизни, какую мы все вынуждены вести, тогда — снимаю шляпу! Ставка была очень высока, ведь она ввязалась в отнюдь не шуточную битву, а в таком случае ей вполне можно гордиться... ну... своей победой.

Но, говорит она, и патолог учтиво наклоняет голову, готовый выслушать, что она имеет возразить, а когда она не продолжает, сам заканчивает ее фразу: Но за этим не было никакого намерения? Она кивает, понимая, что не очень-то убедительно.

Любезная моя сударыня, говорит ее благовоспитанный гость, давайте-ка не будем забираться в такие дебри. Ни вам, ни мне это не нужно. Если что и не оказывает ни малейшего воздействия на наши поступки и на происходящее с нами, так это, пожалуй, наши намерения, верно?

Стало быть, ему известны силы, которые оказывают воздействие?

Можно сказать, да. Со стороны результата, если позволительно так выразиться. На заре своей деятельности он сам иной раз поневоле диву давался, чего мы, люди, только не вытворяем, чтобы непременно достичь этого результата. Вы просто не поверите.

Вы имеете в виду...

Я имею в виду то, о чем мы все время рассуждаем, — смерть. Забавно, вы не находите, как трудно людям именно здесь произнести это коротенькое слово?

Я обратила внимание.

Вот видите.

Но поскольку от нее не уйдешь — зачем прилагать особые усилия, чтобы вызвать ее?

Простите великодушно, однако ж мне удивительно слышать этот вопрос из ваших уст, говорит бледный посетитель, который, как она только сейчас понимает, не назвал своего имени — странная оплошность при столь безупречных манерах. Впрочем, я забыл: вы же пока не вполне восстановили свои силы. Но вы ведь не можете оспорить, что литература от веку изобилует подробнейшими описаниями таких вот усилий, предпринимаемых людьми, которые одержимы смертью, верно?

Она этого не оспаривает.

А потому место, где заканчиваются суетливые, нервозные попытки этих бедолаг, ближе всего к реальности. И... разве она не может себе представить, что человек, желающий быть совсем близко к реальности, именно там и находит место работы?

Конечно-конечно. Она вполне может себе это представить. Вполне.

Место работы, не допускающее ни малейшего самообмана?

Да, конечно. Хотя...

Хотя самообман — инструмент жизни? Выживания?

В общем, да, если ему так угодно.

Ему? Угодно? О нет. Ему-то не угодно, а вот всем пока что живущим угодно, и так должно быть. Ну что же, с Богом. Chacun a son goût[1], как говорят французы. Рано или поздно каждый узнает правду, каждый из этих бедолаг, обманывающих других и себя. Будем надеяться.

Она предпочитает не уточнять, к какой форме множественного числа прибегнул ее посетитель. Он имеет в виду правду о том, что каждый человек должен умереть?

Да, и это тоже. Но прежде всего, уважаемая, правду о том, было ли под так называемой бренной оболочкой что-либо достойное сохранения, что обреченный на смерть создавал при жизни из себя самого. Сохранения через посредство смерти, понимаете? И тут кой-кого ждет скверный сюрприз. Ну ладно. Поболтали — и хватит, ему пора идти, работа не терпит отлагательства.

Она не удерживает его. Он чуть было не поцеловал ей руку, но обошлось. — Вам холодно? — Немножко. — Я укрою вам ноги одеялом, так хорошо? — Вы очень внимательны, спасибо большое.

Входит профессор, только что повстречавший в коридоре ее посетителя. Высокий гость нанес ей визит. Превосходный специалист этот наш коллега.

В чем, профессор?

Что вы имеете в виду? В исследовании определенных субстратов на патогенные микроорганизмы. Уж кто-кто, а он непременно их найдет. Знали бы вы, скольких пациентов он спас. Нам остается лишь колоть медикамент, который уничтожит установленных им возбудителей. И охотится он за ними с невероятным азартом. Прямо-таки личную ненависть к ним питает. А как переживает, когда результат иной раз запаздывает.

И неизбежно наступает летальный исход. Он от этого переживает?

Способен прямо-таки прийти в бешенство.

Значит, он любит жизнь?

Вы уж простите, но эта формулировка не очень подходит к моему другу. Я бы сказал иначе: он борется со смертью.

Можно задать вам вопрос, господин профессор? Вы любите жизнь?

Да.

Вообще-то он пришел известить пациентку о некоторых нововведениях. С завтрашнего дня искусственное питание отменяется. Деловое сообщение, после которого он делает паузу, давая ей возможность возразить. Она молчит, и тогда он берет ее роль на себя. Да, конечно, к нормальному питанию придется привыкать, но обыкновенно это происходит на удивление быстро. Через несколько дней она даже представить себе не сможет, что когда-либо обходилась без еды.

Пока что, впрочем, она не может себе представить, как сумеет когда-либо съесть целый ломоть хлеба, который сестра Эвелин щедрой рукой положила на ее ночной столик. Белый хлеб, заговорщицки сказала Эвелин. Капельницу она отключила еще раньше, иголку, которая много недель была закреплена пластырем на локтевом сгибе, вытащила. Итак,

1. На всех не угодишь (*франц.*).

мало-помалу пациентка опять становится настоящим человеком. Никаких жизненных эликсиров в ее сосуды больше не вливают. Надо немного приподняться, взять ложку и самой хлебать суп. Выясняется, что рот не знает, как быть с этим супом, а главное, на том месте, где медики предполагают желудок, нет никакого органа для приема пищи, он не сохранился, поскольку в нем так долго не было нужды. Поучительное открытие. Хлеб до невозможности корябает горло, трижды куснув, она откладывает его и коротко объявляет, что у нее нет аппетита. В свое время и аппетит придет, утешают ее, но есть надо. Лучше всего железистую пищу, с железом у нее очень скверно, и неудивительно после такой потери крови.

Ты приносишь черносмородиновый сок, домашние овощные супы и нежные, тушенные на пару куриные ножки. Еда для меня — пытка, но ты, конечно, этому поверить не можешь, сейчас я наверняка способна довести до белого каления кого угодно, даже самого добродушного человека, но кому же сказать, скольких сил стоит выздоровление. Все, кажется, считают вполне естественным, что она опять захочет ходить, и она бы захотела, если бы совершенно не разучилась и если бы темнокожая Янина, физиотерапевт, — много лет назад сложные политические обстоятельства разлучили ее африканца-отца с немкой-женой — не требовала от нее попросту слишком много. Ведь она требует не только сидеть на краю койки, но и вставать, стоять возле койки, мало того, даже — понятно, опираясь на ее локоть, — делать шаг и другой, а ведь это значит, придется сделать и два шага назад, прежде чем наконец в поту и без сил рухнуть на койку. Теперь она будет приходить дважды в день, обещает Янина.

Свежих рубашек в отделении нет, старший врач продлевает свой визит и, стоя у изножия койки, кое-что ей разъясняет.

Она узнаёт, что больница — зеркало общества, а наше общество — общество дефицита, хоть никто в этом и не признается. Увы, говорит старший врач, у нас попросту нет валюты, чтобы закупать самое необходимое, и в результате не хватает постельного белья, полотенец, а теперь вот и рубашек. О шприцах вообще речи нет, как и об этих перчатках, марки "самоструг", я ведь сама сто раз видела, что с ними творится. Мы обязаны экономить, говорит старший врач. У производственного предприятия — план по выпуску, а у нас — план по экономии, и его надо выполнять. К счастью, нашего шефа наверху уважают, и если дела совсем плохи, он идет туда и стучит кулаком по столу.

Слегка лукавя, чтобы проверить определенные слухи, она спрашивает у него, был ли в запасе тот якобы очень дорогой медикамент, которым ее лечили.

Старший врач сердито сопит. Вам это знать не полагается, говорит он, но я лично по горло сыт этими нелепыми секретами. Конечно, ваше лекарство пришлось везти с Запада. А поскольку дело было крайне срочное, министерство здравоохранения надземкой отправило курьера с постоянной визой в Западный Берлин, он купил там лекарство, спешно вернулся, сел на поезд, нас предупредили по телефону, и наш курьер с машиной "скорой помощи" встретил его на вокзале, забрал лекарство и, включив сирену, рванул в больницу. И никто из нас не мог гарантировать, что лекарство доставят вовремя. Шеф места себе не находил, никогда его таким не видел.

Вот оно что, говорит она. Вот, значит, как все было. Можно еще вопрос: этот медикамент получил бы каждый, кто в нем нуждается?

Безусловно, говорит старший врач, за это он ручается. В экстренных случаях из спецфонда выделяют валюту. Но тогда нам приходится экономить на другом. И знаете, что в итоге получается. Все мы становимся виртуозами импровизации. Наши коллеги, уехавшие отсюда, производят там у них сенсацию своим умением делать золото из дерьма.

Как бедная мельникова дочка в сказке, говорит она. А потом спрашивает, почему, собственно, он не хочет завести сад, как его шеф, который почти столь же знаменит розами, сколь и хирургическими операциями. Старший врач пока что размышляет о мельниковой дочке, и вопрос до него не доходит. Ему не верится, что давно-давно, еще перед самой первой операцией, она слышала, как он сказал: Сад? Никогда в жизни! Он, конечно, об этом не помнит, перед операцией они просто болтали о том о сем, чтобы отвлечься, тогда как их нервная система уже переключилась на предельную сосредоточенность. Но что верно, то верно: никаких садов. Достаточно того, что шеф всех донимает своими розами. Его хобби? Она будет смеяться, потому что он собирает монеты. Так заодно и историком станешь.

Вот как? И что же историк скажет насчет нынешних времен?

Он тщетно подыскивает сравнение.

Настолько скверно?

Куда уж сквернее. Но мы, люди, слепы, к счастью.

А вы делаете слепых ходячими, говорит она и слышит в ответ: Совершенно верно, мадам. Ничего более полезного мне в голову не пришло. Вы же, как мне сдается, хотите сделать слепых зрячими. Не удивительно, что ноги вам порой отказывают.

Этот диагноз относится к вашей специальности?

К общей антропологии, я полагаю.

Стало быть, посмеиваетесь в кулачок над неисправимыми простаками.

Вы судите обо мне превратно. Разве нашему брату не дозволено тосковать по тем временам, когда желание еще было плодотворящим и ваша мельникова дочка пряла из соломы золотую нить?

Не все сказки заканчиваются счастьем героев. Для вашего успокоения: я исцелена.

Ну, об этом мы непременно вам сообщим, в свое время. Кстати говоря, иные болезни весьма упорны. Что ж, не буду вас утомлять. Приятных сновидений.

За окном темнеет, медленно и поздно, ведь близится летний солнцеворот, а она меж тем представляет себе старшего врача, как он сидит перед своей нумизматической коллекцией, рассматривает в лупу то одну монету, то другую, и на нее веет жутким, тоскливым одиночеством. Н-да, все имеет свою цену, думает она, и за душевное спокойствие стороннего наблюдателя расплачиваются убийственной скукой. Хотя, пожалуй, не ей об этом судить.

Затем прямоугольник неба, который она видит с койки, впервые после долгих дождливых недель пламенеет красками заката. Зрелище прямо-таки непостижимое для глаз, отвыкших от разноцветья. И все это — якобы чистейшее расточительство, никому в особенности не адресованное, устроенное невесть кем невесть для кого? Сестра Теа ни за что в это не поверит; если кто и способен поверить, так только совершенно бес-

чувственный чурбан. Лично она, сестра Теа, очень рада, что знает, кого благодарить за такой закат и за многое-многое другое.

Сестре Теа велено снять и дренажи, наконец-то и с этими причиндалами покончено, Господь Бог, поди, лучше знал, сколько отверстий нужно человеку, верно? А лишние мы просто заклеим. Трубки я выброшу, и с большим удовольствием. Теперь уж недолго, и вы сможете спокойно поворачиваться на бок.

И спать на боку тоже? — Почему нет? — Невозможно поверить, сестра Теа. Иные навыки здесь начисто утрачиваются. Кстати, знаете, о чем только что сообщил мой маленький приемник? Ученые разрабатывают генные технологии, которые заставят коров производить человеческое молоко.

Здорово живем! — говорит сестра Теа, она не лишена чувства юмора. — По-вашему, это грех? — Да, уверенно говорит она. Да и еще раз да.

В список слов, которые утрачены и должны быть обретены вновь, я бы внесла слово "грех", говорит она Коре Бахман, та на секунду задумывается, потом выражает сомнение. "Грех" для нее — одно из тех слов, что сковывают человека. Она уже успела немного ознакомиться с греческой мифологией. Заинтересовалась Гадесом. И спрашивает себя теперь, куда же девается сознание человека, когда она, Кора, его усыпляет.

Надеюсь, Кора, все ж таки не в Гадес.

Ведь тогда он был бы мертв. Однако есть души, пребывающие на пограничье, уже не живые, но еще и не совсем мертвые. Они внимают певцу Орфею, когда он песней пытается вызволить из мертвых свою жену Эвридику. Могущество песни, ну, вы понимаете, что я имею в виду. Все дикое, варварское замирает, когда он поет. Сизиф усаживается на свой камень. Адский пес Кербер перестает лаять. Судьи мертвых разражаются слезами. Искусство как способ обуздания диких инстинктов в человеке, мне есть над чем подумать.

Но Эвридика возвращается в царство мертвых.

Потому что Орфей, не совладав с собою, оглядывается на нее. Умно, не правда ли, что живой не должен смотреть в глаза умершей.

А почему не должен?

Потому что этот взгляд может лишить его способности жить.

По-вашему, царство мертвых может показаться ему заманчивее?

Или наше царство — царство живых — может вызвать у него отвращение. Я наблюдала за вами. Слушала вас, иной раз и когда вы спали. Вы странствовали в диковинных краях.

С вами, Кора! Но вам об этом, как видно, неизвестно. Вы решили меня вернуть?

Если по-настоящему вы пока не вернулись.

Я вернулась? — спрашивает она себя после ухода Коры. Я хочу вернуться? Не только есть пищу живых, но и находить в ней вкус? Ты недоверчиво и критически смотришь, с каким трудом я глотаю принесенную тобой замечательную манную кашу. Ложка за ложкой. Детская каша. Только не говори опять, что такая каша, какую варила твоя бабушка, никому не удается.

Моей бабушке в голову бы не пришло смотреть на жизнь с отвращением. Или полагать смерть заманчивой. Она была чересчур бедна и имела троих детей. Ты вообще думал об Урбане?

Нет, говоришь ты. Об Урбане и иже с ним ты перестал думать много лет назад и советуешь мне поступить так же. Ничего нового это не дает.

Пожалуй, все-таки дает. Например, что Урбан и я имеем крохотную толику общего, крохотное связующее звено. У тебя когда-нибудь мелькала мысль, что смерть, возможно, еще и самое надежное укрытие? Что человека гонит к ней не отчаяние, а трусость?

Какого человека? Урбана?

Например, Урбана. Может, у него просто недостало мужества жить дальше. Трудновато бы пришлось, верно?

Но ведь цинизм всегда его спасал.

Да, долгое время. Но, как видно, не всегда. Та искорка надежды, что еще теплилась в нем, была его слабым местом, ахиллесовой пятой. Туда могло ударить роковое копье. Он упустил возможность вовремя убить всякую надежду. Чем себя и погубил.

Ей он однажды настоятельно это рекомендовал. А сам свой совет не выполнил, похоже, не сумел-таки выполнить. Надежда как слабое место. Он вроде бы именно так и выразился? В тот самый последний раз, когда они встречались? В фойе конференц-зала. Во время перерыва с роскошным буфетом, который должен был настроить их на вторую, решающую часть собрания, а ходом собрания, как выяснилось, дирижировал Урбан — такую проверку ему надлежало пройти. Было это после его оголтелой речи. Когда коридорчик, ведущий к туалету, и тот находился под бдительным надзором неприметных молодых мужчин. Ей бы следовало рассвирепеть, а она, увы, опечалилась. И вдруг нос к носу столкнулась с Урбаном. Она обронила что-то насчет спецагентов, в ответ он лишь пожал плечами: Не моя епархия. — Купить нас хотите бутербродами с семгой, сказала она, он скривил уголки рта: Кой-кому из вас цена повыше. Она спросила, сам ли он написал текст своей речи, и он не задумываясь ответил: Нет. Во всяком случае, не все пассажи. — Она спросила: Так надо? — Да, сказал он. Так надо. — Теперь, сказала она, вы стараетесь нас запугать. — Если в результате мы получим хоть на десяток меньше голосов "против", дело того стоит. — По-твоему, совершенно в порядке вещей клеймить позором и исключать людей, которые, как тебе известно, всего лишь требуют своих прав. — Я этого не говорил, сказал Урбан.

Оказалось, что он, в общем-то, ничего не считал "в порядке вещей", — или она за дурака его держит, что ли? Просто, когда на карту поставлен авторитет высшего руководства, необходимо делать все, чтобы решения принимались действительно в соответствии с их линией. Вот он и вписывает в свои выступления все, что они полагают правильным.

Но я, например, буду голосовать против, сказала она. И еще несколько человек тоже. — Урбан, поджав губы: он это знает и весьма сожалеет. Может, они и мнят себя большими храбрецами, но на самом деле просто не видят дальше своего носа. Если б это собрание, наперекор всем опасениям, прошло дисциплинированно и по плану, они бы могли кое-что стребовать с руководства, сделать лишний шаг вперед на другом поле. Однако на это, увы, надежды нет, он пробует спасти то, что еще можно спасти.

А что еще можно спасти? — спросила она.

Урбан ответил: Фасад. Хотя бы на время.

Значит, вот как, по-твоему, обстоит дело? — сказала она, и он кивнул: Да. — Она: И зачем же тебе нужен этот фасад? — Чтобы прикрыть упорядоченное отступление, сказал он и спросил: Или ты предпочла бы беспорядочный крах?

Помолчав, она сказала: Ты ведь понимаешь, что это значит, когда можно выбирать только между ложными альтернативами.

Он понимал. И посоветовал ей наконец оставить надежду на невыполнимое, а тем самым и бесплодное сопротивление, которое, по всей видимости, основывалось на иллюзии, что она еще способна что-то изменить. Это ребячество.

Новый Мефистофель, сказала она. Искушение не бессмертием, а бездействием. По-твоему, стало быть, всё пропало.

Да, по крайней мере в эту эпоху. Она не годилась для нашего эксперимента. И мы тоже не годились, особенно мы. Только не надо говорить, что ей жаль. Жаль жертв, число которых наверняка еще возрастет. По сравнению с ними те несколько человек, кого придется исключить сегодня, вообще не в счет. Эти упадут мягко, сказал он не без горечи, могу гарантировать. Еще спасибо нам скажут.

Непримиренные, они вернулись в зал.

Поздно вечером она спрашивает у Коры Бахман, известно ли ей, что боль, какую испытываешь от утраты, есть мерило надежды, какую прежде питал. Кора этого не знала. Пройти по следам боли, безоружным, говорю я ей, ради этого стоит потрудиться. Стоит жить.

Кора целиком и полностью согласна. Мы опять держимся за руки, город скользит у нас под ногами, кое-что совсем иначе, нежели всегда. Кора говорит: Нам нельзя оглядываться назад, обеим нельзя. Я понимаю, и наконец-то мне открывается, кто она такая — вестница, что перехватывает еще не умершие души на пути в Гадес, отнимает их у нижнего мира и возвращает в царство живых. Вы справились, Кора, говорю я, а она полушутя роняет: Тяжелая была с вами работенка. — Я знаю, ей пора оставить меня. Она выпускает мою руку и исчезает.

С горестным чувством я просыпаюсь. Ясное утро, Янина стоит возле моей койки и провозглашает, что нынче мы дойдем до окна. Восемь шагов, говорит она, теперь это вполне нам по силам. Возражений она не терпит. Когда мы уже у окна, входишь ты вместе с профессором. До сих пор секретные конференции? Нет, отнюдь. Они чисто случайно встретились у дверей моей палаты.

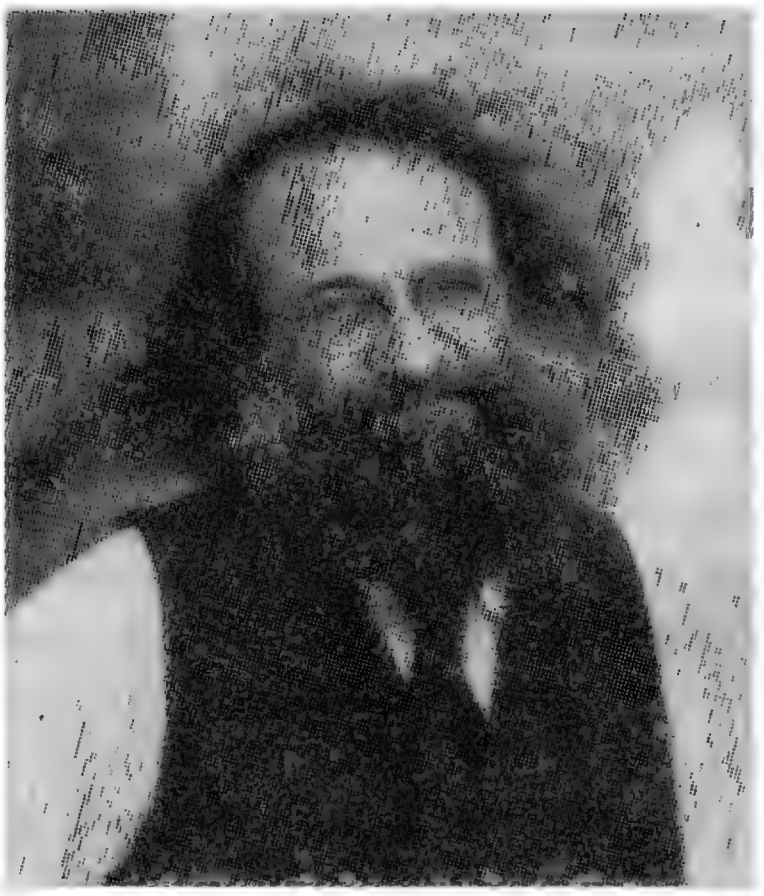
А теперь полюбуйтесь видом из окна, узнайте наконец, где вы все это время находились.

За окном — город, и сады, и озеро, большое, до самого горизонта, сверкающее на солнце. О том, как озера сверкают на солнце, написано великое множество стихов. Однако и в натуре это очень красиво, говоришь ты. Да, красиво, киваю я.

Не надо плакать, говоришь ты.

И это тоже, говорю я, строчка стиха.

Саид



Стихи

Из сборника “Будь ночью мне. Стихи о любви”

Перевод Е. Колесова

Стихи европейца

Будь ночью мне!
За все те дни,
что слов полны, но так бедны на души.

Саид

Название само написалось, а потом пошли размышления... По телевизору, фоном, идет ток-шоу о блондинах и брюнетах: мол, в чем все-таки разница. Оказывается, что брюнет категория более определенная, чем блондин. Блондин — это спектр, палитра, нуждающаяся в поддержании, в подкрашивании. Брюнет — Азия, блондин — Европа... Это уж слишком, это я к тому, что название “Стихи брюнета” не могло бы существовать даже в шутку.

Как и “Стихи азиата”. Зато “Восточные стихи” могут быть, а “Западные...” — вряд ли.

Мы начали с того, что хотели поговорить,
но опять убедились,
что твоя кожа много нежнее
моих слов.

Саид

Почему это не русские стихи? Потому что нет у нас такого способа соединять чувство с мыслью.

© Verlag C. H. Beck oHG München 1998
© Е. Колесов. Перевод, 2003
© А. Битов. Вступление, 2003
Редакция благодарит автора и издательство за безвозмездное предоставление прав на публикацию.

Шагане ты моя, Шагане!
Потому, что я с севера, что ли...

Сергей Есенин

По широкому минному полю
Я ползу по афганской земле.

Тимур Кибиров

Настоящий иранец, по-нашему, перс, оказавшись в Европе, Саид, с восточным шиком или апломбом, как Саади или Низами, дал потеряться своему имени или фамилии. Сократившись, имя удвоилось на одного немецкого поэта.

Поэт Саид получает признание в немецкой речи, получает европейские литературные премии, его даже избирают президентом немецкого ПЕН-центра, что в Германии, знающей цену иерархии и традиционно соблюдающей ее, является не слишком типичным для некоренного немца.

Надо внимательно разглядеть обложку журнала, в котором печатается подборка любовной лирики Саида... "Иностранная литература". Без этой медитации вообще ничего не понятно. И если бы я не слышал сквозь избыточную сласть русской версии шершавую гортанность немецкого подлинника и не видел бы перед мысленным взором хорошо мне знакомую хрупкую фигурку честнейшего писателя, вынесшего все тяготы утраты родины, то не разглядел бы сквозь толщину русских слов нежной прелести Саади, впитанной немецкой речью.

Измена —
это татуировка навеки.
Я же хотел лишь,
чтобы на твоем теле
ненадолго осталась обо мне память

Саид

Это и есть Европа, от которой у нас есть лишь русский язык, умеющий так же впитывать в себя чужое слово, как Европа способна впитывать чужую культуру. Все-таки это именно тайный советник Гёте впрок написал свой "Западно-Восточный диван"...

Андрей Битов,
вице-президент Международного ПЕН-клуба

13 мая 2003 г.

Безмолвным,
измятым
лежало твое платье
под нами
и слушало.

Она ничего не ответила,
а просто стала моей.
Я объявил ее

цветком магнолии
и уложил в руках
поудобнее.
Она приняла эту дань.

❧

Пока ты не пришла,
у ветра
не было голоса,
море скрывало свое волнение
в самых глубинах,
и все говорили и говорили
лишь о молчании рыб.

Первая ночь

Я не помню о ней
ничего.
Лишь твои глаза
и ее тени
что-то мне говорят.

❧

Вот и ночь,
впрочем, достоверно лишь,
что наши веки закрыты.

Когда вернется луна,
она нас не найдет.

❧

Твои пальцы —
новая молитва,
которую я сочинил, —
собраны в моих ладонях.
На черный день.
На светлую ночь.

❧

Она лежала на спине,
закрыв глаза
от ветра.
Ждала, чтобы луна
посеребрила ее безучастную руку.
От ветра
она ожидала лишь
семени и забвения.

И тогда мы забыли
о ночи
и ее языке —
столь немы были
наши молитвы.
А над нами —
россыпь неудавшихся лун.

Это ради меня
твои руки пахли мускатом
и детством.

Это ради меня
твои уста принесло мне волнами,
как спасительный необжитый берег.

Это ради меня
морская синева твоих глаз
вернулась к моим кораблям.
Мы спали на лоне реки,
и рыбы из прошлого
приплывали поцеловать нам ноги.

Этот гостеприимный край
между твоей неясной кожей
и моими удавшимися поцелуями
не покинем мы никогда.

Твой сон
у меня на руках,
великий и непобедимый.
Твоя рука,
забытая у меня на устах.

Утро.
Я тебя одеваю.
Как это трудно!

Ты знала об этом?

Ты пришла,
и я повторяю солнцу
твое имя.

Ты ушла,
и я повторяю твой взгляд
в темноте.

Заблудившаяся бабочка
на занавеске.
Открываем окно,
молча, в четыре руки,
давая ей улететь.

Читая вслух
красные буквы на зеркале,
ты подставляла мне плечи,
как будто я кто-то чужой,
как будто ты хотела всего лишь
прислушаться к прошлому.

Влюбленные I

Две бойницы —
одна против другой.

Вот куда завела нас
безмолвная белизна твоих плеч.
Я оживляю твой камень,
мечась между терпением и желанием.
Твои уста предупреждают меня
о наступающей буре.

Небо
тихонько расстегивает платье твое,
вспоминая кормилицу.

Утро
тихонько уходит с глаз твоих,
чтобы их не застить.

Твое округлое колено,
в котором для меня теперь нет ничего незнакомого, —
ах, какая ловушка для всех живущих и живших!

Однажды, встретив смерть,
я рассказал ей о твоих глазах.
С тех пор
она избегает моего дома.

Поцелуй с утра —
мне уже пора.

Ты мне дом-жена —
я твоя весна.

Ты мне свет ночной —
я твой ветер злой.

Не кори меня,
я ведь ночь твоя.

Любовь
живет ровно столько,
сколько цветет яблоня.
После этого она
увядает в наших жадных руках.

Если бы он увидел,
любимая,
как я слизываю твою помаду,
он бы сбежал от нас
без оглядки.

Влюбленные II

Два камешка на берегу ночью.
Но даже полная луна —
еще не залог счастья.

Любимая, прошу,
не выдавай ему
того места у тебя за ушком,
которое я так люблю.

Случилось так,
что наша любовь стала болью.
Но я не знаю жалости,
поэтому назло ему
мечтаю о тебе все время.

Твоя улыбка —
осенний псалом
изгнания.

Твои глаза —
весенний горизонт
возвращения.

Твой голос, сплетенный
из криков лодочников и дымов коптилен,
пробуждает во мне
бесшумную походку людоеда.
Твое дыхание в ритме моих шагов,
узнав их,
отворяет мне двери.

Все это лишь до тех пор, любимая,
пока не прогремит мое утро,
пока я ласкаю твои волосы,
а мои уста
познают тайны твоей кожи,
пока твои руки
берегут мои сны.

Будь ночью мне!
За все те дни,
что слов полны, но так бедны на души.

Измена —
это татуировка навеки.
Я же хотел лишь,
чтобы на твоем теле
ненадолго осталась обо мне память.

Вот они лежат,
эти несчастные птицы.

Их приманили твои глаза,
и они канули в их синеву.

Вот они лежат,
полуприсыпанные землей,
полууснувшие в небесах твоих глаз.

Мы начали с того, что хотели поговорить,
но опять убедились,
что твоя кожа много нежнее
моих слов.

Они прилетели потом,
эти голуби,
и присели к нам
на скамью.
Они не боялись
ни твоего взгляда,
ни моих рук,
ни нашей обыденной лжи.

Однажды, собирая твои вещи,
я вложил в них
маленькую частицу себя —
пусть она станет
продолжением твоего тела.

А еще однажды
я попросил тебя сказать слово,
единственное,
которое говорят
только ночью.

А однажды
мне пришлось говорить самому,
и звуки незнакомого языка
открыли тебе мир тела,
свободного от всех языков.

И было так,
что ты хотела
вновь стать ребенком
и получить шлепок,
и потом долго-долго плакать
у меня на руках.

Ты пришла той ночью
сама не своя,
и мне долго пришлось
выцеловывать тебя из беды.

Мы были и тьмой, и светом.

Червяк и бабочка,
буря и штиль;

свет был бел,
бела была птица,
птичий был камень,
камень был твой.

Хочу,
чтобы руки твои пахли любовью.

Мы напишем, что захотим,
на полосках бумаги
во всеми забытом храме.
И молча поклонимся отшельнику,
чьи веки, как и наши, давно закрыты.

Я спрятался в твоих волосах —
как будто мы оба
искали и нашли убежище.

Ничейной земли не бывает,
любимая!
Кто обращается
лицом к солнцу,
рискует получить от луны
кинжал в спину.

Прежде, чем отпустить тебя,
я дам твоим глазам
теплого хлеба,
отдам твоим волосам
все свое дыхание,
а руки твои наполню
своим молчанием.

Проснувшись утром,
я нашел лишь холодную постель.
Окно было открыто,
и за ним
виднелись вчерашние облака.

Между нами пролегло
море
и заговорило разгневанным голосом.
Рыбаки
до сих пор выкрикивают твое имя,
чтобы успокоить прибой.

Катя Ланге-Мюллер

Рассказы

Перевод и вступление Г. Косарик

Катя Ланге-Мюллер родилась в Восточном Берлине. В 1979—1982 годах училась в Литературном институте имени Иоганнеса Р. Бехера в Лейпциге. В 1984 году перебралась в Западный Берлин, где и состоялась как писательница. Автор нескольких сборников рассказов, а также повестей. В 1986 году за первую книгу рассказов "Боль и жалость — всё как в жизни" получила в Австрии премию имени Ингеборг Бахман.

Ее жизнь могла бы быть легкой и безоблачной, но она выбрала трудный путь политической борьбы: разорвав отношения с матерью, кандидатом в члены Политбюро СЕПГ, она покинула интернат для детей партийной элиты, проработала четыре года наборщицей в газете, потом пять лет санитаркой в психиатрической лечебнице; в 1976 году она подписала протест против лишения гражданства Вольфа Бирмана; по окончании Литинститута ее "командировали" в Монголию, где в течение года она работала на ковровой фабрике; после попытки эмигрировать в Китай ее возвратили назад, где она была поставлена перед выбором: предстать перед судом или покинуть ГДР. Ее ранние рассказы полны горечи, а стиль, сохранившийся таким и сегодня, характеризуется особой ироничностью и склонностью к гротеску.

В 1996 году она получила Литературную премию Берлина и стала участником литературной программы "Берлин—Москва", где писательницу представлял русским слушателям Андрей Битов. Катя Ланге-Мюллер читала отрывок из повести "Слишком ранняя любовь к животным" (1995), за которую чуть раньше получила Литературную премию имени Альфреда Дёблина.

В 2000 году Катя Ланге-Мюллер наряду с другими берлинскими и несколькими русскими писателями, среди них А. Битов и Е. Попов, вновь приняла участие в про-

© 2003 by Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
© Г. Косарик. Перевод, вступление, 2003
Редакция благодарит автора и издательство за безвозмездное предоставление прав на публикацию.

грамме "Москва—Берлин", реализовавшейся на сей раз в Берлине. Журнал "Иностранная литература" знакомит своих читателей с двумя текстами Кати Ланге-Мюллер из этой программы. Писательница часто ездит с чтениями своих литературных произведений по Германии и Европе, а также по США и уделяет много времени регулярным занятиям с молодыми писателями в Литинституте в Лейпциге. Ее книга "Последние" (2000) посвящена вымершей профессии типографских наборщиков. Критики "окрестили" писательницу за виртуозность языка и ироничность "акробатом слова". Последняя ее книга "Утки, женщины и истина" вышла в 2003 году. В книгу включен рассказ-притча "Утка в бутылке", связанный с именем мужественного гражданина и талантливого писателя Хайнера Мюллера, умершего в 1995 году от неизлечимой болезни. Катя Ланге-Мюллер навещала его в больнице на правах близкой родственницы и хорошего друга до самых последних его дней.

Москва – пути и путники

ОЧЕНЬ это трудно, но так прекрасно – носиться по Москве, особенно зимой. Чистая авантюра для не совсем трезвой (нигде водка не кажется такой вкусной, как здесь, и никогда – слаще, чем зимой), не совсем молодой и именно по этим двум причинам не совсем твердо держащейся на ногах женщины, обутой в простые уличные ботинки на тонкой, плоской подошве. Она, то есть на сей раз я, в любой момент может шлепнуться носом и поцеловать землю, покрытую только что выпавшим беленьким снежком, скрывающим под собой тонкую корку льда, затянувшую огромную лужу в глубокой асфальтовой выбоине, оголившейся плеши на тротуаре или строительной дыре, неизвестно с каких пор оставленной тут – на исхоженной вдоль и поперек и оттого скривившейся в кислой гримасе старинной московской улочке. Тротуар – это лицо улицы, и пешеходы должны смотреть на него во все глаза, делая очередной шаг, поскольку именно здесь таится для них угроза, чреватая великой опасностью, возможно единственно реальной из всех.

Так, торопливо поспешая, поскальзываясь, оступаясь и в любой момент радостно ожидая приобрести рваную рану или гипсовую руку, я, маневрируя в толпе, продвигаюсь к входу на станцию метро "Новокузнецкая": хочу попасть сегодня в зоопарк, потому что не могу больше смотреть только на физиономии прохожих, а хочу увидеть людей – тех, которые хотят увидеть животных.

Устремляясь к платформе, люди проходят или не проходят мимо других людей, тех, что продают миниатюрные акварели или цветы, старые истрепанные журналы или крошечных котят. Люди проходят мимо людей, тех, что стоят тихо или не очень, тех, что сидят, лежат и ничего не продают. В одиночку пытаются они добыть парочку рублей, или им помогают в том – просить и брать подаяние – собачки. Вдруг вижу – мужчина без ног и рядом с ним нечто такое, чего я еще никогда не видела: ручной воробей. Воробьи, думаю я в те короткие секунды, приближаясь к ним, не приручаются. В полном недоумении я замедляю шаг, вытаскиваю из кармана куртки бумажные деньги и невольно вспоминаю, что Дурс Грюнбайн[1] был, пожалуй, прав, когда написал, что московский во-

1. Дурс Грюнбайн (р. 1962) – известный современный немецкий поэт, автор многих поэтических книг, лауреат нескольких литературных премий, живет в Берлине. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

робей всем своим внешним видом напоминает ему товарища Ленина. А в Москве, и ты, Дурс Грюнбайн, должен согласиться в этом со мной, воробьев гораздо больше, чем в Берлине. И уж точно, Дурс, все воробьи похожи на Ленина — и как я теперь знаю, а ты, возможно, еще нет, и те, что в Берлине, тоже. А вдруг окажется, что все воробьи всего нашего круглого шарика внешне похожи на товарища Ленина? И если это так, то что бы тогда это значило?

Зачем я пришла сюда? Ведь я терпеть не могу зоопарки, тем более в больших городах. Зоопарки — любимая цель воскресных семейных вылазок, а по будням бабушки приводят сюда своих внуков и внучек. Что влечет людей в зоопарк? Может, у них и впрямь шоры на глазах или они совсем очерствели душой, если заставляют детей смеяться, глядя на милых и симпатичных пингвинов? Или они прячут за жестами своего показного интереса к животным отвратительнейшую форму жалости к себе и пренебрежения к зверям: мне, оцелот, конечно, очень плохо, у меня есть муж, которого я терпеть не могу, и он платит мне тем же. Но взгляни, одинокий и несчастный оцелот, у меня от него дочка, и я люблю ее, вот она смотрит сейчас на тебя и думает, что ты — большая киска. А мой муж, понимаешь, он, конечно, пьет, но все же содержит нас, дает нам денег на кино или вот на то, чтобы мы могли прийти сюда и посмотреть на тебя. А ты, оцелот, прийти и посмотреть на нас не можешь. И кроме того, ты придешь только за тем, чтобы больно укусить нас, а может, даже съесть. Но только не очень-то воображай из себя — малышка все равно не поверит, что ты хочешь съесть ее или меня. Может, конечно, тебе такое и в голову не приходит, может, ты уже давно забыл, что ты — оцелот, может, у тебя и зубов-то даже нет. Во всяком случае, укусить нас ты не сможешь — ни сейчас, ни потом, никогда. Ах, оцелот, несчастный ты кусачий зверь, ты вообще уже ничего не можешь. А я, знаешь, только выгляжу так, а на самом деле я по крайней мере мать. А ты, оцелот, всего и есть что какая-то там редкая тропическая кошка и ничегошеньки уже не помнишь, да и не можешь этого. И остаешься лишь метафорой узника в клетке и не более того — одной из множества метафор здешнего зоопарка.

Я не умею читать чужие мысли. То, что я вложила этой полной женщине, обнимающей рядом со мной девочку, в уста — нет, скорее, все же в голову, — слова, в которые облекла пришедшие мне самой на ум мысли.

Девочка выглядит Красной Шапочкой, только без пирожка и без вина для бабушки, а оцелот — это и не оцелот, но и не Серый Волк. Мы стоим перед вольером, примерно 5 х 5, разглядывая снежного барса — как-никак ближайшего родственника оцелота, а заодно и гепарда, и ягуара, и черной пантеры. Снежный барс — редкий из зверей, который показывается сегодня публике в этот не особенно холодный по московским условиям декабрьский день. И как показывается! Он не делает ничего другого по сравнению со всеми сородичами во всех остальных зоопарках мира, во всяком случае в тех, в которых я уже побывала, — он стремительно ходит, как заведенный, взад и вперед. Шесть шагов — туда, шесть — обратно, шесть вальяжных, неповторимо грациозных шагов на больших, мягких лапах. Но здесь от нас его отделяет не решетка — некое переплетение железных прутьев, через которое он мог бы по крайней мере учуять нас по запаху, нет, он обитает за стеклянной витриной,

сейчас она запотела и заиндевела на уровне его головы, словно ослепла, потому что в своем ритмическом метании туда-сюда он трется об нее, задевает, быстро проходя мимо. Вот снежный барс крепко прижался мордой, от которой валит пар, к витринному стеклу, разделяющему нас; мы отчетливо видим его розовый нос, его уши и ясные, но невидящие, уставившиеся в пустоту неподвижные глаза — то правое ухо и правый глаз, то левое и левый глаз, и так каждые шесть шагов, и когда барс делает небрежный поворот, чтобы двинуться в обратный путь, он шмякается о стекло то левым, то правым виском, тыкаясь в витрину, но не сильнее, чем прижимается и тыкается головой домашняя кошка в ногу хозяина, от которого ждет ласки и угощения, и тем не менее витрина слегка вибрирует от этого удара; приложив на мгновение щеку к холодному стеклу, я слышу, как она даже звенит. В одном месте стекло, по-видимому мало чем отличающееся от переднего лобового в автомобиле, лопнуло. Вокруг крошечной воронки, которой суждено, возможно, превратиться со временем в маленькую дырочку, кругами расходится паутина мелких трещин, точно такая же, как по воде, если бросить туда камешек. Мне не кажется, что эти трещинки — заслуга снежного барса. Однако, заметив повреждение на стекле и внимательно изучив его, мы немного отступаем — девочка, похожая на Красную Шапочку, кругленькая полная женщина, которую я наградила своими мыслями, и я, та, что терпеть не может зоопарков.

Не очень большой московский зоопарк претендует, однако, на то, чтобы поражать воображение посетителей сказочными избушками, теремками и замками, что ничуть не удивляет в этом городе. Круто изогнувшийся каменный мостик, высокие бортики которого украшают (или, скорее, так задумано, что украшают) скульптурные изображения животных, связывает обе территории зоопарка. Среди искусственных скал, где находятся вольеры и размещаются зимние квартиры не очень приспособленного к морозам живого инвентаря, застыло искусственное озеро изогнутой формы, и по нему — вроде так и положено — перевариваются пешим ходом утки: вода-то замерзла, что тоже ни для кого неожиданностью не является. Вокруг озера ведет дорожка — мимо клеток и киосков со всякой всячиной: лимонад, конфеты и леденцы, пирожки, хот-доги, сигареты и множество игрушечных животных. Число войлочного, деревянного и плюшевого зверья за разрисованными морозом витринами киосков и на открытых ларьках под козырьками значительно превышает наличие живой натуры, послужившей моделями для этих более или менее забавных фигурок. Трудно представить себе больший контраст, чем между этим пестрым и ярким тряпичным хламьем в виде медведей, собак, обезьян, тигров или птиц по одну сторону дорожки и животными в белых, серых и бурых шкурах, бессмысленно и бесцельно снующими вдоль решетки с внутренней стороны своих загонов или сидящими в застывших позах на деревьях. Звери, фальшивые и настоящие, разбиты на два антагонистических лагеря, как шахматные фигуры: на белых и черных — и между ними я сама: по-настоящему еще не мертва, но уже чуть жива — брожу и думаю: и нет у них ни короля, ни королевы. Я покупаю игрушечного слона, made in Taiwan, заведомо зная, что никогда в жизни не буду с ним играть. Покупаю, потому что водки в моей фляжке только на донышке, и я бы с удовольствием наполнила ее до

краев чем-нибудь горячительным, но шнапса в Московском зоопарке нет.

Где же они застряли, Красная Шапочка и ее мамаша? Мы идем вслед за людьми, мой слон и я, и доходим до бетонированного холма, а затем и до павильона со скалами и множеством изогнутых по-восточному арок, и это вселяет в меня надежду, что мы все-таки окажемся в имитирующем восточные чудеса шатре — "Сезам, откройся!", — а не в "потемкинском" Кифхойзере[1]. И действительно, в лицо нам уже пахнуло теплом конюшен, а в ноздри ударил едкий запах. А когда я обнаруживаю над затылками человеческих голов, колыхающихся передо мной гроздьями, веера искусственных пальм по левую руку и слышу странные, проникающие через гул толпы крики, я уже знаю: мы в обезьяннике, в гостях у приматов. На качелях примостилась бочком на доске зеленая мартышка, усиленно занятая тем, что сосредоточенно расковыривает гранат.

Но сладких зернышек она не ест, а бросает их, красные и липкие, вместе с кусочками кожуры в сторону бородатой мартышки, а та — засыпанная зернышками и кожурой явно не от одного граната — спит в позе эмбриона на ржавых прутьях в полу или, судя по выдающему ее нервно вздрагивающему кончику длинного хвоста, только делает вид, что спит, показывая нам свой голый, лишенный растительности, мозолистый сине-фиолетовый зад. Готовая к спариванию самка без своего самца или по меньшей мере подружки из своего же рода-племени. Рядом с клеткой висит табличка: "Под опекой фирмы NIVEA".

По соседству на фоне бетонной стены, раскрашенной под цветущие джунгли, горы и небо, сидят одна подле другой три макаки на голом суку, словно куры на насесте, задом к нам, выказывая нам не просто свое холодное безразличие, но даже и презрение. Мальчик лет четырнадцати стучит по стеклу, тихонько, по-видимому боясь напугать обезьян, желая всего лишь вернуть их к жизни, чтобы хоть одна из них да обернулась. И хотя все старания мальчика напрасны, и он — становясь от нетерпения несносным — выбивает по стеклу уже десятью пальцами дикую барабанную дробь, никто не хватает его за руки и не останавливает, потому что, в общем, у всех муторно на душе, все немного злятся на такую вызывающую необщительность обезьян, на их презрение к публике. Тут, понимаешь, все честно заплатили за вход, у всех, несмотря на теплые сапоги, замерзли ноги, и все строго придерживаются повторяющейся через каждые три метра просьбы не кормить животных, а только лишь смотреть на них, и на́ тебе, пожалуйста! На что смотреть-то? Да не на что! Звери или не удостаивают публику ни единым взглядом или, хуже того, — вовсе прячутся. Вероятно, рассуждаю я, многие из нас только думают, что приходят сюда посмотреть на животных, на самом же деле нам хочется, чтобы звери восхищались нами, нашими чудесными детьми, их розовыми щечками, забавными шапочками и нашими теплыми меховыми шубами.

И только один-единственный представитель всего обширного отряда приматов, единственный из четырех представленных здесь орангутанов, ведет себя иначе, чем другие. Это, как я, проявив любопытство и настойчивое терпение, могу наконец констатировать, еще совсем молодой самец, перед клеткой которого стоит такая толпа людей, что их

1. Кифхойзер — немецкий исторический памятник Средневековья: мощный замок-крепость Барбароссы в горах Тюрингии.

скопление магически притягивает сюда все новых и новых посетителей, они подходят и подходят, и потому всем приходится долго ждать, стоя в третьем, четвертом, а то и пятом ряду, пока впереди не образуется просвет и не появится хоть чуть-чуть свободного местечка, куда можно будет протиснуться и наконец-то увидеть то, что так тянет сюда людей. Пока три другие обезьяны из той же "тусовки", следуя заведенной обитателями здешнего павильона общей традиции держаться от публики подальше и лучше вообще к ней задом, удалились на максимальную глубину, этот хулиганистый орангутан держится, нет, возлежит в небрежной позе хиппи в переднем левом углу стеклянной клетки. Специальное стекло, толщиной всего в два сантиметра, отделяет его сильное, рыже-коричневое, волосатое плечо от женских рук и детских ладошек, напирающих на стекло с другой стороны. Люди обмениваются репликами и смеются, потому что орангутан разыгрывает для них спектакль, который, что вполне вероятно, хорошо им знаком; на моем родном языке это называется играть в "слепую корову"[1]. Орангутан, которого одна девчушка окликает "Саша!" и даже "Сашенька!", положил себе на глаза бутылочную этикетку от "Боржоми". Вот он вытягивает немного вперед свою очень подвижную нижнюю губу и дует на бумажку, очень осторожно, пока полоска не начинает понемногу оживать и вспархивать, приоткрывая для зрителей маленький орангутановый глаз, который как бы вовсе и не глядит в сторону застывших, подобно мумиям, "коллег", его старших по чину собратьев, но при этом, однако, озорно сверкает именно в этот самый момент. Затем, когда этикетка со словом "Боржоми" того гляди слетит, длинные пальцы правой обезьяньей руки быстро хватают ее и снова водружают на старое место; Саша, если его действительно так зовут, лежит опять неподвижно, изображая из себя смертельно скучающего или болезненно чувствительного к свету алкаша с перепоя, пока вдруг снова не выпятит нижнюю губу. Орангутан поистине великий мим. Его игра, сколько бы раз он ее ни повторял, никогда не бывает одинаковой; в мелочах и нюансах отличающиеся от предшествующего раза вариации жестов, выражение лица, замедленное или менее ловкое движение руки, чуть больше складок на лбу, короткий и озорной оскал зубов делают эти забавные сценки разными и, можно сказать, амбивалентными, то есть двойственно-противоположными: то почти эгоцентрично серьезными, то, скорее, комично-веселыми или даже кокетливыми. Я спрашиваю себя, как часто Саша это проделывает и когда он начал свои сеансы сегодня, но мне хочется курить, и я покидаю представление.

За мостом, в просторном закутке, обсаженном маленькими елочками, я обнаруживаю несколько лисиц — двух прелестных белых песцов, трех рыжих лисиц и одну чернобурую. Лисицам, думаю я, живется здесь привольно. Они вспахивают своими остренькими мордочками со вздернутыми носиками свеженький снежок, гоняются друг за другом вокруг елочек или кружатся на месте, ловя кончик собственного хвоста. Вот одна из них вдруг подпрыгнула высоко вверх на всех четырех лапах, попыталась сделать сальто, опять приземлилась в снег и покатилась кубарем, пока наконец другая лиса не приняла ее приглашения немного поиграть и порезвиться.

У волков, чья территория примыкает к лисьей, впалые бока и втянутые животы; их зеленые миндалевидные глаза меланхолично глядят в

1. Blindkuh (*нем.*) — по-русски: жмурки.

неизведанную даль — скучающе и ханжески обреченно, но с подвохом. Один из волков тоже раскапывает мордой снег, но у него это выходит так, словно он занимается этим лишь потому, что совсем повесил голову, а заодно опустил и уши. Побывали ли уже здесь Красная Шапочка и ее мама?

Я бросаю еще три-четыре усталых взгляда на белую сову, белых куропаток и белых гусей. Стоя рядом со снеговиком, допиваю свой шнапс и навостряю лыжи к выходу; перед самыми воротами — самый последний вольер, в нем никого нет, кроме уличных воробьев, по-видимому находящихся здесь абсолютно по доброй воле, — сотни и десятки сотен устроивших оглушительный гвалт серых воробьев. Но как, Дурс Грюнбайн, смогли попасть сюда эти "маленькие пернатые Ленины", в эту старомодную, куполообразную громадную клетку из мелкоячеистой сетки? И пока я спрашиваю нас обоих об этом, на ум мне приходят несколько строк из английской баллады: "За горами, где черно и туманно, / Лежит страна, милая сердцу джамблис[1], / Глаза их холодны, крылья — как сталь, / И они уйдут в открытое море даже сквозь сито".

Zoo, или Любовь Шкловского не к Шарлоттенграду

1923 год. На тридцатом году своей жизни, в феврале, этом холодном месяце, в котором восемнадцать лет спустя я появилась на свет, шел по Шарлоттенбургу, уже тогда известному берлинцам всех мастей как Шарлоттенград, другой Водолей, и его мужескому полу этот знак Зодиака подходил гораздо больше, чем мне, и звали этого человека Виктор Шкловский[2], и сказал он о себе так: "Если бы я имел второй костюм, то никогда не знал бы горя", и шел он как человек, так и не сумевший полюбить город своей эмиграции и ледяные узоры его "зверинца" (Zoo), куда ходил той зимой от случая к случаю, потому что, вероятно, думал, что место его скорее всего именно там, раз уж он стал рыцарем Великого и вольного обезьяньего ордена, который придумал обезьяний царь Алексей Михайлович Ремизов "по типу русского масонства", и он, Шкловский, чин дал себе сам "короткохвостый обезьяненок". Шел он "один по льду, вокруг него туман", туда, где мог чувствовать себя чуть ближе к своему "мастеру", Велимиру Хлебникову, "Председателю Земного Шара", мечтавшему дать обезьяньему народу немного гражданских прав, да только вот беда — он "умирал ужасно. От заражения крови". Но, может, конечно, и так, что даже "зверинец" не смог стать тем местом, которое пришлось бы тогда Шкловскому в

1. Смешные фантастические существа, персонажи шотландского фольклора, путешествующие по морю в сите.

© 2001 Berlin Verlag, Berlin, ein Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH

2. В. Б. Шкловский (1893–1984) — русский писатель; в 1922–1923 годах находился в эмиграции в Берлине, где им была написана цитируемая здесь книга "Zoo. Письма не о любви, или Третья Элоиза" (Берлин, 1923); посвящение Эльзе Триоле.

том городе по "вкусу, пусть и с примесью горечи", однако все же это было место:

Где орлы сидят, подобны вечности, оконченной сегодняшним, еще лишенным вечера днем.

Где верблюд знает разгадку Буддизма и затаил ужимку Китая...

Где наряды людей баскующие.

А немцы цветут здоровьем...

Где обезьяны разнообразно сердятся и выказывают концы туловища.

Где слоны, кривляясь, как кривляются во время землетрясения горы, просят у ребенка поесть, влагая древний смысл в правду: есть хоцца! поесть бы! и приседают, точно просят милостыню.

Где медведи проворно влезают вверх и смотрят вниз, ожидая приказания сторожа.

Где нетопыри висят подобно сердцу современного русского.

Где грудь сокола напоминает перистые тучи перед грозою...

Где в лице тигра, обрамленном белой бородой и с глазами пожилого мусульманина, мы чтим первого магометанина и читаем сущность Ислама...

Где утки одной породы поднимают единодушный крик после короткого дождя, точно служа благодарственный молебен утиному – имеет ли оно ноги и клюв – божеству.

Где пепельно-серебряные цесарки имеют вид казанских сирот...

Где волки выражают готовность и преданность...

Где толстый блестящий морж машет, как усталая красавица, скользкой черной веерообразной ногой и после прыгает в воду, а когда он вскатывается снова на помост, на его жирном, грузном теле показывается с колючей щетиной и гладким лбом голова Ницше...

Где носорог носит в бело-красных глазах неугасимую ярость низверженного царя и один из всех зверей не скрывает своего презрения к людям, как к восстанию рабов. И в нем затаен Иоанн Грозный.

Где чайки с длинным клювом и холодным голубым, точно окруженным очками, глазом имеют вид международных дельцов, чему мы находим подтверждение в искусстве, с которым они похищают брошенную тюленям еду...

Где слоны забыли свои трубные крики и издают крик, точно жалуются на расстройство. Может быть, видя нас слишком ничтожными, они начинают находить признаком хорошего вкуса издавать ничтожные звуки?..[1]

Если Шкловский не гуляет по Zoo, собирая впечатления для книги, не погрузился в мысли, о которых, если только они не о любви, ему дозволено писать любимой, тогда он сидит в комнате и сочиняет письма Але, "женщине, у которой нет для него времени". "Покорный воле судьбы и материала", он "связал эти вещи сравнением: все описания оказались тогда метафорами любви". Из этих возникших в доинфляционном Берлине очерков, адресованных Але, и из ее сравнительно редких ответов Виктору собралась в конце концов книга с родившимся первоначально названием "Зверинец" (Zoo), "но оно не связало кусков", и тогда "пришла мысль сделать из них что-то вроде романа в письмах" — "Zoo, или Письма не о любви", сложившаяся "книжка начала писать себя сама", рассказывать историю односторонней пылкой любви, тоски по родине, а заодно рассказывать и о слабости автора к автомобилям. Шклов-

1. Отрывок из текста Велимира Хлебникова "Зверинец" ("Садок Судей 1-й", 1909) является эпиграфом к книге В. Шкловского "Zoo, или Письма не о любви".

ский размышляет также о Достоевском, Толстом, художнике Шагале, об Илье Эренбурге, который ходит в "Prager Diele": "В углу кафе сидит сам учитель и показывает искусство курить трубку, писать романы и принимать мир и мороженое со скептицизмом. Природа щедро одарила Эренбурга – у него есть советский паспорт. Живет он с этим паспортом за границей. И тысячи виз. Я не знаю, какой писатель Илья Эренбург... Прежде я сердился на Эренбурга за то, что он, обратившись из еврейского католика или славянофила в европейского конструктивиста, не забыл прошлого. Из Савла он не стал Павлом. Он Павел Савлович и издает 'Звериное тепло'..." Шкловский посылает женщине, которая "загнала" его "любовь в телефонную трубку" и существование которой он в самом последнем своем письме, направленном во ВЦИК, отрицает, очень грустные, очень смешные, очень импульсивные и, мне хочется сказать, *меланхолерические* "весточки" о том мире, "где прекратилась нормальная жизнь и ужас вошел в привычку".

"Zoo, или Письма не о любви" – книга, которой невозможно противостоять. Можно только снова и снова говорить о ней и, пожалуй, даже по-настоящему беседовать с ней – такое в ней обилие оригинальных метафор, образов и сравнений, поражающих воображение поэтически одаренной натуры, тем более женщины, если при этом еще хотят произвести на нее впечатление – цитатами без ссылок на источники, в чем нет нужды для обоих и что сегодня поражает еще сильнее, чем прежде. Женщина, с которой разговаривают метафорами – а хорошие метафоры это не что иное, как простые или трудные в своем разрешении загадки, – естественно, поверит, что ее считают умной и не сомневаются в том, что она эти загадки поймет, докопается до истины, скрытой в метафоре. Это очень соблазнительно, когда тебя считают умной: Аля, задорная и насмешливая в своей блистательной провокации, выраженной в немногих, но ясно сформулированных словах, для которых Шкловский – "копилка", обладала не смекалкой соблазненной женщины, а тонким умом соблазнительницы. Она запретила ему писать о любви, потому что не хотела читать в его письмах ни о чем другом, кроме как только о любви. Однако насколько же скучна и незамысловата фраза, лишенная всяческой фантазии: *я люблю тебя* – субъект, предикат, адресат. Ничего не говорит она о любви, не описывает ее. А ведь, в конце концов, *этот* любящий претендует на то, что он поэт, притом влюбленный, да, некрасивый, небрежно одетый, но всемогущий в умении словесно выражать испытываемое им чувство, как Сирано де Бержерак; так пусть докажет, пусть вложит в каждое произнесенное им слово свою любовь, а не ограничивается одной лишь этой банальной фразой.

Я не такая, как Аля, и неважно, существовала она или нет, или была, как пишет Шкловский в своем тридцатом письме, ничем иным, как "реализацией метафоры". Я – легкомысленный Водолей в женском обличье, – вняла бы мольбам этого мужчины – моего щедро одаренного природой дублета по знаку Зодиака – самое позднее после первого же письма, потому что ничего так страстно не желала себе, как тонкого, ироничного, безнадежно мужественного и насмешливо-грустного литератора, будь он русский или норвежец, итальянец, сенегалец или, чем черт не шутит, даже немец. Конечно, может, он очень скоро и надоел бы мне, но поначалу я ни за что бы не отказалась от такого, как Виктор Шкловский. Вот только вопрос, написал бы он потом все остальные свои письма? И узнала бы я историю про телефон, который "пищит",

будто Шкловский "наступил на кого-то"? Или, скажем, о весеннем наводнении в Берлине? О том, что "вода все прибывает", как в Питере, вот "она затопила весь Берлин, и поезд унтергрунда всплыл в туннеле дохлым угрем, вверх брюхом. Она вымыла из аквариума всех рыб и крокодилов. Крокодилы плывут, не проснувшись, только скулят, что холодно. А вода поднимается по лестнице. Одиннадцать футов. Она у тебя в комнате... Но в комнате воду встречают Алины туфли. Дальше — пьеса.

Туфли. Зачем вы пришли? Алик спит! (*Они тебя тоже любят.*)

Вода (*тихим голосом*). Одиннадцать футов, госпожи туфли! Берлин весь всплыл вверх брюхом, одни тысячемарковые бумажки видны на волнах... Скажите Але, что она снова на острове, ее дом опоясан ОПОЯЗом[1].

Туфли. Не шутите! Аля спит. Глупая высокая вода! Аля устала. Але нужны не цветы, а запах цветов. Але от любви нужен только запах любви и нежность. Больше ничем нельзя грузить ее плечи.

Вода. ...Пушки стреляют. Теплый ветер прорывается сюда... Теплый ветер настоящей любви... Ветер так силен, что деревья лежат на земле.

Туфли. О вода на чужую мельницу. Нехорошо пользоваться в любви правом сильного!

Вода. Правом сильной любви?

Туфли. Даже правом сильной любви. Да. Не мучь ее силой. Ей не нужна даже жизнь. Она, моя Алик, любит танец за то, что это тень любви. Люби Алю, а не свою любовь.

И вода уходит назад, тяжело таща по полу портфель с корректурами... Ох уж эти мне литераторы!"

И какая Аля, — если бы я или любая другая, не столь гордая, кинулась тогда Шкловскому на шею — ответила бы ему так: "... Не пиши мне о любви. Не надо. Я очень устала... Я не люблю тебя и не буду любить. Я боюсь твоей любви, ты когда-нибудь оскорбишь меня за то, что сейчас так любишь. Не стони так страшно, ты для меня все же свой. Не пугай меня! Ты меня так хорошо знаешь, а сам делаешь все, чтобы испугать меня, оттолкнуть от себя. Может быть, твоя любовь и большая, но она не радостная..."

Нет, мне все же больше нравится не то, что я — возможно, на короткое и в конечном итоге, вероятно, напряженное для обоих время — заполучила бы Виктора Шкловского, который сам, несмотря на то или как раз именно потому, что в сравнении с ним я была такой молоденькой и еще зеленой, скорее всего не взял бы меня, поскольку вечно был влюблен только в ту или иную Алю, нет, мне все же больше нравится его роман в письмах, а в нем -- самое любимое мое шестое письмо "О тоске и плене нашего прародителя":

"Звери в клетках Zoo не выглядят слишком несчастными.

Они даже родят детенышей.

Львят выращивали кормилицы-собаки, и львята не знали о своем высоком происхождении.

День и ночь мечутся в клетках гиены...

Скучают взрослые львы.

Тигры ходят вдоль прутьев клетки.

Шуршат своей кожей слоны.

1. ОПОЯЗ (Общество изучения поэтического языка) — научное объединение, созданное в 1916—1918 годах группой лингвистов, стиховедов, теоретиков и историков литературы, В. Б. Шкловским в их числе.

Очень красивы ламы. У них теплое, шерстяное платье и голова легкая. Похожи на тебя.

На зиму все закрыто.

С точки зрения зверей это не большая перемена.

Остался аквариум.

В голубой воде, освещенной электричеством и похожей на лимонад, плавают рыбы. А за некоторыми стеклами совсем страшно. Сидит деревцо с белыми ветками и тихо шевелит ими. Зачем было создавать в мире такую тоску? Человекообразную обезьяну не продали, а поместили в верхнем этаже аквариума. Ты сильно занята, так сильно занята, что у меня все время теперь свободно. Хожу в аквариум...

Обезьяна, Аля, приблизительно моего роста, но шире в плечах, сгорблена и длиннорука. Не выглядит, что она сидит в клетке.

Несмотря на шерсть и нос, как будто сломанный, она производит на меня впечатление арестанта.

И клетка — не клетка, а тюрьма...

Скучает обезьян (он мужчина) целый день. В три ему дают есть. Он ест с тарелки. Иногда после этого он занимается скучным обезьяньим делом. Обидно и стыдно это. К нему относишься как к человеку, а он бесстыден.

В остальное время лазит обезьян по клетке, косясь на публику. Сомневаюсь, имеем ли мы право держать этого своего дальнего родственника без суда в тюрьме. И где его консул?

Скучает небось обезьян без дела. Люди ему кажутся злыми духами. И целый день скучает этот бедный иностранец во внутреннем Zoo.

Для него не выпускают даже газеты.

P. S. Обезьян умер".

Москвичи всех стран, простите, что автор этой превосходной книги по происхождению и духу истинный петербуржец, а по собственному признанию еще и "короткохвостый обезьяненок", который "хвост себе сбрил сам, перед тем как уйти в Красную Армию в Херсоне" и который потом, вместе с другим "обезьяньим народом", занимался своим "ремеслом писателя", понимая это так: "Быт человеческий — страшный, тупой, косный, не гибкий. Мы быт превращаем в анекдоты. Строим между миром и собою маленькие собственные мирки-зверинцы". Однако этому добровольному "обезьяненку", от лица которого — не всегда радостно, но иногда с охотой — говорит писатель Виктор Шкловский о том, насколько ему "горька, как пыль карбида, берлинская тоска", о том, что он "придумал женщину и любовь для книги о непонимании, о чужих людях, о чужой земле", все-таки разрешили вернуться в Россию, на родину "Великой Октябрьской социалистической революции", бывшую одновременно и его родиной. Там петербуржец на целых шестьдесят лет превратился в ленинградца и умер через много-много лет после своей безответной любви к Але и всего только за четыре года до того, как мог бы снова умереть петербуржцем.

Зато живет и не умирает великий роман-поэма Шкловского времен его двухлетней эмиграции в Берлине; и когда моя любовь к нему и к тому, что было тогда, умрет, поскольку пробьет мой час, бросьте мне в могилу банан и экземпляр книги "Zoo, или Письма не о любви", но только, пожалуйста, на языке оригинала — может, тогда наконец у меня появится достаточно времени, чтобы как следует выучить русский.

Утка в бутылке

22.12.1995, за восемь дней до его "смерти в Берлине", я навестила драматурга Хайнера М. в "Мюнхенской клинике на правом берегу Изара". Мы сидели за столиком в кафетерии, где всегда было полно народу из числа не блещущих здоровьем людей, одетых в махровые халаты или тренировочные костюмы, — на обширной территории лечебницы нигде, кроме этого места, нельзя было получить — само собой, за сногсшибательную цену — маленькие бутылочки "piccolo", того самого алкогольного напитка, который зовется шампанским, будь это даже сорт "Мумм"[1], в придачу к этому там разрешалось еще и курить. Хайнер каждый раз был одет так, словно собрался на прогулку, — в тот день на нем было пальто, шерстяной жакет, шарф и черный синелевый пуловер (вам все это кажется, вероятно, сущим пустяком). Мы говорили мало, между односложными вопросами Хайнера — я с благодарностью цеплялась за них — и моими вымученно веселыми ответами повисали большие паузы. В какой-то из моментов, мне кажется, после второй порции "piccolo" Хайнера и третьей моей, я заговорила о своем друге, о том, как он рассказал мне одну историю и вскоре после этого умер.

— Когда? — спросил Хайнер.

И я ответила ему, что Гарри, с которым Хайнер был немного знаком, умер два года назад. Я стала рассказывать, как ходила к Гарри в больницу и как он, поскольку не хотел уже больше ни читать, ни смотреть телевизор, попросил меня развлекать его, рассказывая ему каждый раз новые истории. В один прекрасный день мне это так надоело, что я сказала: "Знаешь, я рассказала тебе столько историй, теперь твой черед". "Но я знаю только одну-единственную", — возразил Гарри.

— И тогда, — сказала я Хайнеру, — он рассказал мне следующую историю, одну из тех загадочных притчей дзэн, которую, как утверждал Гарри, он услышал в тюряге от каратиста — тайваньского торговца наркотиками. — Я попытаюсь, — добавила я, глядя на Хайнера, — рассказать тебе эту историю так, как ее рассказывал Гарри.

Жили-были Учитель и его ученик. Учитель, как это часто делают странствующие монахи-старцы, исповедующие буддизм, подобрал его где-то на улице. Может, этот мальчик был сиротой, во всяком случае, он очень радовался, что кто-то им заинтересовался, и не отходил от Учителя ни на шаг. Так как он был сильным, ловким и сообразительным, то стал вскоре его самым любимым учеником из всех, какие у него только когда-либо были. Все шло чудесно — они странствовали, нищенствовали, занимались кунг-фу и йогой, спали ночами каждый в своей крошечной палатке. Однажды утром ученик, пребывая в отличном настроении, выполз на четвереньках из своего ночного укрытия и увидел Учителя, сидевшего в позе лотоса, — на земле перед ним стояла, на первый взгляд, самая обыкновенная двухлитровая бутылка светло-зеленого цвета с узким и длинным горлышком. Но только что это? В бутылке находилась живая утка — с крыльями, лапами и широким утиным носом.

— Какой породы? — спросил Хайнер.

© 2003 by Verlag Kiepenheuer und Witsch, Köln

1. Игра слов: помимо имени собственного слово "Mumm" (*нем.*) имеет значение *храбрость, мужество, энергия.*

— Откуда мне знать? — ответила я. — Вероятно, белая такая, как они встречаются повсюду.

— Хм, — сказал Хайнер, — это в Азии-то?

— Ах, какая тебе сейчас разница, — сказала я и продолжила свой рассказ:

Учитель непривычно строго посмотрел на своего ученика и спросил: "Как ты думаешь, как могла утка попасть в эту бутылку?" Ученик внимательно оглядел бутылку со всех сторон — утка захлопала крыльями и панически громко закрякала. "Учитель, — сказал ученик, — моей вины в том нет, это сделал не я, правда, нет, я никакого отношения к этому не имею, я..." Учитель не дал ему договорить, напротив, он сделал нечто такое, чего раньше никогда не делал, во всяком случае, с этим своим самым любимым учеником. Он схватил его за кимоно, поднял вверх и нанес ему по-боксерски сильный удар в живот, потом в лицо, ударил его и раз, и два, и еще, и еще раз. Наконец он отпустил его, и тот, словно мешок, набитый подмокшими и подгнившими соевыми бобами, упал, плюхнувшись в пыль. Учитель повернулся и ушел, а ученик заполз в свою палатку, где долго и горько плакал — от горя и боли. Что случилось с его всегда таким добрым Учителем? Откуда взялась эта бутылка и как попала в нее утка? Ученик старался понять, что все это значит, но вскоре, обессиленный, в полном изнеможении уснул. В серые предутренние сумерки ученик проснулся от привидевшегося ему дурного сна, протер глаза и выполз наружу, чтобы помочиться. Но кто это уже сидел там, бодрый и прямой, как свечка, ровно посредине между двумя палатками и позади бутылки с тихонько покрякивающей уткой! Конечно же Учитель! "Ну как? Теперь ты знаешь, как попала эта утка в бутылку?" — воскликнул Учитель с насмешкой в голосе. "Учитель, — запричитал, заикаясь, ученик, — я долго думал над этим и размышлял, философствовал и медитировал. Может, какой другой старец, еще более мудрый и великий, чем ты, а может, кто из стеклодувов монастыря Цинян взял и своими искусными губами выдул вокруг утки..." И Учитель снова не дал ученику договорить, сгреб его и начал бить и пинать ногами так долго и жестоко, что бедный ученик рухнул в конце концов бездыханным на землю.

— А утка? — прервал меня Хайнер. — Она все еще была жива?

— Утки живучи, — ответила я, — а кроме того, Учитель, наверное, дал ей немножко корма, насыпал в бутылку крошки печенья, или что там у него было.

— Хм, — сказал Хайнер, — может, налил еще немножко водички, чтобы она промочила горло и чуточку поплавала?

Я не стала развивать эту тему, хотя усиленный интерес Хайнера к утке меня весьма удивил — до сих пор я не замечала за ним особой любви к животным. Я рассказывала дальше:

Когда ученик пришел в себя, Учителя нигде не было видно. С множеством кровоточащих ран, по меньшей мере с двумя переломанными ребрами, от боли почти не в состоянии двигаться, ученик дотащился до своей палатки, он не мог больше ни думать, ни спать. Казалось, прошла вечность, пока, рыдая и всхлипывая, лежал он без движения на бамбуковой циновке. Всему этому он находил лишь одно объяснение: его Учитель тронулся в эти два дня разумом. И следовательно, у него есть только один выход: как ни тяжело, как ни трудно это из-за полученных ран и увечий, но ему лучше уйти от обезумевшего старца, и притом немедлен-

но. Ученик, преодолевая сильную боль, собрал свои немудреные пожитки и нацелился потихоньку, крадучись на цыпочках, улизнуть. Но стоило ему лишь высунуть голову в беззвездную и черную, как могила, ночь, как в его пропахшее потом кимоно вцепилась старческая рука — то, конечно, была рука Учителя, а чья же еще? "Ах вот как, — заскрипел, брызгая ядовитой слюной, словно старая карга, Учитель, — ты хочешь сбежать? Ты, неблагодарный безмозглый болван и бездельник! Но прежде чем ты это сделаешь, ты, самый глупый и бездарный ученик из всех, какие у меня только были, решишь эту задачу. Итак — как попала утка в бутылку?" "Учитель, — произнес задыхающимся голосом ученик, — ты мне больше не Учитель, потому что твое рисовое зернышко дало слабину. Я не позволю тебе больше избивать меня до полусмерти. Мне абсолютно наплевать, как попала эта глупая утка в бутылку, — я ухожу от тебя!" Учитель тут же разжал руку, но лишь затем, чтобы в следующий момент крепко обнять его. "Мой любимый ученик, — сказал он тихо и проникновенно, — на сей раз тебе понадобилось много времени. Мне тоже было больно, что приходилось обращаться с тобой столь грубо, и только ради того, чтобы ты наконец-то понял. Но теперь опять, как прежде, все хорошо".

— Вот и вся история, — сказала я Хайнеру.

— Хм, — сказал Хайнер, — а утка?

— Да что ты заладил: утка да утка?! Далась она тебе! — вспылила я. — Это такой хитрый трюк во всех этих ребусных текстах дзэн, и утка тут ни при чем, не в ней дело. Это только для виду внимание приковано к утке.

— Хм, для виду, — произнес Хайнер, — может, еще скажешь, для пущей важности?

— Но ты ведь понял притчу? — спросила я Хайнера. — Я хочу сказать, в том смысле, что все тексты дзэн непременно с изюминкой или содержат мораль.

— Хм, я думаю, да, — ответил Хайнер, — но будет лучше, если ты сама все объяснишь.

— Я, — сказала я, -- не поняла тогда этой притчи, а расспрашивать Гарри не могла. Я тоже все время размышляла над тем, как попала утка в бутылку и почему вдруг в конце это оказывается совершенно неважным. Но однажды я раздобыла книгу — в ней было, по-моему, девяносто две притчи, все эти тексты дзэн, — я отыскала там эту, с уткой, если не ошибаюсь, она была двадцать первой по счету. А в конце книги я нашла решения для всех этих текстов-упражнений. Постой-ка, это звучало примерно так: познание — главное в жизни того, кто стремится к озарению. Он обязан уважать, чтить и почитать своего Учителя, помогающего ему в поисках истинного знания, даже если в какой-то момент он не понимает действий своего Учителя. Однако никакое знание, пусть самое великое и лучезарное, и ни один Учитель, даже самый лучший, не стоят того, чтобы *ради* знания терпеть *от другого* унижение, позволять применять к себе силу, тем паче — давать избивать себя до полусмерти.

— Хм, — проговорил Хайнер, — хорошая история, нет, правда... И тем не менее, если бы ученик в самый последний раз, когда он уже решил уйти от такого Учителя, по крайней мере хотя бы разбил бутылку — ради утки, чтобы та могла избавиться от них обоих, эта история была бы еще лучше.

Юдит Герман

Кругом одни привидения

Рассказ

Перевод С. Шлаповерской

ПОЗДНЕЕ Эллен охотно будет говорить, что однажды побывала в Америке, но толком уже ничего вспомнить не может. Она проехала через всю страну, от Восточного побережья до Западного, была в Калифорнии, в Юте, в Колорадо, видела Айову, Иллинойс и Айдахо, купалась в Атлантическом и в Тихом океане, в реке Колорадо, в Блу-Ривер, в озере Тахо, глядела в небо над Алабамой, Миссисипи и Миссури, но обо всем этом решительно ничего не помнит. "Я это знаю, — говорит она, — потому что это подтверждают счета за комнаты в мотелях и за ужины, а также неотправленные почтовые открытки, выпадающие из моего календаря. Знать-то я знаю, но сказать об этом мне нечего. Да, я была в Сан-Франциско. Была в Биг-Суре и в Редвудском национальном парке. Однако единственное, о чем и впрямь есть что сказать, это Остин, штат Невада. Остин в Неваде, "Отель Интернэшнл" и Бадди. Бадди — единственный, о ком есть что сказать. Как будто бы этого путешествия, в сущности, вовсе не было, как будто бы ни ее, ни Феликса не было. Не было ни до этого, ни после, не было вообще.

В Остин они приехали поздно вечером. Утром выехали из Делты, на границе между Ютой и Невадой, им хотелось за один день пересечь пустыню; они взглянули на карту: 600 миль по шоссе номер 50, и в этом пустынном безлюдье всего каких-то три населенных пункта: Или, Уэстерн-таун и Остин. У них было три галлона воды в багажнике, запасная канистра бензина, блок сигарет, три яблока и белый хлеб. В их машине — "форде" — кондиционера не было. В Или они выпили кофе, молча посидели на голливудских качелях, Эллен обливалась потом, над соля-

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2003
© С. Шлаповерская. Перевод, 2003

ными озерами мерцал белесоватый свет, и все было присыпано тонким слоем песка: ее кожа и волосы Феликса, песок был у нее в кофе и во рту. Полчаса они молча сидели перед заправочной станцией и созерцали пустыню, Эллен и впрямь уже не сознавала, откуда они приехали и куда хотели попасть, а хотели они наверняка к морю. Поднялись они оба одновременно и молча, Эллен бросила свой пустой, а Феликсов полный стаканчик для кофе в пыльный мусорный бак, после чего они поехали дальше.

Остин возник из ничего, однако в пустыне, по-видимому, все возникает из ничего. Шоссе номер 50 тянулось между гнетуще однообразными соляными озерами, гряды гор вздымались и ниспадали — долина и возвышенность, и опять — долина и возвышенность, и все время этот жгучий, испепеляющий свет. Минутами Эллен начинала сомневаться в том, что они на самом деле едут, находятся в движении, вообще продвигаются вперед. Уэстерн-таун она проспала, а когда проснулась, ничего не изменилось. Она пыталась двигаться как можно меньше, пила воду, слишком много курила, иногда искоса поглядывала на Феликса, говорила: "Как только ты выдерживаешь без солнечных очков?" Шоссе сделало резкий поворот, неожиданно и круто спустилось в ущелье. Через окно машины Эллен бросила взгляд в пропасть, разверзавшуюся справа от нее. Шоссе вело их по серпантину вниз, в долину, потом показались дома, деревянные дома, церковь, заброшенная бензоколонка, еще и еще дома, возможно штук десять-пятнадцать; людей нигде не было. Взгляду снова открывалась пустыня — равнина, а на горизонте — следующая горная гряда, но Феликс вырулил машину налево, к парковке, затормозил, заглушил мотор и сказал:

— Пожалуй, мне больше неохота.

Мотор тихо щелкнул, ветер швырнул песок в ветровое стекло, Эллен взглянула в окно на парковку, видимо, принадлежавшую отелю, старому отелю в стиле Дальнего Запада, с широкой деревянной верандой и проломленными перилами. На втором этаже окна были заколочены досками, однако на первом в запыленной витрине мигала световая реклама пива "Будвайзер", ее неоновый свет в лучах яркого солнца выглядел странно. Над запертой дверью салуна бросалась в глаза надпись косыми выветренными деревянными буквами: "Отель Интернэшнл". На другой стороне улицы располагался мотель, и на ветру качалась прикрепленная к флагштоку доска с перечнем свободных мест. Эллен сказала:

— Как ты думаешь, что тебе больше неохота? — У нее было такое чувство, будто голос ее на самом деле звучит как-то тупо.

Феликс опустил стекло, высунул руку на пробу и сказал:

— Я не могу ехать дальше. Просто не могу, и все. Я устал, хочу сделать перерыв, может, до завтра. Я бы с удовольствием прилег. — Он втянул руку обратно и снова поднял стекло. — Прилег бы где-нибудь в холодке. Или ты непременно хочешь ехать дальше. — Он явственно поставил точку в конце последней фразы.

— Нет, — сказала Эллен. — Я не знаю. Непременно ехать дальше я не хочу.

Какое-то время она сидела молча. Феликс больше ничего не говорил, так что в конце концов Эллен вышла из машины и оставила дверцу открытой — она знала, что Феликса это разозлит. Эллен поспешила перейти улицу к мотелю и могла еще слышать, как позади нее захлопнулась

дверца, — она знала, что Феликс остался сидеть в машине, что он в злобе перегнулся через соседнее с водительским сиденье и рывком закрыл дверцу. Сквозь подошвы туфель Эллен чувствовала, как раскален асфальт. Она сплюнула: на зубах у нее скрипел песок, обтерла руки о брюки и оглядела улицу вверх и вниз — смотреть было не на что. Этот мотель, как и все прочие, представлял из себя одноэтажное строение в форме подковы, двери номеров выходили прямо на улицу, на стоянках не было ни единой машины, а возле окна конторы висела табличка, предостерегавшая от того, чтобы грубить Анни. Эллен толкнула рукой дверь, за ней было прохладно и сумеречно, жалюзи спущены, пахло пылью и перестоявшимся обедом. Дверь захлопнулась сама собой, и Эллен потребовалась минута, чтобы разглядеть худую женщину за регистрационной стойкой. Голова у нее была обмотана полотенцем, по бокам из-под него выбивались пряди мокрых волос, и Эллен ощутила настоятельную потребность тоже вымыть голову, прямо сейчас. Женщина за стойкой покрывала лаком ногти на руках. Эллен откашлялась и спросила:

— Анни — это вы?

Худая женщина завинтила флакончик с лаком, подула на свои ногти, положила на стойку формуляр, ручку, потом взглянула на Эллен. Эллен улыбнулась.

— Что, в "Отеле Интернэшнл" теперь и переночевать нельзя?

И Анни, или как бы там ни звали эту женщину, ответила:

— Нет.

Эллен начала заполнять формуляр, но заслышав, что на парковку въехала какая-то машина, сразу насторожилась. Чужая машина. Эллен взглянула в щель жалюзи на дверном стекле: машина остановилась прямо перед мотелем. Феликс все еще сидел в "форде" перед "Отелем Интернэшнл". Из подъехавшей машины вышла очень маленькая, очень толстая женщина. Эллен опять обратилась к формуляру и вписала в него их имена — свое и Феликса, вписала старательно, печатными буквами. Она это делала уже несколько недель. Уже несколько недель заполняла регистрационные формуляры в мотелях, заказывала ужины, договаривалась с рейнджерами в национальных парках, в то время как Феликс просто ждал, ждал, пока она все не организует и не уладит, и дело было не в том, что он плохо говорил по-английски, — дело было в том, что он отгораживался от Америки, отгораживался от Эллен. Маленькая толстая женщина, отдуваясь, подошла к регистрационной стойке, за собой она тащила чемодан и плотно набитую, с виду очень тяжелую дорожную сумку. Едва переводя дыхание, она оперлась на стойку рядом с Эллен — Эллен чуть отодвинулась в сторону. Анни поднялась и сонным движением стянула с головы полотенце, пряди мокрых волос, тяжелые и блестящие, упали ей на плечи. Толстая женщина сказала:

— Мы вам звонили по телефону. И вот я приехала.

— Да, — ответила Анни и добавила, что в общем все приготовлено, а толстая женщина о чем-то ее спросила.

Эллен сначала не прислушивалась, но потом все же напрягла слух и помедлила перед тем, как вписать в формуляр номер своей машины. Толстой женщине было, наверное, лет пятьдесят, но лицо у нее было гладкое и румяное, как у совсем юной девушки, и какие-то заплывшие глазки с бесцветными ресницами; волосы, тоже бесцветные и очень густые, она заплела в косу, конец которой был украшен розовым бантом. На ней было цветастое летнее платье, ярко-красные детские сандалии,

и от нее как-то странно пахло, не то чтобы плохо, но все-таки непривычно, возможно, смесью пота и сладковатого дезодоранта.

— Это очень старые привидения, — ни с того ни с сего заявила она, обращаясь к Эллен. — Золотоискатели. Скверные типы, без всякого воспитания. — На миг она залилась краской. — Я вступлю с ними в контакт. — Она посмотрела на Эллен с впечатляющей серьезностью, потом опять обернулась к Анни, лицо которой не выражало ни скуки, ни раздражения, ни чего-либо еще. Толстая женщина сказала, что привидения она сфотографирует и всех желающих снабдит фотографиями, у нее имеется с собой также папка со снимками других привидений, она с удовольствием их покажет, сейчас или позже, — как будет угодно присутствующим. Она еще раз взглянула на Эллен и улыбнулась. Эллен ответила ей улыбкой, что далось ей с трудом.

— Позже, — сказала Анни. — Мне это было бы удобней. — Она принялась бессмысленно шарить под стойкой, а когда между прочим заметила, что второй этаж "Отеля Интернэшнл" откроет где-то около полуночи, толстая женщина так разволновалась, прямо вышла из себя.

Она принялась вытаскивать из сумки массу всякого непонятного хлама, в числе прочего пластмассовый фотоаппарат, а под конец — большой старомодный и солидный радиоприемник, который она поставила на стойку прямо перед Эллен. Эллен вписала в формуляр номер своей машины, дала Анни бумажку в пятьдесят долларов и взяла у нее ключ. Толстая женщина возилась с приемником, он с треском включился, а когда треск вдруг сменился каким-то другим, очень странным шумом, Эллен бросила "Пока!" и побежала через улицу к Феликсу, который сидел в машине, откинувшись на спинку сиденья и закрыв глаза. Эллен открыла дверцу возле водительского сиденья и спросила:

— Видел ты эту толстуху?

Феликс открыл глаза:

— Какую еще толстуху?

— Вон ту тетку, — пояснила Эллен, — она только что вылезла из "крайслера". Которая вместе со мной регистрировалась в мотеле. Это охотница за привидениями, — добавила она, и Феликс отозвался:

— Ага.

Эллен помнит охотницу за привидениями. Иначе, нежели она помнит Бадди, к ней она так не присматривалась, как позднее присматривалась к Бадди, но все же Эллен ее помнит. Она может представить себе ее ступни, которые отекли от жары и были втиснуты в маленькие детские сандалии, кожа на ступнях была молочно-белая. Она помнит цвет лака, каким Анни красила себе ногти — оранжево-розовый с перламутром, и еще чувствует, как на парковке перед "Отелем Интернэшнл" ее захлестнула жара. Феликс сказал "Ага" и больше ни слова, он был ко всему безразличен, и Эллен на миг представила себе, что было бы, если бы он просто взял и укатил, пока она регистрировалась в мотеле, — вниз по дороге и обратно в пустыню. Просто взял бы и укатил, а она смотрела бы ему вслед через щель в жалюзи, она могла бы слышать постепенно затихавший шум мотора, все более , пока бы опять не воцарилась тишина. Он без нее не уехал, а все остальное не важно, но Эллен еще это помнит, видит перед собой в четких, ясных картинах, видит так, словно бы в Остине, штат Невада, все имело значение, но это было не так — не совсем так.

Феликс вырулил "форд" на парковку мотеля и поставил перед комнатой номер 14. Машина охотницы за привидениями стояла поперек, напротив стойки регистрации, самой охотницы не было видно. Эллен отомкнула дверь — комната была маленькая и опрятная, широченная кровать, телевизор, кресло, ванная, кондиционер. Было не то что прохладно, а прямо-таки морозно, и Феликс выключил кондиционер. Они притащили из машины свои рюкзаки, распаковывать их они не собирались, они еще ни разу по-настоящему их не распаковывали, тем не менее взяли их из машины и поставили в угол комнаты. Феликс снял туфли и улегся на кровать. Он укрыл ноги желтым покрывалом и сказал, что хочет немного поспать, недолго — с часок. Эллен села на край кровати и посмотрела на него, он повернулся на бок и закрыл глаза. Эллен встала и принялась рыться в своей сумочке в поисках сигареты, нашла мятую "Кэмел", закурила, потом опять села на край кровати. Курила она неспешно. Феликс лежал неподвижно, возможно, он уже спал, а возможно, и нет — лицо его не расслабилось. Эллен заметила у него вокруг глаз веснушки, на носу шелушилась кожа. В голову ей пришло выражение: "Безумно любить кого-то", она повторила его про себя несколько раз подряд: "Я безумно тебя люблю, я безумно тебя люблю", потом эти слова потеряли смысл. Она взглянула в окно: улица была пустынна и тиха, тени стали длиннее, воздух окрашивался в синеватые тона, в открытую дверь комнаты непрестанно и тяжело вкатывалась жара. В нижних окнах "Отеля Интернэшнл" зажегся свет; прищурив глаза, Эллен могла разглядеть сквозь стекла бар, зеркало и, возможно, бутылки, чью-то движущуюся тень. Она докурила сигарету и тщательно погасила ее в пластмассовой пепельнице, стоявшей на тумбочке у кровати. Потом еще долго сидела так, закинув ногу на ногу, подперев рукой голову, и смотрела на Феликса, черты которого понемногу смягчались, а может быть, так только казалось в гаснувшем, сереющем свете.

В какой-то миг она поднялась, разделась и встала под душ. Несмотря на жару, душ она принимала горячий, дважды помыла голову и долго стояла под струей воды, потом приняла холодный душ. Когда она с этим покончила, Феликс все еще спал, а в комнате стало темно. Эллен вытерла волосы полотенцем, оделась и вышла за дверь. Оставив ее открытой, прошлась по улице, и хотя было все еще жарко, ее немного знобило. Она представила себе, каково было бы здесь заболеть, слегка заболеть, с температурой, скажем, 37,5. Ничего оригинального она не придумала. Эллен миновала закрытую заправочную станцию, в ржавом металле бензоколонки зияли дыры с неровными краями, а сквозь каркас станционного домика она увидела рядом с песчаной дюной нагромождение сломанных автомашин. Бакалейная лавка, грязная витрина которой была изнутри заклеена газетной бумагой, два-три дома, возможно, обитаемых — присматриваться к ним ей не хотелось, — на этом поселок кончался. Эллен шла медленно, руки в карманах брюк, за последним домом дорога круто сбегала вниз и вольготно росли колючие растения. Эллен еще немного прошла по дороге, пока уже точно очутилась не в Остине, а в пустыне, потом присела на обочине на камень между двумя кактусами. Камень был горячий. Заход солнца она ухитрилась прозевать — оно только что село, верхушки телеграфных столбов горели огнем, а горы рисовались смутными очертаниями. Остина было уже не видно, а пустыня, холодно мерцавшая синевой, поглощала линию шоссе задолго до того, как оно начинало взбираться в гору. Эллен вспомнила, что где-то

между Или и Остином сказала Феликсу, как она любит пустыню — ведь там ей удается ни о чем не думать; он, как всегда, ничего не ответил, и на сей раз был прав.

Далеко позади, в пустыне, в сумраке вспыхнули огни, они быстро набухали и становились ярче. Эллен с нетерпением ждала, когда раздастся шум мотора, она надеялась, что это будет большой грузовик, это и был большой грузовик, и когда он готов был с грохотом проехать мимо нее, ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы не вскочить. Шофер поглядел на нее сверху, из кабины, и нажал на клаксон — раздался протяжный, жалобный звук, долетевший до Остина. Эллен подумала о Феликсе, который остался в комнате мотеля на кровати под желтым покрывалом и так беззащитно спал при открытой двери. Америка была Америкой кинофильмов, психопатов и серийных убийц, ужасающих расчлененных тел из романов Стивена Кинга, Америки как бы не существовало, она была нереальна. Эллен встала и пошла дальше, но не в Остин — она повернула назад, только когда тот грузовик, что замедлил ход у нее за спиной, почти остановился с ней рядом и она смогла увидеть водителя — белого в ковбойской шляпе. Он сделал какое-то движение рукой, которого она не поняла, во всяком случае, он никогда бы не позволил ей уйти одной в ночь и в пустыню. Правда, никогда. Вдруг она опять повернулась и пошла обратно, но слишком медленно, как убегают во сне. Она шла обратно по обочине дороги, а камешки из туфель вытряхнула, только когда перестала слышать за собой рокот машины. В Остине в двух-трех домах зажегся свет, остальной город был погружен во тьму, и дорога уходила в Ничто.

Феликс все еще лежал на кровати. В комнате стало теперь жарко и душно, и Эллен опять включила кондиционер. Она села на край кровати и приложила руку к щеке Феликса, лицо у него было очень горячее, и Эллен сказала:

— Феликс! Ты что, решил вообще не вставать?

Он от нее отвернулся, но открыл глаза и спросил:

— А в чем дело?

— Уже поздно, — сказала Эллен. — Я голодна и хочу пойти чего-нибудь выпить. — Голос ее звучал совершенно необычно, и ей хотелось, чтобы Феликс на нее посмотрел. Он сел и сказал:

— Куда это мы можем пойти чего-нибудь выпить? — И Эллен неопределенно, и как бы извиняясь, указала на окно и горевшие за ним огни "Отеля Интернэшнл". Феликс обеими руками отвел с лица волосы и тяжело вздохнул, потом надел туфли и сказал, что с удовольствием выкурил бы сигарету. Она протянула ему сигарету "Кэмел" и зажигалку — глаза их на миг встретились. Эллен не могла удержаться от смеха, а он слегка улыбнулся.

Бадди пришел в "Отель Интернэшнл" поздно вечером. Когда он явился, толстая охотница за привидениями была как раз занята тем, что с помощью бесчисленных загадочных антенн и кабелей пыталась включить и настроить свой допотопный радиоприемник, ее движения были то ли неуверенными, то ли по-своему очень искусными. Лицо у нее вспотело, на щеках горели лихорадочные красные пятна, ногти на руках были обкусаны. Свой инвентарь она выложила на бильярдный стол, и посетители, исключительно мужчины, один за другим, словно случайно, подхо-

дили к ней со стаканом пива в руке. Но не поодиночке. Если они задавали ей вопросы, то не о привидениях, а о технике. Когда они пытались потрогать аппарат, охотница за привидениями сжимала свои детские ручки в маленькие шарики, из которых как шип торчал указательный палец. Мужчины шарахались в сторону, скалили зубы и удивленно чесали затылки. Охотница за привидениями манерно и презрительно произнесла:

— Вы думаете о летучих мышах. По-видимому, вы думаете о летучих мышах — о том, что мы их частоты слышать не можем, но можем записывать. Здесь же речь идет о другом. О чем-то совершенно другом. У привидений имеется своя собственная частота.

Охотница за привидениями явилась в бар около десяти часов. Феликс и Эллен сидели у стойки, стойка была длинная и массивная, из темного блестящего дерева, она тянулась через весь сумрачный зал, который быстро заполнился людьми; кто-то, несмотря на жару, затопил камин; заработал музыкальный автомат. Все эти люди, пришедшие сюда, видимо, не только из Остина, но также из пустыни, из разрозненных жилищ, которые лишь угадывались в слепящем свете за цепями гор, не обращали внимания на Феликса и Эллен. Они ставили свои машины как попало перед отелем, входили в бар, не снимая бейсболок и ковбойских шляп, здоровались с Анни, которая стояла за стойкой — кажется, она исполняла в Остине множество обязанностей, — и садились либо за искарябанные деревянные столы, либо к стойке бара. Если они к кому-то подсаживались, то с таким видом, будто только что ненадолго отошли. Анни, небрежно собравшая волосы на макушке, почти радушно приветствовала Эллен и Феликса, но не подала виду, что их узнает. Феликс заказал пиво, а Эллен — кофе, сандвич и картофельные чипсы; Феликс ничего есть не стал, он упрямо уверял, что не голоден, эти уверения крайне раздражали Эллен. Толстая охотница за привидениями целеустремленно и уверенно вошла в бар со своей раздувшейся сумкой, она была все в том же летнем платье, только надела на него еще вязаную кофту. Обратившись к Анни, лицо которой светилось теперь любопытством и ожиданием потехи, она сказала: “Можно начинать”, к неудовольствию Эллен, сердечно приветствовала ее, заключив в долгие объятия, не пожелала ничего пить и сразу принялась распаковывать на бильярдном столе свою сумку и отбирать вещи, словно для экспедиции.

Она не обращала внимания на то, как на нее смотрят, и, в сущности, вообще больше не оборачивалась; казалось, она не заметила тишины, которая наступила, когда вошел Бадди. Как раз в эту минуту музыкальный автомат умолк. Какой-то мужчина поднялся было, чтобы запустить новый музыкальный номер, но, завидев Бадди, опять сел, не исполнив своего намерения. Бадди не поздоровался с Анни — во всяком случае, Эллен ничего такого не заметила. Анни поставила на стойку прямо рядом с Эллен пиво для Бадди. Тот подошел, взял пиво, стал неспешно его потягивать, поглядел на бильярдный стол, отвернулся, отпил пива и снова поглядел на бильярдный стол, на сей раз задержав свой взгляд на нем подольше. Так продолжалось некоторое время. Наконец он поставил пивной стакан на стойку. Анни тихо произнесла его имя: Бадди, после чего он медленно направился к бильярдному столу. У Эллен было впечатление, что Феликс сидел с ней рядом с совершенно отсутствующим видом, однако могло показаться, что он так же внимательно наблюдал за Бадди, как и она, поскольку теперь он соскользнул со своего табу-

рета и сказал: "Хочу взглянуть на это поближе". Эллен встала и хотела взять его за руку. Бадди подошел к бильярдному столу. Он незаметно дотронулся до запястья охотницы за привидениями, а потом обеими руками сгреб всю ее аппаратуру в одну кучу.

— Ничего, связанного с привидениями, на бильярдном столе не будет, — заявил он. — Этот хлам здесь только мешает игре. — С этими словами он сгреб в охапку все приготовленное снаряжение и сунул его толстой охотнице за привидениями. Она посмотрела на Бадди своими пылающими глазками-точками, но его взгляда не выдержала; он вполне по-дружески ей улыбнулся, а она отвернулась и отнесла все вещи на свободный конец стойки и опять начала их раскладывать. Какую-то смутную секунду у Эллен было такое чувство, будто бы все здесь друг друга знают и происходящее расписано заранее, будто бы это представление, инсценировка, смысл которой ей непонятен; а потом люди разошлись, снова уселись у стойки или за столиками, кто-то включил музыкальный автомат, и она опять все забыла. Она огляделась в поисках Феликса, он подошел к бару и заказал себе пиво, он наблюдал за Бадди с каким-то новым, заинтересованным, немного напряженным выражением лица.

Крайне редко случалось, чтобы Феликс так смотрел на других людей — так открыто, незащищенно, можно сказать, будто застигнутый врасплох. Эллен сказала бы: "Редко случается, чтобы Феликс на что-то реагировал". Он реагировал на Бадди, и Бадди тоже вскоре стал реагировать на Феликса, а потом и на Эллен. У Эллен позднее возникло ощущение, что Бадди сразу понял, причем она не могла бы точно сказать, что именно он понял. Гости опять разговорились. Толстая охотница за привидениями соединяла провода своих приборов. Бадди ответил на взгляд Феликса, но без улыбки. Феликс отвернулся, и Эллен подошла к нему, он не обратил на нее внимания, облокотился на стойку и спросил Анни:

— А что, в "Отеле Интернэшнл" и вправду водятся привидения?

У Эллен было отчетливое чувство, что спросил он из-за Бадди, чтобы создать у Бадди, который не мог его не слышать, впечатление, будто он способен что-то делать, общаться. Чтобы его приманить? Или от него защититься? Спросил он серьезно, без малейшей иронии, и Анни ответила тоже без всякой иронии, что лет сто тому назад один золотоискатель перенес "Отель Интернэшнл" в Остин, Невада, в эту пустыню, перенес балку за балкой, кирпич за кирпичом. Вместе с отелем переселились и привидения; их спугнули и выгнали из убежищ и ниш, где они гнездились, они прибыли в Остин заодно со старым отелем, и люди пытаются немного поддержать их, бездомных, вот и все, бояться их нечего. Рассказывала она неторопливо, и Эллен ее слушала, толстая охотница за привидениями, которая, кажется, кончила разбирать свои инструменты, слушала тоже, слушала невозмутимо, почти безучастно.

— А что там, на втором этаже, жутковато? — спросила Эллен, и Анни ответила:

— Нет, не то чтобы жутковато, а пожалуй, даже уютно, в обычном смысле слова. — И Феликс в легком подпитии как-то рассеянно рассмеялся. Толстая охотница за привидениями перехватила взгляд Анни, показала на свои наручные часы, откашлялась и произнесла: "Ну что же". Была половина двенадцатого. На шее у нее на кожаном ремне висел маленький пластмассовый фотоаппарат. Решительным движением откинула она волосы с лица, тем временем Анни достала из ящика какой-то

ключ и медленно вышла из-за стойки. Опять стало тихо — тишина была такая, словно кто-то, собираясь сказать нечто важное, постучал по стакану. Эллен краем глаза взглянула на Бадди — он спокойно стоял в тени позади бильярдного стола. Толстая охотница за привидениями достала из сумки шахтерскую лампу, какой пользуются горнорабочие в рудниках, и надела ее на голову, закрепив ремнем, потом перекинула через плечо радиоприемник, на котором покачивались загадочные антенны. Анни подошла к двери рядом с камином и открыла ее, дверные петли отчаянно заскрипели, и все присутствующие уставились на охотницу за привидениями, которая под конец пожала руку Анни, внезапно приняла трогательно-серьезный вид, а потом зашагала на негнущихся ногах и скрылась во тьме за дверью. Анни, стоя, проводила ее взглядом, тихо заперла дверь, обернулась к остальным, не меняя выражения лица, убрала за стойку сумку охотницы за привидениями и снова уселась на свой табурет за кассой. Было по-прежнему тихо, Анни предостерегающе подняла брови, кто-то отодвинул стул, бильярдные шары со стуком падали в лузы, Бадди вышел из тени.

Эллен заказала бокал вина, Феликс повернулся к ней, поднял свой пивной стакан и чокнулся с Эллен, учтиво глядя ей в глаза. Ей хотелось, чтобы он что-нибудь ей сказал, обронил бы несколько слов об охотнице за привидениями, которая сейчас в темноте поднялась на второй этаж у них над головой. Эллен представила себе, как эта женщина с ее нелепой аппаратурой крадется там по коридорам в своих маленьких детских сандалиях; лунный свет не может пробиться сквозь заколоченные окна, а за дверьми, по углам и где-то еще таятся привидения — что за привидения, сколько их? Но Феликс ничего не говорил, и все остальные как будто бы тоже успели забыть про охотницу за привидениями. Никто не смотрел ни на дверь рядом с камином, ни на потолок; громко играл музыкальный автомат, Анни перевела вентилятор на одно деление выше. Эллен попросила положить ей в вино кубики льда, она пила и наблюдала за Бадди, испытывая чувство благодарности за то, что может перевести напряженное внимание с Феликса на кого-то другого. Бадди старательно уложил бильярдные шары в треугольник, наклонился над столом, нацелился кием, застыл в этой позе, потом снова выпрямился и передал кий кому-то другому, кто стоял позади него. Он разговаривал со многими людьми, бросал деньги в музыкальный автомат, не глядя нажимал кнопку, закинув голову назад, пил у стойки пиво, а потом опять подошел к бильярдному столу. Но играть не стал, и Эллен об этом сожалела. Почему-то ей доставило бы удовольствие смотреть, как он играет. Человек он был еще молодой, наверное, лет тридцати-тридцати двух. Голову его покрывала бейсболка, выражение лица было детское — простодушное и смышленое, живот выпирал из синих джинсов; он был плотно сбит и оттого казался сильным. Эллен наблюдала за ним, и ей вспомнился разговор с одной женщиной, состоявшийся много лет тому назад, когда Эллен была еще почти девочкой. Она позволила втянуть себя в разговор о сексуальных фантазиях и навязчивых идеях такого рода, о собственных сексуальных фантазиях молчала; насколько ей помнилось, их у нее попросту не было. Эта женщина рассуждала о том, что ей хотелось бы знать, каково это лечь в постель с толстым мужчиной, по-настоящему толстым, ощутить тяжесть толстого мужчины — одна мысль об этом заставила тогда Эллен покраснеть от стыда. Она наблюдала за Бадди и

вспоминала тот разговор. Чувствовала, что и Феликс за ним наблюдает, он заказал теперь минеральную воду, вероятно, предполагал, что ему придется беседовать с Бадди, и к этому готовился. Что было в Бадди привлекательным и на что реагировал Феликс, — позднее Эллен часто искала подходящее для этого слово и в конце концов нашла одно такое, которое ей не нравилось, но она все же сочла его подходящим, — его главенство. От него исходила уверенность, нечто вроде явной силы и собранности, можно сказать, он был выразителем мнений, хотя говорил немного. Феликс всегда реагировал на людей такого типа, возможно, потому, полагала Эллен, что его собственное главенство было совершенно противоположного свойства, было скрытым и неопределенным. Бадди пил по меньшей мере десятую поллитровую кружку "Будвайзера", таращился на вентилятор, а потом, прохаживаясь между стойкой и бильярдным столом, вдруг остановился перед Эллен и Феликсом. Взглянул на Эллен, потом на Феликса и сказал:

— А что если сыграть?

Феликс пожал плечами и улыбнулся той своей робкой юношеской улыбкой, от которой у Эллен всякий раз сжималось сердце. Она слегка наклонилась вперед и сказала:

— Я-то играть в бильярд не умею, а вот Феликс умеет, и ему наверняка хочется сыграть. — Она считала, что ей не следует всякий раз за него вступаться, вмешиваться, улаживать дела, но она не могла иначе. Бадди протянул Эллен руку и назвал свое имя, Эллен представилась сама, потом представила Феликса, причем оба имени произнесла на американский манер: Филикс и Аллен, Filix and Allen, Phoenix in Arizona, and for the salad Thousand Island, please[1]. "Терпеть не могу, как ты произносишь название этого соуса", — сказал ей Феликс два дня назад, и Эллен расплакалась. А в оправдание себе подумала: "Иначе нельзя, Феликс, ведь по-другому они не поймут". Феликс встал и направился к бильярдному столу, Бадди отдал ему кий. Эллен почти физически чувствовала, как Феликс рвется домой, в свою квартиру, в свою комнату, в свою кровать, обратно домой, чтобы остаться там навсегда, и подальше от нее. Годы спустя она стала думать, что все это время, что она с Феликсом, научило ее по крайней мере одному: принудить человека ни к чему нельзя, меньше всего к чему-то такому, как любовь, — открытие смехотворное, однако утешительное. Бадди сложил шары в треугольник и первый удар предоставил Феликсу. Эллен повернулась на своем табурете к ним спиной, чтобы не смотреть на игру. Напряжение, возникшее у нее между лопатками и в животе, отпустило. О Феликсе заботился Бадди, ей больше ничего не надо было делать, не надо было ничего предъявлять, предлагать, чем-то компенсировать свое присутствие, гнет этого путешествия, пребывания в плену у Америки в течение трех месяцев между уже не подлежащими обмену авиабилетами туда и обратно, непрерывный тет-а-тет. Она вяло думала: "Возможно, все будет хорошо", вдруг у нее появилась уверенность, что все будет хорошо. Феликс то и дело подходил к своему стакану с водой на стойке, а потом все-таки заказал себе еще одно пиво.

— Ты совсем не следишь за игрой, — заметил он.

— Как же, — ответила она, — слежу, и очень внимательно.

1. Филикс и Аллен, Финикс в Аризоне, и для салата соус "Тысяча островов", пожалуйста (*англ.*).

Когда Феликс отлучился в туалет, Бадди подошел к Эллен и без всякого предисловия сказал:

— Он тихий, твой друг, ты нашла себе тихого друга. — Говоря это, он несколько раз кивнул головой, подкрепляя свои слова, а Эллен уставилась на него, не зная, что возразить. — Его не надо торопить, верно? — сказал Бадди, вернулся к бильярду, дождался Феликса, потом, стараясь не показать своего торжества, загнал в лузу три шара подряд. Музыкальный автомат играл "Sweet Home Alabama" и "I Can't Get No Satisfaction". Дверь салуна неожиданно распахнулась, и в нее хлынул горячий, сухой воздух, вливаясь в холодный воздух, нагнетаемый кондиционером. Эллен сдвинула в сторону салфетку под своим бокалом, стала сосать кубики льда, зажгла сигарету. Она пыталась на чем-нибудь сосредоточиться, сосредоточиться на том, что она в Остине, в Остине в Америке, в Неваде, в пустыне, в центре Невадской пустыни и очень далеко от дома, она пыталась сосредоточиться на том, что сидит в баре "Отеля Интернэшнл", в то время как Феликс наконец нашел смысл в этом путешествии, он играл с Бадди в бильярд, гасил свои сигареты в пластмассовой пепельнице на краю бильярдного стола и только что подал знак Анни, чтобы она снова налила ему пива; Эллен пыталась во всем этом найти что-нибудь похожее на счастье, какой-то смысл или воспоминание, а потом потеряла нить своих размышлений.

Эллен уже не помнит, сколько времени отсутствовала охотница за привидениями. Час, два часа? Она уже не помнит, много ли за это время говорила с Феликсом. Феликс и Бадди непрерывно играли в бильярд. Между партиями они стояли рядом возле бильярдного стола, опираясь каждый на свой кий, Феликс сказал что-то такое, что рассмешило Бадди. Эллен была не уверена, что ей действительно хочется слышать, о чем они говорят. Она отбилась от двух пьяных техасцев в дурацких ковбойских шляпах, пытавшихся за ней приударить, и выпила второй бокал вина, которым ее угостила Анни. Взяв у Анни доллар, она встала и направилась к музыкальному автомату. Ей пришлось пробираться между столами. Посетителей было много, и она впервые ясно почувствовала, что она здесь единственная женщина, кроме Анни. Она опустила доллар в автомат и обстоятельно выбирала, что включить: "Blue Moon" Элвиса, "Light My Fire" в исполнении группы "Дорз" и "I'm So Lonesome" Хэнка Уильямса, как вдруг у нее за спиной вырос Феликс и сказал:

— Не делай этого.

Не обернувшись, она спросила:

— Как это — "не делай"?

И Феликс сказал:

— Потому что ты не знаешь, хотят другие люди слушать ту музыку, какую хочешь слушать ты, или не хотят.

— Потому что ты боишься, как бы мой выбор не показался кому-то здесь смешным?

Феликс раздраженно заметил:

— Верно.

И Эллен сказала:

— Я тоже этого боюсь.

Это была правда, она в самом деле этого боялась и об этом думала, и все же ей хотелось послушать и Элвиса, и Хэнка Уильямса, и группу "Дорз". Она нажала кнопку и вернулась к стойке, не глядя на Феликса, а Хэнк Уильямс запел себе под нос надтреснутым монотонным голосом, и

похоже никто не стал его слушать. Когда запела группа "Дорз" — тем временем Эллен пожалела, что ее выбрала, — Бадди и Феликс перестали играть и подошли к бару. Бадди заказал еще вина для Эллен и пива для Феликса и для себя и сказал Эллен:

— Твой друг хорошо играет.

Феликс покраснел.

— Я знаю, — ответила Эллен. Что делать дальше, она не знала, и ее на миг пронзил страх, что все втроем они сейчас куда-то рухнут, что надежды, возложенные на других людей, не оправдаются, что им придется молча стоять друг подле друга, однако Бадди придвинул к себе табурет и принялся обсуждать с Феликсом их игру. Они довольно долго разглагольствовали о карамболе и о том, что американского есть в пул-бильярде, и Эллен получила возможность беспрепятственно разглядывать Бадди. Его грязную синюю майку с надписью — названием какого-то университета, его бейсболку без надписи, очень большие руки с заскорузлыми суставами, ноготь большого пальца — синий, кольца нет, на левом запястье — узкий индейский браслет. Пузо, как шар, перекатывалось у него из-за пояса штанов, майка туго это пузо обтягивала, орла на пряжке ремня не было видно, что-то в этом человеке казалось ей знакомым и утешительным. Эллен думала — умиротворяющим. Феликс и Бадди неожиданно замолчали, хотя в этом и не было ничего примечательного, а потом она просто сказала:

— Собственно говоря, мы хотели за день пересечь пустыню, но по какой-то причине застряли здесь, ни с того ни с сего.

А Бадди заметил:

— Такое случается.

В конце концов именно Эллен всегда говорила с другими людьми, спрашивала и беседовала, не только в Америке, но и дома, и в других местах, всегда. Феликс при этом сидел, и слушал, и молчал. Сидел чаще всего откинувшись назад, скрестив ноги, по нескольку минут вертел в пальцах сигарету, долго изучал ее, закуривал и глубоко затягивался — хорошая сигарета, лучшая на свете. Он давал ей погаснуть и опять пристально ее разглядывал, прежде чем зажечь снова. Рассеянно куда-нибудь смотрел, иногда на кого-то, иногда на Эллен, сидел почти неподвижно, этакий невесомый Будда, спина прямая, как свечка, плечи расправлены. Встречались люди, на которых это молчание, это тихое сидение и слушание производило впечатление, они находили его мудрым, неоднозначным, меланхоличным. Эллен тоже. В хорошие дни Феликс, бывало, смеялся над тем, что́ Эллен в его присутствии говорила кому-то еще, и этим подавал ей неброский знак своей солидарности, своей причастности; в плохие дни он вообще не реагировал. В редкие минуты рассказывал что-нибудь сам, рассказывал сдержанно, иногда умно, иногда совершенно невнятно. Спрашивать почти никогда не спрашивал, Эллен еще ни разу не довелось слышать, чтобы он кого-нибудь о чем-нибудь спрашивал, меньше всего ее самое; его обращенный к Анни вопрос о привидениях в "Отеле Интершэшнл" был просто уловкой. Если дома они вечером выходили вдвоем, она говорила много, он молчал. Они садились где-нибудь в кабачке, как правило, рядом — такая была у Феликса привычка. Вначале Эллен находила это странным, ибо она полагала, что сидеть рядом могут только люди, которым больше нечего друг другу сказать, позднее ей это стало нравиться, показалось чем-то особенным, проявлением ис-

кренности. Они сидели рядом, и Феликс молчал, а Эллен пыталась выдержать молчание. Потом она все же начинала говорить и от беспомощности принималась рассказывать такие безумные сентиментальные истории, что оба в конце концов заливались слезами. Феликс сидел рядом с Эллен и просто начинал плакать, беззвучно плакать, Эллен тоже не могла не всплакнуть, она пыталась его утешить, а потому все гладила и гладила его по лицу. Это был такой обряд. Эллен это понимала, ее словно что-то принуждало доводить Феликса до слез ради того, чтобы потом иметь возможность его утешить — бессмысленная затея. В Америке, во время этого путешествия с Восточного побережья на Западное и обратно, они сидели так из вечера в вечер — в национальных парках, в мотелях, в арендованных хижинах на берегах широких американских рек, и Эллен начала повторяться, варьируя свои сюжеты с их претензией на значительность, ничего нового ей в голову уже не приходило, да, в сущности, ей и не хотелось больше ничего рассказывать. Она начала задавать вопросы Феликсу, а Феликс отказывался отвечать. Они становились все молчаливей — до тех пор, пока Бадди в Остине, Невада, не подсел к ним, подтянув к себе высокий табурет.

Это был первый человек за несколько недель, который с ними заговорил, который побудил Эллен встряхнуться, собраться с мыслями и сформулировать ответы на его простые, целенаправленные вопросы.

— Что это за путешествие вы затеяли? — спросил Бадди, и Эллен сказала:

— Хотим за один раз пересечь всю Америку, от Восточного побережья до Западного и обратно. — Это была фраза, которую ей все время хотелось произнести, ведь она так великолепно звучала, да вот только никто не хотел слушать. Бадди заметил, что он еще ни разу не ездил с Восточного побережья на Западное, вернее сказать, он еще ни разу в жизни не выезжал из Остина в Неваде. Он так естественно это сказал, что у Эллен не вызвало это ни удивления, ни недоверия. Он хотел знать, что за жизнь они будут вести у себя дома, в Германии, это должна быть "необычная жизнь". "Вовсе нет, — возражала Эллен. — Так живут многие люди. Они путешествуют и познают мир, потом возвращаются домой и работают, а когда накопят достаточно денег, то едут опять, куда-нибудь еще. Большинство людей. Так живет большинство". Она рассказала про Берлин и про жизнь в Берлине, она попыталась эту жизнь описать, описать дни и ночи, но вдруг ей все представилось несколько путаным, беспорядочным и бесцельным. "Мы делаем то, мы делаем это", — у нее было такое чувство, будто она не может как следует все описать. Зарабатывать деньги, когда так, когда эдак. Ночи напролет, в опьяняющей эйфории проводить в дороге, чтобы потом опять потянулись вечера, когда они в десять часов будут ложиться спать, усталые, измученные, без всякой надежды. Круг друзей. Подобие семьи. Конец на глазах у всех? Нерушимо? Она пыталась отыскать что-нибудь такое, что можно было бы сравнить с жизнью в Остине, Невада, с жизнью здесь, как она ее себе представляла, она не была уверена, найдется ли что-нибудь подходящее для сравнения, но, казалось, Бадди правильно все понимает. Он хотел знать, на что они живут, чем занимаются. Эллен указала на Феликса, пусть он сам произнесет это слово, произнесет красивое название своей профессии, и Феликс, уступчивый и мягкий, произнес: "Велосипедный механик. A bicycle mechanic" — профессия, которую Бадди нашел

превосходной. Он сказал, что в Остине веломеханик за два часа перечинил бы все велики какие ни есть, но в остальном мире с такой профессией можно продержаться порядочное время. Он серьезно и задумчиво спросил: "Вот, например, в Китае, что было бы, когда бы ты как веломеханик подался в Китай?" — и лицо Феликса засияло, но вскоре погасло. Эллен хотела сказать Бадди, что говорить с Феликсом о каких-то утопиях, даже просто о возможностях, небезопасно. Всякие там "что было бы, если" или "ты мог бы..." Феликса сразу парализовывали и приводили в депрессивное состояние. "Быть может, только с тех пор, как он сошелся со мной", — подумала Эллен, и на какой-то миг эта мысль ее по-настоящему развеселила.

— Над чем ты смеешься? — поинтересовался Бадди, но Эллен покачала головой.

— Этого я сказать не могу. — Она наклонилась к нему и, не думая о том, что делает, положила руку на его тяжелое круглое колено. — Извини, я не над тобой смеюсь. Мне хотелось бы знать, как ты живешь, что поделываешь в Остине, Невада?

И Бадди ответил:

— То же, что и вы.

Теперь, годы спустя Эллен, бывает, вдруг останавливается — на кухне, когда моет посуду, на лестничной клетке, зажав под мышкой почту и газеты, на остановке трамвая, заглядывая в расписание, и думает о Бадди в Остине, Невада, о его жизни в тех краях. Она думает о том, что бы он мог делать именно в эту минуту, она уверена, что он все еще там живет, что оттуда не уехал, у него не было причин уезжать. Ее не удивляет, что ей неожиданно вспомнился Бадди, думать о нем не странно, не странно думать о ком-то, с кем она просидела ночь в баре — ни больше ни меньше, ее жизнь каким-то образом кажется связанной с его жизнью. В "Отеле Интернэшнл" Бадди снял бейсболку, потом надел опять и попросил Феликса скрутить ему косяк. Он долго наблюдал за тем, как Феликс его скручивает, наблюдал бесстрастно, спокойно. Сказал, что родился в Остине, тридцать два года тому назад, здесь ходил в школу; позднее старшие классы посещал в Или, короткое время прожил в Лас-Вегасе, где работал помощником официанта, потом вернулся в Остин. Его мать все еще живет здесь, в последнем доме на главной улице по направлению к Или, отец умер, сам он живет немного дальше, в пустыне. Женился на девушке, в которую влюбился в шестнадцать лет, теперь уже не влюблен, — он немного помедлил, — но они все еще вместе. Кое-что не так просто объяснить. Теперь он будет работать на правительство, сказал он, на строительстве дорог и так далее, в конце концов он вроде бы строительный рабочий, должен ремонтировать шоссе и регулярно обследовать его на предмет повреждений и опасных мест — вот и все. Это хорошо оплачиваемая работа, ему она по силам, он охотно уезжает отсюда и трудится в пустыне, между населенными пунктами. Взглянув на Эллен и Феликса, он спросил:

— А у вас есть дети?

Эллен покачала головой, Феликс, возможно, не понял вопроса.

— Почему? — поинтересовался Бадди.

Его манеру говорить и спрашивать, не важничая, не ораторствуя, — притом он ничего не подтасовывал, не драматизировал, — Эллен находила прекрасной.

— Не знаю, — ответила она, — я еще об этом не думала, то есть я, конечно, хочу ребенка, только еще не сейчас, по-моему, дело обстоит именно так.

А Бадди в ответ медленно и неуклюже кивал.

— У меня есть ребенок, — сказал он, — сынишка, сейчас ему три года, — и он взглянул на Анни, которая все время неподвижно сидела на своем табурете за стойкой и слушала. Эллен проследила за его взглядом, но в последний момент отвела глаза. Анни рассмеялась, Эллен понятия не имела над чем. Она обратила внимание на то, что Бадди медлил, недолго, но медлил, прежде чем произнести свои сплетенные одна с другой спокойные фразы, и она спросила:

— Девушка, на которой ты женился, — она и есть мать твоего ребенка?

Бадди ответил почти сердито:

— Ясное дело. Кто бы это мог быть еще?

А Эллен лукаво продолжала:

— Она красивая?

Анни у себя за стойкой снова расхохоталась. Бадди сказал, что она по крайней мере была красивой. Она была очень красивой, теперь уже красоты нет, она уродливая и толстая.

— Она такая толстая, — сказал он, — что ее можно сфотографировать только с самолета.

Эллен была не вполне уверена, что он говорит серьезно. Он сказал, что красоту свою его подруга утратила навсегда и, возможно, виной тому эта жизнь, жизнь в Остине, или жизнь вообще; но он все равно будет ее любить, хотя бы потому, что она — мать его сына.

— Я ее люблю потому, что она мать моего сына, — сказал он, и эта фраза встала между ними, встала надолго, до тех пор, пока Эллен не повернулась к Анни и не заказала еще один бокал вина.

"Ты слишком привязываешься душой к сказанному, к фразам, к вымышленным ситуациям", — сказал ей однажды Феликс. Когда это было? После Остина? До Остина? Эллен уже точно не помнит, во всяком случае, спорить с ним она не стала. Она еще помнит, что фраза Бадди показалась ей опасной, потому что содержала в себе невысказанный вопрос, но еще более тревожным показался ей тот взгляд, что Бадди бросил на Анни, и она подумала: "Я бы умерла, если бы Феликс когда-нибудь так на меня посмотрел". Анни пододвинула к ней бокал вина, полный до краев и с кубиками льда. Бар опустел, на темной улице перед дверью салуна срывались с места машины, взметая тучи пыли, за столиками еще оставались единичные посетители, и Анни выключила лампу над бильярдным столом. Бадди поднял свою пивную бутылку, и они чокнулись: "За ваше путешествие и за возвращение домой. За вас". Феликс наконец-то скрутил косяк для Бадди и вручил ему, Анни за стойкой подошла к ним поближе, дала Бадди огонька и осталась стоять возле них, чуть наклонившись вперед, с полузакрытыми глазами. Бадди курил, затягиваясь осторожно и удивленно, как человек, что выкуривает сигарету раз в год, потом он осмотрительно выпускал дым.

— Если у вас нет детей, то вы даже понятия не имеете, что чувствует человек, когда покупает своему ребенку пару маленьких кроссовок, пару кроссовок, например, фирмы "Найк". — Он засмеялся и замотал головой.

— Что же он чувствует? — спросила Эллен, а Бадди поглядел мимо нее куда-то на улицу, прищурился и сказал:

— Значит, оно бывает так — описать это чувство вообще-то трудно, но оно прекрасно. Эти кроссовки такие маленькие, такие крошечные и безупречные — безупречная копия настоящих кроссовок. — Он взглянул на Феликса и спросил: — Верно? — Феликс кивнул. — Покупаешь, значит, эти крошки-кроссовки, синие с желтым, с крепкими шнурками и пружинящими подметками в настоящей, но маленькой обувной коробке, приносишь их своему сынишке и надеваешь ему на ноги, а он в них удирает. Просто удирает, и все. — Он сделал еще одну затяжку, потом отдал цигарку Феликсу, тот взял ее и продолжал курить. Бадди откинулся назад и хотел еще что-то сказать, — Эллен была уверена: хотел сказать что-то совершенно другое, — но тут скрипнула и очень медленно отворилась дверь возле камина, и вошла охотница за привидениями.

— Времени ведь поразительно мало, — позднее скажет Феликсу Эллен. — Поразительно мало времени для разных вещей, для таких вот моментов, — иногда я бываю этому рада. Это не дает мне сделаться бесчувственной. Чтобы нести чепуху. Удерживает от увлечений.

Феликс никак не дает ей знать, понял он ее или нет. Толстая охотница за привидениями вошла в бар с таким видом, будто ждала за дверью. Выглядела она точно так же, как несколько — сколько? — часов назад, волосы растрепаны не были, юбка не порвана, но вся она была в пыли и паутине, а лицо ее выражало что-то праздничное, что-то одновременно траурное и торжественное. Важной поступью прошествовала она к бару, слегка поклонилась и усталым, но довольным и каким-то завершающим жестом поставила свой приемник на стойку. Анни, не спрашивая, налила ей рюмку спиртного, которую та опустошила одним долгим глотком. Бадди принес еще один табурет, подвинул свой к Эллен и оставил место между собой и Феликсом. Охотница за привидениями сняла через голову пластмассовый фотоаппарат, висевший на кожаном ремне у нее на шее, и протянула его Анни, которая осторожно, словно аппарат был стеклянный, положила его рядом с собой на стойку. Потом охотница взобралась на табурет, точь-в-точь переодетый толстый ребенок, выпила еще рюмку спиртного и начала икать. Эллен не могла удержаться от смеха, и охотница приветливо ей кивнула. Так они довольно долго сидели, сидели молча, друг подле друга, все остальные посетители ушли; жужжал вентилятор, капала в мойку вода. Анни подперла голову руками, лица ее не было видно. Толстая охотница за привидениями улыбнулась. Она указала на свою сумку, и Бадди подтянул эту сумку к себе и подал ей. Она вытащила оттуда истрепанный альбом, сказала: "Я вам их покажу, если хотите". И, не дожидаясь ответа, раскрыла альбом. Эллен, Феликс и Бадди склонились над ним, Анни — через плечо Бадди. Там были цветные фотографии — цветные фотографии в формате почтовой открытки и в пластиковой оболочке, но несмотря на это — мятые. На них изображались гостиные, лестничные клетки и погреба в сумеречном свете, и на каждом снимке, где-то в углу можно было заметить серебряную полоску, легкое мерцание, отражение какой-то лампы или нечеткие в двойном освещении очертания чьей-то головы. Это были нескромные взгляды, брошенные в спальни, платяные шкафы и кухни, и Эллен все время повторяла: "Это просто некачественная проявка, двойное освещение, отражения, пыль на линзе, вот и все", однако в ту ночь в "Отеле Интер-

нэшнл" сама она в это не верила, она верила толстой охотнице за привидениями, верила серьезности и убежденности, с какими та указывала на фотографии, причем самую важную деталь она всякий раз как бы нечаянно прикрывала указательным пальцем. Эллен искоса разглядывала охотницу за привидениями, ее пылающие красные щеки, пряди бесцветных волос, падавшие ей на вспотевший лоб, бусинки пота на крыльях носа и верхней губе. "Запах, который шел от нее еще днем, казалось, усилился и смешался с чем-то другим — с запахом пыли, дерева и привидений, — решительно подумала Эллен — того, чем пахнут привидения". Это ее насмешило, она ясно чувствовала, что просто счастлива, очень счастлива, и что ей легко. Бадди вторил ее смеху, мягко и негромко, а толстая охотница за привидениями как бы одобрительно сказала:

— Да, вот этого я тоже любила, одних ведь любишь больше, других меньше. — Она кивнула головой, постучала указательным пальцем по фотографии у себя на коленях и уставилась на нее, словно пытаясь что-то вспомнить. Потом подняла глаза, посмотрела на Анни, сказала:

— Эти привидения там, наверху, — она ткнула пальцем вверх, в потолок, и все подняли глаза, — эти привидения там, наверху, не могут примириться с жизнью. — Она стала с чрезмерной старательностью отхаркиваться, потом сказала: — Во всяком случае, я должна буду еще раз прийти сюда, если получится. А это получится?

И Анни ее успокоила:

— Конечно, получится. Я в этом вполне уверена. — Она и Бадди озабоченно переглянулись. Бадди встал, потер левой рукой лицо, допил свое пиво и начал ставить стулья на столы. При этом бросил через плечо:

— Пора домой, пора спать.

Анни вытерла стойку, сполоснула последние бокалы и выключила вентилятор. Эллен неспешно допивала вино, она чувствовала себя усталой и умиротворенной, она знала, что у нее еще есть время. Толстая охотница за привидениями, погруженная в свои мысли, покачивалась на табурете туда-сюда и тихо мурлыкала какую-то песню. Феликс скручивал себе последний косяк. То, на чем Эллен несколько часов назад пыталась сосредоточиться, предстало теперь перед ней резко очерченным, стеклянным, хрупким и прозрачным. Толстая охотница за привидениями показала на свой пластмассовый фотоаппарат и спросила:

— Тут, на пленке, остался еще один кадр, самый последний, кто-нибудь хочет сняться?

И Бадди ответил:

— Уж если сниматься, то всем.

Улица перед "Отелем Интернэшнл" была тиха и темна, горел лишь неоновый свет рекламы "Будвайзера", темно-синее небо усеяли звезды.

— Как жарко, — сказал Феликс, обращаясь скорее к самому себе.

Жара была сухая и пыльная. Анни заперла за собой дверь салуна. Толстая охотница за привидениями поставила свой фотоаппарат на столбик ("Столбик, к которому раньше привязывали лошадей", — подумала Эллен), неловко принялась высматривать что-то через видоискатель, бормотала себе под нос, потом хлопнула в свои маленькие ладошки и воскликнула: "Становись!" Эллен встала на веранде, перед дверью салуна, — как раз над ней пришлась вывеска с покосившимися деревянными буквами "Отель Интернэшнл", а слева от нее — запыленное окно

со световой рекламой. Вдруг она почувствовала себя возбужденной, ей захотелось немножко пошалить. Остальные — Бадди, Феликс, Анни — встали с ней рядом. Толстая охотница за привидениями нажала единственную кнопку фотоаппарата, вспыхнула красная лампочка, женщина выскочила из-за столбика, неуклюже вкатилась на веранду и втиснулась между Феликсом и Бадди. Она стала считать: "Пять, четыре, три, два, один", а Эллен, понимавшая, что этой фотографии она никогда не увидит, вдруг с удивлением подумала, что это будет один из тридцати шести снимков на пленке, полной привидений, и схватила за руку Бадди. Она крепко ее держала, он ответил ей на пожатие, а Эллен улыбнулась и почувствовала себя уверенной в том, что она красива, полна надежд, сил и бодрости. И прежде чем она успела подумать что-нибудь еще, сверкнула вспышка, охотница за привидениями крикнула: "Готово!", а потом опять стало темно.

На другое утро они проснулись поздно. У Эллен болела голова. Феликс уверял, что с тех пор, как они в Америке, голова у него болит каждое утро. Они собрали вещи, погрузили их в машину, выкурили на ступеньке лестницы перед комнатой по тошнотворной сигарете. Неоновая реклама в окне "Отеля Интернэшнл" погасла, дверь в салун была заперта, "форд" стоял перед мотелем, "крайслер" исчез. По стенам шмыгали ящерицы, шуршали в невероятной тишине. Эллен вдруг сообразила, что они вчера не расплатились за напитки, но когда она побежала к Анни в контору, чтобы отдать деньги, дверь оказалась на запоре, жалюзи спущены, вывеску с перечнем свободных мест кто-то убрал. Они еще немного подождали, но никто к ним не вышел и не подал признаков жизни, тогда они сели в машину и укатили дальше на Запад.

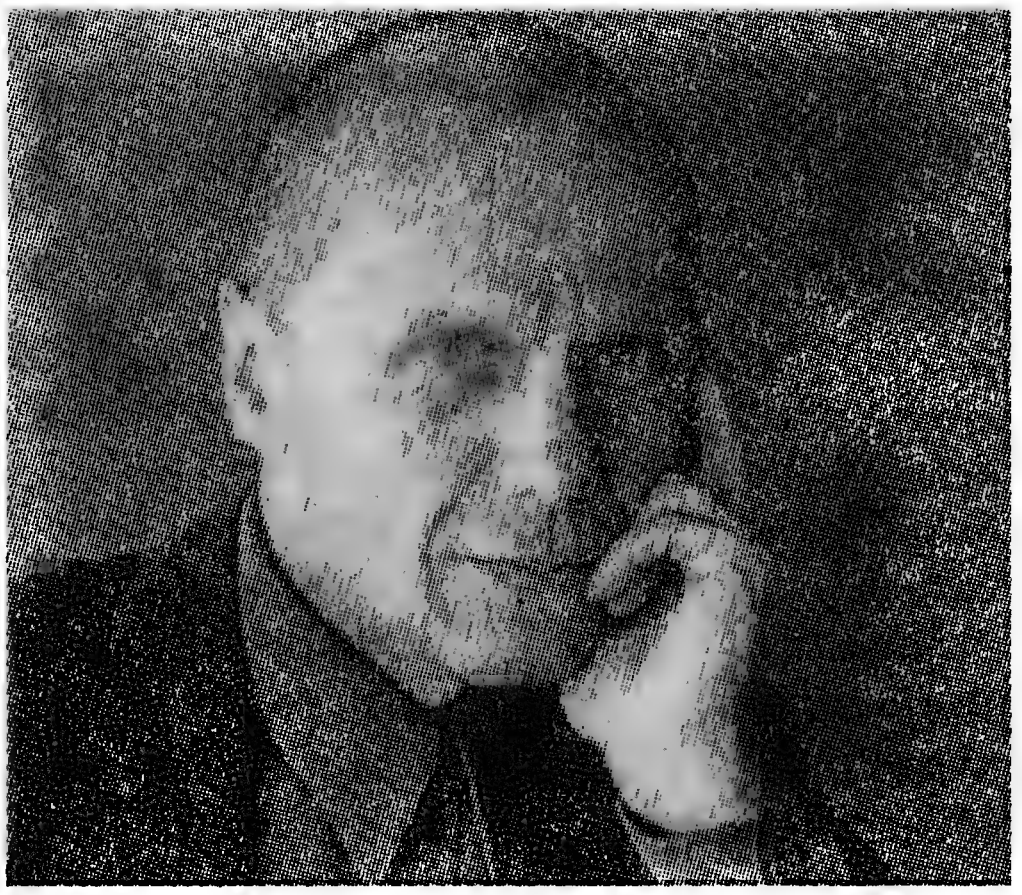
Теперь, когда Феликс и Эллен ужинают вместе с ребенком, Феликс, бывает, говорит:

— А вот когда мы поедим, то расскажем тебе, как твои родители познакомились.

Это шутка, такая легкая острота, которая у Эллен тоже всегда вызывает смех, хотя эта шутка ей неприятна, и она сама не знает, над чем, в сущности, смеется. Ребенок еще слишком мал для того, чтобы ему об этом рассказывать. Эллен хочется знать, как будет, когда она действительно сможет ему обо всем рассказать, она этому радуется и этого боится. Она бы с удовольствием сообщила ребенку, что в решающие минуты своей жизни она всегда словно теряет голову. Она бы с удовольствием сообщила ему:

— Ты явился на свет потому, что Бадди в Остине, Невада, сказал нам: мы и понятия не имеем о том, что чувствуешь, покупая ребенку кроссовки, пару замечательных крошечных кроссовок в настоящей маленькой обувной коробке. Он был прав. Я этого не знала, а хотела знать, как это бывает. Я и в самом деле хотела это знать.

Георг Кляйн



Про немцев

Рассказ

Перевод М. Рудницкого

ТУТ, у нас, в миротворческой зоне, мы немцев любим. Хотя и русские, которые незадолго до немцев сюда пожаловали, тоже, по правде сказать, хоть куда ребята. Когда русские солдаты на Пасху у нас в разрушенной церкви пели, тут даже камень — и тот бы прослезился. Но за то время, без малого год уже, что война кончилась, немцы, хоть и не умеют так задушевно петь, тоже стали нам почти как родные.

Вообще-то все американцев нахваливают, потому как они первыми на сотнях вертолетов через Северный хребет как гром среди ясного неба сюда свалились и какой-никакой, пусть самый шаткий, но все-таки мир обеспечили. Однако спроси любого: за кого из иностранных солдат он в самых сладких грезах свою дочку просватать надеется, пусть даже совсем уж завалящую и засидевшуюся, которая и косит-то на оба глаза, и горбом, прости Господи, не обижена, — нет, за кого угодно, только не за этих роскошных негров, которые по телевизору-то золотые медали мастера завоевывать, а здесь у нас только детей смешить могут. Нет, не американец — немец, и только немец, вот кто нашу горбунью осчастливить способен.

Вот почему у нас такое несусветное волнение поднялось, когда на прошлой неделе вдруг прошел слух, будто немцы одного солдата потеряли. У американцев-то на следующий же день после перемирия офицера подстрелили насмерть — рыжеволосый такой детина, шел с белым флагом парламентера, ну, кустостерлы наши из-за плетня пальнули, и все дела. А весной, это уж больше месяца, считай, как мир был, двоих русских — ах, какие были ребята, кровь с молоком! — своим же танком в

© 2002 by Rowohlt Verlag Gmb H, Reinek bei Hamburg
© М. Рудницкий. Перевод, 2003

лепешку расплющило, который сверху, из березовой рощи, прямиком по склону в пересохшее русло нашей Дружки так и ухнулся. А теперь вот, выходит, и немцам пришел черед кровавую дань заплатить, и надо же такому случиться, чтобы самого маленького из них угораздило, коротышку блондина, которого вся долина с восхищением иначе как "немецким носачом" и не звала.

Сперва поговаривали, что он, мол, на мине подорвался, на особо чувствительной, противотанковой, которая его на такие клочки разнесла, что и собирать нечего. Но это, конечно, полная чушь, взрыва-то никто не слышал, а у нас у всех, включая даже глухого как пень священника, уши хоть куда. На второй день прошла молва, дескать, коротышка этот, когда в ущелье рыскать полез, учинил нечароком лавину, и теперь его цыплячья грудь и белобрысая головушка навсегда погребены под толщей камней и глины. Вот почему немцы уже на следующий день вызвали на поиски горнострелковые части, а еще смышленых, с преданными глазами собак, которые, можно сказать, всю гальку в нашей пересохшей Дружке своими чуткими носами перерыли. Но даже они ничего не учуяли.

И тогда на четвертый день наш Гирко, старый проныра, сказал себе: Гирко, куй железо, пока горячо! Племянница твоя хоть тебе и не дочка, но все же, как-никак, единственное дитё твоего единственного брата. Брата твоего война прибрала, невестку рак уволок. Так что теперь вся ответственность на тебе, на ее родном дяде. А племянница твоя хоть и не косит, и не горбатая ни на вершок, но зато уж по части упрямства и злокозненности кого хошь за пояс заткнет. Тридцатого августа ей аккурат тридцать исполнилось. Ни с кем из местных тебе ее на брачное ложе ни за какие коврижки не уложить. Зато немец — другое дело, немец мог бы ее обломать и успокоить, немцы — они во всех вещах своим упорством славятся. А коли так — иди! — сказал себе хитрован Гирко, — отыщи этого пропавшего немца, тогда, глядишь, с Божьей помощью и для твоей зловредной племянницы тоже какой-нибудь немец сыщется.

Сами-то мы народишко маленький. Нас, считай, всего ничего, ровно столько, сколько в пригоршне узких горных распадков уместиться может, так что по-настоящему большой кавардак даже в головах у нас устроить трудно, а уж такой, чтобы человека найти было нельзя, и подавно. У нас каждый знает, что к чему и чего он хочет. Так что Гирко ни свет ни заря отправился в деревню к американским санитарам и попросил как следует перебинтовать себе правое колено, оно у него совсем никуда. А они там у себя в Америке замечательные бинты изобрели. Упругие, эластичные, они больное место и перехватывают туго, и не затекает оно ни чуточки. Так что если бы кто из нас в то утро старого Гирко со свеженькой повязкой на колене увидел, как он в предрассветной мгле по руслу вверх направляется, то уж непременно бы крикнул: "Что это с паралитиком нашим стряслось? Гирко-то наш, гляди, совсем как молодой в гору лезет! Не иначе, всю ночь на ведьме верхом скакал!"

Да, такой уж у нас народ суеверный. Когда белобрысый коротышка немец еще только затевал у нас свою деятельность, староста наш дал ему с собой в дорогу петуха, а к петуху в придачу еще и своего сынка, которого у нас иначе как чуркой никто не кличет. Там, наверху, прямо на пересохшем русле Дружки, чурка должен был этому петуху горло перерезать. Потому как у нас говорят: где петушиная кровь пролилась, там воду и ищи. А белобрысый коротышка их обоих — и петуха, и чурку — целую

неделю при себе продержал. Петуху было позволено жить дальше, а старостиному сынку, который и вправду звезд с неба не хватает, — даже покрутить ручки всяких приборов и датчиков, хотя они наверняка несусветных денег стоят. Вот такие они, немцы: терпеливые и щедрые, и притом без всякого гонора, даже тогда, когда у них, быть может, все резоны для гонора имеются.

Когда Гирко мимо нового источника проходил, туман над елями уже начал рассеиваться и мокрые от росы камни тускло поблескивали в первых солнечных лучах. После того как коротышка немец воду тут нашел, отсюда к нам в деревню ее сперва по нескольку раз на дню на джипе в канистрах возили. Но это покуда русские саперы водопровод не проложили, даже скорее трубопровод, из здоровенных таких, несусветного размера труб. Да и вообще, все, что русские у нас тут понастроили, немного великовато вышло. Не в упрек им, конечно, будь сказано. Еще бы, они ведь в какой бескрайней стране живут, там что нефть, что газ из промерзшей, как гранит, земли просто так, сами по себе, фонтанами хлещут. Ясное дело, у них в голове не укладывается, до чего узкие и тесные у нас долины. Немцы — те совсем другое дело: внизу, при входе в долину, они из своей немецкой стали построили через Дружку мост. Загляденье, а не мост, в тысячу раз красивей прежнего, неуклюжую коробку которого прямым попаданием разнесло, он тебе и не мал, и не велик, а аккурат в самый раз мост, какой надо.

Но Дружка у нас в этом же году сразу после Пасхи пересохла. Так что все лето галька в русле только раскалялась от зноя, детям нашим на этой гальке впору хоть рыбу печь, только без воды какая рыба. В деревне у нас все сразу же старосте поверили, когда тот в пламенной речи во всем неприятеля обвинил, врага нашего, который там, за хребтом, воду нам перерезал. А между тем уж старики-то хотя бы должны помнить, что безводица такая и раньше случалась. Когда Гирко наш еще молодой был, Дружка однажды три года подряд сухая простояла. Вода оставалась только в скудном горном источнике под Орлиным Клювом, это скала такая у нас. В смазанных жиром бурдюках из козьих шкур Гирко и его младший брат целыми днями тогда драгоценную влагу коровам на пастбище таскали. Источник этот, когда в Дружке вдруг снова появилась вода, раз и навсегда иссяк, но в прошлом месяце дошлый коротышка немец почти в том же самом месте под скалой наткнулся-таки на водоносную жилу.

На Орлиный Клюв Гирко поднимался по старой козьей тропе, а когда выбрался наконец из мелкорослых березовых дебрей на лысую верхушку скалы, солнце как раз проглянуло из рассветной дымки. Он присел ненадолго, давая отдых своему колену и поглядывая вниз на наш лес. Лес у нас и правда знатный и растет быстрее, чем мы его вырубать успеваем, так что в нашем лесу, ежели стежки-дорожки знать да с умом ходить, фазанов голыми руками ловить можно. Зато о том, какой он у нас красивый, мы только от немцев услышали. Коротышка-то белобрысый уж и ахал, и охал, а лысую верхушку Орлиного Клюва вообще назвал самым красивым местом на свете, такие, дескать, оттуда открываются виды. И даже когда воды было найдено уже больше чем достаточно, потому как он в нашей долине аж целых три источника нарыл, он все еще не переставал по горам шастать. Как раз за этим делом Гирко его однажды и встретил, и вот там, где они тогда столкнулись, наш хитрец и надеялся теперь его отыскать.

А было это в старом глиняном карьере, который наверху, у самой новой границы. Сами-то мы народец маленький, но с тех пор, как война началась, враги у нас могучие. Это бывшие соседи наши, а по верхушке Северного хребта проходит теперь граница, которая нас от них отделяет. Они, может, и по сей день бы там стояли, вооруженные до зубов, и пуляли бы вниз, в долину, своими истошно завывающими снарядами, кабы американцы им этого не запретили. У американцев-то на спутниках теперь всюду глаза и уши, и ракет на луне без счета, откуда они любой уголок земли поразить могут. И вот, только потому, что американский президент им так приказал, враг наш вынужден был малость отступить за предписанную ему демаркационную линию, за которой он, правда, и сейчас стоит и зубами злобно скрежещет.

А на этом старом глиняном карьере еще прошлой осенью единственного брата Гирко убили, так что сам Гирко ни в жизнь бы туда не пошел, не будь у него уверенности, что аккурат в этом самом месте он немца и найдет. Карьер этот не что иное, как круглая дырка в скалах, притом такая большая, что любая из наших хижин легко в нее провалится, и такая глубокая, что на провалившуюся хижину запросто хоть вторую, хоть третью ставь. Стены там отвесные и глинистые, к тому же все в прорезях слоистого, ломкого сланца. Мертвецов наших, ну, Гиркиного брата и еще девятерых, мы из этого карьера на веревках вытаскивали.

Так вот, когда Гирко коротышку немца тут встретил, тот тоже на канате в карьере болтался. Гирко, который к самой границе по грибы ходил, издалека какой-то стук услышал. Оказалось, коротышка немец сам себя канатом привязал, на канате в карьер спустился и там, на весу, молотком куски сланца от стенки карьера отколупывает. Наши-то люди, конечно, испокон веков знали, что там, в сланцевых прожилках, окаменелости найти можно — и листья всякие чудные, и улиток. Но никому бы и в голову не пришло такую ерунду, все эти каменюки в деревню тащить. Это только от немцев мы узнали, до чего из-за всяких древностей с ума сходить можно. Недаром у нас теперь говорят: немецкому солдату любой ржавый гвоздь как историческую древность всучить можно.

Оно, конечно, у немцев веревки знатные, быть может, самые лучшие в мире веревки. Но только сланец в нашем глиняном карьере такой, что края у него острые как бритва. И Гирко еще тогда белобрысому коротышке показал, в каком именно месте его первоклассный немецкий канат уже малость перетерся. Сами-то мы народец маленький, и, кроме нас самих, языка нашего никто не знает, так что с чужестранцами любой из нас, что стар, что млад, поневоле только руками да ногами объясняться может. Ну, Гирко как мог и растолковал тогда немцу, что он, дескать, не просто так, а между жизнью и смертью над пропастью болтается, однако тот его не послушал и в поисках окаменелых улиток по стенкам карьера лазать не прекратил. Вот почему для Гирко теперь ясно как день было, что немца этого в живых уже нету.

И точно, когда он уже к полудню до карьера дошел и через край заглянул, первое, что он увидел, был немецкий канат, как раз посередке оборванный. Внизу, правда, на самом дне коротышки немца было не видать. Не иначе, подумал Гирко, он не сразу помер, а еще пытался из карьера с другой стороны выползти. Немец — он же упорный и живучий как кошка, хотя, конечно, и у немцев, как и у всех людей на свете, в отличие от кошек, жизнь только одна.

Так что Гирко обошел карьер и по откосу начал спускаться вниз. А надо сказать, что и с двумя-то здоровыми коленями дело это нешуточное. Там слой сланцевых обломков под ногами так ходуном и ходит, а под ним еще глина скользкая, как каток. И на маленькие березки, что по склону растут, тоже надежды никакой — ломаются. Гирко, пока в зарослях ежевики плутал, рубашку и штаны изодрал в клочья. Но когда он наконец с расцарапанными в кровь руками вниз в распадок выбрался, то вместо трупа немца обнаружил там только его молоточек, а еще, уже на другом краю оврага, на самом верху, ивовую корзину, полную грибов.

Гирко у нас тертый калач, он много в чем кумекает, ну а уж по части грибов и ягод с ним вообще лучше даже и не тягаться. Он как на грибы глянул, так сразу смекнул, что, во-первых, срезали их уже несколько дней назад, а во-вторых, сделал это человек, который в грибах толк знает. Сбор был такой разнообразный и безошибочный, как будто это он сам по своим грибным местам прошелся. И такой сбор, да еще в такой добротной корзине, ни один нормальный человек просто так, за здорово живешь, в лесу не оставит, подумал Гирко. Разве что ему — а вернее сказать, ей — обе руки понадобились, чтобы кое-чего, а вернее, кое-кого поважнее грибов домой тащить.

Ясное дело, это они, немцы, нам новую границу разметили. Повсюду на Северном хребте они понатыкали в землю колышков, чтобы мы точно знали, где теперь наша страна кончается и где начинается вражеская. А колышки, надо сказать, у них замечательные, железные, да еще в прозрачной такой оболочке, а верхушка и острие никелированные. Короче, это такие палочки, при виде которых каждому из наших с первого взгляда ясно, на что еще их с пользой и по делу употребить можно. Да и бывшие соседи наши, нынешние враги, по части того, что плохо лежит или без ума воткнуто, тоже не лыком шиты.

Вот и нашему Гирко, чтобы дорогу найти, никакие колышки ведь не требуются. К дому кумы Тоны, который теперь, после войны, на вражеской земле оказался, он и самой непроглядной ночью кратчайшим путем с завязанными глазами выйдет. Только все равно, когда он под вечер, уже опять смеркаться начало, из мелкорослой дубравы выбрался и ладный, двухэтажный дом, в котором теперь вдова одна поживает, на противоположном склоне углядел, на душе у него, он потом сам признавался, очень даже муторно было.

А все из-за Тоны. Она примерно одних лет с Гирко, да только там, где у наших мужиков с определенного возраста, лет этак с пятидесяти, все ясно и никакого подвоха не жди, там у наших баб совсем уж чёрт-те что и не разбери-поймешь начинается. Тона — она ведь трижды замужем побывала, один раз за нашим мужиком, два раза за теми, которые теперь враги наши. И от каждого по сыну родила. Все трое сыновей за границу уехали, причем в разные страны, и женились там на иностранках. Так что теперь у Тоны даже среди немцев есть родня: внучки-двойняшки. Такое и вообразить-то трудно, не то что сказать.

Однако, топая вверх по гравиевой дорожке к пригожей, на загляденье, вдовьей усадьбе, Гирко наш робел вовсе не из-за ее заграничных невесток и немецких внучек. И вовсе не вид новой машины в гараже и спутниковой тарелки на крыше его тревожил, а воспоминание об одной давней и сугубо местной истории — вот что заставляло теперь трястись обе его коленки, что больную, что здоровую. Давно, когда оба они еще

молодые были, они как-то пополудни, собирая грибы, повстречались в лесу. И хотя оба недавно сыграли каждый свою свадьбу, противостоять неуемному зову, какой в наших лесах нет-нет да и нападет на человека, не смогли.

Однако кума Тона приняла его как ни в чем не бывало, словно он за прошедшие сорок лет то и дело поболтать к ней заходил. Обрадовалась, что он корзинку с грибами ей от самой границы притащил, пригласила в горницу и даже поставила выпить. Короче, чтобы долго не рассусоливать: в горнице на кушетке у Тоны немец сидел. Гирко этого недомерка сразу узнал, даром что он в Тониной кофте был, осунувшееся лицо все в клочьях рыжей щетины, а на голове, чуть не до самых бровей, тюрбан из толстенной марлевой повязки.

Гирко говорит, он этого белобрысого коротышку узнал по носу. И тут каждый сразу ему верит, потому как рубильник у этого немца и вправду выдающийся. "Это чтобы воду чуять!" — говорили у нас поначалу. А все свои приборы дорогущие он только для того наверх потащил, чтобы придурковатому старостину сынку было чем поиграться. И от Тоны мы теперь знаем, что на самом деле все так и есть. Потому как у нее этот недомерок в первое же утро, когда он еще на четвереньках еле-еле до отхожего места дополз, водоносную жилу прямо под домом учуял. Тона сразу же кровать на другую сторону комнаты переставила и на следующую же ночь спала крепко и сладко, как молоденькая девушка. Из чего сразу и видно: немцы, даже когда в голове у них все малость перетряслось и помутилось, все равно на хороший совет не скупятся.

Тона втолковала нашему Гирко, что малыш немец чувствует себя уже получше, утром он в первый раз даже удержал в себе порцию овсяного отвара, а совсем недавно с ней под руку сделал целый круг по саду, и ему даже дурно не стало. Однако от испуга он еще не оправился, страх глубоко в нем засел. Когда с ним не разговаривают, он сидит, как неживой, с печальным лицом и все думает какую-то свою думу. Очевидно, хотя кости у немцев замечательно переносят падение, сами-то они душой куда легче повреждаются, чем наш брат.

Тона из-за этого даже сыну своему звонила и невестке в Берлин — так у немцев столица называется. И те посоветовали ей сегодня же вечером включить телевизор. Мы, конечно, народец маленький, но уж в футболе-то понимаем ничуть не хуже великих наций. Вон, троюродный племянник Гирко, сын одного из его кумовьев, вообще до второй английской лиги дошел, правда, хоть и окольным путем, через команду ближайшего города наших соседей, которые теперь наши враги. Так он говорит, кто на наших-то корявых полянах, среди каменюк да буераков, финтить научился, того на английском газоне вообще не удержать.

Короче, чтобы долго вокруг да около не ходить: Гирко и Тона вместе с немецким носачом посмотрели по спутниковому телевидению матч немецкой национальной сборной. Наш Гирко с тех пор бессчетное число раз про это рассказывал, но, видно, не иначе надо было самому на кушетке у Тоны в горнице посидеть, чтобы вполне понять смысл того, что там происходило. Гирко говорит, только тогда, перед телевизором, у него наконец-то правильное впечатление о немцах сложилось, хоть они у нас тут, в миротворческой зоне, уже целый год стоят и каждый ребенок думает, будто знает их как облупленных. Как только его родная команда первый гол вколотила, белобрысый коротышка прямо на глазах расцветать начал. Слова из него сами так и полились, словно из источников,

которые он тут у нас пробурил. А Тона, которая от невестки и от внучек малость немецкому научилась, переводила нашему Гирко, что сама понимала.

Тут ведь что первым делом себе вообразить надо: еще дюжину лет назад у немцев общей национальной сборной не было! Потому как Германия эта самая очень долго, лет этак сто примерно, была на две части разделена. И обе ее половинки стояли друг супротив друга, как два заклятых врага, вдоль границы, которая не колышками была размечена, а здоровенной бетонной стеной перекрыта. И когда какой-нибудь немец через стену эту перелезть норовил, другой немец по другую сторону стены пулял в него с вышки.

Но потом немцам все-таки как-то там удалось сызнова объединиться. Стену эту громадную всю снесли, и теперь вот они играют в футбол одной национальной командой. Гирко говорит, когда кто-то из наших их игру смотрит, обязательно нужно, чтобы рядом кто-то из немцев был, чтобы объяснять, кто из игроков раньше по какую сторону стены мяч гонял. У нас-то вон внуки до сих пор норовят друг дружке шины пропороть только из-за того, что их деды когда-то по молодости то ли девку какую не поделили, то ли курицу. А тут, по телевизору, каждый каждому — и это всего лишь после двенадцати лет вместе! — как ни в чем не бывало мячик отдавал. Вот какие они молодцы, эти немцы!

В долине у нас все теперь нашим Гирко гордятся: еще бы, ведь ему все-таки удалось увести носатого немца со двора хитроумной Тоны. После матча — немцы выиграли 2:1 — белобрысый коротышка явно сразу духом окреп, однако Гирко пришлось еще целых три дня и три ночи у Тоны оставаться, покуда та немца из рук не выпустила. Сам-то Гирко задним числом американцев хвалит: говорит, без американских бинтов его никудышнее правое колено в первую же ночь бы сплоховало. Ему ведь этого немца для себя и для братниной дочки во вдовьей постели отвоевывать пришлось. И даже весь долгий обратный путь до границы американский бандаж выдержал. Но, правда, когда наш Гирко вместе с коротышкой блондином к племяннице заявился, колено у него раздулось уже что твой футбольный мяч.

С тех пор он и слег. Американский военврач хочет его на самолете в США отправить, в больницу, где с утра до ночи доктора только тем и заняты, что пришедшие в негодность коленки разбирать, починять и собирать как новенькие. Но Гирко говорит, ему сейчас отлучаться никак нельзя, он должен, пусть хотя бы со своего одра, дело между племянницей и коротышкой блондином под контролем держать. Когда он с немцем-то к ней пожаловал, она сразу козью морду свою скривила и ни за что не желала сообразить, что носатому хотя бы одну ночь у нее переночевать надо, прежде чем обратно к землякам-то его отпускать. Счастье еще, что уже почти темно было, когда они на крыльце у нее оказались, и что дождь ледяной пошел, а потом и вовсе снег. В такую погоду даже такая стерва, как его племянница, собаку, не то что немца, все-таки от дверей не прогонит.

А в итоге коротышка немец аж до конца недели у нее кантовался. Обратный пеший переход через границу его, конечно, опять изрядно подкосил. Все хвори к нему вернулись, жар у него снова сделался, голова болела, так что и по сей день по части того, что с ним приключилось, у него в мозгах легкая путаница остается. Он, к примеру, свято уверен, что это племянница Гирко его на дне глиняного карьера подобрала и полу-

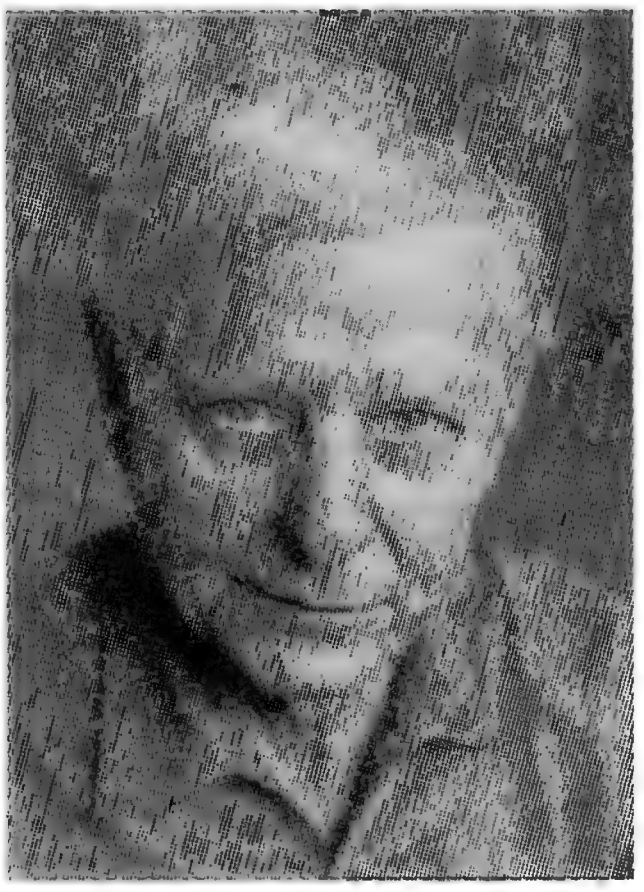
живого выходила. Так что теперь он каждый день приходит ее проведать, и не просто так, а с подарками, конфеты шоколадные, например, приносит, немецкие. Гирко пробовал, говорит, конфеты знатные. Куда лучше американского шоколада, не говоря уж о русском. Ну кто бы о немцах мог подумать, что они еще и по части конфет такие умельцы!

Теперь, правда, вот какая незадача выходит: каждому видать, что этот блондин коротышка по меньшей мере на целую голову племянницы Гирко ниже. Потому как она не только упрямая, как коза, но и длинноющая как жердина. Из наших-то мужиков ни один не потерпит, чтобы невеста с такой высоты на него сверху вниз поглядывала. Но Гирко говорит, что его будущему зятю это нипочем, а все по причине его носа. Оно и впрямь, такого рубильника во всей округе не сыскать, а уж всякий сколько-нибудь опытный человек знает, что такое большой нос для мужика.

Однако мы-то скорей думаем, тут не столько в носе дело, а просто у немцев какая-то особая в себе уверенность имеется. Взять вот хотя бы историю со стеной этой. Это ж какие беды народ перетерпел, а в итоге все-таки все довел до хорошего конца. Потому, наверно, и перед женщинами нашими немец так скоро не робеет, как наш-то брат. Вон, даже перед племянницей Гирко, которая уж и вправду страшна и стерва жуткая, немец не дрогнул.

Но, может, и Гирко тоже прав. Недаром пословица наша гласит: нельзя, чтобы мысли сшибались рогами, как горные козлы. Жизнь иной раз и не такие крайности, как лохмы Гирковой племянницы и белокурый пробор ее немецкого ухажера, вместе сводила, да еще и накрепко сращивала. Так что мы здесь, в миротворческой зоне, немцев любим, и, глядишь, может, и еще кому из наших свое счастье с ними повезет устроить.

Ханс Магнус Энценсбергер



Стихи

Перевод С. Морейно

Силуэт

Рисую снег.
Настойчиво,
густо
широкою кистью
снег
на этом белом листе.

Рисую землю.
Рисую тень
этой земли, ночь.
Я не сплю.
Рисую
ночь напролет.

Снег ложится
густо, настойчиво
на мой рисунок.
Широкая тень

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1986
© С. Морейно. Перевод, 2003
Редакция благодарит автора и издательство за безвозмездное предоставление прав на публикацию.

ложится
на мой силуэт.

В этой тени
я рисую
широкою кистью
ночи
настойчиво
свою ничтожную тень.

Рондо

Говорить просто.

Но слова несъедобны.
Я пеку хлеб.
Печь хлеб трудно.
Я становлюсь пекарем.

Но не хлебом единым.
Я строю дома.
Строить дома трудно.
Я становлюсь каменщиком.

Но дом на горе не для нас.
Я двигаю горы.
Двигать горами трудно.
Я становлюсь пророком.

Но так меня не слышат.
Я говорю.
Говорить трудно.
Я становлюсь тобою,

тебе под нос бормочу
глупости.

Тридцатитрехлетняя

Все это она представляла себе по-другому.
Вечно ржавый чертов “фольксваген”.
Раз чуть было не выскочила замуж за булочника.
На днях прочла Гессе, а с ним и Хандке в придачу.
Привыкла на ночь разгадывать лежа кроссворды.
На мужиков не западает, нет.
Слишком молода, чтобы помнить хлебную карточку.

Думая о Камбодже, сходит с ума.
Ее последний дружок, профессор, балдел от пощечин.
Зеленоватые платья из батика ей широки.
Тля на листьях комнатной липы.
Собственно, ее призвание живопись, может быть.
Ее диссертация *Классовая борьба в Ульме с 1500 по 1512 и ее отражение в фольклоре.*
Стипендии, разочарования, горы конспектов.
Изредка бабушка подкидывает деньжат.
Невинные игры в ванной, ужимки,
огуречный лосьон перед зеркалом, долго.
Пожалуй, я не голодна, говорит она.
Когда плачет, то кажется девятнадцатилетней.

Вольфганг Хильдесхаймер

Конец света

Рассказ

Перевод Галины Окуловой

ПОСЛЕДНИЙ званый вечер у маркизы Монтетристо оставил неизгладимый след в моей памяти. Разумеется, определенную роль здесь сыграло и то, каким поразительным, уникальным в своем роде образом все закончилось — такой финал уже и сам по себе событие, которое сложно забыть. Да, и впрямь из ряда вон выходящий получился прием.

Своим знакомством с маркизой — урожденной Уотерман из Литл-Гиддинг, штат Огайо — я был обязан случаю. При посредничестве моего друга, господина фон Перльхуна (не того неомистика, а исследователя творчества Авраама-а-Санта-Клара), я продал ей ванну, в которой убили Марата, каковая (ванна) — о чем, быть может, не всем известно — до поры до времени являлась моей собственностью. Карточные долги вынудили меня расстаться с некоторыми экспонатами моей коллекции. Итак, повторюсь, меня свели с маркизой, как раз искавшей для своего собрания умывальных принадлежностей восемнадцатого века именно этот предмет. Мы встретились за чашкой чая, после непродолжительного и вежливого торга условились о цене, а затем наша беседа устремилась в русло, столь любезное сердцу знатоков и коллекционеров. Я заметил, что обладание подобным раритетом придало мне определенного весу в глазах маркизы, и оттого не удивился, получив спустя некоторое время приглашение на один из ее знаменитых приемов в палаццо на рукотворном острове Сан-Америго.

Остров был насыпан в нескольких километрах от Мурано по указанию маркизы, проникшейся вдруг отвращением к материковой суше, —

© Г. Окулова. Перевод, 2003

та, по словам маркизы, выводила ее из душевного равновесия, — и при нынешней ситуации на рынке островов иного выхода ей просто не оставалось, поскольку сама мысль о необходимости делить остров с кем бы то ни было казалась маркизе непереносимой. Здесь она и обосновалась, посвятив свою жизнь сохранению вечных ценностей и воскрешению ценностей забытых, или, как она любила выражаться, радению о Подлинном и Непреходящем.

В приглашении начало приема назначалось на восемь вечера, однако раньше десяти гостей не ожидали. Дело в том, что, помимо всего прочего, традиция предписывала добираться до острова на гондолах. По этой причине дорога мало того что занимала почти два часа, но при волнении на море оказывалась еще и сопряжена с известными трудностями — если не сказать с риском для жизни; уже, собственно, бывали случаи, когда приглашенный маркизой гость так и не достигал своей цели, обретя взамен могилу в морской пучине, однако лишь дикарю пришло бы в голову поступиться этими требованиями хорошего тона, — а дикари приглашений никогда не получали. Кандидат, давший хоть малейший повод быть заподозренным в стремлении уклониться от подобного способа переправы, никогда бы не попал в список гостей. Излишне говорить, что маркиза во мне не обманулась, пусть даже под конец вечера я низко пал в ее глазах. Одно меня утешает: разочарование это длилось для маркизы всего несколько минут.

Нет нужды описывать великолепие самого здания, поскольку внешне оно в точности повторяло палаццо Вендрамин, а во внутреннем его убранстве были представлены стили всех эпох, начиная с готики, — представлены, но не смешаны; каждому из них отводилось особое помещение, и маркизу никак нельзя было упрекнуть в нарушении чистоты стиля. Расписывать здесь пышность угощения тоже не стану; если читателю сих строк доводилось присутствовать на монаршем торжественном банкете — а именно такому читателю я свои записки преимущественно и адресую, — тот может представить, как все было. Да и вряд ли будет в интересах маркизы и ее окружения предаваться эпикурейским воспоминаниям о кулинарных изысках там, где следует привести рассказ о последних часах лучших умов века, свидетелем коих часов я, как единственный оставшийся в живых, имею счастье быть, — а счастье это налагает на меня и определенные обязательства.

Я обменялся любезностями с хозяйкой дома, погладил по спинке всю свору длинношерстных пекинесов, не отходивших от нее ни на шаг, и вслед за тем меня представили госпоже Домбровской, вдвойне талантливой деятельнице своего времени; она не только вдохнула новую жизнь в ритмический характерный танец — ее ноги сообщали подлинную мистичность этому жанру, увы, канувшему в Лету вместе с нею самой (на ум приходят слова Базилевского: “Танца нет, есть лишь танцоры!”), — но и выпустила книгу “Назад к юности”, ратующую, как явствует уже из названия, за возврат к югендстилю; книга эта — хоть, думаю, я могу и не напоминать о том — снискала признание широкого круга читателей. Пока мы беседовали, подошел немолодой, с хорошей выправкой господин. Я сразу же узнал его по профилю — это был Гольх. *Тот самый* Гольх. (Все знают, о ком я, — общество никогда не забудет его неоценимого вклада в нашу духовную культуру.) Госпожа Домбровская представила меня:

— Господин Зебальд, прежний владелец ванны Марата. — Это уже было у всех на слуху.

— Ага, — произнес Гольх, повысив голос на последнем слоге этой реплики легким глиссандо, по которому я мог заключить, что был причислен к растущей смене культурной элиты, хоть, конечно, до того мне предстояло еще пройти немало испытаний. Я тут же подхватил разговор, спросив, как ему понравилась выставка современной живописи в Люксембурге. Гольх поднял взор, словно искал слово в воздухе, и обронил: — Passé.

(Ударение он поставил на принятый тогда английский лад. Слова cliché и pastiché в то время также произносились в англизированной манере. Не знаю, как говорят сейчас, да это, собственно, и неважно. В конце концов, тон подобным вещам задавал остров маркизы. А он ушел под воду, унеся с собой и правила хорошего вкуса.)

Passe, сказал он, и я всецело с ним согласился, поступив бы, признаюсь, точно так же, будь его мнение и прямо противоположным, поскольку все-таки то был Гольх, Гольх собственной персоной.

Затем все проследовали к угощению. Здесь я столкнулся с сеньорой Сгамбати, астрологом, — в свое время много шума наделала ее теория о том, что по звездам можно прочесть судьбы не только отдельных людей, но и целых культурных направлений. И пусть новое направление, которое, по ее предсказаниям, должно появиться, пока еще не стало фактом действительности, многочисленные приверженцы ее теории утверждали, что уже сейчас в ходе событий можно усмотреть прямые на него указания. Незаурядная личность была эта Сгамбати, по ней сразу видно. И все-таки я до сих пор не могу уразуметь, как же звезды не сказали ей о близившейся гибели тех, кто стоял во главе мира идей, тех, кому, собственно, предстояло новое течение основать. Сеньора Сгамбати была увлечена беседой с профессором Кунц-Сартори. Этот политик и рьяный сторонник роялизма вот уже несколько десятков лет боролся за то, чтобы ввести в Швейцарии монархию, встречая яростный отпор со стороны Швейцарской Конфедерации. Блестящего ума человек!

Отдав должное шампанскому и восхитительным крабам, все направились в Серебряную залу, ибо пришел черед главного пункта программы. Нас ждало уникальное представление: премьера двух сонат для флейты Антонио Джанбаттисты Блоха. Этого современника и друга знаменитого Рамо открыл нам музыковед Велтли; разумеется, он значился в числе приглашенных. Партию флейты исполнял господин Беранже (да-да, потомок того самого), аккомпанировала маркиза — притом на клавесине, сидя за которым Селестина Рамо объясняла сыну основы контрапункта (коими он, похоже, так и не овладел за всю свою жизнь); клавесин специально доставили из Парижа. Флейта тоже была историческая, но в чем там было дело, я сейчас не вспомню. Перед концертом оба исполнителя облачились в одежды эпохи рококо и смотрелись в них персонажами с полотен Ватто — как явно и было задумано. Само собой, выступление проходило при неярком свете свечей. И не было среди присутствовавших человека, который не счел бы электрическое освещение просто немыслимым в такой ситуации. После первой сонаты (в ре-мажоре) тонкая душевная организация маркизы потребовала переместиться из Серебряной залы (барокко) в Золотую (раннее рококо) и уже там насладиться второй сонатой (в фа-миноре) — ведь если первой зале была присуща мажорная тональность, то второй — и с тем никто не мог поспорить — минорная.

Здесь надо заметить, что безликая вылощенность, столь свойственная сонатам для флейты второразрядных музыкантов означенной эпо-

хи — особенно недавно открытых музыкантов, — в данном случае объяснялась тем, что Антонио Джанбаттисты Блоха никогда не существовало, а исполненные произведения на самом деле вышли из-под пера музыковеда Велтли. И хоть это обстоятельство выяснилось много позже, я, оглядываясь назад, не могу не счесть несколько унизительным для маркизы то, что последние минуты своей жизни она отдала исполнению — исполнению, впрочем, безукоризненному во всех отношениях — обычной фальшивки.

Пока звучала вторая часть сонаты фа-минор, я заметил шмыгнувшую по стене крысу. Это меня озадачило. Поначалу я решил, что ее привлекли звуки флейты (крысы ведь, как известно, очень музыкальны), но она прошмыгнула в другую сторону, то есть бежала от музыки. За этой крысой последовала еще одна. Я взглянул на остальных гостей — они ничего не заметили, поскольку в большинстве своем сидели с закрытыми глазами, в блаженной истоме отдаваясь во власть звучания велтлиевой фальшивки. Тут до меня донесся глухой рокот, походивший на далекие раскаты грома. Пол задрожал под ногами. Я снова взглянул на гостей. Если они что и слышали — а хоть что-нибудь они да должны были уловить, — их отрешенно-расслабленные позы этого нисколько не выдавали. Однако меня странные явления встревожили.

Бесшумно вошел слуга. Великолепная, богато расшитая шнуром ливрея, какие носил весь штат маркизы, делала его похожим на статиста из "Тоски" (впрочем, это к делу не относится). Он на цыпочках скользнул к музицировавшим и зашептал маркизе на ухо. Я увидел, как она побледнела — в матовом свете свечей это выглядело столь эффектно, что смотрелось частью тщательно продуманного спектакля, — но все же взяла себя в руки и с ледяным спокойствием доиграла анданте, не прервавшись и, кажется, даже несколько затянув последнюю фермату. Затем кивнула флейтисту, поднялась и обратилась к слушателям.

— Дамы и господа, — произнесла она, — как мне сейчас доложили, вода размывает фундамент острова и, соответственно, моего палаццо. Службы глубоководного строительства поставлены в известность. Несмотря на это, я полагаю, что выражу общее мнение, решив продолжить концерт.

Эти исполненные достоинства слова были встречены беззвучными жестами одобрения.

Маркиза опустилась на место, подала знак господину Беранже, и они сыграли темперированное аллегро; хоть я и не знал еще, что это подделка, его последний пассаж уже тогда показался мне совершенно не отвечающим исключительности ситуации.

На паркете образовались маленькие лужицы. Рокот усилился и звучал ближе. Большинство присутствующих тем временем оправились от потрясения; с пепельными в свете свечей лицами они, казалось, терпеливо ожидали живописца, который запечатлеет их для восхищенных потомков застывшими в предсмертной эйфории.

Но я поднялся с места и произнес: "Я ухожу" — достаточно тихо, чтобы не мешать музыкантам, и достаточно громко, чтобы дать остальным понять: да, чувство отстраненности от происходящего внезапно мне изменило, и у меня хватает мужества признать это. К тому времени почти по всему полу растеклось водное зеркало. Хоть я выходил на цыпочках, ноги у меня промокли; увы, тут я не мог ничего поделать, но несколько вечерних туалетов я все же забрызгал водой, пока осторожно пробирался к

выходу. Однако, принимая во внимание последовавшие вскорости события, этот ущерб был не так уж и страшен. Некоторые из гостей взглянули на меня из-под полуприкрытых век, но это мне было уже безразлично, я их покидал. Когда я открыл двустворчатую дверь, в залу хлынула волна, заставив леди Фицвильям (ревнительницу кельтских традиций) плотнее запахнуться в меховой палантин — движение, конечно, чисто рефлекторное, ибо никакого смысла это не имело. Перед тем как закрыть дверь, я успел поймать на себе полупрезрительный, полупечальный взгляд господина Перльхуна (не того неомистика, а исследователя Авраама-а-Санта-Клара), — он словно бы взял на себя неприятную миссию выразить мне разочарование всех присутствовавших. Вода доходила ему почти до колен, как и маркизе — она уже даже не могла пользоваться педалями. Я, по правде сказать, не знаю, так ли уж они важны при игре на клавесине. Помнится, я еще подумал, что, будь это соната для виолончели, пришлось бы прерваться, поскольку у погруженного в воду инструмента резонанс либо отсутствует вообще, либо он слишком слаб. Все-таки удивительно, какие же отвлеченные мысли посещают нас в подобные моменты.

В холле меня неожиданно встретила тишина, словно я оказался в гроте. Лишь вдалеке слышался усиленный эхом рокот. Я снял фрак и энергичным брассом поплыл по затопленному дворцу к выходу. Расходившиеся от меня волны легонько бились о стены и колонны, производя звук, какой бывает в бассейне. Нечасто выпадает возможность заняться спортом в подобной обстановке. Вокруг не было ни души. Слуги, судя по всему, сбежали. Собственно, а почему бы и нет? Они-то ведь не имели никаких обязательств перед подлинной и истинной культурой, а те, кто здесь собрался, более не нуждались в их услугах. Снаружи как ни в чем не бывало светила ясная луна, и все же тут шел ко дну — в прямом смысле слова — целый мир. Словно из далекой дали до меня донеслись переливчатые трели флейты господина Беранже. Техника у него, надо признать, была исключительная.

Я отвязал последнюю гондолу, оставшуюся после бегства слуг, и устремился в море. Сквозь окна, мимо которых я проплывал, в палаццо устремлялись волны, заставляя портьеры вздыматься мокрыми парусами. Я увидел, как гости поднялись с мест. Соната, видимо, закончилась, поскольку они разразились бурными аплодисментами, для чего им пришлось поднять руки над головой — вода доходила им уже до подбородка. Маркиза и господин Беранже с достоинством приняли аплодисменты. Правда, в силу обстоятельств, ответить поклоном они не могли.

Вода добралась до свеч. Они гасли одна за одной, и в наступившей темноте воцарилась тишина; аплодисменты звучали все слабей и слабей, пока вдруг не стихли, словно по некоему ужасному мановению. Внезапно прокатился гул рушащегося здания. Палаццо осел. Я отгреб подальше в море, чтобы не оказаться под сыплющейся штукатуркой. Ее очень-очень сложно отчистить с платья, стоит только пыли осесть.

Проплыв несколько сот метров по лагуне в направлении острова Сан-Джорджио, я еще раз обернулся. В лунном сиянии отражалась зеркальная гладь моря, словно и не было здесь никогда никакого острова.

Ванну жаль, подумал я, этой потери уже не возместить. Мысль, конечно, бессердечная, однако скажу по опыту: чтобы в полной мере оценить весь трагизм событий такого масштаба, не стоит принимать их близко к сердцу.

Ханс Хенни Янн

Деревянный корабль

Фрагменты книги

Перевод Т. Баскаковой

О Хансе Хенни Янне

Перед читателем проза одного из крупнейших немецких романистов XX века, до сих пор у нас почти неизвестного. Ханс Хенни Янн (1894—1959) был автором нескольких пьес ("Пастор Эфраим Магнус", 1920; "Медея", 1926; и др.), экспрессионистского романа "Перрудья" (1929) и ряда других прозаических произведений. Но главным его созданием стала трилогия "Река без берегов", глава из первой части которой теперь публикуется.

Янн был родом из Гамбурга, из семьи корабельщиков. Северное море — не только фон, но и важный участник его произведений. Природному — водным и воздушным просторам, животным, растениям — в его книгах придается не меньшее значение, чем человеку: они перестали играть подчиненную роль. У Т. Манна ландшафты редки, у Гессе они символичны, у Янна же — грандиозны и живы. Писатель постоянно ощущал бескрайность, в окружении которой живут люди. Именно это удивительным образом выразило у Янна катастрофичность века: страдают не только люди — страдания и смерть захватывают все, в пространстве нет укрытий. Ему близко космическое визионерство старых немецких писателей — Ф. Г. Клопштока и Ж. П. Рихтера; свойственно то же строптивое несогласие с устройством Вселенной, которое отличало Клейста и Бюхнера, а в XX веке родственных молодому Янну экспрессионистов.

© Т. Баскакова. Перевод, 2003
© Н. Павлова. Вступление, 2003

Монументальная трилогия "Река без берегов" создавалась в 30-х — начале 40-х годов. Эмигрировав из фашистской Германии, писатель жил тогда отшельником на датском острове Борнхольм. Публикация (1949—1961) состоялась уже после войны.

Большие романы не диво в немецкой литературе. Такова и бескрайняя — по осознанному намерению автора — трилогия "Река без берегов". Романы Янна, как и книги Томаса Манна, Гессе, Дёблина, — это трудное, но захватывающее чтение: философичность и грандиозность замысла, таинственный, полный непредвиденного сюжет. Особенно это относится к открывающему трилогию роману "Деревянный корабль".

Деревянный парусник в начале XX века — анахронизм, плавучий мираж, фантастика. Атмосфера зловещей тайны и всеобщего недоверия... Странный груз в напоминающих гробы ящиках приводит команду в тревожное возбуждение. На этом-то корабле в ситуации явственно проступающего хаоса оказываются главный герой романа Густав Аниас Хорн и его невеста Елена. Устраиваются унизительные обыски. Ходят слухи о микрофонах, ловящих каждое слово, произнесенное на корабле. Таинственна сама конструкция корабля, который постепенно начинает восприниматься как разросшаяся метафора человеческого общежития, государственного и социального устройства. Бесследно исчезает Елена. Ищущий ее Густав не может представить себе даже в общих чертах план судна. Внутренние его переходы так же запутаны, как расположение государственных канцелярий на чердаках жилых домов в "Процессе" Ф. Кафки. Два человека, не подозревавшие в себе способность к убийству, оказываются повинны в нем. Густав Аниас Хорн признается себе, что в глубине души был безразличен к опасности, грозившей его невесте. Матрос Тутайн, как выясняется во второй части, убивает молодую женщину, одурманенный темным вожделением. "Всякая вина внезапна" — будет сказано позже о том, что случилось в первом романе. Застигнутые врасплох непредвиденной фантасмагорией событий, втянутые в потворство преступлению люди не могут противостоять хаосу. Матросы рубят деревянные перегородки, пытаясь проникнуть в тайные хранилища корабля, раскрыть зло, найти Елену. Но сквозь брешь хлещет вода, корабль идет ко дну.

Во второй двухтомной части трилогии — "Записках Густава Аниаса Хорна, составленных им после того, как ему исполнилось сорок девять лет", — герой мучительно вспоминает давние события, происшедшие на корабле "Лаис" и после его гибели. В "Записках", в частности, поведано о том отдаленном десятилетиями роковом миге, когда лицом к лицу с главным героем в корабельной каюте оказался обезумевший Тутайн, но вместо того, чтобы ударить Густава ножом, он вдруг признался в убийстве Елены, а ответной реакцией Хорна вместо ненависти и страха стала жалость к преступнику. В "Записках" рассказано, как Аниас Хорн и Тутайн, не расставшиеся более, после недолгого пребывания в Южной Америке, куда их закинуло кораблекрушение, плывут, огибая Африку и Европу, в Норвегию, где и проводят, дважды меняя место жительства, оставшуюся жизнь. Внешнюю канву событий составляет ряд привязанностей и любовных увлечений каждого, но предметы этих увлечений так или иначе утрачиваются: все они исчезают в потоке дней, неизменно оставляя героев, а потом только Аниаса, занявшегося сочинением музыки, в одиночестве, в окружении суровой природы. Сюжет почти исчезает — все уже случилось в первом томе. Именно тогда герои решают жить в нерушимой близости друг к другу, что и подвергается испытанию в дальнейшем.

Янн не стремился вместить в свой роман исторические потрясения века. Глобальные человеческие проблемы он решает на узком плацдарме и на примере двух-трех людей. Исполнено смысла, что его герои живут на северном побережье, зажатые между горами и морем, а потом перебираются на остров и, как будто и этого мало, строят свой дом высоко в горах. Янна не привлекала, как привлекала, к примеру, А. Дёблина, гуща жизни, людская масса, количество, множество. Несколь-

ких героев и узкой площадки ему хватает, чтобы выразить *всё*. Героям Янна будто надо сосредоточиться. И тогда выходит, что взгляд становится широк, люди замечают других и не заслоняют собой природу. "Мы здоровались с людьми и кивали животным..."[1] Отчетливо заметными становятся явления и процессы, которых часто не видят за треволнениями обыденной и потрясениями исторической жизни. "Позавчера, лишь взошел месяц, внезапно вторглись холода. После долгих холодных недель их вторжение было неожиданным и мучительным. Хруст удушаемой жизни. Ничем не укрытые звери обессиленно умирали... Прикрывавший атмосферу мерцающий свод как будто растворился, и через разреженный кристаллический океан низвергся холод мирового пространства". Вселенная открыта. Она соприкасается с каждым сучком на дереве.

В предложенной читателю главе "Буря" эти перипетии сюжета еще впереди. Буря предваряет и предвещает их. Кроме Густава Хорна и Елены, тут встречаются еще два важных персонажа: отец Елены, капитан "деревянного корабля" Вальдемар Штрунк, и отвечающий за сохранность корабельного груза суперкарго Георг Лауфер. Между Лауфером и Еленой завязываются отношения, которые вызывают ревность Густава, хотя с ее стороны они сводятся, по-видимому, к сочувствию и жалости. Но с самого начала в поле зрения читателя попадают и другие живые силы. "Корабль с темными пузатыми парусами плыл над пропастями, заполненными водой... Стены тумана придвинулись. Облака, почти неразличимые, падали с высоты, обволакивая корабль непрозрачной дымкой. Мачты и паруса чудовищно выросли"... Разворачивается столкновение энергий, в которое включены и природа, и люди, и неодушевленные предметы, вдруг обретшие звук и движение, — соскальзывающие, падающие, разбивающиеся. Зазвучал сам стиснутый морскими валами деревянный корабль — его голос Янн уподобляет органу[2]. Между водной стихией и людьми, природой и неодушевленными предметами исчезли казавшиеся прочными преграды — "Здесь царила Природа. Повсеместно". Границ — это важная для Янна идея — нет, или они шатки. Матросы "словно одеревенели", деревянный корабль приблизился к своему изначальному состоянию — это "плавучий лес", Густав и Елена — "два дерева, стоящие рядом в лесу"; природа вбирает в себя людей. Думая о сблизившейся с суперкарго Елене, Густав неслучайно вспоминает о морских крабах, с жадностью набрасывающихся на не достигших зрелости самок: в крабах живет тот же инстинкт. Действует на тонущем корабле и инстинкт самосохранения.

Все в мире Янна течет и истекает ("Наверное, никогда еще название так не подходило к книге", — сказал о трилогии "Река без берегов" известный немецкий писатель Ханс Эрих Носсак). Все вовлечено в поток. Но общее движение жизни драматически противоречит прерывности отдельного существования. Природа вечна — и в то же время не знает непрекращающихся процессов. Каждому отведен свой час.

Огромную роль в трилогии Янна играет четвертое измерение — время. Оно в значительной мере замещает пространство. Ведь и Вселенная, включенная в художественный мир Янна, — это пространство бесконечного времени. И погода, бури — это разные лики пространства в их временном изменении. Пространство переведено у Янна во время. Человек — поток, а не твердая форма. Он обречен не только на исчезновение, но и на изменения в течение жизни: отмирают клетки тканей, обновляется кровь, он смотрит вокруг уже не теми глазами, тускнеет память, слабеют слух и зрение. "Природа забирает обратно то, что она дала. У нас самих нет ничего".

Повествование Янна открывает в своем глубинном пласте единство плоскостей, расположенных, если говорить языком точных наук, в разных измерениях. Об-

1. Здесь и далее цит. по изд.: Jahnn Hans Henny. Fluß ohne Ufer. Bd. 1-3. Frankfurt am Main, 1959. (*Прим. авт.*)
2. Второй профессией Янна было восстановление старых органов и возвращение их изначального звучания.

раз расположенных рядом, но не сливающихся стихий — чуть ли не главное, что видит Янн повсеместно.

Еще роман "Перрудья" (1929) был посвящен отчаянным попыткам героя слиться с природой. Герой трилогии Аниас Хорн пытается "захватить", притянуть поближе к настоящему как можно больше из прошлого. Но целые "отрезки" прошлой жизни смыты, исчезли из памяти. Время непрерывно и вместе с тем дискретно. Об умершем говорят, что он ушел в прошлое. Огромное пространство разворачивается вглубь: прошлые века, умершие поколения людей, погибшие звери, каждый год погибающие растения.

В "Борнхольмских дневниках" Янна, которые он вел, когда жил, с трудом добывая свой хлеб, на датском острове, есть отрывок, озаглавленный "Обмолот поздней осенью". Все здесь поставлено в связь со временем, с меняющейся погодой, то утихающим, то вновь налетающим ветром, заглушающим шум молотьбы, ходом дня, постепенно меняющимся освещением. Даже самое короткое происшествие — хозяин посадил на плечи мальчика-батрака, чтобы тот подвесил лампу, — показано как истекающее мгновение.

В трилогии шумят посаженные героями деревья, а собственные следы героев, с горечью замечает Аниас, уже стерлись.

Но понимание автором времени, являющегося, по признанию Янна, главной темой трилогии, не исчерпывается этим. Янн стремился создать образ нечленимого времени вечности. Только учитывая это его "геркулесово" усилие увидеть единство там, где все, с точки зрения жизни, определяют разрывы, можно понять замысел трилогии "Река без берегов".

Во второй и третьей частях Аниас Хорн ведет дознание, подозревая, что таинственным грузом на корабле "Лаис" были бомбы со смертоносным газом для усмирения некоего африканского племени. Он посылает письмо бывшему матросу, служащему теперь в конторе судовладельца. Еще через много лет, уже после смерти Тутайна, в одиноком жилище Хорна появляется человек, выдающий себя за того матроса, но вместе с тем до странности напоминающий молодого Тутайна. Этот пришелец, Тутайн № 2, похожий и непохожий на умершего, в конце концов зверски убивает Аниаса.

Но даже узнав обо всех этих происшествиях, читатель вряд ли увидит в романе образчик детектива: связь событий слишком слаба, их нить теряется и рвется, между тем как ни на секунду не ослабевает интерес к постижению тайны другого рода. Если к "Запискам" Аниаса Хорна и приложимо слово "дознание", если тут и выясняется чья-то вина, то это не проблематичная вина судовладельца или его приказчика Георга Лауфера и не вина Тутайна и Аниаса, от которой к тому же ни один из них не отказывается, а вина гораздо более всеохватывающая и общая. В чем она состоит, не дано узнать сразу ни читателю, ни герою. Сначала надо понять, что такое человек и жизнь, в частности, та жизнь, которую прожили Аниас и Тутайн. Внешний сюжет — лишь повод для сюжета внутреннего.

После смерти Тутайна Аниас препарирует тело умершего, превращает его в мумию, чтобы долгие годы хранить останки друга рядом с собой, в большом полированном ларе, прочно стоящем в его наполненном музыкой жилище. Противоестественный и неслыханный в обычной жизни поступок! Но естественно ли, будто предлагает задуматься Янн, опускать своих мертвецов в мокрую глину, естественно ли, а точнее сказать, терпимо ли распадение времени на настоящее и прошедшее? ""Скажи мне, друг мой, скажи мне, друг мой, / Закон Земли, что ты видел, скажи мне!' / 'Не скажу я, друг мой, не скажу я, друг мой, / Если б закон Земли, что я видел, сказал я — / Сидеть тебе и плакать!'" Эти строки из вавилонского "Эпоса о Гильгамеше" не раз повторяются в "Записках Густава Аниаса Хорна" (именно на них ложит-

ся мелодия одного из его музыкальных сочинений): Гильгамеш спрашивает об устройстве мира своего друга Энкиду, на короткое время вернувшегося из царства мертвых. Энкиду говорит, что порядок мира "ужасающ и тошнотворен"[1]. В произведениях Янна живые будто не отпускают руки умерших, будто пытаются охранить их тела от тления, будто хотят продолжить вместе с ними свой путь. Естественные преграды сотрясаются. Но "прошлое таково, каким было. Неизбежно (unabwendbar)!". Так варьируется у Янна проходящий через три тома мотив: "Все есть так, как оно есть, и так, как есть, — ужасно". В конфликте, который составляет подлинное напряжение трилогии, конфликте между человеческим духом и законами мироздания, автор признает права обеих сторон. Он постоянно сосредоточен на этой двойственности, на этом плохо обеспеченном равновесии.

Природа стремится к безграничному разнообразию; тождество двух образований, сил или событий внушает ей отвращение, она уснащает обстоятельства изменениями. Но ее подавляет число судеб, подлежащих определению. Поэтому она штампует типы форм, явлений и событий, обнаруживающих между собой приблизительное сходство. Как в природе, так и в человеческом общежитии властвует число, "безжалостное повторение": "Массовое производство, массовая ложь, ассортимент нравственности и справедливости для масс, миллионы электрических лампочек, миллионы ватерклозетов, десять тысяч рождений, десять тысяч гробов".

Янн пишет не только о типах форм и явлений, но и о стереотипности переживаемых каждым человеком событий. "Тот, кто однажды потерял возлюбленную, — говорится в другом месте "Записок", — будет терять ее вновь и вновь. Тот, в чьем присутствии совершилось убийство, должен быть постоянно готов ко второму". Судьба (это одна из любимых идей Янна) повторяет свои ходы. Высекая любую форму, в том числе и форму человеческой личности, процессы жизни вновь и вновь протекают по раз проложенной и наезженной колее, судьба подкладывает человеку "подходящие" для него матрицы.

Самой композицией трилогии Янн прочерчивает строение мира, в котором события, варьируя свое совпадающее зерно, надвигаются на человека. Время — это судьба. В далеком прошлом заложены начала сегодняшних и завтрашних событий. Время будто несет в себе повторяющиеся образования. В конце первой части трилогии Аниас Хорн теряет Елену. И точно так же, как Елена, на дне океана оказывается затем друг Хорна Аугустус, на дно океана в конце концов должны быть опущены и останки Тутайна. "Однажды у тебя исчезла Елена, — говорится в трилогии, — Эгеди ей подражает". И страницей раньше: "Почему, причитал я, она должна была исчезнуть? Почему повторяется ход событий?"

Время, судьба, прошлое, в котором уже предопределено будущее, неотвратимо надвигается на человека, поглощая его. "Неотвратимое" (Unausweichliche) — названа последняя симфония Аниаса Хорна. Настоящее — это обязательность, краткий нетворческий миг. "Мы находимся в этой секунде и принуждены находиться в ней".

Как корабль то приближается, то вновь отдаляется от окруженного льдами острова, но не в силах подойти к пристани (эпизод из первого тома второй части), так сближаются и вновь расходятся разные планы жизни в трилогии Янна. В подлинном, внутреннем сюжете все подчинено пульсации "смелых сближений и отдалений", которые, напоминает Янн, отличают и движение планет по орбитам. Иногда сближение, "практически" невозможное, достигается, границы и перегородки рушатся, и тогда под пером Янна возникают удивительные страницы. Так происходит, например, в уже упомянутом эпизоде, когда Аниас вместо страха и ненависти нео-

1. В тексте "Гильгамеша" читаем: "Друг мой, тело мое, которого ты касался, веселил свое сердце, — / Как старое платье, едят его черви!" (*Здесь и ранее перев. И. М. Дьяконова.*)

жиданно чувствует жалость к Тутайну. Но речь идет и о гораздо более грандиозном — об участии человека в процессе творения, о попытке изменить, хотя бы в одном-единственном случае, вечные законы мироздания.

Перед Янном мир, который он называет eingezäunte, "разделенным заборами". В этом-то мире Аниас и Тутайн и предпринимают безумную попытку соединить естественно разделенное. Однажды в драматический момент, после долгого разлада и прочно воцарившегося непонимания, герои предпринимают отчаянную попытку сближения посредством полного переливания крови. Вместо двоих должен, наконец, возникнуть один человек, почти что один, как двое близнецов, образующих бóльшую, чем это возможно у других, цельность. Этот поступок — обмен веществом жизни — так же дик, как если бы герои пытались достичь горизонта, чтобы заглянуть в бесконечность. То сближаются, то вновь отдаляются друг от друга герои Янна. "Неудержимое отдаление" — такой же закон их существования, как и неудержимое старение, неудержимое исчезновение с лица земли. Все, кроме двух главных героев, "отдаляются" в трилогии безвозвратно, они "проходят". Двое же обладают еще и способностью возвращения друг к другу. Выверенная организация трилогии отвечает чередованию этих сближений и отдалений, соответствующих, как уже говорилось, не только отношениям между героями и вообще людьми, но и, по замыслу автора, законам движения небесных тел. Внутренний сюжет отражает течение жизни не в бытовой подлинности, а в художественной имитации ее хода, ее законов, ее ритмов ("имитационная форма" — слова Янна о его трилогии).

"Река без берегов" — своеобразное и неповторимое явление мировой литературы XX века. Но какие-то нити связывают трилогию с другими великими романами этого времени. Ведь и у Джойса и Фолкнера, не говоря уже о немцах Т. Манне и Гессе, исторические катастрофы эпохи не нашли прямого художественного отражения. И эти романы, как и трилогия Янна, построены на вязи соответствий — на соотношении разных сфер человеческой жизни, природы, космоса, настоящего, прошлого. Именно это — вязь всего со всем — позволяет представить подвижную сложность трагического существования людей.

Н. С. Павлова

Глава IV. Буря

КОРАБЛЬ с темными пузатыми парусами плыл над пропастями, заполненными водой. В воздухе непривычно долго собирались легкие завихрения. Новый день будто пытался превзойти триумф белого света, был ясным и холодным, освещенным лишь мерцающим серебристым сиянием. Все предметы на палубе казались грубыми, безобразными, неуместными на фоне едва заметных колебаний воды и воздуха. К вечеру теплые полосы тумана заскользили вдоль бортов корабля. Непостижимо быстро блеклый холод смешался с этими теплыми испарениями. Стены тумана придвинулись. Облака, почти неразличимые, падали с высоты, обволакивая корабль непрозрачной дымкой. Мачты и паруса, казалось, выросли до чудовищных размеров. Еще недавно можно было ориентироваться хотя бы на горизонт. Теперь область различимого глазом резко сузилась. Что-то похожее на человеческую руку одиноко парило в море тумана, оторвавшись от земной тверди. Верхушки мачт исчезли в бесконечности. Вокруг парусов цвета почерневшей крови бились

стремительные белесые хлопья. Порой носовая часть судна ныряла в тучи, и люди уже не видели ее, а только догадывались о ее существовании. Вода океана, как тина, липла к корпусу корабля.

Елена и Густав стояли у леерного ограждения. И всматривались в величественные картины, которые сменялись по мере конденсации пара. Иллюзия отъединенности от всего, чуть ли не пребывания вне пространства чрезвычайно их успокаивала. Для Густава это была первая возможность поговорить с Еленой начистоту. Но, когда он отбросил эмоции, тщательно перебрал все факты и попытался связать их друг с другом, у него в руках не осталось никаких доказательств. Как ни странно, еда после длительного воздержания от пищи отчасти вернула ему былую трезвость суждений. Его воображение, склонное к крайностям, долго измывалось над сердцем, омраченным тенью беды. Но теперь Густав мог не выставлять напоказ свои душевные раны: они были надежно заклеены пластырем. Возможно, Елена просто играла с суперкарго[1], как ребенок порой заигрывает со взрослым. Ведь ребенок, поступая так, не чувствует опасности. Не понимает, что его могут совратить, не подозревает о существовании жестокого земного инстинкта продолжения рода. Даже будучи униженным, втоптанным в грязь, он остается невинным. Впрочем, такие понятия, как "вина" и "невинность", не раскрывают природу зла. А под проницательным взглядом того, кто сам устоял перед искушениями, зло, опять-таки, кажется не более чем временным помешательством, случайной и непостижимой помехой, вторгнувшейся в ход событий.

Густав вспомнил, что на морском побережье он много раз наблюдал, как взрослые самцы крабов с каким-то особенным сладострастием набрасывались на еще не вполне развившихся самок. И не прекращали своей похотливой возни, даже если их слабая партнерша околевала. А он, мальчик, хватал первый попавшийся камень, швырял его — и крабовый панцирь раскалывался, обнажая внутренности еще живой твари. Вытекала какая-то жидкость. Покалеченное членистоногое пыталось сбежать. Инстинкт самосохранения действовал и после смертельного ранения. Избавительному удару неразумное животное всегда предпочитало мучительно долгое угасание. Осколки разбитого панциря, казалось, обвиняли изверга-человека. Вид этих немых страданий причинял боль <...> Так вина постепенно перекладывалась на того, кто присвоил себе право судить. Слово "боль" все равно не было до конца разгадано. Ведь уловки Высшей силы неисчерпаемы. В конечном счете она лишь для того создала человеческие души способными к благородным порывам, чтобы подставить тайной Природе трамплин, помочь ей развернуться. <...> Он хотел поговорить с Еленой, хотел предаться страсти, выйти из берегов, разлившись половодьем радости, сумасбродств, откровенной чувственности. Он ощущал огонь в каждой клеточке тела, слепую ярость плоти, готовой в клочья разорвать рассудок. Величественная пантомима воздушных потоков казалась ему достойным прологом к осуществлению его намерения. Он чувствовал, что через нее проявляет себя некое единство. Упорядочивающая сила храма, который вырос из отдельных камней, гармоничная власть широкого музыкального полотна...

1. Поверенный грузовладельца, который сопровождает груз и отвечает за его сохранность. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Внезапно туман превратился в моросящий дождь. Холодный ветер бился в парусах. Корабль, застонав, накренился. Вальдемар Штрунк, задыхаясь, пробежал по палубе. Неожиданно прозвучала команда: "К повороту"[1]. Матросы побросали свои обычные дела. Башмаки дробно застучали по доскам. Все распределились по местам. Послышалось пение. Люди работали у талей. Обычный маневр. Но сейчас его надо совершить как можно быстрее. Капитан был не таким, как всегда, все это заметили. Хмурил лоб. И штурманы сквозь зубы бросали отрывистые команды. Второй офицер часто перебегал от кормы к носу и обратно. Уже через несколько минут кое-кого из пассажиров прошиб пот. Наверняка было известно только одно: барометр показывает угрожающе быстрое понижение атмосферного давления.

К тому моменту, как раздалась команда "Переложить руль", порывистый ветер превратился в плотный маслянистый поток. Скорость и масса корабля сопротивлялись жирным лавинам воздуха. Судно отказывалось идти против ветра.

Теперь первый штурман выгонял на палубу всех освобожденных от вахтенной службы. Гнетущая тяжесть закралась в души. Прекрасный корабль впервые не послушался. У них еще не было случая испытать его в мороке урагана. Как он поведет себя, когда ветер бросится в паруса с силой, равной центнеровым мешкам? Надежда была. Новый корабль выдержит. Но мозги матросов превращались в дрожащую желто-студенистую массу при одной мысли о таинственном грузе. Тяжелый деревянный каркас превратится в щепки, если внизу, в запечатанных недрах, случится непредвиденное. А каждый боялся чего-то в таком роде.

Жениха и невесту охватило беспокойство. Освобожденные от вахтенной службы тоже включились в работу. Палуба заполнилась людьми, разделившимися на группы по четыре-пять человек. Первая мощная волна, вспенившись, перелилась через ограждение. Корабль задрожал. И поднялся из тяжелых объятий воды. Вторично прозвучала команда "Переложить руль". Теперь уже три человека, напрягая все силы, попытались повернуть штурвал. Опять безуспешно. <...>

Проход, лестница, коридор с дверьми в нижние каюты... Елена вошла к Густаву. Он лежал одетый на койке. Что еще ему оставалось в этом тесном помещении? Зажженная свеча елозила туда и сюда по тумбочке, описывая эллиптические орбиты, чадила. Иллюминатор почти не пропускал бледного лунного сияния. Он ослеп, когда корабль нырнул в море.

– Тяжело, – сказал Густав. – Нельзя ни читать, ни заниматься чем-либо другим. Я долго вглядывался в подводный ландшафт. Но ни одна рыба так и не показалась. За все время – ничего, кроме гневно булькающих пузырьков воздуха, которые стремятся кверху.

– Тебе здесь, внизу, не страшно? – спросила она.

– Нет, – ответил он, – только стены как-то перекосились. Иногда приходится закрывать глаза. Тогда я лучше понимаю, где киль, а где борт.

Он поднялся и заставил Елену лечь на койку. А сам присел рядом.

– Дышать совсем невозможно, – начал он снова. – Чтобы дышать, нужно прикладывать усилия. И вообще, сейчас трудно сохранять равновесие.

1. Имеется в виду поворот оверштаг – поворот парусного судна против линии ветра с одного курса на другой.

Между тем шум над ними не прекращался. Вода периодически окатывала доски палубы. К этому примешивался непрерывный усыпляющий гул: многообразные, но сливающиеся в некое единство голоса урагана. Деревянный корабль был огромным резонатором: содрогаясь, он распространял звуковые колебания.

— Как мужской хор, поющий где-то далеко, — сказал Густав. — Мне это еще раньше почудилось. Будто я стою под огромными сводами собора. В Данциге, в Мариенкирхе, я однажды пережил нечто подобное. Снизу — а может, от самих сводов, похожих на глинистые холмы, — доносится музыка. Различить в ней отдельные звуки нельзя.

— Но ведь под нами никто не поет, — испуганно перебила Елена.

— Я просто вообразил себе это, — Густав уставился на пляшущее пламя свечи. — Впрочем, другие тоже слышали пение, — добавил он, помолчав, — пение воды или самого корабля.

— Нет, — сказала она, — у тебя какой-то рассеянный взгляд. Ты просто не в себе. Мне страшно. Ни один человек не выдерживает жизни в воде. А ты живешь в воде. Твое окно смотрит в океан.

— Человек способен выдержать все, что выпадет ему на долю, — сказал Густав. — Жить в воде — еще не самое худшее. Если бы наш корабль сейчас, обезумев, вдруг ринулся в глубь океана, чтобы приблизиться к центру земли, следуя зову материи, как, например, вот тот металлический предмет, участь наша была бы такой же, как у каких-нибудь бедолаг поблизости, чей корабль, возможно, не устоял перед ураганом. И ведь те люди не особенно отличаются от нас. Они тоже теплые, пока дышат. Тоже состоят из сладкой плоти и горьких мыслей. Ну и, конечно, из чувств. Из воспоминаний о своих любимых. Из слез и проклятий. Так вот: юнгу с того корабля, только потому, что у него молодые — нежные на вкус — внутренности, сожрет хищная рыба. Предварительно вспоров ему брюхо. Высокочтимых судей не возмутит это убийство. У судей и без того хлопот хватает — обвинять в пороках своих собратьев по человеческому роду. А против голодных божьих тварей и против семени, жаждущего распространиться повсюду, они ведь все равно бессильны. И вообще: ландшафт за этим темным стеклом ничуть не более страшен, чем те страдания, которые мы терпим ясным днем.

— У тебя рассудок помутился, Густав, — возразила она чуть слышно. — Тебя так и хочется встряхнуть.

— Наш кок тоже слышал пение, — продолжал Густав, — он сам рассказал мне об этом. Специально приходил сюда, чтобы рассказать. Он клялся, что точно распознал: то были женщины, молодые женщины, которые очень медленно, почти не разжимая губ, выпевали слог за слогом.

— Мне жутко с тобой, — сказала Елена.

— Я и раньше подозревал, что внушаю тебе тревогу, — сказал Густав. — А между тем, я совершенно уверен, что отношусь к обычным "средним" людям. В этом легко убедиться: все во мне такое же, как у других. Мне тоже придет конец, если перерезать вены. И я, как и все, совсем не рад, когда происходят события, которые меня разочаровывают.

— Ты что-то загрустил, — сказала она.

— Нет, — ответил он, — это просто реакция на то волнение, которое охватило всех. Я больше не ощущаю самого себя. А если и ощущаю, то разве что в функции наблюдателя. Когда кто-то говорит в микрофон радиопередатчика, его ничтожный — один из миллиарда таких же — голос воздействует на мембрану. И электрический ток проявляет восприимчи-

вость, готовность порождать колебания, которые распространяют в электромагнитном поле эти ничтожные звуки. Но мы обманываем себя, если полагаем, будто этот факт свидетельствует о покорении человеком электрической энергии. Или о раскрытии ее тайны. У электроэнергии есть еще и другое, собственное, не зависящее от нас, существование. Она ничему не удивляется. Кристаллы, металлы, планетарная система атомов — все они смотрят на высокомерного человека как бы глазами животных. Материя и ее душа пока еще даже не почувствовали вкуса к самостоятельному бытию...

— Что общего между этим абстрактным рассуждением и твоим состоянием? — спросила Елена.

— Грусть, — сказал он, — это чужой голос, которому я повинуюсь точно так же, как повинуется голосу человека переменный ток.

— Тебе что-то причиняет боль, — сказала она просто, — но что именно?

— Мою параболу можно было бы поставить и в другой контекст, или в другой ряд, — сказал он. — Миллиарды ушей слышат волшебную мелодию — лживую или истинную? — мелодию всеохватной грусти. И подпадают под ее власть. Реально существуют только боль, только страдание, только смерть. Но они, как лучи, распространяются в беспредельности, рассеиваются. Все лучи, и известные, и неизвестные, выпевают в изнурительном ритме эту мелодию гибели. И всякий, кто сам раскрывается ей навстречу, опускается на дно, сгорает, гибнет. Возможно, самое изощренное достижение Высшей силы состоит в том, что ее тихий голос присутствует повсюду. И мы, ее служители, в любое мгновение можем быть призваны. Но мы часто уклоняемся. Замыкаемся в себе. Когда же мы станем настолько неуязвимы, чтобы нас не могла коснуться боль? Когда же хоть на миг освободимся от опасности смерти? Когда же на земле воцарятся мир и справедливость, чтобы мы могли освободиться от грусти?

— Это только теория, объясняющая, как страдание спускается со звезд или откуда-то еще на землю, — сказала она.

— Да, но я не хочу этому подчиняться, — сказал он, — то есть я согласен переживать все это, но хочу вместе с тем быть таким же, как материя, не ведающая собственной глубинной сути. Я не желаю полностью терять себя, когда кричу или в судорогах падаю на землю. Я не готов к тому, чтобы кто-то определял, отношусь ли я к полезным или к вредным представителям человеческой расы. Я, раз уж попал в это бытие, хочу устроиться в нем так, как мне заблагорассудится. Но в любом случае я не могу укрыться от того голоса. Я тоже, повинуясь ему, колеблюсь, содрогаюсь. Но я не желаю переживать это так, как переживают другие.

— Ты плачешь, — вырвалось у нее.

— Да, правда, — сказал он, — но мне это безразлично.

— А мне — нет, — откликнулась она.

— Что ж, это справедливо, — заметил он, внезапно переменив направление своих мыслей, — ведь причина моих слез — ты.

— Не понимаю, — воскликнула она с отчаянием, — а ты не вправе разговаривать со мной загадками.

— На корабле есть некий господин суперкарго, — сказал Густав, — и вчера ты находилась у него в каюте с полудня до самого вечера. Вообще-то, конечно, ничего противоестественного в этом нет. И у тебя наверняка имелись веские основания, чтобы так поступить. Но должен тебе за-

метить, у меня все это время было тяжело на душе. Только не думай, будто я подозревал тебя в чем-то или копил упреки; нет, для меня вся проблема сводилась к тому, чтобы побороть себя или по-новому взглянуть на свою судьбу.

У Елены потемнело в глазах. Почти теряя сознание, она пробормотала:

— Я сама собиралась обсудить это с тобой...

— Я и не сомневался, что наши желания совпадут, — сказал Густав. — Собственно, речь ведь идет вовсе не о твоих или о моих чувствах. Мы с тобой могли бы просто сказать друг другу, что не произошло ничего, чреватого непредвиденными переменами. Мы — два дерева, стоящие рядом в лесу. Одно несет на себе женское соцветие, другое — мужское. И наступила пора, когда все растения с нетерпением ждут теплого ветра, гонца любви. В пыльной похотливой туче, которую надувает тот ветер, смешивается мужская сила разных других деревьев, живущих поодаль. Пугаться тут нечего. Я не ревнив, Елена. Но ведь, кроме деревьев, существуют еще и топоры, способные срубить дерево...

— Ты заблуждаешься, — сказала она, опустив веки.

— В том, что дерево можно погубить? — спросил он.

— В сопоставлении.

— Что тебя убьют, — сказал он, — вполне возможно.

— Мне что-то нехорошо, — сказала она, — но я отвечу на любой твой вопрос.

— Ты же сама хотела со мной поговорить, — сказал он.

— Суперкарго, — начала она, — несчастный человек...

— Я догадывался, — сказал Густав.

— Жизнь никогда его не баловала.

— Это заметно каждому, кто привык верить своим глазам. Твои слова только подкрепляют мою уверенность в том, что суперкарго способен совершить необдуманный поступок. Я ведь не говорю, что он плохой. Возможно, плохих людей вообще не бывает. Но он человек подневольный. И потому несвободный. В своем одиночестве он прислушивается к голосам. Имеются даже доказательства этого тревожного слушанья: подслушивающие устройства. Он, значит, внемлет шепоту страстей, тысячекратно усиленному. И для него это становится потребностью, неутолимым голодом. Он и сам не заметит, как сделается слепым орудием Высшей силы. Хищной рыбиной, жаждущей пожирать внутренности.

— Неправда, — бессильно возразила она.

— Мы все получаем жестокие уроки, — сказал он, — ибо человеку свойственно ошибаться.

Елена сказала:

— Ты вот завел дружбу с нашими матросами. И не находишь ничего дурного в том, чтобы услаждать свой слух их рассказами. А ты не подумал, что такая компания тебе не подходит? Тебя не пугало, что их разглагольствования перенесут тебя в грязные притоны, где ты будешь свидетелем таких откровений, после которых станешь чужим себе самому — прежнему? Ты, конечно, не размышлял ни о чем подобном. Да, наверное, и не мог. Ты ведь не колебался, приступая к выполнению своего плана. Я вовсе не упрекаю тебя, когда говорю, что умнее было бы подумать о таких вещах заранее. Впрочем, ты бы все равно не отказался от этой вульгарной дружбы, которая, как ты считаешь, ни к чему тебя не

обязывает, зато позволяет обрести — без ущерба для себя — некий жизненный опыт.

— Я готов согласиться с тобой во многом, — сказал Густав, — хочу только заметить, что мои собственные фантазии всегда были куда более яркими и смелыми, чем любые рассказы членов нашего экипажа.

— Потому, видно, мои слова и не доходят до тебя, как бы я ни старалась, — в ее голосе теперь звучала безнадежность. — И все же я должна, чтобы мы друг друга поняли, кое-что объяснить. Оценивай выигрыш от твоей дружбы как хочешь — не буду объяснять, насколько она опасна, потому что прошлого все равно не воротишь, — но ведь в результате ты и ко мне стал относиться очень небрежно, часто оставлял одну...

— Я глубоко сожалею, — искренне сказал Густав, — и попросил бы у тебя прощения, но только момент для этого неподходящий.

— Ты сам создал ситуацию, при которой стали возможны мои беседы с Георгом Лауфером, — сказала Елена.

— Считай, что наш разговор закончен, если мы не хотим начать его по второму кругу, — отрезал Густав. — Я мог бы еще, пожалуй, спросить у тебя, какого рода беседы вы вели. Но я не любопытен. А если б даже и почувствовал любопытство, то счел бы такой интерес некрасивым. У Георга Лауфера хватает преимуществ, которыми он мог воспользоваться, когда решил завоевать твою дружбу.

— Преимуществ? — перебила она жениха. — Ты разве забыл, что он был для нас серым кардиналом?

— Именно это я и имею в виду, — ответил Густав. — Он нам казался исчадием зла, достойным лишь презрения, — пока между ним и нами сохранялась дистанция; а потом, немного сблизившись с ним и увидав его в реальном свете, ты не могла не переменить своего мнения о нем к лучшему. Мы ведь поначалу приписывали ему больше дурного, чем вообще способен измыслить человек, не обделенный умом. А между тем, если у человека есть ум, уже одно это прибавляет к любым его решениям хоть какое-то очевидное достоинство. Не будем сейчас спорить о том, умен ли этот человек, нет ли, и обладает ли он порядочностью. В любом случае некоторые наши подозрения были необоснованными. Позже они по тем или иным причинам рассеялись. Остается лишь взвесить, чтобы сделать полезные выводы, правильно ли мы определили "среднюю линию" этого характера, беспристрастно ли оцениваем, как в нем соотносятся благородные побуждения, бессердечие и произвол.

— Ты судишь о Георге Лауфере предвзято, — сказала Елена, — рисуешь его портрет не без сознания своего превосходства. Тебе не хватает скромности, ты слишком уверен в собственной правоте. И позволяешь себе разбирать черты человека, в чью душу еще ни разу глубоко не заглядывал.

— Но ведь нам рассказывали, — возразил Густав, — как он на час или даже на два выставил, так сказать, к позорному столбу — почти обнаженными — два десятка человек. И уж он-то не проявил никакого снисхождения к несовершенству их кожи или к тому, что под ней.

Она с грустью подтвердила, что это так. И он тут же пожалел о том, что с такой легкостью одержал над ней победу. Сказал, что коварное красноречие вовсе не свойственно его натуре. Но в таком важном деле, которое касается будущей судьбы их обоих (он прямо так жестко и выразился), нельзя, полагаясь на правила хорошего тона, оставлять без внимания всем известные, неопровержимые факты — только потому, что,

как догадывается Густав, суперкарго настойчиво заверял Елену в своем раскаянии. (Тут Елена тряхнула головой, на глазах у нее показались слезы.) Он, Густав, опасается, что она поддалась влиянию этого человека, когда он оказался с ней рядом, потому что ожидала увидеть не живую личность, а чуть ли не личину зла.

Девушка нарочито громко вздохнула, не соглашаясь со столь упрощенным толкованием. Густав замолчал. Теперь они прислушались к бульканью воды. И вновь впустили в свое сознание резкие колебания корабля. Человеческое существование представлялось им настолько тягостным, что они предпочли сейчас сосредоточиться на сиюминутном, а от продолжения беседы уклониться. В них все так взбаламутилось, что будущее — и близкое, и далекое — вдруг стало безразличным. Слова, которыми они обменялись в споре, были более непримиримыми, нежели их чувства. Они ведь на самом деле не поссорились, а просто нуждались в том, чтобы лучше узнать друг друга. Но из-за того, что обоих измучила буря, предпринять попытку такого сближения сейчас они не могли. Неожиданно Елена сказала:

— Жизнь этого человека была сплошной чередой неудач. Он беден. Ему не удалось занять никакой должности, а ведь он не лишен способностей. Ему, впрочем, и не отказывали, когда он хотел испытать себя: он требовал поручений, ему их давали. Но для него это всегда оборачивалось неприятностями. И не потому, что он не добивался успеха или разочаровывал своих работодателей. Просто их удовлетворенность достигнутым не приносила ему никакого вознаграждения: они не были настроены на то, чтобы оценить его по достоинству. Либо поручение было слишком почетным и не соответствовало его молодым годам, так что позже какой-нибудь начальник задним числом приписывал все заслуги себе. Либо речь шла о деле настолько сложном, что никто не был заинтересован в его успехе, каждый чуть ли не рассчитывал на неудачу. Когда же получалось иначе, люди скорее удивлялись, чем чувствовали благодарность. Может, они и испытывали облегчение — но лишь потому, что безнадежное дело наконец завершилось. А вот усилия того, кто выполнил всю работу, тут же забывались, и вспоминать о них никто не желал. Очередная неблагодарность или неуспех повышали требования, которые Георг Лауфер предъявлял самому себе. И подгоняли его, побуждали раз за разом пытаться превзойти самого себя. Постепенно люди привыкли приписывать все его достижения особо удачному стечению обстоятельств и относить к разряду феноменов, вообще не подлежащих рациональной оценке. Они уже не спрашивали себя, насколько трудновыполнимо то или иное дело, не опасно ли оно и не сомнительно ли с точки зрения закона. Все считали, что, если не находится других охотников за него взяться, надо просто обратиться к Георгу Лауферу. Тот в конце концов получил-таки какую-то случайную должность, не предполагавшую гарантированного жалованья и связанную с тайными поручениями. И стал врагом всех, кому не мог объяснить свое истинное положение. Он ожесточился, всегда готов к худшему. Боится других людей. И старается быть хитрее их, чтобы они оставили его в покое, не донимали своей назойливостью. Ибо каждый норовит что-нибудь у него выведать. Когда же встречают сопротивление, осыпают его бессчетными подозрениями. И ведь вполне вероятно, что он лжет меньше, чем другие; просто молчит чаще, чем большинство из них. А непреклонный вид принимает нарочно: он нуждается в маскировке, так как не хочет прибегать к насилию.

— Это хороший и, вероятно, обоснованный портрет, — сказал Густав. — В конечном счете этому господину можно предъявить лишь один упрек: он чересчур выделяется на фоне посредственностей. И слишком сильно презирает их, чтобы они признавали его заслуги. Он прибегал ко множеству хитростей, чтобы скрыть свою подлинную жизнь, характер своей деятельности; а потому, когда кто-то относится к нему с искренней симпатией, воспринимает это чуть ли не как оскорбление. И коварно истребляет такую симпатию уже в зародыше, чтобы сохранить привычное ощущение своей верности долгу. Но его поведение чревато опасными последствиями. Дело не только в том, что вокруг него постоянно возникает какое-то непонятное брожение, раздражающее его самого. Хуже другое: череда неудач рано или поздно сделает его презренным в собственных глазах; если, конечно, он не изменит впечатление о себе каким-нибудь откровенным промахом. А начав проверять себя, он, возможно, обнаружит, что с самого начала жил неправильно. И тогда перед ним разверзнется пустота, тошнотворная бездна; к такому этот человек не готов; такое сравнимо с внезапной потерей зрения; никто не знает, какого рода голоса тогда вынырнут из небытия, и ему будет нелегко обуздать собственные страсти, хотя раньше он полагал, что они над ним не властны.

— Ты бредишь, — сказала Елена.

— Ты ошибаешься, если думаешь, будто я ревную, — сказал Густав. — Мне, напротив, кажется естественным, что Георг Лауфер любит тебя или испытывает к тебе плотское влечение. Это ведь только удостоверяет оправданность моего чувства. Я вовсе не презираю плоть. Просто знаю, что она требует жертв. Я уверен, хотя никто мне этого не рассказывал, что почти все члены экипажа видят тебя в своих снах. Но они всего лишь обычные деревья, стоящие в некотором отдалении от нас. Они не выдернут свои корни из земли, на которой выросли. С ними не произойдет никакого чудесного превращения. Они не станут орудиями жуткого Случая, я не чувствую, что кто-то из них избран для этого.

— Ты что же, считаешь Георга Лауфера способным на преступление? — спросила она изумленно.

— Его я боюсь, — сказал Густав.

— А он боится тебя, — сказала Елена, — и не хотел бы видеть в тебе врага.

— Хороший знак, — сказал Густав, — но, может, он не имеет прямого отношения к нам и свидетельствует только о неуверенности этого человека в самом себе.

— Зато у тебя всегда наготове объяснения, — сказала Елена.

Он помолчал немного, обдумывая, что бы ответить. И внезапно вспомнил об Альфреде Тутайне. Жених Елены вообще не понимал, как он мог забыть о столь важном в нынешней ситуации человеке и его поведении. Ведь мучительная неопределенность началась именно с предупреждения, высказанного этим матросом. Та картина еще не утратила для Густава своей яркости. Рывком распахнутая дверь. Ужасное слово, которое, если сперва и показалось легковесным, со временем все больше отягощалось тоскливыми предчувствиями. И презрительный, исполненный ненависти взгляд суперкарго, пригвоздивший Густава к месту как раз в ту ночь, когда жених Елены метался по кораблю в поисках отгадки загадочной фразы. Потом — повторное предупреждение. И слу-

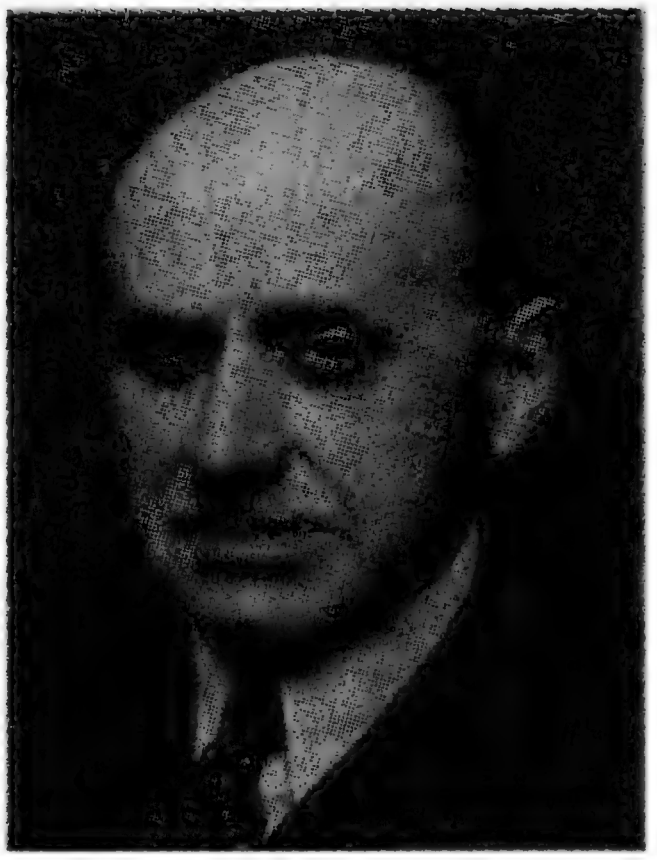
чайный разговор с капитаном, неожиданно и ошеломляюще прояснивший его смысл...

Густав, смущаясь, начал пересказывать эти события. Чтобы отсылкой на них оправдать самого себя, подкрепить новыми аргументами свое и без того достаточно обоснованное мнение. Экипаж, мол, — хотя каждый из его членов, взятый по отдельности, уже испытывает или способен испытывать влечение к Елене — в определенном смысле поставил себя на службу чужой любви. Вероятно, эти не особенно избалованные судьбой люди подчинились одному из законов, регулирующих стадное поведение. И в их готовности беззаветно служить чужому счастью, возможно, есть нечто общее с восторгом рабочих пчел, которые, хотя сами отстранены от высших удовольствий, добровольно подчиняются жесточайшему диктату более сильной самки. Можно, следовательно, оценивать такого рода участие этих людей как угодно — как большое или малое, как результат самостоятельного нравственного выбора или подчинения коллективному ритуалу, — но в любом случае их поведение укоренено в некоем порядке. И бунта с их стороны — против этого порядка — опасаться не следует. Наоборот, можно предположить, что любые попытки нарушить это общее молчаливое соглашение будут незаметно пресекаться в самом их сообществе. Другое дело — Георг Лауфер. (Последнюю фразу Густав произнес дважды.) Он ни от кого не зависит, замкнут сам на себя. Нетрудно понять, что борьба между ними — двумя соперниками — уже началась. И если пока еще не было решающей пробы сил, то это скорее случайность, нежели значимый факт, потому что шансы на победу у обоих противников примерно равны. Красноречивая сдержанность одного будет поставлена на кон против искренности другого, холодная искушенность в житейских делах — против некоторых познаний иного рода. Конечно, тут сыграют свою роль и годы, разница в возрасте. И еще — некая не поддающаяся определению частица души, ее тайное притяжение. Или как там еще называют эту властную силу бытия. Описывать ее можно по-разному — и грубо, и как духовный феномен.

Елена жестко спросила, уж не подозревает ли ее Густав в неверности, вопреки своим заверениям. Было ли в ее поведении хоть что-то, что доказывало бы переменчивость ее чувств? Или он хочет извратить правду, представить ее как кривду? Сама она плохо разбирается в мужской психологии и видит в соперничестве, на которое он тут намекал, только его разыгравшуюся фантазию... Пока она говорила, Густаву опять привиделись топор и деревья. Очищенные от коры стволы. Влажный глянец смерти. Однако он чувствовал, что не сможет еще раз облечь в слова эти мрачные образы, это кощунственное представление о жестокости Случая. Он был не вправе оскорблять беспочвенными подозрениями суперкарго... Разговор обрученных сам собой прекратился.

Была ночь. Над морем простиралась совершенная тьма. И сквозь нее мчалась буря, невидимая. Голос, который мы отчетливо слышим, но не можем истолковать.

Готфрид Бенн



Стихи

Перевод С. Морейно

Строение фразы

Каждый наследует небо, любовь и могилу;
к этому мы не хотим возвращаться —
все это безусловно в культурных кругах обсосано и
проговорено.
В чем есть новизна, так это в вопросе о строении фразы,
и он насущен:
Что вообще заставляет нас тратить слова?

Что заставляет нас рисовать или облекать в рифмы девушку,
взятую непосредственно или отраженную в зеркалах,
или черкать на четвертушке кустарно выделанной бумаги
бесконечные клумбы, кроны деревьев, стены из кирпича,
причем последние, подобно гусеницам с черепашьими
головами,
с жуткой последовательностью вытягиваются
в праживотном порядке?

Отпугивающая бессмысленность!
Видов на вознаграждение никаких,
тут многие умерли с голоду. А, нет,
это просто привод к руке,
управляемый издалека, расположение мозга,

© С. Морейно. Перевод, 2003

может быть, припозднившийся амулет или тотемный монстр
на содержании формального приапизма:
пройдет время, мы справимся с ним,
но покамест строение фразы
лидирует.

"Те немногие, что об этом знали" (Гёте) —
о чем именно?
Осмелюсь предположить: о строении фразы.

F*inis poloniae*[1]

Finis poloniae —
фигура речи,
помимо конкретного исторического значения
подразумевающая крах
великого царства.

Атмосфера дьявольщины,
дыхание затруднено,
ублюдки — если и проявляют способность мыслить,
то лишь о чем-то наподобие азиатских муссонов
или озера Чад.

Гигант сам себя ведет на заклание,
сам к себе обращая последние стоны,
чуждую песнь, большинству незнакомую,
случайно подхваченную кое-кем —

Finis poloniae —
возможно, дождливым днем, что не очень желательно,
но все же, в данном случае, воскрешающим лепет счастья.
Следует соло трубы,
напоследок гортензию, тишайшее из растений,
выстаивающее целый ноябрь под дождем,
на могилу, молча.

Ф*рагменты*

Фрагменты,
душевная экскреция,
кровавый плевок имеющего длиться столетия —

рубцы — прерванная беременность утра творения,
могущественные религии пятью веками
    размолоты в прах,
наука: подкопы под Парфенон,
Планк вместе с механикой квантов
рыдает в объятиях Кеплера и Кьеркегора —

1. Польше конец (*лат.*).

однако случаются вечера, выдержанные в тонах
Отца всего сущего, зыбки, расплывчаты,
но неколебимы в своем молчанье
струящейся голубизны,
цвета всеотрешенности,
когда складывают
на коленях руки, так
по-крестьянски просто,
и предаются тихому пьянству
под наигрыш гармоники батрака –

и прочие,
затравлены внутренними неустройствами,
клаустрофобией,
экспрессией пластических форм
или любовной охотой.

Паралич чувств вкупе с припадками эротичности:
фигура сегодняшнего дня,
воплощенный вакуум,
лишь костюмом
обнаруживающий непрерывность личности,
сидящим, при условии качества ткани, лет десять.

Остальное – фрагменты,
вполголоса,
зачатки мелодий из окон дома напротив,
спиричуэлз
или же Аве Мария.

Уве Йонсон

Уве Йонсон (1934—1984) — один из наиболее значительных и известных во всем мире немецких писателей второй половины XX века. В нашей стране это первая публикация Уве Йонсона, сильно запоздавшая, — до сих пор на русском языке не появлялось ни одной написанной им строки и имя его почти не упоминалось в печати.

Причины тому, что русский читатель только сегодня знакомится с Уве Йонсоном, представить себе не так трудно. Критически настроенный по отношению к государственному порядку, складывавшемуся в ГДР, где он жил, Уве Йонсон в 1959 году переехал на Запад. "Переехал" — его собственное определение, в те времена, до сооружения Берлинской стены, это можно было сделать без труда и без шума: с пишущей машинкой и папкой для рукописей в руках Йонсон направился в Западный Берлин и стал невозвращенцем ("бежавшим из республики", по тогдашней терминологии). Этого обстоятельства было довольно, чтобы полностью исключить какую-либо возможность издания в то время его книг не только в ГДР, но и в Советском Союзе. Однако и в Западной Германии, где его охотно печатали, Йонсон не чувствовал себя уютно, он много путешествовал, часто бывал в США и жил там, а в 1974 году окончательно покинул немецкую землю, поселившись в Англии, в поселке Ширнесс, расположенном в устье Темзы, где уединенно жил вместе с семьей, пока его не оставила жена, и где он шесть лет спустя умер в полном одиночестве. Между тем этот замкнутый, легко ранимый человек, чуравшийся любых проявлений светской жизни, был хорошо знаком со многими знаменитыми писателями наших дней, которые называли его своим другом и дорожили его мнением — среди них были такие громкие имена, как Блох, Бёлль, Вальзер, Гессе, Грасс, Бахман, Фриш. С Максом Фришем Йонсон был особенно близок, хотя их отношения не всегда можно было назвать безоблачными (в чем легко убедиться, читая их переписку, которая печатается в этом номере).

Поиски уединения и внутренняя стойкость — присущие Уве Йонсону родовые свойства. Известно, что он любил кошек за то, что они "независимы, неподкупны, непослушны", и одно время хотел взять себе псевдоним Йоахим Катт ("катт" по-голландски "кошка"). Эти черты характера нетрудно почувствовать в публикующейся в этом номере речи Йонсона "Я о себе самом", произнесенной им в связи с избранием его членом Немецкой академии языка и литературы (Дармштадт, 1977), в которой он со сдержанной иронией (не всегда безобидной) рассказывает о своем жизненном и творческом пути посреди двух Германий. Название "Я о себе самом" было дано при первой публикации газетой "Цайт"; сам Йонсон написал на своем экземпляре газеты: "Другие обо мне". Из Академии (как и из Союза писателей, и из ПЕН-клуба) он вскоре вышел, предпочитая жить сам по себе.

Вторая причина невнимания к Йонсону советских издательств заключалась в сложности и нелегитимности в тогдашних условиях его творческой манеры. Не без влияния Джойса и, в особенности, Фолкнера, а также и французского "нового романа" Йонсон в своих книгах нарушает все мыслимые внешние признаки ре-

© П. Топер. Вступление, 2003

алистического письма: он свободно обращается с повествовательными формами и изобразительными средствами, со временем и пространством, характерами героев и ракурсами их подачи, даже с синтаксисом и грамматикой, не говоря уж о пунктуации, при этом часто убирает логические звенья, связывающие воедино ход повествания, и оставляет описанные события без четкого контура и объяснений. Действительность тем самым приобретает черты "не до конца познаваемости", становится зыбкой, несмотря на подчеркнуто точное описание частных деталей, сделанных безупречным и выразительным языком. Его первые романы "Догадки насчет Якоба" (1959) и "Третья книге об Ахиме" (1961) были для того времени неожиданным, ярким и вызывающим явлением, обратившим на себя всеобщее внимание не только с содержательной, но и с формальной стороны. А также и творческой смелостью, полным отсутствием популизма (то есть льстивого заигрывания с читателем и с актуальными злободневными темами).

Эти особенности творческой манеры видны и в рассказе "Записки потерпевшего крушение", который печатается в этом номере (написан в 1981 году к семидесятилетию Макса Фриша). В нем много автобиографического (как и до известной степени в помещенной тут же "Марте на отдыхе") не только в общей атмосфере повествования, но и в деталях. Главному герою он подарил свою судьбу эмигранта, свой — не понадобившийся ему — псевдоним, семейную — для него жизненную, экзистенциальную — катастрофу в отношениях с женой. В рассказе есть и убийство, которое поставлено в центр действия, как его туго заведенная пружина, но пружина скрытая — в тексте оно ни разу напрямую не названо: читатель должен сам его "вычислить" и представить себе его смысл на основе многоголосых суждений разных персонажей. Эта "поэтика догадок", по удачной формулировке И. Млечиной, употребленной ею в единственной работе об Уве Йонсоне, существующей на русском языке (История немецкой литературы в 5-ти тт. Т. 5. М., 1980), — своего рода фирменный знак Уве Йонсона, он пользуется этой фигурой умолчания постоянно. Появилась эта особенность сюжетостроения его книг не из области детективного романа (хотя в большинстве произведений Йонсона есть преступления и расследования, убийства и самоубийства), а опять-таки из ощущения сверхсложности современного мира, который, по Йонсону, невозможно охватить и до конца понять во всей его полноте в простом, "линейном" повествовании. Эта творческая посылка, далеко не новая в современном искусстве, давно уже служит объяснением фрагментарности и многовариантности самых разных повествований о современности. Но под пером Йонсона она принимает такой категорический вид: "Итак, зачем нужен роман? Он есть предложение. Вы получаете версию действительности. Это и не общество в миниатюре и не модель, задающая масштаб. Это и не зеркало мира и тем паче не его отражение. Это мир, поставленный напротив мира. Вас приглашают сравнить эту версию действительности с той, которую вы знаете и пестуете. Возможно, другой, отличный от вашего, взгляд совпадет с вашим".

Такую прозу у нас еще недавно называли "экспериментальной", теперь чаще говорят о ее "элитарности". Она действительно нуждается в читателе, готовом внимательно следить за сложными поворотами часто прихотливой авторской мысли, и привлекает далеко не всех. Ее усложненность может быть и искусственной, но это мало относится к Йонсону, потому что запутанность его повествовательной манеры рождается из стремления глубоко проникнуть в запутанность объекта художественного познания, который он должен "распутать": немецкой истории и немецкой современности. В проблеме "Запад — Восток", которая с неизбежностью определила движение немецкого искусства после Второй мировой войны, то есть всей второй половины XX века, и продолжает определять его сегодня, он ищет прежде всего судьбу человеческой личности, зажатой противобор-

ством государственных устройств и идеологий. Поэтому в центре его книг всегда те, кто стремится сохранить свою самостоятельность и суверенность — будь то в ГДР, или в ФРГ, или в США, или в других местах, будь то в абстрагированном, притчевом варианте, как в повести "Два взгляда" (1965).

Наиболее значительное место в литературном наследии Йонсона занимает обширная романная тетралогия под общим названием "Дни года", над которой он работал почти 15 лет и закончил незадолго до смерти (этот "opus magnum", главный труд жизни, опубликован в 1970—1983 годах). В ней он вернулся не только к проблематике, но и к героям своего первого романа "Догадки насчет Якоба", развернув их жизнь в широкую картину немецкой истории, начиная с 1930-х годов XX века в контексте мировой истории современности (повествование заканчивается августом 1968 года накануне ввода советских войск в Чехословакию). Эти романы, написанные более зрелым пером и с большим размахом творческой мысли, со смелым использованием монтажной техники документализма для необычных композиционных решений (за что их иногда называют романы-коллажи) пользуются стойким успехом у немецкого читателя. Но надо сказать, что сегодня все творчество Йонсона воспринимается в Германии в несколько ином ключе, чем раньше. Он принадлежит к тем художникам, масштаб которых возрастает с ходом времени и сменой обстоятельств. Это было предсказано Генрихом Бёллем, который еще в 1984 году, сразу после смерти Йонсона, сказал: "Его величие заключалось в единстве терпения и горя, единстве ранимости, гнева и точности: он воспринимал свое время в единственно возможном смысле. Лишь грядущим временам будет дано осознать его величие".

Если в годы первого читательского признания 26-летнего Уве Йонсона называли "писателем двух Германий", то после объединения страны в 1989 году, когда начался громкий успех его книг у новых поколений, о нем чаще стали говорить как о "писателе единой Германии", "проницательном, неподкупном хронисте немецкой судьбы". В новых условиях стало яснее видно, что в сдержанных, внутренне трагических повествованиях Уве Йонсона, несмотря на присущий им релятивизм, содержится больше проницательности, больше глубокой, потаенной правды о Германии и современном мире, чем это казалось раньше.

Мысль представить творчество Уве Йонсона в номере, посвященном современной немецкой литературе, принадлежит А. М. Звереву. В последние дни перед скоропостижной безвременной своей кончиной он принимал непосредственное участие в отборе произведений для этой публикации и подготовке их к печати. По его замыслу, вслед за ней должно последовать продолжение знакомства с творчеством Уве Йонсона. Журнал "Иностранная литература" предполагает следовать этому плану.

Павел Топер

Я о себе самом[1]

Перевод С. Фридлянд

Господин президент, дамы и господа: всякое избрание в Академию налагает на избранного известные обязанности. Однако когда здесь, в Дармштадте, от него требуют для начала некую "самохарактеристику", он может быть поистине раздавлен суровостью и неумолимостью данного требования и, как это имеет место в моем случае, почувствует искушение подойти к выполнению стоящей перед ним задачи окольными путями, то есть поведать миру о своих взглядах, каковые до сей поры и составляли его характеристику.

Итак, приступим: во-первых, вашего нового члена частенько величают "померанцем", словно это можно счесть хоть сколько-нибудь исчерпывающей характеристикой. Справедливо в данном прозвище лишь то, что мать его была дочерью крестьянина из Померании, но не из той, отдаленной ее части, о которой на латыни говорят "беда стране, где больше не поют"[2], а из той, что расположена западнее Одера, с 1648-го принадлежала шведам, с 1720-го перешла под эгиду Пруссии, а в 1934-м подарила миру Германа Геринга как прусского премьер-министра. Касательно первых десяти лет жизни в Передней Померании под властью некоего рейхсканцлера по фамилии Гитлер я располагаю слишком скудными доказательствами своего права именоваться классическим померанцем.

Во-вторых: люди охотно называют меня мекленбуржцем, словно это можно счесть сколько-нибудь надежной приметой. Зато можно безо всякого труда доказать, что отец мой родился в юнкерском округе Кривиц, а вырос в Шверине, то есть уже в округе государственного подчинения, иными словами, в той, "лучшей" части Мекленбурга, каковая в те времена выглядела самым жалким образом по сравнению с прочими странами Европы. С этим краем я породнился не только благодаря отцу, имевшему за плечами сельскохозяйственный семинар в Нойклостере, а позже исполнявшего обязанности управляющего юнкерскими имениями, но и благодаря собственному, весьма основательному труду на здешних угодьях, причем труд мой состоял в беспорядочной копке картофеля, высадке репы, ворошении сена, уборке рапса и ржи, да, не забыть еще уход за скотиной. В Мекленбурге я узнал, что человека, если он еще в малых летах, запросто можно сдать в аренду – три недели работы в чужом хозяйстве за центнер пшеницы, что его пребывание на этом свете вполне можно обратить в имеющую там хождение валюту. И я от души благодарен судьбе за этот ранний опыт. В Мекленбурге я прожил с одиннадцати до двадцати пяти лет, причем уже на шестнадцатом году я понял, как надлежит оправдывать чаяния местных жителей и начальства, с каковыми мне приходилось иметь дело. Одним словом, многое, весьма и весьма многое свидетельствует о том, что я все-таки мекленбуржец.

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1994
© С. Фридлянд. Перевод, 2003

1. Речь, произнесенная в связи с избранием в Академию языка и литературы (1977). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Слова из стихотворения Иоганна Готфрида Зойме.

Хотя, конечно, в послевоенном Мекленбурге я считался одним из этих, из "беженцев". Тут почти не сыграло роли, что Передняя Померания принадлежала к остатку Германии, поскольку она все равно перешла под начало Советской военной администрации в земле Мекленбург–Передняя Померания. Ибо с 1 марта 1947 года Передняя Померания вообще исчезла из официального названия, оставив по себе лишь сокращенное Мекленбург, и мы наконец-то стали людьми "оттуда". Из любой проверки, которой на первых порах подвергали нас аборигены, сохранившаяся часть нашего семейства выходила окончательно посрамленной: и постоянного места жительства у нас в Мекленбурге не было, и добра мы с собой привезли куда как мало. "Беженцы" – и лишь потому, что это определение было строжайше запрещено к употреблению властями, мы стали "переселенцами". Мать, конечно, могла бы и впрямь переселиться, ну хотя бы ради того, чтобы дать мне возможность не начинать жизнь учеником в деревенской кузне, вот она и отправилась в город Гюстров, где находилась бывшая гимназия, именуемая теперь средняя школа имени Джона Бринкмана, а выбрал ее для меня мой отец. Джон Бринкман хоть и побывал в Северной Америке, книги свои писал на мекленбургском наречии. А мы их читали.

В этой школе, сперва в Советской оккупационной зоне, а позднее – в Германской Демократической Республике, я стяжал себе репутацию человека из "буржуазных слоев": Сын чиновника в упраздненном ныне министерстве сельского хозяйства, а вовсе не сын рабочих и крестьян, на примере которого можно бы наглядно продемонстрировать упущения прежней образовательной системы. Моя мать начала шить обмундирование для Красной Армии, работу ей давали в народных швейных предприятиях города, еще она проверяла билеты в пассажирских поездах, словом, я так и оставался сыном служащей, то есть из "буржуазии". Потом мать перешла на службу в объединение проводников товарных вагонов при Немецкой железной дороге, и с тех пор я стал сыном работницы. Таких легче, чем прежде, допускали к обучению в каком-нибудь из университетов ГДР.

Мой первый университет тоже находился в Мекленбурге, и это был Ростокский университет, прежних студентов которого попытались деликатно устранить. Но перед самым началом занятий, 23 июля 1952 года, земля Мекленбург была официально поделена на три округа, причем оказались не только безвозвратно утеряны некоторые исторические факты, но и единое целое "Мекленбург". Ростокскому университету предстояло стать "социалистическим", и тот, кто пропустил мимо ушей объяснения начальства по этому поводу, да вдобавок не располагал поддержкой однокашников, должен был после второго года обучения просто-напросто покинуть университет, ведь не обязательно же всем учиться в мекленбургском университете.

Спокойно и невозмутимо, словно истинный мекленбуржец, я взял да и перешел в саксонский университет, то есть в Лейпцигский. Здесь я встретил друзей, которые со вполне естественным любопытством наблюдали, как я отстаиваю свое, привезенное из дому произношение перед натиском местного языка, и хотя они, видя это упорное отстаивание мною истинно мекленбургского "р", не могли не признать во мне известный дар к артистическому дилетантизму, я вполне мог оправдаться в их глазах доскональным знанием маршрутов лейпцигского трамвая, я представал перед ними добросовестным адептом и в любое время мог умиротворить их моей единственной фразой с саксонским прононсом, фразой, которая

вполне приемлемо звучала в их ушах: "А вот и наш Вальдер припожаловал", что произносилось с нескрываемой радостью по поводу неожиданного визита тогдашнего главы правительства Вальтера Ульбрихта. В Лейпциге я встретил девушку, которая была родом из Мекленбурга, мекленбургского Шверина, то есть прямиком из главного города, я долго ждал такую и теперь могу говорить о Лейпциге как о городе, который стал городом нашей юности. Короче, если кто-нибудь того пожелает, меня вполне можно счесть и лейпцигцем. Лейпциг в Саксонии — вот истинная столица Германской Демократической Республики. Вы уж поверьте земляку саксонцев.

Начиная с 1949 года я был в глазах начальства "гражданином" Германской Демократической Республики, хотя и не сказать, чтобы они меня спрашивали, хочу я этого или нет. Но те из моих высказываний, которые достигали ушей начальства, заставили их усомниться в моей пригодности к занятию штатной должности, так что в течение первых трех лет после выпускного экзамена я жил на вольных хлебах, трудясь в сфере германистики, иными словами, был безработным в стране, которая якобы покончила с безработицей. Налогов я тоже не платил, потому что заработки мои были ниже прожиточного минимума. Так выглядел у них официальный, хоть и ни разу не высказанный вслух совет покинуть страну, ведь именно мой уход предоставил бы им наконец законный повод обозвать меня предателем. Но поскольку меня привлекал характер публичного действия, этой res publica, этой республики, как вдобавок привлекало и все германское, а также все демократическое, я продолжал проживать в бывшем Мекленбурге и в бывшей Саксонии, а за время восьмичасовой поездки домой и обратно я придумывал и продумывал одну книгу, по поводу которой мои друзья заверяли меня, что власти могут ложно ее истолковать, могут воспринять ее скорее как оскорбление ГДР, нежели как изображение ее действительности. Будучи хорошо знаком с обидчивостью данного государства, я вышел из электропоезда в Западном Берлине тем днем июля 1959 года, когда в одной западногерманской типографии на титульном листе, перед первой страницей текста "Догадки насчет Якоба", было напечатано мое имя.

После чего я уже вторично заделался "беженцем", но на сей раз лишь с точки зрения соответствующих органов ГДР, потому что пренебрег необходимостью испросить у них разрешения на выезд. А вот в Западном Берлине я беженцем не считался, потому что приехал сюда с разрешения властей города и потому что держался на расстоянии от пересыльного лагеря Мариенфельде, где можно было получить удостоверение беженца и всякие денежные дотации. Однако, с другой стороны, люди из ГДР были у меня изображены в нормальных, я бы даже сказал, весьма достойных обстоятельствах, то есть в обстоятельствах, отнюдь не соответствующих обычным западногерманским клише о Восточной Германии. Отсюда возникло подозрение, что я подослан сюда в качестве "троянского коня". Поскольку и во второй своей книге я продолжал заниматься различиями, границей, несходством в уровне жизни двух немецких государств, меня в конце концов провозгласили "писателем обеих Германий" или "немецкого разделения". Мне стоило больших трудов оспорить эту характеристику, ибо научные институции успели просветить меня относительно миссии и полномочий писателя. Для меня это послужило предостережением. С другой стороны, я в рассказах про людей из Лейпцига или из Гамбурга всего лишь и хотел предложить свой

преображенный опыт для того, чтобы читатель использовал его по своему усмотрению. Меня никак не устраивала необходимость живописать, к примеру, жизненный путь гонщика-велосипедиста (учитывая вдобавок трудности подобного описания), сведенный к голому политическому лозунгу. Единственное условие, при котором я мог бы соответствовать этому заданию, было не выполнено, истинный смысл его оставался для меня темен. А условие мое состояло в возможности беспрепятственно общаться со своими читателями в обеих частях Германии.

Меня и воспринимали как "западноберлинца", и относились как к таковому, следовательно, я смело могу признать этот город местом своего проживания в течение пятнадцати лет. Я не только избрал его своей родиной, я пытался также взывать к добрым чувствам остальных обитателей этого города, когда после окончательного возведения стены ездил на электропоезде туда и обратно. В результате злобных писем и анонимных звонков я заработал новое прозвище — "свинья коммунистическая", однако и по сей день это не обеспечило меня правом бесплатного проезда в берлинской электричке хотя бы в пределах западных секторов города. Потом история двоих, история любви в Берлине[1] — любви попранной и погубленной из-за окончательного разделения города и страны, снискала мне характеристику узкого специалиста именно по вопросам разделения, и тогда я счел за благо переехать в Нью-Йорк. Через два с половиной года я чуть не обратился в "ньюйоркца", ибо книгу, к которой я там пришел, книгу о жизненном пути человека от Мекленбурга до Манхэттена, я мог бы написать и по-английски, не кончись у меня к тому времени все деньги, что и принудило меня продолжить ее на немецком языке и уже в Западном Берлине. Выходит, западноберлинец, так, что ли? Но достаточно перебраться в Англию и обновить паспорт, как ты уже становишься "гражданином Федеративной Республики Германии", из числа тех, кто проходит пограничный контроль у окошечка, предназначенного исключительно для обслуживания граждан Европейского экономического сообщества. Для англичан же, с которыми мне сейчас приходится иметь дело, я остаюсь "German", а то и вовсе "bloody German", но при всем том они не желают слышать от меня ничего немецкого, они рассуждают про ужение рыбы и про погоду и спрашивают мое мнение, как спрашивают мнение соседа.

Ну и в завершение всего вышесказанного меня можно бы определить как человека, который тяготеет к рекам. Вот это и будет истинной правдой. Я вырос на Пене, что протекает через Анклам. А через Гюстров протекает Небель, а по Варнову я ездил в Росток и разъезжал по Ростоку, Лейпциг предоставил в мое распоряжение Плайсе и Эльстер, Манхэттен окольцован рекой Гудзон и Ист-Ривер. Еще я припоминаю речушку Хаккензак, а последние три года к моим услугам оказалась протекающая прямо у меня под окном Темза, тот ее отрезок, где она впадает в Северное море. Но уж если я к чему-либо на свете имею самое непосредственное отношение, то это Мекленбургский озерный край, поросший лесом, от Плау до Темплина, вдоль по Эльде и Хафелю. Вот там-то я и надеюсь засесть за очередную работу, я даже знаю, в каком именно качестве, но вам этого ни за что не скажу.

1977

1. Подразумевается повесть Уве Йонсона "Два взгляда".

Записки потерпевшего крушение

ВЕЧЕРОМ, вдоль Сотых улиц идет в свой ресторан пожилой человек. Когда-то давным-давно ресторан принадлежал ему, сейчас там хозяйствуют пуэрториканцы, но он так и не смог навсегда расстаться с этим помещением, опрятным и светлым. Новым хозяевам пора бы усвоить, что по вечерам он всегда заказывает только кофе и тост, но они ведут себя по отношению к нему неправильно. Да тут вообще все делается неправильно. Вот у него есть, к примеру, свое насиженное место! Спиной к окну, о чем они прекрасно знают. Знать-то знают, но место это для него не приберегают. А ведь он каждый вечер приходит ровно к семи часам, могли бы и запомнить. У него никогда не хватает денег больше чем на один тост и чашку кофе. Вот прежние хозяева, ирландцы, те старались ему помочь, они всегда наставительным тоном повторяли заказ, чтобы он вслед за ними лучше его произносил, не с таким смачным немецким акцентом. Если человек целый день не имеет возможности хоть что-нибудь сказать, к вечеру он заболевает. Можно бы разговаривать и с самим собой, но это уже дурной знак, с этого обычно и начинается! Порой он спохватывается, что шевелит губами. Что разговаривает с покойниками. Только эти покойники не должны быть немцами.

— Сэнк'ю, – боязливо произносит он.

В 1941 году, при получении американского гражданства, местные чиновники всячески уговаривают его не отказываться от гражданства немецкого. Вполне может статься, что после окончания войны его вдруг охватит тоска по родине. Это ж надо – тоска по родине!

1971

Господин д-р Дж. Хинтерханд (1906—1975) разрешил начиная с июня 1975 года вносить в этот текст следующие ниже рассуждения, поправки, комментарии и дополнения.

1

В 1957 году, после освобождения из федеральной тюрьмы — это Оссининг на берегу Гудзона, — он был вынужден избрать Нью-Йорк местом дальнейшего проживания, когда еще сохранившиеся у него друзья почти силой заставили его заглянуть в их квартиру, что на Риверсайд-драйв, после чего как бы ненароком устроили на ночлег в комнате для гостей, где по стенам были расставлены уцелевшие остатки его имущества, расставлены таким образом, что он не мог не угадать за всем этим предложение хотя бы на время поселиться здесь. То, что им удалось подобрать из его библиотеки, сам подбор книг свидетельствовал о том, что они его хорошо помнили. Да и оборудование помещения с персональной кухонной нишей и ванной тоже свидетельствовало о дружелюбии, учитывавшем его пожелания, ибо они предоставили в его распоряжение такой вид из окна, с пятнадцатого этажа, на Риверсайд-парк, через мост, в сторону Гудзона и на обрывистый берег, так тщательно припомнили его былые пристрастия, что он просто не мог отказать им в праве приобщиться к той радости, которую они хотели доставить и ему, и самим себе

столь щедрым даром. К сожалению, уже тогда, как и вообще начиная с 1947 года, он был слишком неловок, чтобы отблагодарить за дружеское участие свободной манерой держать себя, непринужденностью в повседневном общении, поскольку его деяние, а вернее сказать, предыстория деяния сохранялась у них в памяти как некая доминанта всех его мыслей, с другой же стороны, все это время сохранялось и негласное табу: не поминать о случившемся даже самым невинным намеком, тем более в общении с супружеской четой, тем более с четой, имеющей детей-подростков. В остаток выпала только дружеская поддержка. Полная беспомощность в ресторане, ранее упомянутая, хоть он и не отрицал ее, проистекала из другой... как бы это сказать получше... из другой констелляции? Или не констелляции, а конституции? Потому, может быть, что он по собственной инициативе прекратил свои визиты в ресторан. Когда в шестидесятых годах множество домов на Риверсайд, в том числе и этот дом, объединились в кондоминиум... ну, перешли в общую собственность квартиросъемщиков, а у него все еще не возникла приязнь к какому-нибудь определенному месту на этой земле, он употребил остатки своих сбережений, заработанных благодаря перемене профессии, на то, чтобы приобрести в собственность выделенную ему часть квартиры, — употребил из чистого смущения, исключительно повинуясь привычке. Его проживание в районе Сотых улиц, между Бродвеем и Риверсайд-парком, особенно после переезда друзей в другой штат, обернулось с течением времени закономерной случайностью.

2

Если говорить о еврействе или вообще на еврейскую тему, то уже та, первая записка представляет собой всего лишь видимость, основанную на слухах, и не более. Прежде всего он стремится заверить всех, что для самого себя уже в молодости отринул эту проблему, пусть даже и сформулированную на немецкий лад, отринул из религиозных и вдобавок из официальных соображений, а об успехе свидетельствует допущение, "что все это вполне возможно".

Однако, с другой стороны, он хоть и самую малость, но все-таки еврей. Да и к какому другому выводу, судя по внешнему виду, могли прийти воспитательницы сиротского приюта в Гнезно касательно младенца мужского пола двух месяцев от роду, когда летом 1906 года этого младенца подкинули к задней двери приюта в мужской жилетке и с висящей на шее карточкой, где дитя было поименовано как "Йоахим де Катт"? Поскольку им предстояло сделать выбор между четой голландских рабочих на роль родителей и чьей-то глупой шуткой, над ребенком, хоть и не без некоторых сомнений, был совершен обряд евангелического крещения с тем последствием, что до шестнадцати лет, будь это в то и дело меняющихся приютах, у очередных приемных родителей или в гимназии, его и воспринимали, и называли "одним из энтих, из не наших", и продолжали называть так даже и после того, как имя его появилось в официальных личных документах и звучало оно так: "Йоахим", причем представляется весьма вероятным, что рукой писаря водила то ли жалость, то ли стремление к порядку.

Так ли, иначе ли, но это была вторая информация касательно его личности, и он, уже двадцати лет от роду, в 1926 году поведал ее одной девятнадцатилетней девушке, которая мнилась ему предназначенной

для всей его дальнейшей жизни, но, к сожалению, происходила из шверинского семейства, славящегося своим сугубым протестантизмом, с ходом времени, естественно, обедневшего и оставившего ее сиротой. Однако еще более, чем смутное происхождение героя, девушку привлекло сделанное им признание, не совсем обычное, а также его особенности, будь то всего лишь карточка у него на шее, хотя даже за двадцать лет жизни, сперва по соседству, а потом и совместной, речь об этой карточке никогда не заходила, ни по случайности, ни в шутку, и вместо имени "Йоахим" он получил от нее прозвище Джо, а получив, принял, впрочем не столько ради нее, сколько ради его тогдашней склонности к англосаксонской манере говорить и способу жить.

Однако спустя некоторое время он снова выдвинул на передний план еврейское пятно на своей репутации, выполнив свое первое, данное ей обещание, а именно наряду с диссертацией по философии выпустив в свет литературную книгу. Вышла книга в 1931 году с посвящением ей прямо на первой странице. Поскольку его собственное имя весьма смахивало на псевдоним, он придумал для себя другое, многозначное, – "Йоахим де Катт". Мне это было бы вполне понятно, ибо читателю, имеющему за спиной нижненемецкое образование, оно напоминало о поведении кошки. Но кошки, они народ способный, а напоминать об их способностях автору не пристало, да вдобавок само имя де Катт разом отдавало и прусским духом, и обычным кокетством, все это – во вред роману. Как это водится при пробах пера, он рассказал в своей книге про юные годы мальчика-сиротки на земле мекленбургской, про неудержимое стремление опекунов мальчика воспитать в нем большее добронравие, нежели у других детей, про бунт ребенка против их правил приличия, после чего вполне можно было ожидать неприятностей от объединенного бюргерства. Вдобавок книга начиналась воспитательным насилием со стороны некоего опустившегося трактирщика – тот в 1930 году стал членом муниципального совета, надеясь с помощью национал-социализма избавиться от долгов. При уровне начитанности последнего он, хоть и ненадолго, стяжал обществу городка Гнезно славу мекленбургской Шильды[1], ибо с места в карьер возглавил поход горожан против некоего скульптора, который предложил городу Гнезно увековечить в бронзе гордое животное с их герба. Все, что Фрик, Геббельс или Гитлер когда-нибудь говорили против этого объевреившегося (и, к сожалению, весьма знаменитого) скульптора или про арийское искусство, упомянутый член муниципалитета повторял охотно и многократно, соблюдая при этом полную точность цитирования, даже с включением грамматических особенностей, и разве что сохраняя исконное произношение. Далее, стало известно о существовании в потенциальной публике и другой группы, поэтому автор "Пасомой овцы" от всей души стремился поддразнить именно этих людей и дать им возможность для наблюдений. Поэтому же он был вынужден прибегнуть к другому заимствованию из вокабуляра картежников, играющих в скат, помянув того, который последним разыгрывает свою карту, и назвал себя "Дж. Хинтерханд", то есть вторая рука.

К сожалению, он лишь после выхода книги в свет спохватился, что нацистская часть немецкой читающей публики знакома с законами собственного языка не более, чем с предписаниями австрийского правительст-

1. Шильда (Шильдау) – город, прославившийся в немецком фольклоре глупостью своих обитателей.

ва, которое в годах 1782–1783 потребовало от проживающих в Австрии евреев принять новые фамилии. Генри Менкен приводит в качестве примера такие, как, скажем, Карбункул или Аромат. И тогда в тех разделах национал-социалистских газет, где, как правило, публиковались статьи на культурно-политические темы, в самом непродолжительном времени зашел разговор о некоем "еврейском осквернителе Дж. Хинтерханде", у которого даже недостало скромности, чтобы сменить свою с головой выдающую его фамилию. Вышедший через год сборник рассказов постигла та же участь, и только одну южнонемецкую редакцию охватили некоторые сомнения после того, как она присовокупила к разносной статье фотографию "осквернителя", ибо "Дж. Хинтерханд", будучи тогда двадцати шести лет от роду, настолько соответствовал представлениям нацистов об истинно арийской внешности, что у расовых исследователей, чьи таблицы настоятельно требовали именно такой формы черепа, просто слезы выступали на глазах. Короче, под фотографией теперь стояла такая подпись: "Пресловутый полукровка Хинтерханд".

Но масла в огонь, судя по всему, подлило его письменное высказывание о не вполне немецкой фигуре Гитлера, о не вполне богатырской фигуре Геббельса и некоторых других столпов партии, если их сравнивать с требованиями, которые они сами же и предъявляют к остальным. Тут уж не заставило себя ждать изгнание и лишение германского гражданства, каковое и произошло сразу же, в 1933 году. Вполне корректно, как и ведут себя разъяренные наци, в объявлении говорилось о некоем человеке по имени Йоахим де Катт.

Ранее приведенная записка содержала одну ошибку, ибо, как и каждый эмигрант в США, он лишь спустя пять лет обратился с ходатайством о предоставлении ему американского гражданства, именно он, считавшийся после того, как Германия начала войну, enemy alien – враждебным иностранцем, которому для любого выезда за пределы Нью-Йорка надлежит испрашивать разрешение у district attorney – окружного прокурора. День испытания точно датируется февралем 1944 года, а принесение клятвы на Конституции – августом 1944-го, поскольку Соединенные Штаты уже смекнули, что поражение Германии не за горами. К слову сказать, он в благодарность той девушке 1926 года рождения изменил свое имя на Джо Хинтерханд, все еще не зная и не ведая, какую судьбу он себе этим уготовил.

Он просит рассматривать в данном пункте его возражений три слова как продиктованные исключительно требованиями времени или, скажем, как "вспомогательные слова", но вспомогательные не в грамматическом, а в совсем другом смысле, с известной долей сомнения: "национал-социалистский", "объевреившийся", "общественный".

3

Прожив семнадцать долгих лет на правах приемыша то в одной, то в другой семье, невольный свидетель тех увечий, которые могут нанести друг другу мужчина и женщина, он должен был заново выработать собственный взгляд на супружескую жизнь, причем взгляд уже весьма анахроничный для тех времен, когда супружеская неверность стала темой анекдотов. Одинокий ребенок, которому знаки внимания были ведомы лишь в форме требования, выговора или приказа, он принял благородное решение, по меньшей мере лично для себя, – решение воплотить в

жизнь то, что противоречит правилам. Не исключено, что им руководило наивное желание обезопасить и себя самого от возможного предательства, не видеть еще просвечивающий за всем договор обмена, как будто за верность можно заплатить ценностью, ей равной. Друзьям по университету, с их марксистскими взглядами, он вполне бы мог следовать теоретически, да и в смысле морали тоже, но всякий раз испытывал смущение, когда они приводили цитату из КАЛИНИНА:

Брак — это политическая задача.

Он воспринял это как сугубо личное мнение и, соответственно, поставил условие себе самому, как оно поминается в "Пире" ПЛАТОНА. Там (со 118D по 194A, стефановское издание) слово берет АРИСТОФАН, чтобы поведать миру миф об андрогине, о якобы существовавшем некогда едином человеке, которого Зевс, сочтя слишком для себя опасным, разделил на две части, на половинчатых, на "разъединенных" людей, и с тех самых пор люди пребывают в неустанном поиске другой своей половины. По слухам, этот поиск иногда кончается удачей:

И тогда желанье
И стремление к цельности
Называют любовью.

Кто сохраняет в своей памяти пусть даже тень этой сказки, тот по собственной вине становится самоуверенным и тщеславным, полагая возможным уже к двадцати годам отыскать такое, что бывает даровано лишь изредка и лишь очень немногим, иными словами, он по чистой случайности ошибочно истолкует как неизбежность то, что однажды ему рано или поздно вдруг понравится некая девушка лицом и голосом, кожей и волосами, понравится с первого и последнего взгляда.

Он возомнит, будто всего лишь подвергает проверке постулаты некоего античного философа, когда с первой же минуты начнет выспрашивать про ее детство, про ее юность, про ее учителей (не упоминая, конечно, первого любовника) и, не веря своим ушам, услышит такое:

О своей родне она отзовется с насмешкой, едва речь зайдет об их партийно-политических предпочтениях; ей тоже приходится подрабатывать к скудной стипендии (писать акварели на заказ), еще она копит деньги, чтобы провести каникулы на Балтийском море, еще она намерена отрастить волосы, подобно ему читает "Weltbühne" и при каждой возможности ходит в бассейн, к тому же она уверена, что Александру Коллонтай неправильно цитируют — это насчет теории стакана воды, более того, она берется это доказать.

Идеалом остается моногамная связь, основанная на большой любви

("Новая мораль и рабочий класс", 1920, с. 46 и след.), из деревьев она предпочитает тополь, еще она не возражает против повторного свиданья, но вообще-то считает мерзким и отвратным, когда люди влюбляются друг в друга, лично ей это ни к чему, лично она это отвергает...

Тот, в чьих ушах сказанное сейчас прозвучит как дополнение к уже сказанному ранее, сопряженное со взглядом, движением и звуком, будет до смерти рад, когда хоть что-нибудь ему в ней не понравится, ну, к при-

меру, ее привычка громко шмыгать носом вместо того, чтобы взять носовой платок и один раз как следует высморкаться...

Короче, это шмыганье носом прозвучало единственным предостережением, и тот, кто готов многое пропускать мимо ушей, неважно, какое над ними небо, ясное или пасмурное, тот пусть берет с собой на каждую совместную прогулку шелковый платочек или махровое полотенце, а зимой пусть вдобавок навещает ее по утрам с охапкой дров для печки, и еще пусть он молча и даже не без удовольствия выслушивает ее заверения, что вот, мол, уже целый год у нее ни разу не было насморка, а про грипп и говорить нечего...

Тот уже давным-давно начал бы, сообразуясь с ее пожеланием, правдиво изображать молодого де Катта, как завтрашнего, так и позавчерашнего, не заподозрив ее при этом ни в наличии хороших манер, ни в излишнем любопытстве, и смущаясь, как и следовало ожидать, преобразованием отдельных периодов своей жизни в драгоценные случайности и совпадения, покуда она будет оставаться той, которой он все поверяет и которая все воспринимает как должно. Но изложив совокупность обстоятельств своей жизни, он тем самым поверил ей средоточие своей личности, то место в сознании, пребывая в котором человек дерзает оперировать понятием "я", той тайной индивидуума, тем единственно незаменимым и неисцелимым местом, для обозначения которого раньше прибегали к слову "душа" и которое промарксистски настроенные друзья героя в порядке исключения разрешили ему употреблять для нужд беллетристики. Это известие не было для него ни жертвой, ни потерей, а было, напротив, надежным обещанием.

Помимо всего прочего, он обсуждал с ней свою идею "Пасомой овцы" – фразу за фразой, персонаж за персонажем, – написанной для нее и не послужившей поводом для заблуждений и ошибок. Ибо к ПЛАТОНУ присоединился и другой гарант, человек нашего столетия, звали его ЭРНСТ БЛОХ[1], и ЭРНСТ БЛОХ описал как необходимый и естественный процесс то, чего в противном случае следовало бы опасаться, как чуда.

Таким образом, именно то Великое, Совершенное, Спасительное, Глубокое, о чем мечтает женщина, коль скоро она по праву наделена живым умом, служит для мужчины-творца многоцветным воплощением категорического императива в его творчестве, чтобы и сам он, и его творчество были ее достойны, чтоб он носил только ее цвета, чтобы сражался за нее как за меру души и предначертанного для творчества абсолютного Априори.

В августе 1932 года он предложил ей заключить с ним союз, дабы обезопасить их совместную жизнь перед лицом буржуазных норм поведения и закрепить браком шесть лет взаимной проверки.

4

Осенью 1932 года некое нью-йоркское агентство пригласило "мистера Дж. Хинтерханда" совершить поездку в Нью-Йорк на предмет чтения лекций. К его хоть и не чрезмерному разочарованию подруга попросила друга отказаться от предложенной поездки. Это вызвало не просто

1. Эрнст Блох (1885–1977) – немецкий философ.

разочарование, но настоящую растерянность, поскольку не кто иной, как именно она продолжала настаивать, чтобы они и впредь жили порознь, да и выйти за него замуж официально тоже отказывалась (из-за своей диссертации), а тут вдруг ни с того ни с сего потребовала, чтобы он не вздумал пускаться за океан без нее, ибо впоследствии она едва ли сможет последовать за ним в такую даль, куда он прибудет много раньше, чем она. Самым недвусмысленным образом она выдвигала именно эту причину, а отнюдь не страх перед столь долгой разлукой.

Поездку, рассчитанную на четыре месяца, он всячески отстаивал, хоть и сам начал тем временем сомневаться в убеждении, за которое промарксистски настроенные представители из числа их общих друзей были готовы дать голову на отсечение, а именно в убеждении, что "мы победим". На самом же деле получалось, что речь идет о том, как бы на случай совсем иной победы подыскать в безопасном удалении такое местечко, где некий писатель и некая искусствоведка смогли бы продолжить свою работу, пусть даже и не на немецком языке, а на каком-нибудь другом. Как и при всех совместных обсуждениях, они достигли согласия, сойдясь на том, что для начала в ее же интересах следует отпустить на разведку его одного. Он запомнил ее прощальный жест на вокзале Фридрихштрассе, с платформы которого отходил скорый поезд в Лондон. Это был жест безмолвного обещания: она просто прижала руки к груди.

Жест, придуманный ею только для них обоих, он вспоминал на перегоне от Бостона до Нового Орлеана, он даже просил разрешения привести строчки из письма, адресованного ей в октябре 1932-го, ибо все его письма рассматривали будущие места совместного обитания как для нее, так и для него:

"И напротив, когда мы состаримся, когда ты слегка растолстеешь, а у меня станут глубже морщины на лице, мы все равно будем жить так, чтобы отомстить этим кроватям, которые до того широки, что заполняют всю комнату и предстают передо мной то в виде катафалка, то в виде музейного экспоната под балдахином. И чтоб подушек на этих необъятных просторах никогда не бывало меньше двух, хотя ни один путник не может настолько устать за одну-единственную ночь. Вот такие кровати мы и расставим в нашем нью-йоркском доме, где с шестнадцатого этажа открывается вид сразу на Центральный парк и на Гудзон, где от входной двери идет парусиновый навес, чтобы предохранить от дождя тротуар, по которому шагаешь ты, и чтоб молодой парень, облаченный в ливрею давно исчезнувших княжеств, всякий раз снимал перед тобой фуражку и называл в своем приветствии день недели. Итак, ночью с наших сидячих мест мы сможем видеть серую воду Гудзона, сможем бросать взгляд поверх реки, на сплошную и раскидистую цепь огней вдоль Вашингтонского моста, и чтоб снизу доносилось шуршание автомобильных шин, подобное звуку непрерывного дождя, хотя на самом деле дождей, пожалуй, и не будет, а расплачиваться за все мы будем, конечно, чеками...

Весной же мы, возможно, переберемся в одну из этих местностей в стиле Новой Англии, где широкими дугами, среди зеленой и красно-коричневой листвы раскинулись изящные белые дома, сплошь деревянные, и они напомнят тебе о чем-то, что представлялось столь же старинным и добропорядочным; вода поступает прямо из стены, вода разной температуры, вода бежит кругом, вода отапливает дом и, обратившись в лед, повергает масло и джин в холодный ужас, а за стенами дома она предстает в виде бассейна среди аккуратно подстриженного газона, окружен-

ного древнеримскими заветрившимися каменными скамьями и статуями, и все это видится с террасы словно море, а по морю в зависимости от времени года смещаются песчаные отмели, теряясь из виду, вечерами же мы будем пробираться среди пузатых автомобилей по дороге в город, и покажем тебя людям, и растолкуем туристам преимущества многочисленного среднего класса для существования в основе своей демократического общества, а кто из них тебе понравится, того мы возьмем к себе в дом, который ночами поскрипывает и потрескивает всеми полами, всей мебелью, причем мебель очень похожа на твоих бабок, и мы тоже, только ты слегка располнеешь, а у меня станут глубже морщины, — на пожелтевшей от времени фотографии, стоя рядом, мы говорим: да".

Путешествие с успехом и с перспективами, мера предосторожности, необходимость которой подтверждена решением немецких избирателей присудить победу Гитлеру. Вот только по возвращении де Катта в Европу, в Германию, осененную ныне знаком свастики, была подвергнута аресту некая особа, известная новым властям из-за своих отношений с бежавшим за границу осквернителем собственного гнезда под именем Дж. Хинтерханд, он же Йоахим де Катт, по каковой причине ей отказали в продлении международного паспорта. Почти пять месяцев он проторчал на южном побережье датской провинции Фальстер. Почти пять месяцев в тревоге, но без всякой надежды, беспокоясь хотя бы и потому, что он не понимал, как это столь ушлая особа не может найти лазейку между заставами на границе со Швейцарией, с Нидерландами, с Данией. На письмах, поступающих от нее, стоял почтовый штемпель Мюнхена, Бавария, и ни единого раза она не поведала о том, что испытывает симпатию к тамошним жителям. Одно из писем, более других показавшееся ему убедительным, кончалось пожеланием "и боже упаси меня, после того как мы свидимся, снова попасть в Германию". От Гьедсера до Варнемюнде, в гитлеровскую Германию, паром в те времена шел два с половиной часа, и ежедневное созерцание высоких бортов парома порождало в нашем герое искусительные планы. Из баварских краев она с обратной почтой отвечала ему: "За то, что тебе не следует возвращаться (в Германию), говорят и еще два чрезвычайно важных обстоятельства: во-первых, вполне возможно, что тебя тотчас арестуют и нам по-прежнему не удастся быть вместе. А во-вторых, я не вынесу, когда у тебя отнимут возможность писать (здесь). Это можно бы сравнить с тем, что тебя поразила внезапная слепота или стряслось еще что-нибудь не менее ужасное, способное повергнуть в отчаяние нас обоих.

Но мы ведь уже сумели провести один год в ожидании, так неужто мы не сможем прождать еще полгода или даже целый год?"

Can't we? Хотя иностранным языком для нее был скорее французский.

Пока в конце концов его друзья не смекнули, что де Катту — такое у него было прозвище — надо помочь и не послали некоего человека на помощь. Это был человек, который представлял себе брак в свете высказываний КАЛИНИНА, но тем не менее оказался желанным посредником, ибо начал с вопроса, нет ли у де Катта неофициальной фотографии той особы, каковую можно бы употребить для оформления заграничного паспорта, все равно какого.

Фотографию он хоть и передал, но никакой при этом надежды не испытывал. Именно той ночью датировано приписываемое ему изречение: "Для меня она навсегда потеряна", ну и тому подобное. Однако пример-

но после девяти месяцев разлуки с ней в Гьедсер поступила из Германии телеграмма, адресованная некоему Дж. Хинтерханду (за подписью Карл Алинин). Телеграмма предлагала ему спустя полтора часа после наступления полуночи ожидать телефонного звонка. Но когда четко в назначенное время он сел в спальный вагон, следующий из Германии, та, которую он искал, спала за закрытой дверью купе и проспала до самого Копенгагена. Она проспала не только переезд на пароме, но и его самого.

NB

Он может с уверенностью сказать, что портовый город Гьедсер сейчас пишется как-то иначе, вроде бы Гесер. А также он просит в своем постскриптуме о том, чтобы к его словам "единственно для них обоих" и "демократический" относились с известным недоверием.

5

Кстати, он напрасно тревожился, полагая, что ему понадобятся более чем убедительные доводы, дабы уговорить ее вступить с ним в брак. С почти робкой готовностью она согласилась именоваться впредь фру де Катт, а в дальнейшем — миссис Хинтерханд. Поскольку во время унылой поездки по южным регионам Англии ему пришло в голову, что неплохо бы вознаградить ее за утраченное побережье Балтийского моря каким-нибудь другим побережьем. Дом в деревне, к северу от Фолкстона, за который он отдал свои последние деньги и деньги, взятые взаймы, она не мешкая назвала "Мое приданое", да и то сказать, этот дом больше принадлежал ей, чем ему. Она и в этих краях вполне понравилась народу и побудила целую бригаду строителей всего за два месяца осуществить необходимый ремонт и провести необходимую перестройку, заводя с каждым из них, будь то электрик, будь то слесарь, разговор, касающийся его узкой специальности, а то и вовсе о сравнительных достоинствах симфонических оркестров Лондонского, Венского или Берлинского радио, причем она, со своей стороны, обогащалась глубокими знаниями в сфере рыбной ловли. А когда она сопровождала его в паб... ну, в пивную, у нее на волосах виднелись порой засохшие следы масляной краски, в чем другие гости видели на ту пору, что единственный у них иностранец связался с этой женщиной для придания себе веса. В самом непродолжительном времени, начав обращаться ко всем гостям по имени, она при выходе из заведения на крик гостей "Cheerio" беззаботно откликалась "Cheerio", для чего он со своими американскими привычками оказался слишком робок. На вопрос же, что заставило семейство Хинтерхандов, которые, если судить по имени, никакие не евреи, покинуть Германию и поселиться именно здесь, она всегда отвечала: My husband did it. Это сделал мой муж.

Хинтерханды и впрямь были высокоуважаемая, пользующаяся доброй репутацией чета. Как пара влюбленных, они всегда и всюду ходили вместе, во время поездок в Фолкстон, во время прогулок вдоль обрывистого морского берега. Обходительные новоселы, которые дали своему первенцу имя Энтони. Жена, конечно, слишком самостоятельная: то она едет в Лондонский университет, то через пролив — на материк, иногда даже больше чем на неделю. А Джо Хинтерханд остается с ребенком на правах няньки и бонны. Вообще-то оба они писатели, только он пишет от руки, а она — на машинке. Вот если бы семейная жизнь у всех так выглядела.

NB

NB

Не совсем точное употребление: My husband — это она говорит своему первенцу.

Среди слухов, дошедших из Германии, один самым непосредственным образом касался их друзей, Петера и Марты Нибур, причем больше касался именно Марты. Если верить этому слуху, было точно установлено, что Марту видели в зальцбургском отеле, без Петера, но в сопровождении некоего незнакомца, который вел себя по отношению к ней совершенно как любовник. [163] ИЛ 9/2003

Поскольку семейство Нибуров славилось тем, что между ними существовал договор о полной открытости в отношениях, как, впрочем, и у Каттов, он посоветовался — а с кем ему было советоваться? — не стоит ли предупредить Петера, уточнив предварительно, когда происходила упомянутая поездка в Австрию.

Миссис де Катт, она же миссис Хинтерханд: нет, это должна сделать сама Марта. Такие вещи мужу должна говорить жена.

Или:

Когда писатель Хинтерханд (или, если угодно, тридцатидвухлетний Йоахим де Катт) в одиночку ездил с выступлениями, дамы порой делали ему, как это принято называть, авансы. Но поскольку ни одна из них ни разу не показалась ему более красивой и желанной, чем поджидающая дома жена, он вел себя как известный Иосиф из легенды перед женой Потифара, а кстати, и чтобы не возникло необходимости признаваться в том, что могло бы лишить его доверия миссис Хинтерханд. Вот почему по возвращении домой он всякий раз привозил с собой веселую историю, а не покаянное признание.

В ответ на его рассказы госпожа Хинтерханд: зря тебе дали такую фамилию.

Или:

По истечении налогового года миссис Хинтерханд указала ему на ошибочную запись в декларации — на расхождение между документально подтвержденными расходами и реальными доходами, каковое расхождение вполне могло возникнуть из-за утери некоторых счетов. У нее сделался злой и визгливый голос. Чтобы признать свою неспособность вести бухгалтерию, а с другой стороны — чтобы повеселить жену, он вскричал: я что, завел себе яхту? Или, может, я хожу налево и оплачиваю эти услуги?

Миссис Хинтерханд:

А хоть бы и так! Я ничего об этом знать не желаю.

Может, она ему не доверяет?

Нет, она ему доверяет.

7

Короче, он вполне мог считать себя счастливым. И еще более счастливым, когда ему удалось подвигнуть миссис Хинтерханд вместе с ребенком сопровождать его во время поездки в Америку летом 1939 года. (Ее колебания он истолковал как опасение перед тем, что в Америке он станет "первой рукой".) Так что она жила в полном покое, когда немецкие бомбардировщики впервые добрались до Фолкстона. (Он же в ту пору боялся лишь одного: еще раз надолго с ней расстаться.)

Таким образом писатель Хинтерханд, новосел по второму разу, но теперь уже в США, бездумно ввязался в спор вокруг полковника Линдберга. Чарльза Линдберга, с 1936-го по 1938 год разведчика при Геринге и при германском министерстве воздушного флота, того, что уже после начала войны в Европе попытался настроить американское общество против вмешательства в войну Соединенных Штатов. 15 сентября 1939 года, когда Линдберг в своем радиообращении повторил, что ни Англия, ни Франция не в силах победить Германию, а потому он советовал бы им приспособиться или начать переговоры о новом разделе Европы, гость из той самой Англии, мистер Хинтерханд, на первый по обыкновению вопрос американских репортеров: How do you like America?[1] с готовностью отвечал "да", хотя и делал оговорку, что в этой самой Америке ему решительно не нравится полковник Линдберг. Возможно, по чисто личным мотивам. Ибо сам он приехал из Фолкстона, Кент, Великобритания. Он помнит, какой вид открывается в Фолкстоне со скал, шестьдесят метров над уровнем моря, помнит побережье Франции, которое можно видеть невооруженным глазом. Фолкстон, один из пятнадцати врат. Там воздвигнут памятник Уильяму Гарвею, открывшему кровообращение. De Motu Cordis et Sanguinis, 1628[2]. Беговая дорожка, Старый город, фолкстонский порт, 1313, 1629, 1805, Башни Мартелло... А полковник Линдберг хочет, чтобы все это разбомбили и разрушили, ибо отговаривает сильнейшую военную державу мира уравновешивать британскую несостоятельность. Линдберг, разрушитель Фолкстона! Точка зрения, при которой человек в Соединенных Штатах того времени рисковал остаться в полном одиночестве, разве что этот человек знает, что его собственное motio cordis et sanguinis находится под полной защитой а-ля КАНДИНСКИЙ:

Ныне моя жена знает все, что я думаю, все, что я могу сказать, все, во что я верю, все, на что я способен, все, что я способен сделать, все, чего я сделать не могу, и все, чем я не могу быть.

Уже в начале 1942 года армия США завербовала его для дела, каковое по окончании войны можно было бы назвать интерпретацией новостей в антинацистском духе, см. "Фолкстон", и ему, собственно говоря, вменили в обязанность выехать к месту своей разъездной службы, прочь от жены, прочь от ребенка; среди всех мыслимых заданий он, можно сказать, вытянул счастливый билет, ибо в противном случае ему следовало бы потребовать для себя отправки на фронт с полного согласия жены также и в этом вопросе. Любое возвращение к будням с ней, любой отпуск он начинал с того, что прятал от самого себя часы. И если ему будет дозволено, он хочет привести еще одну цитату, цитату из МАРИИ ЛУИЗЫ КАШНИЦ:

Писатель бывает по большей части весьма одинок, и жена его служит связующим звеном между ним и остальным миром. Она, собственно, и воплощает в себе этот остальной мир со всеми его требованиями, со всей неумолимостью требований и с поистине устрашающим доверием. А любит ее муж по-прежнему или давно уже разлюбил, в общем-то не играет роли —

1. Как вам понравилась Америка? (*англ.*)
2. О работе сердца и кровообращении (*лат.*).

вот потому он и желает ей противоречить. Все стало бы совершенно другим, начни он с некоторой долей недоверия воспринимать все, что ни приносит домой жена из той части дня, которую сам он убивает, сидя за письменным столом, — будь то новейшие новости со светового табло на Таймс-сквер или высказывания лифтера, который, изображая некоторое смущение, выкликает: Congratulations! The Germans have lost another battle![1] Она приносила ему сведения о действительной жизни, и возникни у него в ту пору замысел создать роман на американском материале, он рискнул бы воплотить его, исключительно рассчитывая на содействие жены. Если ему дозволено прибегнуть к другой цитате, на сей раз из ФОНТАНЕ, то последний дает развернутое описание его тогдашнего мировосприятия:

Речь идет вовсе не о том, что нечто или даже все пребывает на некоей идеальной высоте, речь идет о "совместимости", и если здесь человек не ошибется в своих расчетах, то вполне может быть счастлив. Верно, что взаимопомощь играет большую роль. В этом смысле история про "Ежа и ежову жинку" всегда виделась мне образцом нижненемецкой мудрости и поэзии...[2] И соответственно образцом удачного брака... При этом я не отказываюсь от своего мнения, что достойная взаимопомощь при правильном распределении ролей очень много значит для супружеской жизни, и моя "жинка" сумела совершить это великое дело.

Уже на двадцатом году совместной жизни с фрау Хинтерханд он узнал себя в одном месте из ЧЕХОВА, с той лишь разницей, что обстоятельства, всякий раз кажущиеся ему новым началом, описывались в рассказе "Учитель словесности" как начало конца:

Все, что было правильного в ее высказываниях, казалось ему необычным и удивительным, а то, что не совпадало с его словами, было, по его мнению, трогательно и наивно.

Причем эта самая наивность представлялась ему добродетелью и дарованием, и ему казалось великим счастьем прожить так до конца своих дней.

Над Хинтерхандами, правда, посмеивались из-за их симбиотического отношения друг к другу, и все были убеждены, что именно супруга верховодит в этом браке на основе социалистической морали. Другие, напротив, искренне принимали такое положение дел, и некоторые друзья, отчаявшись в собственном опыте супружества, порой даже спрашивали у него совета. Если верить их словам, он в 1947 году прилежал цитируемому далее мнению, как его зачитывали во время судебного разбирательства:

"Чем по сути отличается брак от договора о совместном проживании с предполагаемым разделением труда? Вопрос этот остается для меня открытым. Я приемлю как часть этого определения неписаное правило, согласно которому здесь недопустимы произвольные поступки ни с той, ни с другой стороны, ибо произвол вытесняет одного участника из функции

1. Поздравляю, немцы проиграли еще одно сражение! (*англ.*)
2. "Еж и ежова жинка" — немецкая народная сказка о жене-ежихе, как две капли воды похожей на своего мужа.

партнерства, и тем самым один становится недосягаем для другого. Однако свойства изобретательства, новаторства, переменчивости я не считаю опасными для брака. Взять хотя бы неизбежную реакцию одного на другого и то, что здесь необходима изобретательность, которая совершенно исключает покой и неподвижность. Впрочем, эта справка уж никак не годилась для предъявления иностранному отделу полиции".

В том же году Хинтерханды наконец-то перебрались из города в поселок загородного типа, на остров Гардинерс в заливе Лонг-Айленд, чтобы снова дать ей возможность любоваться водными просторами, а ему — дописать начатые книги, чтобы без внешних помех подготовиться к совместному старению.

Последним из его литературных замыслов был замысел по крупицам воссоздать ее биографию. Все, что вполне подходило для Алисы Б. Токлас[1], казалось ему еще более подходящим для миссис Хинтерханд. И хотя та самым решительным образом противилась осуществлению его замысла, он, говоря в радиоинтервью о своих творческих планах, помянул этот замысел, а звукозапись сохранила для слушателей ее довольно, впрочем, спокойную реплику: Over my dead body[2].

Так что впоследствии суд располагал уликой, нашелся свидетель, которого можно привести к присяге, она же, как выяснилось, предсказала этим выкриком свою судьбу.

8

В ходе судебного процесса — американский народ против гражданина д-ра Джо Хинтерханда — сам он, вопреки заботливым предварительным наставлениям, на вопрос признает ли он себя виновным, ответил: Isn't that for this court to decide?[3], а его защитник, как и положено, выразил ту же мысль в следующих словах: "Ваша честь, мы не считаем себя виновными". Но ни в тот момент, ни при зачтении приговора он не взялся бы решать, правильно это или нет.

Защитник, активный, как может быть активен лишь близкий друг, не рассчитывающий на гонорар, пытался оправдывать обвиняемого, приводя одно смягчающее обстоятельство за другим: "После целых двадцати лет совместной жизни, из них почти четырнадцати лет официального супружества, она вдруг поставила его перед фактом, что изменяла ему, что обманывала его с первого дня. Причем больше всего с одним представителем вражеского государства, изменяла начиная с 1932 года, а потом, после перерыва, возобновила измены благодаря carnal knowledge... плотскому знакомству — это до 1938-го, причем с 1932-го по 1947-й данная связь поддерживалась путем регулярной переписки, в чем обвиняемый вполне мог усмотреть заговор как против него лично, так и против его творчества, ибо связь с носителем фашистской идеологии ставила под сомнение его собственную искренность, после того как сам он и словом, и на письме выступал против этих теорий. Далее, в заслугу обвиняемому надо поставить, что он добровольно отказался от каких бы то ни было попыток избегнуть судебного преследования, более того: в течение первого же часа он вызвал на место преступления полицию, хотя, проживая

1. Алиса Б. Токлас — приятельница известной американской писательницы Гертруды Стайн.
2. Через мой труп (*англ.*).
3. А разве не суд должен это решать? (*англ.*)

в доме, расположенном на отшибе, а также имея при себе достаточное количество наличных денег, вполне мог беспрепятственно уехать в недалеко расположенную Мексику или в расположенную еще ближе Канаду".

Судья, ведущий процесс, с резкостью, достойной всяческого уважения, возразил, что вся эта история основана на hearsay, короче, на слухах. Единственное лицо, которое могло бы усугубить восприятие предыстории данного проступка, состояло в браке с обвиняемым, да вдобавок само и явилось жертвой, а переписка, о коей идет речь, наверняка была уничтожена или недоступна, так как предположительно находилась в Европе. Ходатайство отклонено, разве что обвиняемый пожелает назвать несколько возможных свидетелей как в Америке, так и в Европе... В том, что обвиняемый отказывается назвать эти имена, суд усматривает недостаточную готовность к сотрудничеству.

Того меньше удалась адвокату попытка подать случившееся как действие в состоянии аффекта, возникшего из противоречия между репутацией обвиняемого и его поступком. Все без исключения свидетели были готовы подтвердить красивую легенду о чете Хинтерхандов, осталось лишь деяние в чистом виде.

И еще осталось заявление обвиняемого, что в течение весьма длительного времени он всячески старался наладить семейную жизнь с миссис Хинтерханд, но им помешали интриги одного скандального писаки. Вот эти-то интриги и пробудили в нем синдром Инштеттена[1]. Далее следует объяснение судье, что это за синдром такой, далее требование произнести по буквам фамилию Вюллерсдорф. В результате можно было сделать вывод, что обвиняемый вполне способен к трезвому размышлению, а стало быть, способен и продумать во всех деталях упомянутое деяние.

Будучи спрошен о побудительных мотивах, обвиняемый сообщил, что все это, хотя и не полностью, описано в одном из рассказов ГОРЬКОГО. Правда, у него ускользнуло из памяти, чем кончился спор, за или против зачтения коммунистического текста перед американским судом 1949 года; сам же текст сохранился у него в памяти, а впервые был опубликован в журнале "Красная новь", № 6 за октябрь-ноябрь 1923-го:

Да, я был слишком молод и уверен в себе для того, чтобы ревновать. Но есть чувства, мысли и догадки, о которых говоришь только любимой женщине и не скажешь никому больше. Есть такой час общения с женщиной, когда становишься чужим самому себе и открываешь себя пред нею, как верующий пред Богом своим. Когда я представлял себе, что все это — очень и только мое — она в интимную минуту может рассказать кому-то другому, мне становилось тяжело, я чувствовал возможность чего-то, очень похожего на предательство.

Далее: он совершенно убежден, будто миссис Хинтерханд сама этого желала, начав упрекать его, что это он виноват в том представлении о ней, которое она же ему и внушила. Поначалу, всего лишь оторопев, он напомнил ей, что оба они были вполне согласны с утверждением, содержащимся в недавно вышедшей книге МАКСА ФРИША:

Весьма примечательно, что именно о человеке, нами любимом, мы меньше всего можем сказать, каков он на самом деле. Мы его просто любим, и все. Собственно любовь, чудесная сторона любви в том и заключается, что она

1. Герой романа Т. Фонтане "Эффи Брист", убивший на поединке любовника своей жены.

удерживает нас на весу в сфере живого, в готовности последовать за человеком на всех его стезях. Нам известно, что всякий человек, коль скоро его любят, чувствует себя словно перевоплощенным, словно раскрывшимся, а еще знаем, что любящему и открывается все и предстоящее, и давно знакомое. Он многое видит как бы впервые. Любовь освобождает увиденное от каких бы то ни было уподоблений.

И во всем этом — так гласило ее объяснение — она была готова признаться единственно из лени, чтобы хоть раз избегнуть умственных и разговорных усилий. Даже не сознавая ее обмана и лжи, он все равно несет ответственность, ибо принимал ее именно такой, какой она была. В свое время он сам решил для себя, верить ей или верить в нее. И следовательно, вина за последние двадцать лет их жизни лежит на нем.

Не она накликала на себя смерть своим... своим философическим легкомыслием. Она явилась ему как бы превращенной в принцип, в олицетворение всех сил, враждебных его жизни, ибо они грозят уничтожить значение слов. В такие минуты он только и мог желать, чтобы ее не стало.

Пытаясь оформить вышесказанное в юридический термин необходимой обороны, защитник неизбежно должен был потерпеть неудачу.

Отказ принять участие в погребении "миссис Хинтерханд" почему-то не слишком разгневал жюри присяжных.

"Признать виновным в нанесении удара, повлекшего за собой смерть жертвы, при ограниченной вменяемости на момент преступления".

Полгода содержания в Закрытом доме, вверх по Гудзону — таково официальное наименование исправительного учреждения. После второго сердечного приступа перевод в тюремную больницу. В связи с многократными попытками самоубийства отдан под наблюдение в Институт для душевнобольных. Далее, в связи с безупречным послушанием возвращен в Оссининг. В 1957 году освобожден по причине образцового поведения.

9

Он точно помнит беспокойство, которое внушала ему мысль, что из фотографий, сделанных им между 1926-м и 1947 годами, некоторые затерялись, как помнит и чувство злобного облегчения, когда все до единой обнаружил их в негативах. Таким образом он мог осуществить возникший еще в 1934 году замысел сделать со всех сколько-нибудь удачных негативов отпечатки. Счастье еще, что он в 1926 году сразу начинал с "лейки", поскольку в конце пятидесятых годов ни одна лаборатория не пожелала бы работать ни с чем иным, кроме как с малоформатной пленкой. Иначе пришлось бы каждый негатив по отдельности переносить на диапозитивный материал, ужасная волынка, занятие для техников-профессионалов, хотя, с другой стороны, он избавил бы себя от необходимости выполнять эту работу самостоятельно, ибо теперь ему следовало решать, когда этим надо будет заняться. А поскольку негативы заполнили две большие папки, набитые до того, что их уже не держали скрепки, можно было прикинуть цену и подсчитать, что вся эта затея съела бы половину его сбережений, причем в то время, когда доллар еще был полноценной валютой. Досадно только, что лаборант, обслуживавший его в

1926 году, и это при том, что он был старый его знакомый, не удосужился посоветовать ему с самого начала пользоваться черно-белой позитивной пленкой. Возможно, это было не принято среди таких, как он, любителей. Любитель... вот оно, то слово! Со временем ему все-таки удалось выяснить, что черно-белые диапозитивы дают лучшие результаты, чем увеличенные снимки, которыми он по незнанию довольствовался. Вдобавок на бумаге соотношение между самым светлым тоном и самой темной оптической плотностью составляет 1:30, тогда как в диапозитиве оно при таких же размерах составляет 1:300. Вот и сиди теперь. Разве что с карусельной установкой работать было удобнее, благо там имелось ножное включение. И действительно существует несколько снимков, ради которых он даже готов извлечь из шкафа проекционный аппарат, ибо по затемнениям на прежних отпечатках можно было ощутить время, точнее сказать, его ход.

— Соотношение 1:300 я хочу объяснить, прокручивая на экране кой-какие снимки из лета 1935 года. Дымка над морем, солнечные блики по краям облаков, которые отражаются на волнах полосами различной освещенности. Тщетно вы будете искать что-нибудь подобное при печати на фотобумаге с увеличением. Он решил сделать отпечаток со снимка с задним планом ради полузатененного профиля на переднем, вы наверняка обнаружите этот профиль на бумаге. Вот она, та самая дама, при виде которой у меня некогда замирало сердце, неслыханное осуществление жизни для некоего Джо Хинтерханда. Так думал он, научившись тем временем вспоминать, что именно в этот день она вернулась после одной из своих поездок на континент... с научными целями. На сей раз это была итальянская Швейцария, вследствие чего от нее только и можно было услышать выражения типа s'arrangiarsi da essere stato a Roma senza aver veduto il Papa[1], и вот сегодня Джо Хинтерханд вполне может вспоминать, что она вытворяла, произнося слова такого уровня непристойности, которые сам он когда-то не считал для себя возможным произнести вслух, взять хотя бы "сокроватник" и sleeping dictionary[2]...

— А вот здесь вы видите ее в 1937 году у ног Great Old Lady эмиграции[3]; вы только поглядите, как почтительно она повернула к ней лицо, шея напряжена, подбородок чуть приподнят, ни дать ни взять любимая ученица, совершенно растворившаяся в роли супруги некоего Хинтерханда, прославившаяся своей несокрушимой верностью, которая даже подвигла ее последовать за ним из нацистской Германии. Тот, кто делал этот снимок, ухитрился забыть, что ему же и пришлось прилагать невероятные усилия, дабы она перебралась сюда, а тот, кто поглядит на снимок сегодня, будет охвачен, да-да, именно охвачен... стыдом, потому что сыграл некоторую роль в этом спектакле, иными словами, кто-то — это глубоко презираемый муж, потребный лишь для того, чтобы заботиться о крыше над головой да о хлебе насущном, об одежде и обуви à jour[4], в остальном же он для нее как был, так и остается вторым игроком, одно слово, Хинтерханд...

Это она, собственно, и демонстрирует, вернувшись после ежевечернего похода на почту, тогда как фотографа интересовало единственно

1. Быть в Риме и не увидеть Папы (*итал.*).
2. Слова из постельного лексикона.
3. Предположительно статуя Свободы.
4. По моде (*франц.*).

косое освещение, мерцающие контуры ее подвижной фигуры, при этом он был тронут заботливостью, какую она проявляет по отношению к его работе, а потому и не желает, чтобы почтальон своим приходом отвлекал его от дел. Она даже абонировала ради этой цели почтовый ящик в деревне и ежедневно совершает походы к ящику. Только письма, оклеенные итальянскими и швейцарскими марками, она прячет в сумочке, а впоследствии они занимают некое потайное местечко у нее в секретере, рядом с письмами от Джо Хинтерханда...

— Июнь 1939 года. Главный вокзал Фолкстона, отважная девушка на пути через водные просторы, в Америку, отчего фотограф ловит в видоискатель морщинки у нее на лбу, его мучит нечистая совесть, слишком уж настоятельно он просил ее составить ему компанию на этом долгом пути. Сегодня он вынужден толковать ее морщинки как досаду из-за необходимости распрощаться с гранд-отелями европейского континента и с уик-эндами, которые она проводила в этих отелях, о эти dirty weekends[1]!

— На одном снимке виден Джо Хинтерханд собственной персоной перед микрофоном в Чикаго, отважное выступление против политики изоляционизма и прежде всего против мистера Чарльза Линдберга. Бросаются в глаза уверенность и красноречие человека, которым ни на единую минуту не овладевает страх перед возможными выкриками с мест, хотя один выкрик все-таки прозвучал: а твоя жена, между прочим, спит с фашистом...

— Здесь мы видим ее на борту парохода, которым чета Хинтерхандов возвращается из первой поездки в Европу после войны, в 1947-м. Тот, кто пожелал бы сохранить ее мрачно-рассеянный взгляд, угадал бы в нем воспоминания о днях, проведенных вместе в Цюрихе и Базеле. Сегодня ему куда лучше известно направление ее мыслей, это мысли о двух днях, проведенных ею без него в Локарно...

— Миссис Хинтерханд на сороковом году, играет в теннис на Лонг-Айленд, прыжок с занесенной рукой зафиксирован так, что она выглядит много моложе своих лет. Своему партнеру, а партнер — их тринадцатилетний сын, полностью отдавшийся игре, — она только что крикнула: браво, Антоониооо! А тот, кто смотрит в глазок видоискателя и ловит каждый издаваемый ею звук, преисполнен глубокого восхищения, он восхищен и ею самой, и ее стремлением наделить мальчика интернациональным именем, принятым в странах английского и немецкого языка; позднее она скажет ему, что он должен обзавестись другим происхождением и другим языком: итальянским...

Пургаторий — чистилище — ради одного-единственного человека? Он предпочитает видеть это слово в переведенном виде: химчистка, dry cleaning.

В былые времена он прогонял все кадры не меньше пяти раз в год.

Начиная с 1947 года он никогда больше не прикасался к фотоаппарату.

10

Тщетно было ожидать от него и появления аутентичного американского тюремного романа (ANAP).

Ибо в момент прозрения, когда он понял, что перед ним лишь разыгрывали подлинную жизнь на фоне ложной, сознание его замерло, остано-

1. Грязные уик-энды! (*англ.*)

вилось, было запечатано, обернулось всего лишь емкостью, где недвижно хранится прошлое. В тюрьме он всего лишь наличествовал, изолированный от внешних ощущений. Так, например, одна посетительница из былых времен напомнила ему про ту ночь, когда он брел под расползающимися одеялами между двух охранников по затемненному коридору, слабый, как тяжело больной человек. Он понял, что для свидетельницы это осталось незабываемым впечатлением. Но у него в памяти оно не сохранилось, было погребено под бременем лет. Сознание закрылось для новых впечатлений. Разве что чисто случайно, при виде расцветших деревьев в Риверсайд-парке, у него под окном, он вспоминал былые восторги, но ведь такой мотор должен включаться автономно и не перегреваться.

И напротив — уцелевший материал, воспоминания двадцатилетней давности, что лежат между 1926 и 1947 годами, окончательно подгнили. Ибо тот, кто вознамерится передать чувства будущего отца, может исходить лишь из собственных впечатлений, а впечатления эти внушены ему обманом и потому должны быть вычеркнуты из памяти. Волнение, испытанное при первом подъеме в воздух на самолете, имеет причиной не одни лишь достижения техники, но и, скажем так: надежды на встречу с... с любимой женщиной; впрочем, едва выяснилось, что она и есть тот самый человек, который желает ему смерти, воспоминание приобрело негативную окраску и отпало как необходимая предпосылка для сочинительских трудов. Точно так же обстоит дело и с воспоминаниями о шумах Главного вокзала в Гамбурге, услышанных в ночном гостиничном номере, или в гавани Фолкстона, которую со всех сторон обступили террасы на склонах и дома на террасах, или неровный перестук надземки на внутренней дуге Чикаго; так выглядят житейские впечатления из тех двадцати годов; даже случайные соприкосновения в сознании, как их поставляет нам память в соответствии с заданной и до безумия произвольной программой, выделяет их, исключает их, часть за частью, часть за частью. И подобно фотоснимкам, запасники воспоминаний отягощены неодолимым барьером: *неверно, ложно, отравлено, обесценено, недействительно.*

От системы, включающей наше сознание, сохранился по крайней мере автоматизм, вполне достаточный для того, чтобы перевести почти все американские тексты на немецкий. Джо Хинтерханд, высоко ценимый переводчик, аккуратный, пунктуальный и тому подобное. Несчастный случай на производстве.

11

Врачебный консилиум подтвердил, что состояние пациента Хинтерханда следует толковать физиологически, как капитуляцию организма перед коронарными сосудами... ну, перед инфарктами, что может быть установлено на основании органических поражений, например разрушения почерка или, скажем, полной утраты мелодики американской речи. Действительно, пациент остается одним из тех немногих клиентов Нью-Йоркского банка, которые по-прежнему вынуждены пробиваться сквозь джунгли городских улиц с наличностью в кармане, дабы таким путем избегнуть подозрений в подлинности своей подписи, и даже в ближайшем филиале, том, что за углом, менеджер должен всякий раз удостоверять законность очередного чека, если дежурному кассиру еще не ведом феномен "Хинтерханд". Это же подтверждает и возвраще-

ние к немецкому акценту, да и вообще затрудненность речи. Исцеление первого лежит для сегодняшней науки вне пределов ее возможностей, исцеление другого представляется слишком трудоемким.

Согласно выводам представителей другой науки, психоанализа, он покамест находится лишь в начальной стадии, стадии разведки, поскольку оказался решительно не способен следовать теориям этой школы иначе, как на путях абстракции, которая ни при каких обстоятельствах не превращалась в истинное переживание, потребное для постижения. Так, например, он в качестве подопытной модели хоть и мог постичь, из-за чего дитя мужского пола завидует отцу, завидует его отношениям с матерью и на место этой недоступной для него женщины подставляет фигуру другой, но коль скоро сам он воспитан множеством приемных родителей, видевших в нем всего лишь докучное бремя, подобная зависть, потеря и замещение остались ему чужды. Не исключено, что это потеря для науки. Ибо ему был с некоторым ужасом задан вопрос, как же он мог до такой степени, целиком и полностью, довериться другому человеку, не скрыв от него ни малейшей частицы собственной личности. На это он уже вполне разумно признался им, что вообще-то застрял на половине пути к воплощению своего замысла — любовь, лишенная предрассудков, — чтобы, не учиняя над собой ни малейшего насилия, предъявить серьезные обвинения своим свидетелям защиты, от ПЛАТОНА до БЛОХА, ибо по меньшей мере один из них вполне мог исходить из собственного опыта. Далее, пациент Хинтерханд был заподозрен в том, что опасался разрыва между собственной персоной и другой, словно испытывая болезненное желание очиститься от ложных элементов, ну хотя бы затем, чтобы избежать их некроза. Что означало бы для него отменить существование памяти. Возможно, его рассудку повредило предубеждение — или уверенность, — что после двадцати лет полнейшего прорастания друг в друга попытка избавиться от испорченного образца жизни осуществима лишь ценой утраты второго, неотъемлемого элемента — подлеска для леса, камышей для болота, жимолости для розового куста, межи для пашни, сухожилий для мяса, ну и так далее. Из чего следует, что заболевание предположительно состоит в нарушении одной из функций памяти. Правда, он и сам остерегается потворствовать воспоминаниям, а тем паче вызывать их. Так, например, он теперь избегает Бродвея в пору рождественских праздников, ибо в ушах у него и без того звучит песня, которую при нем распевала одна немка, намеренно утрируя звук "р" на иностранный манер, чтобы развеселить дитя, а песня была такая: "Рудольф, олень красноносый..." Далее, он рискует снова повстречать на этой улице ту же матрону, которая поднимает воротник пальто у своего мужа, дабы защитить его от пронзительного ветра, и одновременно приглашает всех прохожих вместе с ней полюбоваться на мужнину беспомощность. Подобное единодушие между супругами или вид любовных парочек всего лишь несколько лет тому назад вызывал у него слезы. Вот почему кинотеатры на Бродвее для него закрыты, вот почему он с самого начала отказался от телевидения и, даже слушая радиопередачи, которые необходимы ему для чисто профессиональных целей — чтобы упражняться в американском языке, — он должен проявлять сугубую осторожность. Он незамедлительно переключает программу, едва объявят что-нибудь итальянское, неважно, музыку или речь... из... гигиенических соображений. Впрочем, однажды, включив по недосмотру какую-то программу, он угодил в самую середину фразы, произносимой артистом: It would be like paying a stranger for get-

ting to bed with your wife[1]. Передача, основанная на совершенно свободной от подозрений ДЖЕЙН ЭЙР, имела для него печальные последствия, когда он услышал из уст женщины: I do love you for my heart[2]. В Риверсайд-парке он описывает дугу вокруг стволов голосемянного гинкго, тех, что растут севернее Орлеанской Девы и как раз напротив Девяносто третьей стрит, ибо лист гинкго был некогда одним из его гербов и воспоминание о строчках с пятой по одиннадцатую в относящемся к этому стихотворении угнетало его. От обедов вне дома он отказался, поскольку походы в ресторан раньше всегда предполагали какое-нибудь торжество: день рождения, успех, желание повеселиться; теперь же он предпочитает еду из консервных банок. Избавиться от лишней мелочи в карманах — это тоже своего рода облегчение, поскольку на монетах вполне могла быть выбита дата: 1926, 1935, 1947... Как ему доводилось слышать, пассажиру в современных самолетах сидеть довольно неуютно, теснота не оставляет пространства для внезапных проявлений тревоги. Последний раз он поднимался в воздух в 1946 году. Но стоит лишь опрометчиво ступить босой ногой на выложенный плитками пол, как ты уже в ловушке, и тебя догоняет то самое утро на море, 1928-й, 1938-й, чувство пробуждения, когда плаваешь, чувство радости перед началом дня, и все это обесценено, отравлено, утеряно, хотя и бесконечно присуще тебе.

Он разделяет мысль МАКСА ФРИША, которую тот опубликовал одиннадцать лет тому назад. Мысль эта такова: сейчас неподходящее время для историй от первого лица. Вот и он некогда пытался изобразить отдельные личности лишь в их тесной взаимосвязи со множеством других, в организации общества, избегая при этом тех историй, которые, как ему казалось, сосредоточены на одном-единственном человеке или, от силы, на двух, что праздно, безответственно, непозволительно. И однако же — так выглядит антитеза — человеческая жизнь совершается вокруг одного-единственного "я", совершается или рушится там же. Там и нигде больше.

Приняв это на веру, его можно счесть одним из неудачных вариантов, из тех, кто потерпел крушение.

12

В 1949 году, представ перед судом, он всей душой мечтал о приговоре, во исполнение которого его лишат жизни, все равно как, на электрическом стуле или через повешение, причем для него была важна не сама форма наказания, а возможность отыскать наконец спасительный путь, возможность обрести выход. В результате же он был вынужден сам для себя придумать форму смертной казни — казнь через доживание.

Марта на отдыхе

Вот здесь речь пойдет совсем о другом. Возможно, несколько действующих лиц совпадет с теми, которых мы уже встречали в "Миссис Креспаль"[3], но если все пройдет как задумано, получится вполне самостоятель-

1. Это все равно что платить постороннему человеку, чтобы он переспал с твоей женой (*англ.*).
2. Я люблю тебя всем сердцем (*англ.*).
3. Имеется в виду тетралогия Уве Йонсона "Дни года".

ная книга. Название у нее будет такое: "Марта на отдыхе", а состоять она будет из нескольких попыток Клауса Нибура рассказать о своей матери.

Попытка первая

Ранним летом 1932 года Марта Клюндер собралась на пару с Петером Нибуром в лодочный поход, причем уже в пятый раз. Время встречи — третий четверг мая, место встречи — вокзал в Фюрстенберге, что на Хафеле, оттуда еще отходит железнодорожная ветка до Люхена.

Добрый день, Петер-Петя. Да-да, эта история должна бы стать историей про Марту. Но для начала мы увидели лишь тебя, ты прибыл во второй половине дня на поезде, идущем со стороны побережья. А вот из берлинского поезда никакая Марта не вышла. Ты можешь, конечно, обшарить взглядом все платформы, разочарование порождает пустоту в твоем сердце, ибо ему не хватает Марты. Если возникла боль, признайся в этом себе самому. Тебя воспитали в духе естественных наук, так какое же тебе дело до игры модными словами? Потом заветрившийся кирпичный фасад Фюрстенбергского вокзала становится еще более облезлым, чем казался в предвкушении радости. А опаленный солнцем товарный вагон показывает тебе, как следует выносить ожидание.

Воспоминание

Петер Нибур, год 1926: Знаешь, чего я не выношу? Ожидания. Я воспринимаю его как покушение на мою жизнь. Чем прикажете заняться одному человеку в то время, которое он приберегал для другого?

Марта Клюндер, те же шесть лет назад: Но ведь ты все равно ждешь меня.

Петер: Но предпочитаю ждать вместе с тобой.

Марта К.: Знаю я тебя, ты решил подарить мне часы. А часы мне без надобности.

19 мая 1932 года. Ради этого дня господин доктор Нибур облачился в синюю форму машиниста, а еще надел прорезиненные бутсы — для лодки. Петер, он высокорослый и широкоплечий. И тут, конечно же, какая-то старушка сует ему прямо под ноги свою корзину, а он послушно подхватывает эту корзину, спешит вслед за старушкой и даже отвечает на ее вопросы, словно его ничто не тревожит. Сквозь открытые окна привокзальной пивной он видит: никакой Марты там нет. Будь в камеру хранения сданы вещи на имя Клюндер, он бы их сразу углядел. Да-да, он и в самом деле готов беседовать с этой бабушкой по фамилии Лабан: про майскую жарынь — с самой Троицы и всю последнюю неделю, жарынь и ни капли дождя. При такой пересохшей почве пшеница кой-где вообще не взошла. Он говорит на таком же южном мекленбургском наречии, как и бабуля Лабан, та, верно, думает, что он из здешних, но долго прожил в городе, потому что кисти рук у него стали узкие. А по манере наклонять голову во время разговора видно, что он привык разговаривать с человеком, который на голову ниже, чем он.

— А в корзине, которая обшита холстиной, там у вас случайно не цыплята?

— Да, это цыплята. Их надо сдать в почтовый фургон, который идет на Бредерайхе. Итак, что она должна господину за помощь? Вот он ужотко будет проходить через год мимо, тогда и возьмет себе в награду одно яйцо. Бабуля рада-радехонька. А фройляйн, которая служит на почте в

Фюрстенберге, сразу видит, что это человек из Берлина, потому что он просит "одну марку для местной корреспонденции". В глазах Элли Корбюн, "Писчие товары и машбюро", он, без сомнения, студент, у кого еще, спрашивается, могут быть такие изысканные пожелания.

Фюрстенберг, жителей — четыре с половиной тысячи. В аптекарском магазине Инхан его принимают за туриста, который собрался делать фотоснимки. Причем за туриста образованного, недаром он прямиком топает к церкви. Рыбаки на Баалензеебрюкке полагают: он опоздал на пароход, но с какой стати он тогда разворачивается и уходит? Ну чего ради рассказывать им, что на этих мостках вполне могла сидеть Марта Клюндер? В общем, темное дело с этим пассажиром, при себе у него только и есть, что истертая сумка из парусины, такая сумка уж никак не может служить рекомендацией в глазах хозяев фюрстенбергских отелей. Верно, верно, он поворачивается и уходит обратно, к вокзалу.

А если спросить по этому поводу Фридриха Дюзеншёна, тот объяснит, в чем тут дело, недаром он повидал свет, этот Фридрих Дюзеншён. Итак, перед нами просто безработный, вот на таких-то с нас и дерут налоги. Сам Фридрих Дюзеншён, к слову сказать, никаких налогов не платит. Это мужчина лет шестидесяти, с морщинистым лицом, сидит он себе в тиковой куртке и мятых штанах на скамье, как раз под окнами станционного ресторана, и, если судить по значку, он почетный служащий отеля. И вовсе не Дюзеншён ему фамилия, но таких Петер уже навидался на своем веку, на скольких углах они только ни сидят, дрожа от любопытства, изнемогая от желания с кем-нибудь поговорить, да такой одним только взглядом выпьет кофе из твоей чашки, пожалуй, надо дать ему какое-нибудь имя. И вот что грызет нашего дорогого Фридриха всего сильней: этот молодой человек наверняка живет на пособие, а сам притом заказывает целый кофейник, значит, кофейник да плюс чаевые и налог на напитки обойдется ему не меньше чем в семьдесят пять пфеннингов. Впрочем, у бабули Лабан взгляд более острый и точный: к сожалению, этот самый Фридрих еще изрядное время просидит у общины на шее. Фрау Ловизе Лабан с некоторой долей ехидства улыбнулась своему предположению, что синий пиджак у молодого человека тщательно отутюжен, и белая рубашка под пиджаком — тоже, сам же он не далее как вчера побывал у парикмахера, где его подстригли под ежик, а при такой прическе вполне можно и галстук носить. Итак, молодой человек прифрантился, он ждет девушку, он хочет произвести на нее впечатление.

Добрый день, Марта, ибо ты снова здесь, в неотступном взгляде Петера и в его воспоминаниях. Стоит только описать приметы, как тебя сразу отыщут. Роста в тебе 1,64 метра, глаза карие, темные, круглая головка, правильные черты лица, мягкая, слегка отвисшая грудь, бедра узкие, таз слегка низковат, ноги красивые, на язык остра, акцент мекленбургский, звучит как подделка, голос — альт, возраст — двадцать пять лет и два с половиной месяца, студентка, специальность — немецкий язык и психология, место жительства — Саксония, опоздание составляет семьдесят две минуты. Вот только в сознании Петера ты не разделена на отдельные понятия. Ты целиком там живешь, со всем, что он уже видел и слышал, и это хранится в его памяти одновременно, хотя сейчас он неотрывно думает лишь об одном: зачесала ты волосы наверх или нет. Его бы это вполне устроило. А за этими размышлениями он успевает забыть, что ждет тебя. Ибо ты всегда присутствуешь там, где присутствует Петер.

Попытка вторая

После садов Ораниенбурга Марта — так она расскажет Петеру по дороге — только и думает о том, почему она едет другим поездом, а не тем, которым уговорено. Необходимость извиниться одолевает Мартину гордость, она предвидит также, что Петер не даст ей договорить. Петер с серыми глазами, Петер с полными губами, ах, как он умеет молчать.

Лёвенберг, Гранзее. К великому сожалению Марты, точность — один из первых вопросов, по которым они с Петером достигли согласия уже начиная с 1926 года. Она могла бы возразить ему, что, ожидая другого, человек неизбежно думает об этом другом, но согласилась бы с ним, что подобное воспоминание отравлено, поскольку тебе не известно, как долго этот другой будет отсутствовать. Время без нее Петер выносит лишь с большим трудом. Так и должно быть, это ей по вкусу, хоть она и никогда в этом не признается. Опоздание всегда ошибка, оба это знают и оба стараются скрыть, она — свое раскаяние, он, Петер, — свое огорчение. В общем, начало подпорчено. Ну на кой ей сдалась витрина на штеттинском вокзале, витрина, которая задержала ее надписью на одной из этикеток: "Костюм лодочный", который она и купила единственно из радостного предвкушения. Но, совершая такие покупки, вполне можно наткнуться на подружку прежних лет: Петер, ты только представь себе, это была тетя Марго, она недавно приняла католичество и вышла замуж. Теперь ей запрещено общаться с такими людьми, как ты, или, скажем, как я. А пока подавали кофе, поезд взял да и ушел. Но покупка оказалась очень удачная. Тетя Марго тоже так считает. Ткань на костюм для поло, еще белая блузка, и за все про все пять девяносто пять. Ты знаешь, как мне это пойдет! — вот первая фраза, приготовленная для Петера.

Данненвальде, Дрёген. Она специально сделает прическу для него. Для него она и волосы отпускает, отпускает последние шесть лет, их уже можно зачесывать наверх, потому что ему приятно видеть, какая у нее круглая голова, какая стройная шея. Это он ей говорит, но не говорит, что она превращается из девочки в женщину.

Хафель вторично проползает под поездом. Хафель сверкает в честь каникул. Близится Фюрстенберг. Следующая — Фюрстенберг. Марта сразу видит Петера, у того места, где останавливается багажный вагон. Но Петер стоит, прислонясь к забору, и явно никуда не спешит. Он смотрит на нее чужим и любопытным взглядом, хотя ведь не может не думать про ту фразу в ее письме: "А еще у меня есть новая блузка, и я тебе ее покажу". Она сразу угадывает игру, она ее сама придумала после Ораниенбурга. Игра выглядит так: "Мы совершенно посторонние люди, сейчас мы познакомимся. И это будут полчаса исключительно для Фридриха Дюзеншёна. Любезно, размеренным шагом он подходит к молодой даме, приехавшей из столицы. В столице она, конечно, знает все входы и выходы, но здесь, в Фюрстенберге, ей не обойтись без его помощи. Он — мужчина в расцвете сил, и предубеждение, которое он питает к бабью в брюках, уступает его тяге к элегантности. Он повидал свет. И она в самом деле спрашивает его: не может ли он оказать ей любезность.

— Милостивая сударыня, нет, милая барышня, обратясь к Фридриху, вы сделаете самый правильный выбор.

Растерянная и беспомощная, она протягивает ему багажную квитанцию, а уж он, можно сказать, припускает со всех ног, могучим взмахом подхватывает ее парусиновый мешок с палаткой, понтонную повозку, рюкзаки и забрасывает их на открытую платформу лихенского состава,

и все перекладывает, и принимает ее приглашение — для него это великая честь — разделить с ней купе, тем более что у него и дела в Лихене есть. Но к его великой досаде спустя короткое время появляется этот тип в синей куртке, совершенно не учитывая и не уважая права старшего, права господина Дюзеншёна. Единственное, что говорит в его пользу: молодой человек скромно забивается в уголок, у другого окна, как вполне посторонний человек.

— День добрый, — говорит молодой человек, и с хмурым видом, от имени дамы и от своего, Фридрих отвечает: день добрый. Ему надо подумать про погоду, чтобы можно было рассказать ей что-нибудь на эту тему. У тех, кто поднаторел в гостиничной службе, это называется вести беседу.

— Пусть у меня будет компания, — предлагает молодая дама. Фридриху доставляют удовольствие звуки ее голоса, ясного и четкого в любом слове, короче, совершенно мекленбургского. Уж не показалось ли ему, Дюзеншёну, что его спутница бросила на дерзкого пришельца взгляд, серьезный и пытливый. Нет, нет, конечно показалось. К сожалению, она проговорила нечто до того очевидное, что Фридриху только и приходит на ум единственный вопрос: можно ли ему закурить? Курение, разумеется, разрешено, об этом свидетельствует красная табличка на стене, но уж Фридрих-то знает, как подобает себя вести в дамском обществе.

— Ко всеобщему удовольствию и развлечению, — весело говорит она.

Фраза довольно загадочная, но Фридрих счел за благо рассматривать ее как разрешение, после чего извлек из кармана уже початую сигару. К сожалению, тот, второй, тоже раскуривает трубку, словно разрешение дамы распространялось и на него. Господин Дюзеншён вне себя от негодования, он все еще продолжает кашлять, когда поезд уже отправился. И лишь после Равенсбрюка, лишь возле Регенштайнбаха он почувствует себя достаточно уверенно, чтобы объяснить даме, что этот водный массив именуется также Тименбах, а назвали его так в честь расположенных поблизости Тимензее и лесничества Нойтимен, через которое мы, дорогая фройляйн, как раз и проезжаем.

Он хорошо знает эти места, уж кто-кто, а Фридрих их знает. Если тема погоды безвозвратно упущена, остается возможность поговорить о пейзажах и прекрасных видах из окна.

— Да, — вдруг произносит его визави, хотя считать это одобрением едва ли можно.

Но дама рывком вскидывает подбородок так, словно она крайне чем-то удивлена, словно боится поверить своим глазам, и взволнованно восклицает:

— Ой, а здесь тоже грядки!

— Грядки? Грядки в лесу?

— Вероятно, милостивая фройляйн имеет в виду границы охотничьих участков, — определяет Фридрих своим раздумчивым голосом. Уж что он знает, то знает! — Это, видите ли, такие делянки в лесу, а межи между ними, чтоб вы знали, называются просеки. А некоторые еще называют их вырубки, это дороги, по которым люди возят дрова. Вот так-то.

Но собеседница Фридриха стоит на своем:

— Никакие это не просеки, это грядки.

И на какое-то мгновение она преображается в глазах Фридриха, теперь это одна из породы тех дамочек, что селятся в отелях, сварливо и

упорно стоят на своем, хоть ты им двадцать раз все объяснил точно и обстоятельно. По большей части таким дамам около пятидесяти. Ну и намыкался же с ними Фридрих! Эта молодая дама по меньшей мере вполовину их моложе. Но упорно, словно путешествующая без сопровождения матрона, указывает она ему на разделенные участки леса вдоль дороги, короткие и вскопанные по краям, как огородные грядки, или тропинки, утоптанные, как садовая дорожка. К своему великому сожалению, Фридрих и сам это теперь видит. Тропинка едва ли многим шире, чем проходы между грядками, словом, никакая тачка здесь не проедет. Но может ли порядочный человек отказаться от своего слова? И однако он не испытывает ни малейшей благодарности, когда третий в купе, этот курящий трубку и пьющий кофе бездельник, вмешивается в беседу между ним и молодой дамой.

Медлительным, глубоким голосом — такие голоса Фридрих слышал у дикторов радио — он говорит:

— Это пожарные просеки, сделанные для защиты от искр, которые сыплются из трубы паровоза. Просто безответственная наглость со стороны железной дороги — и все это в 1932 году!

К великому огорчению Фридриха, его ученица тоже поворачивается к незнакомцу, к этому молодому зазнайке, хотя тот вроде бы ни к кому не обращался, а на нее даже и не глянул. Слишком поспешно — это на взгляд Фридриха — она возражает, что через такие узкие просеки огонь вполне может перепрыгнуть.

— Ведь правда? — спрашивает она с недопустимой доверительностью и еще добавляет: — Или у меня глаза старушечьи, ничего не видят?

— Да уж, барышня, глаза у вас старушечьи, — отвечает этот тип, даже не успев толком влезть к ним в купе.

Фридриха так и подмывает возмутиться: это ж надо, сказать даме, что у нее глаза старушечьи. Мало того, у нее вдруг сделался скромный, сделался смиренный вид. Она покорно выслушивает из уст этого красавчика такую фразу:

— Горят не столько леса, сколько подлесок, опавшая хвоя, корневища, фашинник. Вы, наверное, слышали, что бывает, когда горят торфяники, огонь идет под землей, просто ужас.

Это выглядело как примирение. И тут Фридрих Дюзеншён должен был выслушать от Марты странную, просто очень странную историю. Судя по ее рассказам, именно Берлинская окружная дорога и в частности один берлинский носильщик могут оказаться повинны в том, что человеку, когда он путешествует, проще простого опоздать на поезд. Фридрих солидно кивает в знак согласия, хотя столица со множеством вокзалов дальнего следования до сих пор не входила в сумму его познаний о мире и уж тем паче он не смог бы совершить там пересадку. Петер же остерегается отвести взгляд от проносящегося мимо леса. Ибо Дюзеншён был бы возмущен до глубины души тем, что кто-то позволяет себе смеяться, когда он рассуждает на разные темы с фройляйн Клюндер. Ведь ни в одном из ее слов нет ни на грош правды. И уж если есть на свете человек, который знает городскую железную дорогу в Берлине как свои пять пальцев, то этот человек — Марта. Вот уже целых два года утром каждого второго понедельника она прекрасно находит дорогу из постели Петера к Анхальтскому вокзалу, а оттуда на поезде дальнего следования до Лейпцига, прямой вагон — на Вентимилья. Благодаря электропоезду он неустанно возит ее на прогулки между Тегелем и Ванзее. На остановке Химмельпфорт де-

вушка позволила себе поддержать Фридриха, сказав со вздохом: "Ах, какие здесь леса, просто чаща". Хотя сама вместе с Петером побывала на Ростокской пустоши и на Хайдберге, что в Гюстрове, а еще в Цеденикском бору. Марта давно уже привыкла к лесным массивам. Когда поезд поехал по открытому месту и достиг берега Большого Лихенского озера, Петер вторично обернулся к спутнице господина Дюзеншёна и сказал с каким-то сомнением в голосе, скорее даже с укоризной:

— А уж багажа-то вы с собой набрали...

— Само собой, когда человек на свете один-одинешенек, — отвечает та.

И поскольку Фридрих неуклонно придерживается требований этикета, он ожидает после этих слов сочувственного молчания. Его не слишком благоприятное мнение о манерах столичной молодежи вторично подтверждено вопросом, который Петер задает быстро и небрежно:

— Уж не надеетесь ли вы, что я помогу вам добраться до озера со всем вашим багажом?

— Не только надеюсь, но и вполне уверена, — отвечает Марта мрачно и откровенно.

Фридрих Дюзеншён уже вполне мог бы отправиться домой, располагая тремя марками и доказательством того, что она все-таки бывает на свете, любовь с первого взгляда. Но что-то внутри у него свербит и мешает оставить этих двоих наедине. В дальнейшем он не раз и не два будет рассказывать, как недостойно обошлись с ним, пожилым человеком. Ибо лишь после того, как, повинуясь указаниям Марты, он соберет из резиновой оболочки и каких-то непонятных колышков байдарку, перед его взором предстанет Петер, который сидит и поджидает у мостков в точно такой же байдарке. Мало того: этот безработный достанет из своей облезлой сумки малоформатную фотокамеру, от которой так и разит богатством. Под конец, оправившись от удивления, Дюзеншён даже позволит тому запечатлеть, как он стоит на берегу, растерянный, с бессильно повисшими руками. Редкие и встрепанные седые волосики венчают его лицо, сморщенное от непосильных раздумий. Взяв три марки, он кричит: "Я же не для этого старался!" И все. И скатертью дорожка, Фридрих Дюзеншён.

Лишь после того, как Дюзеншён скрывается из вида за густым камышом, вы начинаете кругами подгребать друг к другу, пока одна байдарка не уткнется в другую. Это у них такая форма приветствия, принятая уже шесть лет назад. Руку вы подаете только чужим людям, а друг друга вы заключаете в объятия.

— Петя, ты чувствуешь, чем от меня пахнет?

— От тебя очень хорошо пахнет. Крапивой.

Попытка третья

Какая светлая у них палатка, их парусиновый дом, тебе невольно приходится открыть глаза. Хотя проснулся ты от того, что рука твоя вдруг стала пустой и легкой. Твоя Марта тебя покинула. По счастью, тебе удается обнаружить мерцающие очертания ее головы в утренних водах, восточнее их островка. Наконец она возносит руку к солнцу. Доброе утро!

20 мая 1932 года. Высокий островок посреди озера круто обрывается к воде. На самой вершине островка, на просеке, среди сплетения кустов и

ельника притаилась ваша палатка. Открыт лишь один проход, но озеро должно оставаться свободным от рыбацких лодок, да и на островке вы одни-одинешеньки. Обнаженная – если, конечно, не считать купальной шапочки, – на взгорок поднимается Марта.

– А если бы меня кто-нибудь похитил? – с упреком говорит она и ныряет в махровое полотенце, которое ты подаешь ей как слуга.

– Кто опоздал, тот останется без завтрака, – отвечает слуга.

Второй снимок, сделанный в этот же день, означает расставание. На нем изображена Марта, сидящая в лодке. Лодка стоит вплотную к берегу, позади – сверкающие барашки озера и вырастающая из воды суша, прикрытая неравномерно растущими ветлами. Стрелки камыша перед ней стоят тихо-тихо. На поверхности воды лишь едва заметные волны – до того обленился ветер. Байдарка стоит на высокой воде, словно узкая, длинная стрела, которая вот-вот вылетит из лука. А Марта ждет, уже взяв весло в обе руки. Снимок ты отдал на увеличение, 10 x 15 см. Ты пытался узнать, что скрывает свет, направленный в лицо, что прячут тени на ее лице. Но лишь при цифрах 18 x 24 ты отыскал это в своем воспоминании. Не только поворот ее головы к тебе, но и вопросительный взгляд – все запечатлено на снимке. И если ты хочешь сохранить этот, последний взгляд, она будет сидеть тихо, как только сможет.

– Мог бы и спеть что-нибудь за мои деньги, – требует она, а сама, описывая полукруг, отгоняет байдарку назад. И вот уже Петер стоит на песках земли Бранденбург, вполне готовый для выступления на сцене, рука прижата к сердцу, и горестно льется ария: “Марта, Марта, ты сокрылась”... “а со мною портмоне”, – злорадно завершает она, сама же тем временем осаживает назад, за камыши, курс – на Лихен. Марта едет за покупками. А пела она в такой вот манере – она сама называет это “манера одной из бывших”, ужасные перепады высоких и низких тонов, причем завершающее слово арии звучит у нее так: порхтмонет! И этот ее голос раздается у тебя в ушах все утро, пока ты заклеиваешь киль байдарки, так что порой ты, незаметно для себя, ей подпеваешь.

У тебя повышенный интерес к именам. Не из-за ее ли имени ты и начал бегать за ней, как объяснял студентке Клюндер во время чаепития? К тому времени Марте успело донельзя наскучить ее имя. Уж слишком часто ее дразнили из-за хозяйственной хлопотливости библейской Марфы, сестра которой Мария избрала благую долю, и не менее часто ее дразнили цитатой из оперы Флотова. Но Петер сумел ей доказать, что оперная Марта была переодетой фрейлиной королевы, хоть неискусной в прядении, но наделенной незаурядными способностями в исполнении песни “The last rose of summer”. Лично тебя больше занимает другая библейская цитата, из того же Луки, 10, 38: “здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой”, как подтверждение действительности, заключенной в одном-единственном имени. Тогда тебе очень понравилось, что эта истина стара, как сам Вавилон.

Имя собственное, nomen proprium, в человеческих высказываниях есть слово, которое заменяет обозначение личности или предмета, являющегося темой данного высказывания. Согласно этой магии она, в имени своем, была для тебя единственная в мире, девятнадцатилетняя Марфа, лишь ее ты подставлял на место Марты, которая сокрылась, и с тех пор ты отмечал каждое 29 июля как день ее тезоименитства. Под жаркими лучами солнца ты тихонько выпеваешь ее имя, но в первоначальном варианте: “Возврати мне, что нашла ты, иль со мною раздели”.

Воспоминание

Марта Клюндер, осень 1926-го: вечно ли ты сеешь нечто в мыслях других людей, и тогда у них в саду вдруг произрастает что-то новое?

Петер Нибур, тоже шесть лет назад: какое мне дело до других людей?

Марта К.: Я недавно перечитала это место, и там говорится так: женщина именем Марфа приняла его в дом свой. Разве я не женщина?

Петер Нибур: Ты меня сфотографировала?

Марта: Да уж, и думаю, что я тебя никому не отдам.

А с ней — и его портмоне, а в портмоне действительно были деньги. Вчера ты выдал ей в их общую дорожную кассу целых двести марок. В Германии в этот год более шести миллионов остались без работы и без шансов ее получить. Лишь половине из них государство выплачивает пособие по безработице. И Фридрих Дюзеншён хоть и держался очень гордо, но в конце концов не без удовольствия принял вознаграждение. Из каждого миллиона жителей Германии каждый год кончает самоубийством 260 человек — от голода, лишений, отчаяния, это больше, чем в любой другой стране мира. А у вас есть деньги, есть что менять. Вот спроси у Марты, она назовет это надежностью. Надежное будущее, — говорит эта особа, которой не пришлось ни наниматься приходящей прислугой, ни вымаливать деньги за уроки в качестве репетитора. Еще до сдачи экзамена Марту взял к себе на службу один весьма самостоятельный профессор. Профессор этот вознамерился доказать что-то основополагающее в истории искусств, он готов еще пять лет выплачивать ей жалованье за справочные изыскания в библиотеке и за навыки в машинописи. За время своей работы у профессора она так его выдрессировала, что теперь он даже дает ей один свободный день в неделю, чтобы она могла заниматься своим поэтом Мёрике. Причем этот день ей нужен именно в конце недели, когда она ездит в Берлин к некоему господину Нибуру.

— Но все-таки одного из нас это уже коснулось, — пытается доказать ей он. — Ведь целых два с половиной года тебя никто не хотел брать на службу, а если кто-то спросит меня, то ему будет сказано, что все эти годы я прожил единственно благодаря пишущей машинке, которую Марта водрузила мне на стол осенью, пять лет тому назад, совсем новую машинку, только что с фабрики, сверкающую игрушку, играя на белых клавишах которой ты сумел пробиться, ты печатал для других людей, пока не завершил работу над собственной диссертацией, а Нибур тем временем не приобрел известность как специалист по сельскому хозяйству в земле Мекленбург со времен Тридцатилетней войны и тем сделал себе достаточно громкое имя для того, чтобы занять пост редактора. А уж если этой осенью на книжный рынок поступит твоя вторая книга, ты вполне сможешь приобрести и женщину, и обстановку для этой женщины, лишь бы она согласилась.

— А потом ты перейдешь работать в газету и удачно женишься, а я, бедная, брошенная девушка у очага, должна буду соображать, куда же мне теперь податься. Так говорила она ему голосом, полным ожесточения.

Изменщика любя,
Я так страдала,
Ведь я всю ночь тебя
Во сне видала.

— Вот видишь, — ответил ты именно с той холодностью в голосе, какой она от него требовала, — коли так, оставайся со мной.

За последние пять лет это была твоя третья попытка уговорить ее выйти за тебя замуж. К 1927 году ты готов был поклясться, что из вас двоих она более благоразумная, — у каждого теперь была своя меблированная комната. Уже в 1930 году ты мог пригласить ее к себе в мансарду, район Берлин-Фриденау. Тогда, как, впрочем, и сегодня утром, тебе должно было нравиться, до чего она стремится сохранить свою независимость, а потому предпочитает быть с тобой в качестве Марты Клюндер и своими силами завоевать звание фрау доктор, а не получить его в придачу к замужеству. И вообще, что это за фамилия такая — Нибур, — сказала она. Марта Нибур, Марта Нойбауер[1].

И ты с ней соглашаешься.

Но вот уже свет между ветвями деревьев говорит о наступлении полудня. Ты кажешься себе все более одиноким на фоне пустынной просеки. Пора бы ей уже и прийти. И, точно подгадав нужное время, ты стоишь на берегу и держишь штевень ее лодки.

— Когда ты пришла, все уже были в сборе или нет? — должен спросить ты, ибо такой у вас уговор.

— Когда я пришла, все уже были в сборе, — отвечает она и так наглядно демонстрирует возмущение этих всех, что у нее даже голос становится пронзительным и резким. Подумать только, до чего я падшая особа! За мной все время шлепала какая-то старушонка, не иначе твоя бабуля Лабан. А ну убирайся отсюда, не смей топтать пашни Бредерайхе!.. Все потому, что это была как раз сестра Фридриха Дюзеншёна. Они все так на меня смотрели, так смотрели, словно я прибыла к ним прямиком из Содома. И они всё как есть про меня знают: я-де заигрываю с незнакомым молодым человеком, с первым встречным, короче говоря, и спальный-то мешок я для него прихватила, не говоря уже о бритвенном приборе. И вот с этим молодым человеком я отправляюсь на остров посреди Лихенского озера и остаюсь там на всю ночь. Вот до чего низко я пала в глазах добродетельных жителей Лихена. Видишь, как нам, женщинам, приходится вместо вас тащить на своих плечах весь груз эмансипации. А еще эта особа покупала себе сигареты "Золотой доллар", хотя одна сигарета, одна-единственная сигарета стоит целых два пфеннига. И у нее еще хватает наглости ходить на рынок в Лихене.

— А вот за все это, — говорит Петер, — за все это ты наденешь юбку, которая прикрывает коленки, и блузку, которая доходит до самой шеи.

— Как же, как же, ты мне ее подарил. Помню. И даже знаю чего ради: ты хотел, чтобы я красиво выглядела.

1. Нойбауер — диалектный вариант произношения фамилии Нибур.

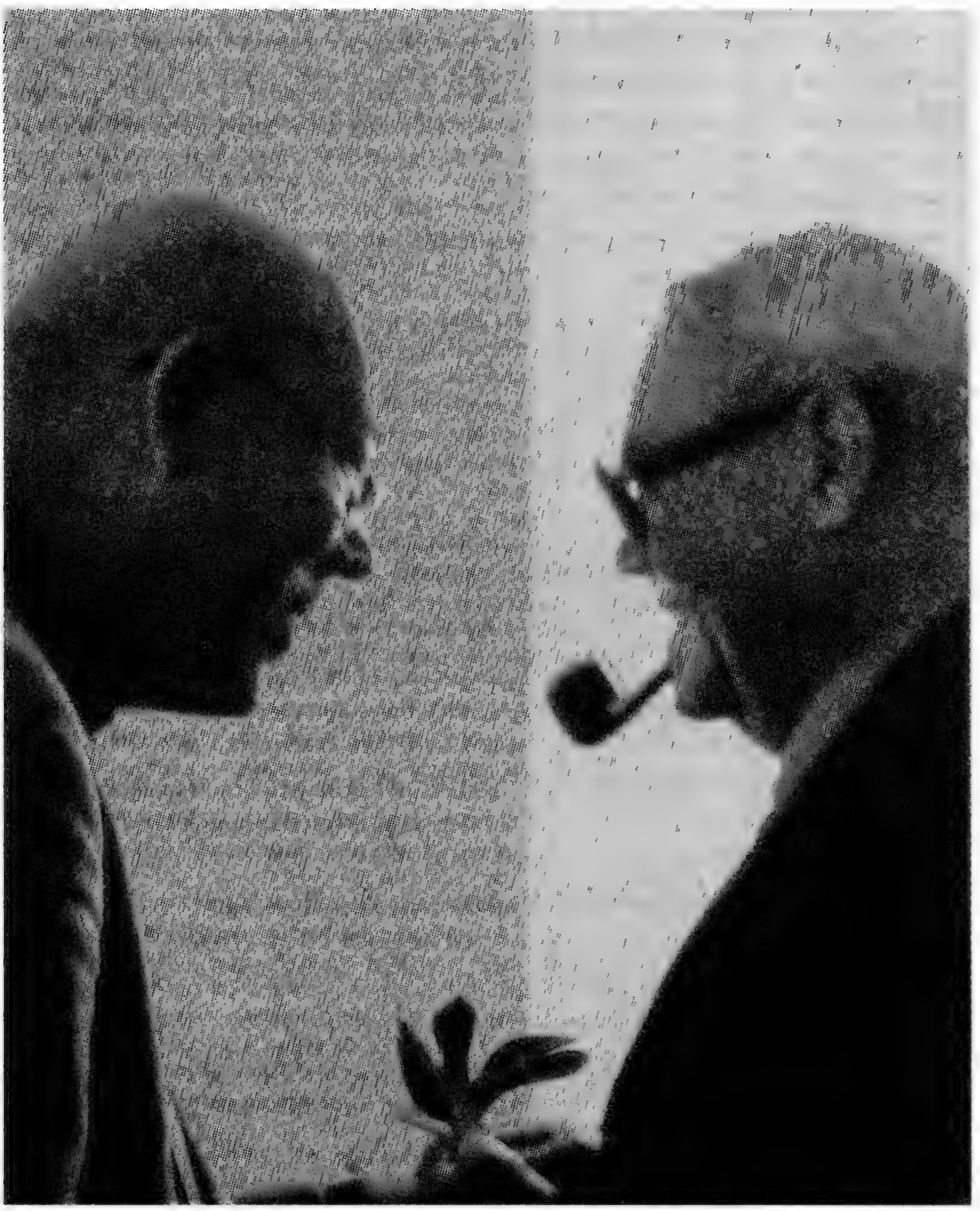
Из переписки Уве Йонсона и Макса Фриша

Мастерство — это понятие весьма древнее, и, однако же, я употребляю его применительно к Вашей книге, — мастерство как противоположность литературному умению, которое не порождает ничего, кроме самого себя.

Макс Фриш по поводу "Дней года"
Уве Йонсона

Подобную способность средствами литературы сделать из собственной жизни произведение искусства, не подвергая при этом насилию ни форму, ни содержание, он просто обязан превзойти в очередной своей работе.

Уве Йонсон по поводу романа
Макса Фриша "Монток".



© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1999
© С. Фридлянд. Перевод, 2003

Франкфурт-на-Майне
14 октября 1964

Уважаемый Уве Йонсон,

встреча с Вами в Берлине, как и Ваша манера держаться, весьма меня покоробила и до сих пор занимает мои мысли, поскольку я решительно не могу ее понять. Скорей всего у меня и нет права требовать от Вас объяснений, зато есть право сказать: то, как Вы меня приветствовали, то, как Вы ответили или вообще не ответили на мое приветствие, то, как Ваше лицо залилось краской, когда я заговорил с Вами, но прежде всего то, как Вы (уже много погодя) откланялись, я решительно не могу понять. Возможно, мне что-нибудь неизвестно? Вы не раз были моим гостем в Риме, так что же все-таки произошло? Разгульный вечер во Франкфурте? Или что-нибудь и вовсе непростительное? Может, Вы хотите мне что-нибудь сказать? Тогда скажите. Я просто не могу заставить себя еще раз безропотно снести такую встречу, какой была эта наша встреча в Берлине.

Сердечно

Ваш Фриш

Фриденау
22 октября 1964

Дорогой господин Фриш,

мне от души жаль, что у Вас создалось впечатление, будто я хотел оскорбить Вас своим поведением. Ибо на устроенный в Вашу честь прием я приехал с единственной целью – повидать Вас, хотя с приема мне пришлось уйти задолго до его конца, потому что я должен был отрецензировать очередную телепрограмму. Такое впечатление скорей всего возникло у Вас потому, что я как и прежде не силен в непринужденной болтовне (small talk), а заводить там разговор на другом уровне представлялось решительно невозможным. К тому же я с удовольствием пригласил бы Вас к себе, но полагал, что при Ваших многочисленных обязанностях это едва ли возможно. Надеюсь, впрочем, что для этого еще представится более удобный случай, а кроме того, прошу принять мои сожаления по поводу случившегося между нами недоразумения.

Ваш чрезвычайно Вам преданный

Уве Йонсон[1]

1. После этой резкой перепалки, открывающей книгу, в переписке наступает длительная пауза. На письма Уве Йонсона от 19 августа 1966 года и 2 января 1969 года Макс Фриш не ответил. Возобновляется же переписка только шесть лет спустя после более чем теплого письма Фриша от 21 декабря 1970 года, не содержащего решительно никаких упоминаний о размолвке. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

Берцона
Валь Онзерноне/ Тессин
21 декабря 1970

Дорогой Уве Йонсон,

я с превеликим удовольствием воспользуюсь Вашим дружеским (я бы даже позволил себе сказать, дружественным) предложением ознакомиться с рукописью моего "Дневника", хоть и сделал бы это не без трепета. Ну, для начала скажем так: я вполне уверен лишь в своих собственных замечаниях. Никто другой до сих пор не читал мой "Дневник". Вторую копию я посылаю Зигфриду Унзельду, что отнюдь не означает: в издательство на предмет последующего опубликования. Я собираюсь продолжить работу над ним в Нью-Йорке. Однако уже са-

мое время отдать его на тестирование, и Вашему отзыву, дорогой Уве, я придаю исключительное значение. Вам придется проявить строгость, но Вашу строгость я приму безропотно. Кроме того, я всецело полагаюсь на Вашу многократно подтвержденную сдержанность. Завтра мы уезжаем в Тессин, 7.I вернемся в Цюрих (87 000 Кюснахт, Биркенвег, 8, тел. 90 16 14), а оттуда 31.I исчезнем в направлении Нью-Йорка, где в Колумбийском университете мне надлежит до середины мая проводить небольшой семинар. Я очень радуюсь предстоящей встрече с Нью-Йорком, радуюсь прежде всего возможности вырваться отсюда. Итак, если Вас это устраивает, мы могли бы встретиться в январе, в Берлине или в Цюрихе. По поводу редакторской работы хотел бы добавить лишь следующее: можете черкать экземпляр, сколько Вам заблагорассудится.

Мне, конечно, было бы сейчас непросто говорить о Ваших "Днях года", непросто именно потому, что книга (осталось прочитать еще 90 страниц), производит большое впечатление, она высится словно каменная глыба на фоне всей современной литературы. Но мне пришлось оторваться от нее на целый месяц (после месяца непрерывного чтения), хотя я много о ней думаю, думаю как о картине всего мира, что нечасто встречается в литературе. Мастерство — это понятие весьма древнее, и, однако же, я употребляю его применительно к Вашей книге, — мастерство как противоположность литературному умению, которое не порождает ничего, кроме самого себя. В настоящее время Вы должны чувствовать себя очень счастливым, и, если верить впечатлению, которое сложилось у меня во Франкфурте, Вы и впрямь счастливы.

Сердечно

Ваш Макс Фриш

Западный Берлин, 41
Штирштрассе, 3
9 января 1971

Дорогой господин Фриш,

в приложении к этому письму Вы найдете восемнадцать страниц замечаний, касающихся Вашего "Дневника II". Я умышленно не стал перед этим читать "Дневник I", чтобы меня ничто не связывало, и приступил к чтению единственно с притязательными ожиданиями. Мои ожидания сбылись, и, если позволите, я хотел бы от души поздравить Вас с новой книгой.

В ходе чтения я размышлял о чем-то таком, чего не знаю. О Вашей восприимчивости. И по здравом размышлении решил считать ее более чем естественной. Вдобавок я до сих пор сохраняю почти рефлекторное почтение к старшим, все равно как в переполненном вагоне метро. И наконец, я припомнил совершенно излишнее недоразумение, вклинившееся однажды между Вами и мной, иными словами, я никоим образом не хочу лишиться возможности время от времени с Вами беседовать.

Моя ситуация в ходе чтения не всегда соответствовала данному пожеланию. Передавая мне экземпляр, Вы потребовали, чтобы я высказал Вам свое мнение, но не мог же я прилагать усилия, чтобы оно Вам непременно понравилось. К несчастью, меня и без того считают слишком заносчивым и высокомерным. Короче, Вам доведется читать замечания и такого рода:

По этой причине данная запись представляется излишней.

Эта часть, на мой взгляд, нуждается в более детальной проработке.

Deleatur, se possible; d.s.p.[1]

Я даже предлагаю Вам избрать другое начало, а потому ничуть не удивлюсь, если Вы ответите на это следующим образом:

Что он себе позволяет, этот щенок!

Да этот идиот вообще ни слова не понял!

Какая его муха укусила, этого болвана? И вообще, это не латынь.

В ответ я мог бы сказать лишь то, чего требует от меня Ваш текст как от редактора, каковым Вы сами меня избрали. Недоразумения же, допускаемые мною, проистекают отнюдь не из злого умысла, а просто из неумения объяснять. И целью я ставил себе отнюдь не навлечь Ваш гнев, а нечто прямо противоположное.

Если по ознакомлении с моими замечаниями Вы сочтете возможным или необходимым последующий разговор между нами, я с превеликой охотой побывал бы у Вас в Цюрихе или столь же охотно приветствовал Вас у себя в Берлине.

С сердечным приветом

также и Марианне, которую я при этой оказии прошу не думать, будто я что-то против нее имею.

Чрезвычайно Вам преданный

Уве Йонсон

1. По возможности вычеркнуть (*лат.*).

Кюснахт
27 января 1971

Дорогой Уве Йонсон,

итак, здесь побывал Зигфрид Унзельд, и его замечания отчасти совпадают с Вашими... Очень рад, что Вы взвалили на себя сей тяжкий труд, чем очень мне помогли. У меня появилось желание — хоть и не появилось свободное время — снова поработать над вызывающими сомнение текстами, после того как я уже единожды вычеркнул то; чего нельзя исправить. Надеюсь, в Нью-Йорке у меня будет больше времени и при этом не возникнет чрезмерная дистанция. Ваше дружественное предложение отредактировать заодно и тексты, написанные в Нью-Йорке, я принимаю с великой благодарностью: Вы самый хороший редактор из всех, с которыми мне когда-либо доводилось работать.

Вообще-то я собирался поговорить с Вами о Ваших "Днях года", но не хотел этого делать, прежде чем Вы познакомите меня с замечаниями по рукописи, ибо тогда мои похвалы легко могли быть приняты за captatio benevolentiae[1]; а потом на меня, к сожалению, навалилась головная боль с температурой. Ваши опасения, уж не раздосадовало ли меня что-нибудь, совершенно лишены оснований, просто я как-то скукожился, решительно не способен не только думать, но и просто реагировать. Очень жаль. Итак, Вы угадали, чем я хотел Вас порадовать. Когда от Вас пришло письмо, билет был уже заказан. Склоняю голову перед Вашими доводами, но коль скоро Вы завершили работу над вторым томом, почему бы Вам и не навестить меня в Нью-Йорке? Билет действителен целый год. Запрячьте его поглубже в ящик своего стола, а если Вы не захотите прислушаться к голосу своей тоски по Нью-Йорку, билет можно и переоформить, тогда слетайте вместе с Элизабет в каком-нибудь другом направлении. Подробности можно в любое время выяснить у "Люфтганзы".

На случай, если наш самолет угонят: рукопись лежит в Кюснахте, возле кресла, в котором вы любили сидеть. Вы — единственный человек, способный привести ее до какой-то степени в божеский вид.

Марианна и я были бы счастливы видеть Вас у себя, в нашем доме, разве что я к тому же охотно поводил бы Вас по окрестностям — в Bodega Gorgot[2], к примеру. Очень надеюсь, что Вы снова побываете у нас в Берцоне с Элизабет и дочкой. А теперь — и до того дня — я желаю Вам много успеха в Вашем великом начинании, а также благодарю и приветствую Вас и Элизабет.

Сердечно Ваш

Макс Фриш

Ну и конечно же (Марианна как раз окликает меня сверху, поскольку ей хорошо известно, что на меня нельзя положиться), и конечно же самые сердечные приветы от Марианны.

1. Просьба о снисхождении (*лат.*).
2. Испанский трактир под Цюрихом, о котором неоднократно идет речь в "Дневнике. 1966—1971".

Нью-Йорк
2 мая 1971

Дорогой Уве Йонсон!

Я не забыл про Вашу дружескую готовность продолжить в нужное время редакторскую работу. Очень на это рассчитываю. Я тем временем успел принять такое решение: надо сдвинуть публикацию на более поздний срок. Расстояние играет свою роль, и сейчас рукопись видится мне еще более сомнительной, кое-что я уже успел из нее выкинуть, а новое, которым я хотел заменить вычеркнутое, еще не перебродило. Все лето я проведу в Тессине. Вы позволите мне после этого еще раз представить Вам рукопись? Я был бы весьма Вам признателен.

А как обстоят дела с Вашим вторым томом?

Здесь объявились Йорг Штайнер, Юрг Федершпиль, Кристоф Меккель[1], Петер Хандке. В Нью-Йорке мы с Вами, пожалуй, не увидимся, поскольку покинем его 2 июня, морем. Все было очень увлекательно. Меланхолия не может устоять под натиском этих ужасов, потому, наверное, я чувствую себя здесь гораздо лучше, я бы даже сказал, вполне бодрым. На нас до сих пор еще никто не покушался.

Вчера мы снова побывали в квартале Гезины, а совсем недавно — за городом, там, где, по ее словам, находится квартал богатых вилл, причем даже "Таймс" не опроверг ее ни единым словом.

Передайте сердечный привет Элизабет и примите самые наилучшие пожелания от Марианны и от меня,

Вашего Макса Фриша

1. Й. Штайнер — владелец издательства, далее консультант в Базельском театре; Йорг Федершпиль — журналист и писатель; Кристоф Меккель — художник.

Фриденау под Берлином
13 мая 1971

Дорогой господин Фриш,

то, что положено говорить в начале, будет сказано лишь в конце.

Вчера хоронили Елену Вайгель[1]. Господин Унзельд, который присутствовал утром на прощальной церемонии в "Берлинер ансамбль", а пополудни принимал участие в похоронах, сделал вывод, что все прошло на удивление достойно, без всяких огорчительных накладок. Что до издательства "Зуркамп", то к его представителю отнеслись с величайшим почтением, а стало быть, можно и не опасаться принятия закона, согласно которому наследие Брехта перейдет в собственность государства.

Почтение, к примеру, выражалось следующим образом: после близких родственников к гробу могли приблизиться — во вторую очередь — представители партии и государства одновременно с Элизабет Гауптман[2] и господином Унзельдом.

Впрочем, господин Унзельд остался верен себе и завел речь о венке от издательства. Сперва он намеревался доставить этот венок на одном из трех за-

падноберлинских такси, которые имеют право въезда в столицу Германской Демократической Республики, чтоб при прохождении досмотра ничего не держать в руках. Потом вдруг выяснилось, что его жена знает лучший цветочный магазин во Франкфурте, а магазин этот в свою очередь имеет тесные связи с лучшим цветочным магазином Восточного Берлина, так что сей объемистый предмет был смонтирован в Западном Берлине из "частично импортированных" цветов, а уж в Восточный Берлин был доставлен еще более элегантным способом. Бант по зрелом размышлении был избран синий, и это обстоятельство тем паче привлекло к себе внимание на Востоке. Унзельд был чрезвычайно собой доволен — Suhrkamps doing things in style[3], о чем наверняка лично расскажет во всех подробностях и тем самым даст Вам возможность сравнить обе версии. Только как называется лучший цветочный магазин в Западном Берлине, я на вчерашний день еще не знал.

Большое Вам спасибо за Ваше письмо от 2 мая. Те изменения в "Дневнике", на которые вы намекаете, пробуждают во мне сильнейшее любопытство, и я с превеликой охотой прочел бы новый вариант, а затем обсудил его с Вами. В августе, числа примерно двадцатого, я буду находиться на пути из Италии в Мюнхен и мог бы попутно сделать остановку в Беллинцоне, если, конечно, Вы к тому времени все еще будете в Тессине или в Цюрихе, как скажете.

Что до моего второго тома, то он растет медленнее, чем мне бы того хотелось, и будет завершен никак не ранее июля. В числе других причин можно назвать и мое дерзновенное желание написать о тридцать седьмом годе, словно мне в ту пору было не три года, словно я наблюдал все это глазами двадцатилетнего.

А тот рассказ, если не увязать его с Нью-Йорком, потянет ли он на самостоятельную публикацию?

Поскольку Вы снова обнаружили в Нью-Йорке нечто, пригодное для жизни, это обстоятельство наполняет меня уверенностью, что продолжение Вашего "Дневника" удовлетворит и другие мои личные пожелания. Я с таким удовольствием жил в этом городе, что после 1966 года каждый приезд туда виделся мне как возвращение домой. Мне хотелось защитить и эту избранную мной родину против новомодного воя о якобы умирающем городе. Ваш диагноз все мне объяснит, а возможно, и послужит прогнозом.

Передайте сердечный привет Марианне и скажите, что ей осталось лишь подождать до октября, чтобы увидеть по телевизору священнослужителя, придуманного Танкредом.

А теперь скажу то, о чем следовало сказать в самом начале.

Понимаете, я никак не могу заставить себя вместе с четой Хонеггер-Лафатер признать 19 июня Вашим днем рожденья и, будучи педантом, предпочитаю отметить его в ближайшую субботу[4].

Итак, сэр: MAY I WISH YOU A BIRTHDAY WRITTEN ON YELLOW AND WHITE PAPER. AND MANY HAPPY RETURNS OF THE DAY!

Sincerely yours[5]

Уве Йонсон

1. Елена Вайгель (1900—1971) — выдающаяся актриса театра "Берлинер ансамбль" и супруга Б. Брехта, возглавившая театр после его смерти.
2. Элизабет Гауптман (1897—1973) — близкая знакомая семьи Брехтов, писатель и переводчик.
3. Все действия издательства "Зуркамп" отличает высокий стиль (*англ.*).
4. День рождения Макса Фриша приходится на 15 мая.
5. Позвольте на желтой и белой бумаге поздравить Вас с днем рожденья. И пожелать долгих лет жизни!
Искренне Ваш

Ширнесс
13 января 1975

Дорогой господин Фриш,

к этому письму я прилагаю копию — три страницы заказанного Марианной письма. К концу недели письмо должно бы прийти в Кюснахт, ибо на сей раз в Шотландии бастуют одни лишь служащие "Скорой помощи". Но вот если она будет читать его "так же медленно, как я его писал"...

Второе приложение тоже занимает три страницы, и его я хочу продемонстрировать Вам как образчик тех выбоин, которые я обнаруживаю, следуя по Вашим дорогам, там, где в свое время Вы прошли легкой стопой.

Это очень грустная история, и обстоятельства смертельного исхода становятся понятны с самого начала, так что меня с первых же строк можно было бы упрекнуть в попытках манипуляции. Но куда больше отягощает мою совесть то обстоятельство, что уже здесь я полагаю достичь некоей границы. Ибо мне по душе эти люди, а к тому же, я признателен им за идентификацию "Чарли", по поводу чего они со своей стороны до сих пор не устают просить у меня прощенья, хотя я со своей стороны отыскал прообраз в жаргоне, у Чарльза Лэма[1]; "To the last he called me Charley, I have none to call me Charley now"[2]. Элизабет же со своей неуемной фантазией во всем, что касается кабаков, полагает, будто это нарушило the privacy[3] дружески выпивающих мужчин, и тут одно лишь наличие доброй воли ничего не дает. Вся же история не более чем тест, и речь в ней идет почти исключительно о всякого рода сомнениях.

Надеюсь, я еще не пытался до сих пор воспроизвести перед Вами следующую рекламу: итак, игровой телефильм, действие разворачивается на фоне просторной не то гостиной, не то обеденной залы, обставленной в сугубо буржуазном духе. За длинным, парадно накрытым столом сидят четыре пары, лет им всем примерно по двадцать пять, можно догадаться, что они отмечают какой-то успех, профессиональный или финансовый. Веселая, непринужденная болтовня постепенно заглушается комментарием с приметами романского акцента. Итак:

Look at the Swiss!
Four hundred years without wars!
They prefer making love —
женская рука нежно ложится на плечо мужчины —
and watches[4].

Ибо что мы могли увидеть на запястье этой руки? И как живется владельцам подобных часов, коль скоро это рекламные магнаты, истинные посланцы своих стран?

Состояние у Катарины теперь гораздо лучше, чем то, в котором застали ее Вы. Каждый уик-энд — дома, скоро это исцелит ее от неприязни к школе. Ибо ужасны были не одни только вечера, когда согласно требованиям полагалось закончить визит, но и обязательное присутствие на воскресном богослужении, когда рассуждения пастора о, скажем так, Мао в рамках Евангелия считаются учебным предметом, но которые между тем надо как можно скорее забыть.

Если на обратном пути заглянете к нам, можете рассчитывать на утку.
С сердечным приветом

Ваш Уве Йонсон

1. Чарльз Лэм (1775—1834) — английский писатель, в соавторстве со своей сестрой Мэри опубликовал пересказы произведений Гомера и Шекспира для детей.
2. До самого конца он называл меня Чарли, а теперь у меня нет никого, кто мог бы так меня назвать (*англ.*).

3. Уединение (*англ.*).
4. Поглядите на Швейцарию
Четыреста лет — без войны!
Они предпочитают "делать" любовь
и часы (*англ.*).

Приложение 2
Уве Йонсон
Действие начинается в 18.30 и заканчивается в 20.30

— Привет! Как дела?

— Привет! Паршиво. У меня простуда, и не простуда даже, а настоящий грипп. До сих пор во мне сидит. И Шебы больше нет. Шампанского?

— Шампанского? Пожалуй.

— Сегодня в два ночи пришел врач и прикончил ее.

— Да не из крана! Бутылку!

— Когда я вынужден был все-таки сообщить об этом Чарли, он просто не поверил своим ушам. Он же неделю назад видел ее здоровой и бодрой. Менингит, понимаешь?

— Твое здоровье! Ужас, ужас...

— Она больше не могла сохранять равновесие...

— Может, так оно и лучше...

— Я выйду на минуточку.

— Знаешь, как это его потрясло?!

— Ясное дело! Собака-то чья была? Его.

— С вас тридцать одна. Прошу.

— Я с самого начала так говорил. Уж если задет мозг, все равно жизнь будет собачья. А он, видите ли, не может дослушать.

— Нет, Чарли, я тебе прямо скажу: не заводи себе Шебу. Того и гляди к ней привяжешься.

— Слово даю! И мысли такой нет. Когда целый год торчишь в море!..

— Михаэль! Чарли хочет тебе что-то купить.

— Ш-шампанского!

— И Джо тоже хочет.

— Пива, горького, пол-литра.

— А как она сидела на кушетке у окна. Бывало, выставит нос между занавесками и преданно сидит дожидается, когда придет Кол.

— Кол.

— Кол сегодня в полдень ушел пить в другое место. Зайти в свой кабак у него просто не хватило сил.

— Там Берт сидел, а у Берта вся душа в мозолях. Подходит он к Колу и напрямик говорит: да на свете есть тысячи собак. Любой породы.

— Голос у Берта до чего пронзительный!

— А я так о нем худого не скажу.

— Ясное дело. Но Кол ему здорово вмазал. Тебе, говорит, тоже недолго осталось! Томми Браун на небеси уже все глаза проглядел.

— Молчи, Джефф, кто он такой, этот Томми Браун?

— При жизни его считали ужасным злодеем. Так что он навряд ли угодил на небо.

— Вот я и вернулся. Все прошло.

— Рон! Тебе чего?

— Бренди, ясное дело.

— Ну-ну, не заводись с пол-оборота.

— Возьмем того же Кола. Я тридцать лет его знаю. И ни разу не видел, чтоб он плакал.

— Если не считать слонов.

— Чарли, да ты про что?

— Слоны как минимум проживут столько же, сколько и ты.

— Дольше.

— Смотря где.

— Потихонечку да полегонечку.

— Привет! Как дела?

— Ронова Шеба умерла.

— Я ж Колу говорил: она тебя больше не видит. Она ослепла.

— Но она ведь была все равно как член семьи.

— Кол вчера целый день таскал ее вверх по лестнице.

— Она еще могла учуять свой ужин, но подойти к нему уже не могла. Тогда я опустился на колени перед ней и начал ее кормить, по кусочку. Все равно как... как...

— Ей было три с половиной года. Ужас какой-то.

— Я и говорю Колу: надо принять решение.

— А Рону надо лечь!

— И на врача мы зря грешили, что он, мол, хочет нас как следует выдоить. Врач так и сказал: мой дорогой Рон, это могло случиться уже неделю назад. Но ты непременно желал выкладывать в день по десять фунтов на пилюли и уколы. И я тоже желал! Он тогда и говорит: ну пусть проживет хоть еще неделю, за пятьдесят фунтов на медицину. А может, и еще одну. Если, конечно, потом выживет...

— И тогда ты принял решение...

— Да мне все было ясно, уже когда она вернулась из лечебницы в Кентербери. Но Кол все еще надеялся.

— Привет! Как дела?

— Шебы больше нет.

— Да?

— Сегодня в два ночи.

— Тогда я пошел.

— Михаэль! Допивай. Ты тоже с ним пойдешь. Как бы он чего-нибудь над собой не учудил.

— Порядок!

— А какой у нее был ласковый взгляд.

— Твое здоровье, Чарли.

— Интересно, сколько, по-твоему, может стоить слоненок, маленький еще?

— Шеба понимала английский. Ну просто каждое слово!

— А Кол сидит у себя в бюро один-одинешенек.

— И Рон опять вышел, уже второй раз. Он просто не мог выдержать.

— Нет, Чарли, мне больше не наливай. Из нас троих я сегодня единственный, кто еще держится на ногах.

— Когда-нибудь ты будешь так вспоминать про свой отпуск: а, это тот, в который умерла Шеба.

— Знаешь, а ты прав.

— Джефф! Твое слово имеет вес. Рон хочет найти для Кола новую, в феврале, ко дню рожденья.

— Знаешь, Чарли, это я возьму на себя. И чтоб другой масти. И чтоб вообще все другое. Хоть золотистый цвет, хоть антрацит, но только чтоб не ньюфаундленд. Не то она будет вечно напоминать ему Шебу.

— Вот видишь.

— Спасибо.

— Не уходи.

— С вас всего семь двадцать две и тридцать одна пятьдесят. Считать вместе?

— Привет! Что тут происходит?

— Шеба. Шеба умерла.

— Или черепахи! Черепахи!

Кюснахт
16 марта 1976

Дорогой Уве,

[192]
ИЛ 9/2003

одной из необходимых предпосылок, как мы о том говорили по дороге, служит озорство, я бы даже сказал, своего рода наглость. В противном случае ты никогда не заставишь своих выдуманных героев разговаривать, да и действовать навряд ли заставишь. Действовать для Гезины означало бы выйти замуж. Словом, я покинул Ширнесс отнюдь не с легким сердцем.

Сегодня вечером в Милане по случаю вернисажа вполне реально могла состояться непринужденная встреча с Фридрихом Дюрренматтом, но, к сожалению, Марианна слегла с высокой температурой, и мы воздержались от поездки. Мало того, перед самым днем рожденья она еще обожгла ногу кипящим маслом; короче, у богов явно были иные планы касательно нашего примирения. Да и с чем тут примиряться? Еще стоит сообщить, что вот дней уже примерно десять я снова работаю в Гокхаузене, в ателье Хонеггера; там очень просторно, это мастерская с непривычными приспособлениями, а в мастерской длинная, пустая стена, к которой можно прикреплять всевозможные записки, что прекрасно, иначе при моей-то скверной памяти у меня все в голове перемешалось бы, а тут я могу, засунув руки в брюки, стоять перед стеной (покамест она еще почти голая) и перевешивать с места на место в зависимости от их ценности наброски тех либо иных эпизодов при помощи кнопок, для чего только и нужно, что вынуть руки из карманов; и тогда работа над композицией оборачивается непритязательным рукоделием. Получится ли из всего этого пьеса, я покамест сказать не могу. А хорошо здесь вот что: я уезжаю на работу (езды около четверти часа), и там я совершенно один, словно сказочный карлик да еще с холодным завтраком; ближе к вечеру я возвращаюсь домой, а духи, они ведь народ необязательный, так и остаются ночевать в Гокхаузене, благо там им не нужно прятаться от посетителей. Плохо другое — ежедневная усталость, подступающая сразу после полудня. Это напоминает мне слова старого Зуркампа, который говаривал, что может работать от силы четыре часа в день. Тогда я находил, что это ужасно. Возле масляного обогревателя садовое кресло, еще есть вид на луг или на лес. Правда, ничего ужасного в том нет, но все же они очень тягостны, эти приступы физической усталости, когда даже для того, чтобы просто встать с кресла, потребно волевое усилие. И это — средь бела дня. А потом ты видишь, что просто день слишком длинный.

Текст из Вашего письма, который Вы написали специально для дополнительного тома, теперь его завершает (письмо от 13.I.75), заставляя устыдиться некоторых профессиональных рецензентов при знакомстве со структурным анализом, в нем осуществленном. Я очень им доволен. А еще я доволен тем, что Ханс Майер после переработки своего "Послесловия от издателя" не имеет больше никакого касательства к Собранию сочинений; затея и сама-то по себе была довольно унылая, не сказать, что убийственная, но все-таки тягостная. Взору являются горы балласта, причем балласта отнюдь не только литературного. Все это делает голую стену в Гокхаузене тем более необходимой и столь же неизбежной, как тщеславная иллюзия, будто ты прямо сейчас возьмешь да и примешься за нечто совершенно новое: свободное пространство для действий, порожденных забвением.

Я хотел воздержаться от вопроса, когда по Вашим прикидкам Вы должны завершить четвертый том. Вдруг у Вас после этого возникнет желание вместе с Элизабет и Катариной отдохнуть в Берцоне, благо дом до сих пор стоит на своем месте.

С сердечным приветом

Ваш Макс

Ширнесс
21 марта 1976

Дорогой господин Фриш,

благодарим Вас за Ваше письмо от 16 марта и весьма сожалеем о том применении, которое Марианна нашла для кипящего масла. Во всяком случае, мы пребываем в надежде, что нога скоро заживет, и от души желаем, чтобы у Марианны упала температура.

Знаете, "примирение" и в моих глазах не совсем то слово, которое я хотел бы поместить между Вами и Ф. Д., уж скорее это означало бы достичь взаимопонимания по вопросу, какие именно предубеждения питает один против другого, провести совместную инвентаризацию, а из всего этого могла бы в дальнейшем произрасти та спонтанность, по части которой Вы совсем недавно меня наставляли. В большой мере это именно то, что у англосаксов мы назвали бы борьбой противоположностей, — и тогда трения между вами обоими покажутся просто досадным расточительством.

Тому народу, гостеприимством которого мы сейчас пользуемся, приходится очень нелегко. Прошло по меньшей мере десять лет с тех пор, как здесь ввели новые деньги. Но это и по сей день доставляет людям много хлопот. Они скорбят из-за упразднения гинеи, они называют новые полпенни просто half, чтобы тем вернее сохранить в почете и уважении отданный в переплавку hejpenny, поэтому все цены упорно пересчитывают в bobs, так что поневоле приходится развивать параллельное мышление в шиллингах, а это приводит к самым разнообразным последствиям, когда способность к устному счету неизбежно подвергается сомнению. Нам уже доводилось краснеть в беседе с водителем автобуса, которого просьба назвать стоимость двух билетов — один взрослый, один детский — повергла в такое смятение, что он начал считать на пальцах и, разумеется, получил ошибочный результат. Кончилось все это тем, что он предпочел высчитывать каждую сумму по отдельности. Например, с завтрашнего дня табак стоит 4.91, но остатки его, еще сохранившиеся на складе, пока можно купить и за 4.90, что продавщице хорошо известно, но вот если люди пожелают вдобавок еще и сладостей за 0.22, она неизбежно прибегнет к помощи карандаша и бумаги. Помнится, в книжном магазине можно было приобрести что-то такое за двенадцать фунтов, но кассовый аппарат у них почему-то пробивал в фунтах только однозначные цены. Интересно, и как это у них получается? Да еще ко всему надо перемешать полученный результат с налогом на добавочную стоимость, и при помощи микрокалькулятора вы получите блюдо, вкусовые качества которого можно определить, лишь прибегнув к помощи русских счетов с костяшками. Не спорю, это всего лишь исключения, но вот и Элизабет считает, что исключений получается многовато и что потребна великая кротость, чтобы безмятежно наблюдать игру девичьих пальчиков на кассовых аппаратах в супермаркете.

Да и с точки зрения морали ничего хорошего тут нет. Совсем недавно одна наша приятельница пожелала в аэропорте "Хитроу" внести доплату в немецких марках; стюардесса, заламывая руки, умоляла ее отказаться от этого самоубийственного замысла. Джентльмен из бюро путешествий поведал нам о хитрой уловке европейских бизнесменов, которые оплачивают в своей валюте только дорогу до Англии, в дальнейшем же и на обратном пути расплачиваются куда более дешевыми фунтами. Этот человек вполне созрел для того, чтобы предать собственную нацию, если только он этим завоюет нас как клиентов.

В сознании данного обстоятельства мы склонились перед точкой зрения налоговой инспекции, согласно которой мы обязаны платить налоги и в этой стране тоже.

Возможно, Вас заинтересует следующее сообщение журнала "Бёрзенблатт фюр ден дойчен буххандель" относительно книготорговли: издательство "Пипер" запланировало на 1977 год полное собрание Ингеборг Бахман. В качест-

ве издателей выступают Кристина Кошель, Инга фон Вайденбаум и Клеменс Мюнстер. Задуманное как четырехтомник издание среди прочего должно содержать также неопубликованные стихотворения, ранние рассказы, незавершенный роман из цикла "Виды смерти" и — впервые без изъятий — "Франкфуртские лекции". Наследие Ингеборг Бахман, неопубликованные стихи или ранние рассказы — не те ли это произведения, публикации которых их создательница вовсе не желала, или, может быть, я заблуждаюсь?

Новости из сферы сельского хозяйства: соответствующее министерство ведет в смешанной комиссии разговоры на тему: следует ли дважды подрезать розы? Хотя Элизабет это и отрицает, но сдается мне, она уж как-то слишком враждебно настроена по отношению к розам. Высокий, уже не поддающийся пересадке куст растет, весь оплетенный вьюнком, который и послужит причиной его гибели, Элизабет же наблюдает за этим процессом со своего рода, я бы сказал, фатализмом, а центр площадки, которая со временем должна превратиться в классический газон, она то и дело перекапывает и просеивает так же, как просеивает муку перед тем, как месить тесто. Короче говоря, это спартанское представление о саде олицетворяет спартанскую идею, но всякий раз, когда мы проходим мимо одичавшего, заросшего сорняком, предельно неухоженного участка под нептуновой террассой, она говорит: "Вот этот сад я люблю больше всего, что вообще есть в Ширнессе".

Нет нужды добавлять к уже сказанному, что она подтвердила наш полный отказ от вето во всех вопросах садоводства и лесоводства.

Дорогой господин Фриш, мы очень рады, что вы снова нашли себе работу. Одновременно мы утверждаем, что заранее это предвидели, ибо и сам я каждый раз по завершении очередного сочинения задавался вопросом: а что делать теперь? Вот ведь не знаю. Но каждый раз рядом неизбежно оказывается кто-то, кто хочет о тебе слышать, пусть даже этот кто-то ты сам. Эти прогулки от одной стены к другой, засунув руки в брюки, — ах, как хорошо мы это себе представляем!

С сердечным приветом

Ваш Уве Йонсон

Ширнесс
10 Мая 1976

Дорогой господин Фриш,

что могли бы мы подарить Вам к Вашей круглой дате[1]? После некоторых колебаний мы подобрали для Вас нечто сугубо национальное в надежде, что вам это меньше известно. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить 10 августа 1792 года. Штурм Тюильри! Мы подразумеваем то событие, знакомое нам по старым побасенкам, когда отдельные представители победоносного народа мастерили из красной униформы наголову разбитых швейцарцев флаги и знамена, дабы затем гордо маршировать под ними, а это, если верить Жоржу Сорелю (Reflections on Violence[2]. Huebsch, New York o. J.; p. 184), впервые дало возможность использовать красное знамя как символ революции, made in Switzerland.

Вы об этом знали? Тогда Вы должны сами делать выбор, например право на обладание газоном (мы получили его вместе с жильем), выбор стороны при игре в настольный теннис (мешающий Вашей правой руке розовый куст уже выкорчеван) или конкретный кусок той утки, которую мы бы для Вас зажарили...

Та попытка описать неудачный брак [3] уже переработана; сердечно благодарю Вас за Ваши советы. Еще мы могли бы Вам рассказать, почему принцесса Анна не желает подарить нации наследника; чтобы из-за этого не лишаться возможности принимать участие в ближайшей олимпиаде. Далее ей, вероятно, придется все-таки отказаться и от жизни в седле, ибо слишком уж часто она па-

дает с этого седла. Мы собственными глазами убедились, что здесь поистине остров овец; пастбища усеяны малыми и большими, матери испытывают отчаяние при виде неразумного любопытства своих детей, которые натерпелись страху на человеческих стезях вместо того, чтобы держаться поближе к чреву матери. Есть овцы, которые, по словам Элизабет, выглядят так, будто только что вышли из парикмахерской, на шерсти у многих из них и впрямь сохранились следы от щипцов для завивки. И с тех пор как таможенный досмотрщик в порту поставил мне бутылку пива, мы приобрели право в случае надобности открыть маленькую торговлю всякой нелегальщиной. Снова и снова случаются в жизни моменты, когда мы приходим в отчаяние, осознав полную невозможность рано или поздно приобщиться к этой ментальности, — ну, например, когда мы слушаем по радио игру в вопросы-ответы и некто назойливым, пружинистым, требовательным тоном справляется о последних словах, произнесенных некоей известной персоной перед казнью, и, выслушав ответ, следующим образом подводит итог: "Эйхман. Совершенно верно. А сейчас мы с вами перенесемся в сферу классической музыки..." Да-да, Вы правы, Вас это не касается, их отделяют от Вас целые эпохи, но тем самым и Вас от них. Когда мы делаем покупки, то выгребаем всю мелочь из всех карманов, кладем ее на кассовую тарелочку и слышим в ответ lovely, произнесенное самым приятным голоском.

Но несмотря на все вышесказанное мы уже имеем право делать покупки в кредит, и право это используем, для чего встаем с места и поем для Вас на два голоса HAPPY BIRTHDAY TO YOU! а также MANY HAPPY RETURNS![4]

С сердечным приветом

Ваши Уве и Элизабет Йонсен

1. 15 мая 1976 года Максу Фришу исполнилось 65 лет.
2. Размышления касательно насилия (*англ*).
3. "Записки потерпевшего крушение".
4. Поздравляем с днем рожденья! Желаем долгих лет жизни! (*англ*)

Кюснахт
1 июня 1976

Дорогой Уве!

Вчера, вернувшись после трех бесписьменных недель, я вставляю первый лист бумаги в свою машинку, старую, со своими фокусами, в 1958 году ее выронила путешествующая тогда Ингеборг на неаполитанскую мостовую. Дельфы, Микены, Кнос. Куда ни глянь, вереницы автобусов с туристами, что крайне неприятно, даже если ты сам такой же турист. Безвозвратно миновали времена, когда можно было ездить в Грецию, разве что над Америкой и Германией разразится финансовый кризис; британцы, которые делают раскопки на Кносе и разграбили Акрополь, уже отпали как туристы. Моя четвертая поездка в Грецию (первую я совершил как прахиппи — пешком, вторую — на общедоступном автобусе, третью — на итальянском "фиате") будет предположительно и последней, а для Марианны — первой. День рожденья, который производит меня в пенсионеры, был посвящен плаванию, то есть проведен почти в состоянии невесомости, поскольку море там очень соленое, а соль поддерживает человека куда надежней, нежели Полное собрание сочинений.

Уве, а как поживаете Вы?

Благодарю Вас за письмо, которое я застал по возвращении, и хотел бы побольше узнать о Вас. Где мы теперь увидимся и когда? Устраивает ли Вас этим летом Берцона? Вообще-то, не обязательно Берцона, можно и Кюснахт. Я не должен бы ни во что вмешиваться, но не могу скрыть от Вас: мысль о том, что Вы снова намерены провести все лето на Темзе, меня огорчает. Ширнесс — ма-

ло-помалу я и сам начинаю в это верить — остров. Я знаю, Вы не намерены нигде отдыхать, пока не завершите работу над "Днями года". Но разумно ли это? Я не хочу быть назойливым, но хочу, чтобы Вы знали: приглашение в Берцону остается в силе; тут, правда, по ошибке срубили смокву, но в остальном все как и прежде, и на сей раз я не заставлю Вас заниматься редакторской работой, разве что задам вопрос-другой касательно положения немецкой нации, по каковому поводу должен буду в сентябре высказать некоторые соображения, и еще я не стану таскать Вас на прогулки по горным тропам, даю слово. Даже если Берцона совсем уж нелепая идея, возможно, она наведет Вас либо Элизабет на идею более удачную, но все равно я твердо убежден, что Вам необходимо что-то (хотя это, возможно, и выглядит как окольный путь) для самосохранения. Во время последнего моего наезда в Ширнесс я временами испытывал удручающее впечатление, будто вы от чего-то отрекаетесь, на что-то больше не осмеливаетесь и стали враждебны себе самому. Возможно, никто не смеет Вам это сказать, но не надо так, Уве, — мы Вас любим.

Мои планы на лето чрезвычайно скромны: никаких путешествий. Поездка в Китай отодвигается, а когда я говорю про хлопоты с визами и тому подобное, это всего лишь половина правды; мне, как выясняется, просто-напросто недостает энергии, недостает сил (устойчивости желаний), а может, даже и любопытства, или, правильней сказать, любопытство становится для меня слишком обременительным, я все медленнее учусь, а ведь такое путешествие должно бы научить очень многому. Даже когда я понимаю прочитанное, то в голове все равно удерживается очень мало. Shit! — надеюсь, что в самом непродолжительном времени я вернусь к начатой работе и смогу не отказываться от уже существующих набросков. Речь, которую мне надлежит произнести в Паульскирхе[1], должна быть полезной речью, на полчаса, но она требует, чтобы сам я предварительно разобрался в собственных политических чаяниях, иными словами, выступил перед собой самим. В этом, пожалуй, и заключен единственный смысл данного присуждения, но этим смыслом я — увы — должен сам его наделить.

Надеюсь, вы получили Собрание, которое уже успело выйти. Я в долгу перед Вами, дорогой Уве, большое спасибо за Ваше настойчивое требование, чтобы Собрание содержало и те произведения, которые с позиций сегодняшнего дня я бы писать не стал. Ваш тягостный для меня совет оказался на поверку совершенно справедливым. Там уже стоят фразы, стоит много таких фраз, которые способны повергнуть в смущение моего официального защитника перед Страшным судом литературы — а написаны они человеком в возрасте Уве Йонсона, когда тот писал свои "Догадки"[2].

Уве, Уве, дайте мне знать, как Вы поживаете.
От всего сердца

Ваш Фриш

1. Речь на вручении Премии мира, учрежденной немецким Союзом книготорговли.
2. "Догадки насчет Якоба" — роман Уве Йонсона.

Ширнесс
12 июня 1976

Дорогой господин Фриш,

считаем своим долгом поблагодарить за раненого Возничего[1], которого Марианна и Вы специально для нас переслали из музея в Дельфах, и тем паче сожалеем о его инвалидности, что подобное несчастье мало вероятно для того, кто даже складками своих одежд способен выражать невозмутимость... Какой ему нынче прок в том, что некогда он был оправдан? И еще благодарю Вас за Ваше длинное письмо от 1 июня из Кюснахта.

Шеппи, он же Ширнесс, представляет собой остров; эта констатация вызывает у Вас опасения. Чтобы избежать их, мы предоставим возможность побеседовать с нами, коль скоро правление городской библиотеки в Касселе и впрямь намерено отпраздновать свое столетие с одновременной презентацией некоторых ее поставщиков. В аэропорту Франкфурта еще можно нагнать отчасти исчезнувший мир, но уж когда в такси у вокзала оба подголовника украшены наклейками ядовитого цвета и следующего содержания: ИЗ ЛЮБВИ К ГЕРМАНИИ – ХДС, то можно почти с уверенностью сказать, что пробелы в знакомстве с немецкими обстоятельствами не столь велики, как можно было опасаться. А что все равно упущено, то при надобности удастся наверстать плаванием по утрам в бассейне за компанию с господином Унзельдом, угодничая перед фрау Цее, фрау Борхерс, фрау Ритцерфельд, господином Бушем[2], после чего будет совсем нетрудно вставить свое веское слово касательно изменения тенденций. Впрочем, лучше этого не делать. Ежели кто забыл про Кассель, то Кассель сам напомнит о себе пресс-конференцией, в которой примут участие три члена правления, а от прессы – никто, поскольку референт по вопросам культуры единственной существующей здесь газеты во время недавнего празднования неизвестно чьего дня рождения несколько переусердствовал по части горячительных напитков, а потому и выступит лишь по завершении мероприятия с помутненным сознанием, говоря штампами и, однако же, в надежде, что его заботливая приятельница запишет кое-что из сказанного им (и гостем тоже), поскольку дела его с женой совсем разладились с тех пор, как эта самая приятельница... По данному случаю еще кружку пива... ах, так Вы это уже знали или просто не хотите слушать во второй раз? На пограничном переходе Берлин–Фридрихштрассе Вас будут трижды останавливать – при каждом из трех посещений; для начала вас заставят пересчитать свои деньги до последнего пфеннига, затем Вас заставят предъявить свой портфель и объяснить смысл находящихся там предметов, а на прощание Вас – "будьте так добры" – попросят предъявить содержимое всех Ваших карманов; и когда после всего этого без единого слова, без единого взгляда Вы двинетесь дальше, контролеры всем своим видом продемонстрируют искреннее разочарование в связи с разрывом столь теплых отношений. Учитывая вышеизложенное, Вам тоже едва ли захотелось бы провести конец дня и его начало в аэропорту "Тегель". Пребывание в отеле "Швайцерхоф" единственно с целью ожидания навряд ли пробудит в Вас чувство всемирной сопричастности, а потому Вас не так уж и возмутит само пребывание в тех краях, где тихо все, где песни не поются.

Дорогой господин Фриш, от всего сердца благодарю Вас за приглашение. В минуты беспечности искушение просто взять да и уехать становится очень велико, уехать и тем устроить себе каникулы с разговорами, прогулками и бездельем, и все это – without a care in the world[3]. Но есть в этом мире и еще некто, о ком я обязан позаботиться, некто – это миссис Креспаль[4], она мало-помалу теряет терпение, забытая в углу, хотя и сама не спешит выйти из него. Короче, пусть подобная поездка в Кассель и Берлин, даже оправданная необходимостью архивных изысканий для других творческих планов, станет последним предлогом, пользуясь которым, я уклонялся от завершения книги.

Сейчас дело выглядит следующим образом: книга обитает в подвале данного дома и навряд ли может совершить путешествие вместе с нами, что облегчило бы нам многое. Когда я доберусь до последних трех слов своего письма – а слова эти мне, к сожалению, уже известны, Вы тотчас услышите от меня вопрос, в каком из Ваших приютов для отдыха Вы предпочли бы принимать гостей. Кстати, хочу сказать, что и в этом доме одна из комнат носит Ваше имя и всегда готова Вас принять.

К поздравлению по поводу биржевой премии – ах, эта вечная оговорка, – по поводу Премии мира, учрежденной западногерманской книготорговлей, мы в полном сознании наших обязанностей присовокупляем и наши соболез-

нования. Почести почестями, но ведь надо и речь произносить перед всеми странами Евровидения, задача сама по себе не из простых, а сейчас проблема становится еще острее из-за предстоящих выборов в бундестаг. Мы здесь, приготовившись к политически негативному завершению "Дней года", будем с особенным нетерпением дожидаться Ваших высказываний касательно ЧССР до и после августа 1968 года.

Было бы очень любезно с Вашей стороны распорядиться, чтобы нам "по поручению автора" переслали Собрание сочинений. Ради бога, забудьте о своих тревогах по поводу ранних пьес. Без них просто нельзя обойтись, поскольку они демонстрируют читателю истоки Вашего стиля и изменения в нем, не только стилистические, но и — прежде всего — политические. Сдержанное отвращение, с которым Вы уже начиная с 1935 года писали о гитлеровской Германии, создает необходимую предпосылку для Ваших сегодняшних требований. Не будь этого, Собрание можно бы сравнить с автобиографией, в которой не упомянута молодость.

Как по-вашему, каким годом можно датировать западногерманское выражение "мы снова обрели лицо"? Точное знание ответа могло бы очень пригодиться мне для "послесловия", которым я намеревался отяготить "Дни года".

Престранное у нас житье-бытье. В передней части цокольного этажа сидит некто и пишет на машинке то, что другой еще раз переписывает на машинке, но уже в задней его части. А над цоколем, тремя этажами выше, сидит ребенок и играет в "каникулы". Потом мы все отправимся гулять по одной из тех дорожек, которые Вам хорошо известны.

С самыми сердечными приветами Вам и Марианне

Ваш Уве

1. Возничий — обнаруженная при раскопках в Дельфах почти целая статуя.
2. Сотрудники издательства "Зуркамп".
3. Без каких-либо забот (*англ.*).
4. Героиня романа "Дни года".

Берцона
Валь Онзерноне Тессин
22 июля 1976

Дорогой Уве,

после многомесячной засухи наконец-то пошли дожди. Бассейн постепенно заполняется водой, а дни мало-помалу становятся короче. Прибавьте ко всему этому обязанность размышлять о мире; у меня осталось всего два месяца до того, как мне надо будет взойти на амвон в Паульскирхе, вот я и произношу свою речь с целью хоть до некоторой степени представить себе, что можно наговорить за тридцать минут. Нельзя ли переслать Вам первый вариант речи для критического разбора? Сам же я тем временем устрою себе некоторый перерыв, чтобы снова водрузить на письменный стол собственную работу "Диалоги на брегах Стикса". После Вашего милого письма я так и вижу Вас в цокольном этаже, надеюсь, здоровым, жадным до работы и целеустремленным. Недавно в Кюснахте побывал Петер Вайс с Мартином Вальзером, потому что в Стокгольме он чувствует себя словно на краю света (или, скажем, на краю литературы), и мы осмотрели наши тупики по-товарищески, а дабы избежать возникновения фронды, к нам присоединился Зигфрид, от которого мы, помимо прочего, узнали, что Ханс Магнус Энценсбергер — истинный первопроходец, можно даже сказать, что он тот, кто и на переломе тенденций не выпускает из рук волшебной палочки. Вопли Мартина и мое удивление нимало не поколебали убеждение книгоиздателя, что

благодаря Магнусу Союз писателей остается духовно-историческим авангардом. Затем я нанес визит Юргену Хабермасу в Старнберге, после чего весьма многое снова предстало более сложным, чем поначалу казалось. Ларс Густафссон заявил о предстоящем визите в Берцону. Что до пинг-понга, то здесь я ощущаю себя в наилучшей форме – для сениоров, разумеется, – вот только в голове появляется все больше дырок, и я добросовестно стараюсь этого не показывать. Обед с жизнерадостным Вальтером Шеелем[1] состоится 17 сентября. Скажите, Уве, о чем мне его спрашивать? Вот наш сосед Альфред Андерш – человек совершенно преобразившийся, мы общаемся с ним без малейших усилий. Смех тоже имеет место быть, отчего вся наша долина словно бы становится несколько просторней. И вообще старость не совсем такова, какой ее изображают; в воскресенье я заделаюсь почетным гражданином Берцоны, что сулит ризотто перед зданием мэрии, я же со своей стороны поставлю бочонок вина, поскольку голосование (17 голосов) было единодушным. А чтобы ответить на вопрос, который Вы тогда задали на молу во время морского парада: Линн прочитала книгу и сообщает в письме, что ни одна из строк ее не покоробила.

Короче, желаю спокойного лета.
Как Вы? Как Элизабет?
С сердечным приветом

от Вашего господина Фриша

1. Президент ФРГ с 1974-го по 1979 год.

Кюснахт
Биркенвег, 8
20 октября 1976

Дорогой Уве!

Итак, речь была произнесена, отклики весьма сбивчивые, чего мы, до некоторой степени, и ожидали. "Жопа ты швейцарская, подстилка ты коммунистическая!" – пишет некто по имени FUCK FRISCH.

Вилли Брандт откликнулся очень положительно. Целая корзина писем. Тео Зоммер из "Цайт" весьма осторожен в своем умозаключении, что это речь непосвященного. Одобрение из ГДР, даже с цитатами, но все, что им не годится, они вычеркивают, такая же фальсификация и в Москве. Одновременно бундесрат устроил в мою честь торжественный обед в Пале Ваттенвиль[1]. Чтобы не отставать от Вальтера Шееля, я пошел, хоть и не без некоторых сомнений, безо всякой охоты, но не без надежды, что коль скоро ты единожды внесен в книгу для почетных посетителей, тебя беспрепятственно впустят, когда ты однажды явишься с какой-нибудь жалобой. Ну, посмотрим, посмотрим.

Вы сейчас находитесь в США, и хочу надеяться, что у Вас все в порядке. Вам будет недоставать великой Ханны Арендт. Очень любопытствую узнать, что Вы будете рассказывать про Америку, когда мы снова с Вами увидимся в Цюрихе, как я этого ожидаю.

Летом я настолько продвинулся в своей работе – это как бы пьеса, что теперь даже и не знаю, чем дальше заняться, обстоятельства увлекают меня в престранные края, где практически больше не о чем говорить. Пересылаю Вам рукопись. Возможно, Ваш отзыв поможет мне двинуться дальше.

От всего сердца и с самыми
лучшими пожеланиями приветствует Вас

Ваш Макс

1. Патрицианский дом в Берне.

Ширнесс
26 ноября 1976

Дорогой господин Фриш,

[200]
ИЛ 9/2003

цитирую дословно: "В фойе отеля "Унтер-ден-Линден" ожидали Макса Фриша, и он прибыл. До этого он давал интервью телевидению ГДР и, соответственно, проголодался. Кельнер, который, как и заведено, заставил себя ждать, приблизился наконец к столику, но, как мы слишком поздно смекнули, приблизился лишь затем, чтобы вытряхнуть пепельницу. Макс Фриш имел неосторожность заказать кружку пива и несколько сандвичей. На это кельнер: "А вот спешить и не надо, уважаемый, договорились? У меня и без вас дел хватает".

Если Вы можете подтвердить правдивость этой заметки, я готов взять к себе на работу ее автора.

Рукопись той пьесы, о которой Вы извещали в своем письме от 20 октября, мы среди адресованных нам писем не обнаружили. Однако нас вполне успокоило Ваше письмо от 14 ноября, согласно которому Вы располагаете ее копией.

О нашей поездке в Америку расспросите лучше Элизабет. Уж, верно, она что-нибудь там увидела, а для меня это был не более как отпуск. Во всяком случае, могу Вам сообщить из Монреаля о некоем господине Лехнере, который после Вашего визита прочитал "Монток", как читают дневниковые записи. И говорит он об этом так сердечно, что неожиданно для себя начинаешь его расспрашивать о достопримечательностях города.

Да, между прочим, наш издатель как приглашенный профессор в университет Остин, штат Техас, нам очень бросился в глаза. Именно в тот день он получил свое удостоверение личности, университетское и с фотографией, чему радовался как малый ребенок. Еще он ездит на машине до того маленькой, что Мартин Вальзер просто устыдился бы, будь у него такая. На семинаре он, кстати, анализирует "Поездку в Клагенфурт"[1] и намерен также упомянуть, что в свое время отказался от этой поездки — своего рода жест. Свое здешнее жизневосприятие он описывает как восприятие студента, потому что проживает в двухкомнатной квартире с ванной и кухней один, а к тому же выучился самостоятельно готовить себе завтрак. Фрау Цее полагает, что он вернется в Европу совершенно эмансипированным. Приглашение на празднование его трудового юбилея, который они намерены организовать для него во Франкфурте, я приму самым почтительным образом. Вот и Ханну Арендт мы там встретили. Ибо Хелен Вольф, в полном согласии с комиссией по творческому наследию, вбила себе в голову, что биографию Ханны должен написать не кто иной, как я. Я охотно поговорил бы с Вами на эту тему, если мы, конечно, встретимся.

С сердечным приветом

Ваш Уве

1. "Поездка в Клагенфурт" — эссе Уве Йонсона.

Кюснахт
15 июля 1977

Дорогой Уве,

я только что уложил вещи для Исландии: вызывающе синий рюкзак, тренировочный костюм, целиком заполняемый моим животом, спальный мешок, куртку, тоже синюю, перочинный нож, вязаную шерстяную шапочку, столовый прибор и пластмассовую тарелку, два пуловера, ну и так далее. Резиновые сапоги, которыми надлежит обзавестись в Исландии, должны быть

желтого цвета — одним словом, разряженный герой из сказки, оснащенный (чтоб никто не видел) таблетками и твердой уверенностью, что Освальд Винер сможет не только поднять в воздух свой одномоторный "Пипер", но и посадить его. Марианна, к сожалению, не поедет, у нее с желудком что-то не в порядке.

PLACE DES PYRAMIDES — это вполне реальная площадь в Париже, на углу Rue de Rivoli и Rue des Pyramides, прилегающая к саду Тюильри, но я знаю также, где стоит позолоченная Жанна д'Арк, как знаю и то, что пьеса пока не получается, не получается в должном виде, и я, собственно, хотел бы попросить у Вас прощения за то, что дал ее Вам на прочтение. Вы, дорогой Уве, вообще-то не единственный человек, которого неприятно задела фраза "Во сколько мне обошлась эта женщина", — для меня это еще один из примеров того, как слухи, возникшие извне, больно задевают тех, кого коснутся. И ее можно вычеркнуть без малейших раздумий. Важной роли эта фраза не играет, но явно выпирает из текста и умаляет значение того, что представляется мне важным: "Мы живем с умершими и не можем иначе". Вы правы (там, где дело касается Роджера): ощущается нехватка уверенности в том, что данный человек был и будет способен к любви. Это каждый должен знать про себя сам. Но ведь бывают и люди, которые наделены несокрушимой самоуверенностью, а притом ужасно заблуждаются. Узнать окольными путями от умершего партнера, что ты был неспособен к любви... я вполне допускаю, что это может вывести из себя и даже убить. Но именно это надлежит показать. Что с первого захода мне явно не удалось. Покамест я отложил текст в сторону и, возможно, снова возьмусь за него через некоторое время, когда тема больше не будет для меня столь жгучей, а мой интерес к ней станет чистым интересом, как в самом начале работы, интересом к сценической ситуации, которая, будучи сама по себе нереальной, воплощает (или театрализует), однако же, психическую реальность.

Вам, дорогой Уве, сейчас не очень хорошо. Я это твердо знаю, иначе даже не стал бы справляться. Я надеялся, что в Берцоне нам удастся поговорить. Выпало так много снега. А может, я что-то неправильно сделал?

Уве, Уве, отнеситесь с большей благосклонностью к самому себе.

Сердечно

Ваш Фриш

Берцона
Валь Онзерноне/ Тессин
9 сентября 1977

Дорогой Уве,

я испытал бы большое облегчение, если бы Вы переправили мне первый вариант "Place des pyramides" или же заверили меня, что уничтожили эту рукопись. Вторая версия, которую я сегодня посылаю Вам уже в напечатанном виде, отнюдь не обязывает Вас немедля садиться за чтение. Теперь с этим можно и не спешить, теперь ни с чем не надо спешить (а также и со Стиксом, который хоть и незначительно, но все-таки меняется) — ах, как много у меня теперь времени! Последние пять дней я провел в одиноких восхождениях на гору, двух-, а то и трехчасовых, что, когда я уже спускаюсь с горы по направлению к дому, составляет дневную норму физических усилий и порождает приятную усталость в ногах и бедрах. Будем надеяться, что хорошая погода еще сохранится какое-то время, хотя малая толика дождя и не может помешать, зато туман принудил бы меня к другому образу жизни, а такового я на данный момент для себя не усматриваю.

То, что вы говорили мне в Тюбингене с глазу на глаз, я понял и посылаю Вам сердечный привет.

Ваш старый Фриш

[202]
ИЛ 9/2003

Ширнесс
31 августа 1978

Дорогой господин Фриш,

по завершении похорон Эрнста Блоха, в тюбингенской "Короне" я сказал Вам, что на основании одной из моих очередных работ Вы, возможно, заподозрите известное неблагополучие в моей личной ситуации и при этом непременно добавите, что мне с самого начала следовало посвятить Вас в происходящее. Однако сообщать о своей беде хоть в разговоре, хоть в письме мне мешало то обстоятельство, что беда эта прежде всего коснулась меня одного, я же со своей стороны рассчитывал на успех своей попытки выяснить, годится ли она для того, чтобы поведать о ней как о чем-то не столь уж и субъективном. Вы тотчас все это поняли, и я признателен Вам за ту непринужденность, которую Вы сумели сберечь в наших отношениях.

Истекли уже три года, предоставленные мне для осуществления моей попытки. Попутно выяснилась неизбежность — и привычная необъяснимость — того, что в Западной Германии кое-кто уже об этом проведал. Отнюдь не столь неизбежным был замысел этого кое-кого развернуть широкую кампанию вопросов и ответов. Ну, что поделаешь, если человека так тянет ко всяким сплетням, прежде всего к сплетням на интимные темы. Ведь догадайся он для начала обратиться с расспросами лично ко мне, ему пришлось бы в дальнейшем соблюдать politesse du coeur[1], наличие какового у себя он предполагает, а вот удовольствие, щекотливое ощущение пошло бы прахом. Теперь его мало волнуют возможные последствия, как не волнует и то, что подобная публикация, осуществленная посторонним человеком, накрепко привяжет героя всего происходящего к обстоятельствам, через которые он вполне мог бы и перешагнуть, догадайся этот посторонний человек оставить его в покое. Поскольку он использует людей, обладающих такой множительной силой, как Ханс Майер[2], у меня возникают опасения, что какие-то подробности достигнут Ваших ушей, тогда как Вы при этих, новых обстоятельствах имеете неотъемлемое право получить сообщение лично от меня, и вот оно, это личное сообщение: уже несколько месяцев Элизабет и ее дочь проживают вдали от меня по адресу, который мне неизвестен.

Даже простое объяснение этой ситуации, если оно будет исходить от одного из тех, кто в нее вовлечен, вызовет подозрения в пристрастности, а вдобавок я и по сей день не способен ее описать средствами литературы. На сегодня я лишь прошу Вас не требовать от меня иных комментариев, кроме простой констатации факта.

Если же я не первый, кто Вас об этом известил, тогда прошу извинить меня. Над набросками данного письма я просидел целых двенадцать дней, так пусть этот, сегодняшний вариант, уйдет в том виде, в каком был написан, поскольку я и без того более чем достаточно мешкал именно по отношению к Вам.

С сердечным приветом

Ваш Уве Йонсон

1. Внутренний такт (*франц.*).
2. Немецкий литературовед и социолог.

Кюснахт
6 сентября 1978

Дорогой Уве,

Вы сообщили мне очень печальную новость. По совести говоря, я даже и не знаю, слышал я уже об этом или нет. То, что это был тяжелый удар, о котором Вы не могли бы говорить со мной, я понял из Вашего письма, а о том, что между Уве и Элизабет случилась какая-то беда, я догадывался по Вашему молчанию в ответ на мои расспросы о ней. Сама Элизабет за это время не подавала никаких признаков жизни, и свою последнюю книгу, если, конечно, мне не изменяет память, я посвятил Вам обоим.

Дорогой Уве, я не хочу расспрашивать Вас о том, как вышло, что Элизабет и "ее дочь" проживают нынче по неизвестному Вам адресу, не хочу я спрашивать и у других людей, которые могли бы это знать. Вот на вопрос, как поживает Уве Йонсон, который после того, как Вы покинули Берлин, мне доводилось слышать очень часто и со всех сторон, я вполне мог бы ответить, благо в свое время гостил у Вас, ответить, описывая морской парад и устье Темзы, вот только в последнее время меня никто об этом не спрашивал, а стало быть, я и на него теперь не смог бы ответить. Когда мы виделись в последний раз, на людях, по поводу встречи Роберта Вальзера с читателями, Вы были, как я почувствовал, крайне раздражены, Вы даже спросили меня: господин Фриш, почему Вы так со мной держитесь? Моя приязнь к Вам, дорогой Уве, осталась неизменной, моя большая приязнь. Но и она оказалась безмолвной, растерянной и беспомощной от сознания, что вот уже какое-то время с Вами совершается нечто трагическое, о чем мне не следует знать. Ваш визит в засыпанную снегом Берцону наглядно доказал мне, что Вы решительно никому не хотите довериться. Меня это ничуть не обидело. Несколькими годами ранее, когда я сам решил довериться Вам, Вы очень мне помогли, и этого, дорогой Уве, я никогда не забуду. Даже и не знаю, что могло произойти со мной без Вашей поддержки тогда, в предрассветных сумерках, без Вашего присутствия в Фриденау. Да и позже, наездами бывая в Ширнессе, я взваливал на Вас и на Элизабет груз своих проблем. Надумай Вы точно так же довериться мне, это было бы своего рода повторением с обратным знаком. Я понимаю, конечно, что Вы этого и тогда не хотели, и теперь не хотите. Я понимаю это на основе другого, схожего случая, ведь возникают невольные параллели, ошибочные, а потому оскорбительные. В Вашем напугавшем меня письме Вы пишете о некоей непринужденности, которую я приберег для наших взаимоотношений. Непринужденность, говорите Вы? Я полагаю, что даже самые дружественные отношения не дают права на раскрытие тайн, но, конечно же, я был как-то скован в отношениях с Вами, дорогой Уве, был полон тревоги, которая не позволяет задавать вопросы. Известно, что человек может с легкостью обыгрывать в своих письмах то, что на самом деле является для него предметом глубочайшей тревоги, и тогда возникает нечто противоречивое, нечто недопустимое, можно сказать, смешное, надумай я писать Вам письма, делая вид, будто меня по отношению к Вам не гнетут дурные предчувствия. Но так нельзя. Вот почему я сделал несколько попыток, а потом перестал. Надеюсь, Вы поймете меня. Это отнюдь не равнодушие, хотя даже и равнодушие по сравнению со сплетнями и слухами несет в себе нечто положительное — чтоб впредь никто не смел соваться ко мне со сплетнями и слухами касательно Уве Йонсона.

Вчера мы вернулись из Берцоны, где провели четыре недели с гостями, а приехали мы сюда так: Марианна через Сен-Бернадино, я — через Сен-Готард, через несколько дней Марианна уезжает в Берлин, а оттуда в Нью-Йорк, я же вернусь в Берцону, где после потерпевшей неудачу весенней попытки еще раз попытаюсь остаться в полном одиночестве. Я даже пить не стану, если же это

окажется выше моих сил, я и сам куда-нибудь уеду. Спрашивается только: куда? Понятия не имею. Я снова написал старую повесть о КЛИМАТЕ, и она, как я уже в четвертый раз убеждаюсь, окончательно не удалась.

Я пытаюсь представить себе, как Вы в полном одиночестве созерцаете морской парад, дорогой Уве; может, это Вам еще по силам, я же со своей стороны желаю Вам совсем другого будущего.

От всего сердца

Ваш Макс Фриш

Венеция
27 декабря 1978
[Открытка с фотографией дома "Берцона". Текст написан от руки]

Дорогой Уве,

на этой открытке, как Вы можете видеть, изображена "Берцона" осенью 1978 года. Не стану говорить о том, чего я Вам желаю в наступающем году, скажу только, что желаю этого от всей души. Вот когда я замечу, что мое пожелание исполнилось, я Вам так сразу и скажу: вот видите, Уве, вы сами видите!

Как обстоят дела с Вашей книгой?

Ваш старый Фриш

Берцона
Валь Онзерноне Тессин
15 сентября 1980

Дорогой Уве,

Вы сами видите: когда старику стукнуло семьдесят, его вдруг потянуло на порядок и осторожность в отношениях с издателями и наследниками прав. Этим и объясняется создание фонда. Так вот, что Вы скажете по поводу нашей переписки? Ваши письма попадут в архив; совет фонда должен будет решить, кого можно допускать к этому архиву, а кого нет, и, стало быть, он будет недоступен для всякого рода разнюхивателей. Письма Ингеборг Бахман, Марианны Эллерс и некоторые другие будут на определенный срок вообще недоступны, а именно — на двадцать лет после смерти. А вот для своей переписки с друзьями я вообще не выдвигал никаких требований применительно к срокам их открытости.

Вопрос таков: согласно циркуляру... Что до Journal, начальные номера которого (до 1975 года) Вы сохраняете в виде копии, то и он попадет в архив в виде копии и также с запретом — Berlin Journal (1973—1980).

Вашу франкфуртскую книгу, последняя фраза которой, как я от Вас слышал, подвигла Гюнтера Грасса взять на себя роль арбитра, я еще не получил. Жду с нетерпением.

А как Вы поживаете, дорогой Уве?

Сердечно Ваш

Макс Фриш

P. S.

До середины ноября я буду в Нью-Йорке, в начале года — во Франкфурте, из-за театра. До каких пор Линн (Элис Кери) будет меня сопровождать, я и сам не знаю, я благодарен ей за одно лето.

Ширнесс
12 октября 1983

Дорогой господин Фриш,

для начала следующее:

В сентябре в Нью-Йорке началось то, что я намерен продолжать до середины ноября как часть литературного ремесла, как метафору потребности в утешении: путешествующий в одиночку человек одиноко стоит каждый вечер у раковины в отеле, где стирает и полощет свои сорочки.

Потом уже всякий раз, когда он балансирует на краю снова и снова чужой кровати, его вполне могут осенить странные мысли: например, у него вдруг возникнет желание выяснить по телефонному справочнику Манхэттена, сумел ли его друг, высоко ценящий покой и тишину, избежать упоминания в этой книге (мне даже рассказывали, что число не представленных в этой книге номеров вполне можно сравнить с числом упомянутых). И глянь-ка, Макс Фриш в ней представлен. Даже с адресом. Памятуя о Вашей написанной от руки майской открытке, я не стал обращаться в компанию, которая Вас обслуживает, да и полагаю, что Ваш "Дом для престарелых" надежно Вас охраняет, по крайней мере тот, который находится в Цюрихе.

Вот и на дверях по указанному адресу, что рядом с восстановленной антикварной лавкой, можно прочесть: "Фриш". Памятуя о вышесказанном, я воздержался от звонка.

То, чему можно было воспрепятствовать и что должно было кончиться неудачей, было внезапным озарением, было желанием, о котором я хотел бы Вам смиренно доложить еще до того, как — будем надеяться — я смогу оказать Вам свое гостеприимство 1—2 ноября.

Считаете ли Вы возможным сдать мне за четыреста долларов с июня следующего года и до конца мая 1985-го Вашу квартиру с упомянутым номером и упомянутой дверью, Ваш loft[1]?

Чего я жду, угадать нетрудно. Отказа. А вот на что я тем не менее легкомысленно надеюсь в глубине души — это...

Но воздержаться и не задать подобный вопрос было бы выше моих сил.

По этой и по другим, не названным здесь причинам, я заранее прошу меня извинить.

В надежде, что своей просьбой я не омрачил предстоящий мне через две недели визит к Вам[2],

остаюсь с сердечным приветом

Ваш Уве Йонсон

1. Чердак, мансарда (*англ.*).
2. 5 ноября 1983 года в Цюрихе Макс Фриш и Уве Йонсон встретились в последний раз. Йонсон уехал из Цюриха, заручившись обещанием Фриша сдать ему на год нью-йоркскую квартиру. Вот только обещанием Фриша он уже не смог воспользоваться. 13 марта 1984 года Уве Йонсона обнаружили мертвым в его доме в Ширнессе. Умер он за три недели до того, в ночь с 23 на 24 февраля.
В том же году Макс Фриш продал свою нью-йоркскую квартиру.

[206]
ИЛ 9/2003

Фридрих Хитцер

Короткие замыкания и переменные токи

Эссе о терроризме и антитерроризме

Перевод Н. Федоровой

Евгении Кацевой

Предисловие

Мое эссе состоит из двух частей: первая, написанная в октябре 2001 года, озаглавлена "Русское в немецких зеркалах"; вторая, написанная в октябре 2002 года, — "Немецкое в русских зеркалах". Перемена субъектов — не забава, она затрагивает меня лично и обнаруживала себя во многих встречах и публикациях. А именно с тех времен, когда я намеревался эмигрировать в Соединенные Штаты Америки ("зеленая карточка" 1956 года поныне хранится у меня), начал там изучать русский язык (мой первый учитель еще школьником был вывезен германскими оккупационными войсками в Германию, а после 1943 года перебрался из Австрии в Северную Америку), и когда в конце концов продолжил изучение русского языка в Мюнхене (как последний ученик философа Федора Степуна*), и когда (во время хрущевской "оттепели", 1960—1961 годов) в качестве докторанта-русиста и стипендиата федерального правительства участвовал в первой программе по обмену между ФРГ и Советским Союзом и проходил стажировку в Московском университете им. М. В. Ломоносова.

Пережив ребенком воздушную войну против Германии — 17 декабря 1944 года мой родной город Ульм был стерт бомбежкой с лица земли, той ночью мы бежали мимо рушащихся домов, и лишь счастливая случайность уберегла от смерти и беременную маму, и пятилетнюю сестренку, и меня, — я преодолел ненависть к пилотам бомбардировщиков, к американцам и англичанам, только в 1952 году, когда по обмену учился в средней школе им. Патнама в городе Оклахома-Сити, где стал первым иностранцем — да еще из *немчуры*, — снискавшим признание и уважение, так что три года спустя уже был восторженным почитателем Америки и собирался обосноваться там навсегда. Но как обладателя "зеленой карточки" меня бы призвали тогда в армию США и, чего доброго, заслали

© Н. Федорова. Перевод, 2003
Печатается с рукописи.

* Федор Августович Степун (1884—1965) — философ, писатель, литературный критик. В 1922 году выслан из СССР; жил в Германии. В философско-эстетических трудах, близких философии жизни, отразил трагические проблемы современного безрелигиозного сознания, духовно опустошенной "технологической" культуры XX в. (*Знаком "*" далее обозначены прим. перев.*)

солдатом невесть куда, так что, в частности и по этой причине, я предпочел вернуться домой в Германию. Затем я превозмог страх перед русскими, прежде всего благодаря моему учителю Степуну, которого правительство Ленина-Троцкого под угрозой расстрела выслало из страны. Вот так, пожалуй столь же случайно, сколь и логично, шли годы моего учения и странствий в гравитационном поле горячей и холодной агрессии XX века; моего первого американского учителя русского языка немцы в 1942 году вывезли из России, моего мюнхенского наставника большевистские правители в 1923 году навсегда изгнали с родины, и я рано начал задаваться вопросом: почему же именно я, невольно и непрошено, оказываюсь меж таких судеб? Степуну первый раз запретили преподавательскую деятельность в Москве при Ленине, второй раз — в 1937 году в Дрездене при Гитлере. Когда по возвращении из США я обсуждал с ним тему своей диссертации, он сказал: вы можете выбрать какую угодно тему, но одного я не приму никогда — работы, которая побуждает защищать большевиков. Что за нонсенс, возразил я тогда Степуну, я обхожу политику стороной, ведь она везде и всюду полна коварства, не только в России и в Германии. Тему для диссертации — Федора Тютчева — я выбрал сам, полагая, что она станет открытием и для немецких издательств, поскольку из всех русских классиков Тютчев — поэт наиболее немецкий и вместе с тем совершенно русский. Однако, к моему удивлению, этот поныне существующий пробел в памяти образованных кругов Германии не вызвал ни малейшего интереса, вот почему нынешнее мое эссе отчасти посвящено Тютчеву и Достоевскому.

Без широко распространенного страха и обычной тогда подозрительности я в разгар холодной войны подспудно горячих фронтов ездил по свету с Запада на Восток и обратно, что конечно же было возможно лишь при известной доле легкомыслия, присущего всем романтикам. Я верил в силу поэзии, которая превыше политики, ибо обращается к первоосновам человека, к непрожитому и ощущаемому в самых глубинах души. Кто бы мог подумать, что это поставит меня под удар? К счастью, все обошлось одной-единственной высылкой из Москвы, но к тому времени я уже успел заразиться вирусом любви и мира — вирусом примирения бывших смертельных врагов в самом кровавом столетии нашей эпохи (об этом рассказывает мой автобиографический роман "Прощай, Татьяна").

Из "отечества всех трудящихся" я был выдворен в мае 1961 года, и лишь спустя десять лет, в 1971-м, мне снова разрешили въезд, так как инициатор Демократического фронта против активизации НДП и других неонацистских движений, бывший узник Бухенвальда, попросил меня сопровождать его в Москву. Тем временем былой романтик, мечтавший о власти поэзии, превратился в борца 60-х годов (против чрезвычайных законов, против войны во Вьетнаме, против "черных полковников" в Греции, против диктатуры Франко, против неонацизма и т. д.) — словом, в человека, который ринулся в сумятицу тогдашнего времени перемен и молчания старшего поколения и поныне — чувством, мыслью, писательским пером — доискивается до причин смуты XX века, прежде всего до первоначал тех мировых катастроф, которые развязывали и которым способствовали Германия и Россия во всех своих государственных формах — это и империи Гогенцоллернов и Романовых, и Веймарская республика, и советская Россия, и третий рейх Гитлера, и сталинский СССР, и два германских государства в эпоху холодной войны, вплоть до их объединения чуть более десяти лет назад. И по сей день я спрашиваю себя, как же Германия умудрилась успешно вытеснить из

официальной дискуссии о минувшем столетии эпицентр двух мировых войн, гражданских войн и холодной войны и делает вид, будто средоточием всех событий была только Америка. Данные о военных потерях – несмотря на неоднократные их изменения в сторону увеличения или уменьшения – говорят о неизменном размахе сражений, решивших исход войны. В общей сложности потери погибшими составили 55–62 млн. человек; по странам же они, например, таковы: СССР – ок. 30 млн. (ранее 20 млн.), Германия – 5,25 млн. (ранее 7,3 млн.), Польша – 4–6 млн., Югославия – свыше 1 млн. (ранее 1,7 млн.), Япония – 1,8 млн., Франция – 810 тыс., Венгрия – 420 тыс., Великобритания – 386 тыс., Румыния – 378 тыс., Италия – 330 тыс., Финляндия – 84 тыс. Число беженцев, депортированных и насильственно угнанных, достигло круглым счетом 20 млн.. И еще одна цифра указывает на истинный эпицентр войны: в 1939–1941 годах на войне погибло менее 1 млн. человек. Людские потери США на всех театрах военных действий составили приблизительно 318 тыс.

Пережив холодную войну как немец меж всех фронтов и пытаясь понять совокупный ход исторических событий до, во время и после Второй мировой войны, я, вопреки ссылкам на прямо-таки непостижимую статистику истребления, хочу подчеркнуть, что мои поиски охватывают и изучение собственных моих жизненных путей.

Вольфратсхаузен, 13 октября 2002 г.

Часть I
Русское в немецких зеркалах

(Написано в октябре 2001 г., когда все якобы стало иначе...)

Мене, текел, упарсин*

Середина сентября 2001 года. Перед лицом ныне непостижимого мы, будто для успокоения, слышим, что нам предстоит долгая война. И пусть сравнения хромают, стоит все же оглянуться назад, на времена, когда такая война уже происходила.

Середина сентября 1901 года. Сто лет назад американский президент республиканец Уильям Мак-Кинли пал жертвой террористического акта. Из-за Кубы США воевали с Испанией и все же оставались на периферии мировой политики, которая вершилась тогда в столицах Европы. Убийство Мак-Кинли побудило русского царя и германского кайзера активизировать усилия по созданию широкой коалиции цивилизованного мира, направленной против международного анархизма и терроризма. Наряду с монархией Габсбургов Гогенцоллерны и Романовы были столпами государственной системы, которая после окончательного военного поражения Наполеона статуировалась на Венском конгрессе как Священный союз. Как известно, союз этот не отличался ни особой священностью, ни стабильностью, хотя и притязал на оные. Коронованные правители упорно отказывались от демократических и социальных

* Из книги пророка Даниила.

реформ, что побуждало бесправные слои населения объединяться и вело к восстаниям и бунтам, во главе которых вставали сыновья и дочери верхних слоев общества: самое позднее с 1866 года, когда молодой дворянин стрелял в царя Александра II, покушения на монархов и вельмож стали в политической жизни Европы обычным делом.

Династии и дворянство Германии и России — вплоть до мелких помещиков — состояли в родстве друг с другом и весьма этим гордились. Вот почему германо-российские соглашения о совместной борьбе с преступностью сложились раньше и охватывали более широкий спектр проблем, чем где бы то ни было в мире. Первый договор о "выдаче преступников" заключили в 1869 году *Его Величество король Баварии* и *Его Величество Государь император всея Руси.* На уровне исполнительной власти и мер безопасности этот договор предусматривал все мыслимые по тем временам аспекты. Во всяком случае, граф Бенкендорф, немец на русской службе, с 1826 года шеф жандармов и тайной полиции, усовершенствовал российскую полицейскую систему по германскому образцу. Ввиду необходимости обеспечить безопасность государства не останавливались ни перед какими расходами. Однако с ужесточением репрессий число покушений только росло. Договоры об экстрадиции, теперь уже между Берлином и Петербургом, были расширены касательно полномочий соответствующих служб. Тайные агенты российского Охранного отделения раскинули сеть по всей Европе и могли брать подозрительных лиц под стражу без указания причин. В Париже центральное зарубежное агентство Охранного отделения располагало картотекой на круглым счетом 20 тыс. человек, находившихся в розыске и подлежавших аресту. В досье прусских агентов числились подозрительные лица отовсюду, вплоть до Чикаго, — прежде всего социал-демократы. Настоящие террористы, однако, действовали конспиративно и большей частью ускользали из сетей служб безопасности. В Германии террор хотя и не был столь обычным делом, как в России, но двух покушений на кайзера Вильгельма I оказалось достаточно для введения чрезвычайного положения и запрета социал-демократии. Поворот в господствующем образе мыслей был отложен на неопределенный срок, как и решение социальных проблем[1]. Внимание правителей сосредоточилось на безопасности от посягательств на добрый старый незыблемый порядок. В Петербурге казни производили публично, для устрашения, помилование означало ссылку в Сибирь. Когда в 1881 году царь-реформатор Александр II погиб от взрыва бомбы, все то, за что после возвращения из ссылки ратовал Достоевский, — освобождение от одержимости и мании преследования, во имя ли справедливости или безопасности, — было истреблено из умов и жизней многих поколений.

На фоне нарастающего насилия, мотивированного экстремистскими идеями и эмоциями вроде ненависти, мести и жажды реванша, связанные родственными узами монархи Вильгельм II и Николай II повелели в ноябре 1901 года разработать принципы антитеррористического альянса, парафированные затем в секретном договоре и весной 1904 года подписанные многими европейскими государствами. К числу государств, отказавшихся присоединиться к этому альянсу, относились Анг-

1. В этих условиях возникает теория Владимира Ульянова (Ленина): старший его брат, Александр, был казнен как террорист, что, видимо, во многом стимулировало создание программы большевиков, с 1901 года разрабатывавшейся в Мюнхене. (*Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, – прим. авт.*)

лия, Франция, Швейцария, Голландия, Бельгия и США. Самодержавная Россия и авторитарная Германия не считались гарантами свободы. В их борьбе против анархизма и терроризма усматривали, скорее, повод для гегемонических амбиций. В 1905 году грянула первая русская революция. Перепуганные власти решились наконец на политические и социальные реформы. Немец по происхождению граф Сергей Витте после года успешных начинаний был уволен с поста председателя Совета министров — за излишнюю либеральность; его преемник Петр Столыпин соединил свои реформы с драконовскими полицейскими репрессиями. Все чаще ссылались на "евреев как виновников бедственного положения" и сквозь пальцы смотрели на возмутительные погромы еврейских поселков, устраиваемые "черносотенцами" (сегодня это были бы "эскадроны смерти"). Столыпин пал жертвой террористического акта — подоплека этого убийства по сей день неясна; реформы Столыпина были ненавистны радикалам-революционерам ничуть не меньше, чем самым реакционным помещикам. Кайзер и царь по-прежнему не спешили реформировать свои державы, делая вместо этого ставку на пушки и впутываясь в карательные кампании далеко за рубежом, что опять-таки отражалось на внутренней ситуации и множило ненависть...

Без малого через десять лет после первой русской революции кайзер и царь, стремясь укрепить свою власть, перешли на другие позиции: Германия объявила России войну после террористического акта в Сараеве. Узы, соединявшие русское и немецкое дворянство, оказались слабее соблазнов усилить свою мощь через войну, которая ввергла народы Востока и Запада в бессмысленные истребительные сражения, углубляя ненависть, жажду мести и реванша. В итоге монархии погибли, народы жаждали обрести через революции свободу, но мировая война расколола и демократическое движение в обществе — на экстремистов и умеренных. История, соединившая в себе насилие и вражду, жажду реванша и разрушения, революцию и контрреволюцию, затянула массы в свою машину, из единоборства элит, возглавлявших монархии в Германии и России, родилась гидра социал-дарвинистских идеологий — от классовых до расовых. Лексикон грядущих империй звучал по-разному, но сущность их неизменно сводилась к философии, проводившей различие между хорошим и плохим, между победителями и побежденными — вплоть до истребительной войны и холокоста, до поражения самых гнусных мерзавцев, откуда опять-таки произросла холодная война, в конце которой ненадолго почудилось, будто после мировых боен XX века геноцид и социал-дарвинистские идеи, взращенные в лабораториях XIX века, мало-помалу уходят в прошлое.

Обе мировые войны, возможно, и не разразились бы, если бы элиты аристократии, а затем выходцев из более низких сословий не переоценили свои возможности до такой степени, в какой это все больше обнаруживалось в Германии после 1901 года. Наиболее отчетливо данная тенденция прослеживается в трагедии фельдмаршала Фридриха Паулюса, который, оказавшись после Сталинграда в плену, сказал, что если бы прочитал "Войну и мир" Толстого до запуска плана "Барбаросса" (он прочитал Толстого только в плену) — а военная часть истребительной войны во многом была разработана им, — то не очутился бы здесь, точнее: в русском плену.

Мы никогда не обращали внимания на все эти ступени террора и антитеррора, закончившиеся мировыми войнами, а вместо этого искали объяснения непостижимому прежде всего в идеологиях тоталитаризма,

забывая о его предыстории и теперь, чего доброго в канун новых мировых пожаров, по-прежнему не зная, что делать.

В обеих мировых войнах XX столетия миллионы немцев воевали на территории страны, с которой их предки чуть не тысячу лет жили главным образом в добрососедстве, более того — с времен царя Петра I немецкая партия явно доминировала при российском дворе. Немцы России, способствуя развитию своей новой родины, имели множество заслуг и снискали признание — в дипломатии и управлении, в науках и просвещении, в ремеслах и сельском хозяйстве. В памяти русских немцы, в том числе и российские (русский язык различает понятия "российский" и "русский"), занимали исключительное место.

Как же выглядит эта картина в памяти немцев? Подлинные контакты меж немцами и русскими, продолжавшиеся столетиями и в XX веке утонувшие в реках крови, исчезли из немецких зеркал или по-прежнему мерцают там в искаженном виде. С середины сентября 2001 года подобная забывчивость чревата опасностью. Теперь необходимо быть честными, прежде всего перед самими собой, необходимо осмыслить уроки XIX–XX веков, задуматься о нынешней реставрации вековой "культуры войны" в Европе, когда из "гуманных" соображений бомбят города, мосты, заводы и фабрики, чтобы наказать одного негодяя (серба Милошевича) вкупе с его преступными приспешниками.

Солидаризируясь с американцами, мы обязательно должны не просто принять необходимые меры безопасности и продемонстрировать союзническую лояльность, но и глубже осознать жуткое знамение над Манхэттеном. Тому, у кого с такой легкостью слетают с губ слова о долгой войне XXI века, стоит напомнить, что ожидает людей, когда они — как дважды сделали немцы — вторгаются на территории, которых не знают, хотя имели все условия, чтобы узнать.

Память в нашу эпоху переживает трагедию, говорит писатель Чингиз Айтматов, пишущий по-русски и по-киргизски и давно (большей частью тщетно) пытающийся убедить программы помощи центральноазиатскому региону не оставлять молодежь исламского мира на произвол исламистов и нефтяных саудовских долларов. Ныне, продолжает он, распалась связь времен, и самое страшное зло наших дней — это беспамятность. То, что намечается теперь, отнюдь не ново, об этом громко трубят развалины древних царств.

Когда царь Валтасар во время пиршества увидел на стене слова "Мене, текел, упарсин", он их не понял, потому что не знал арамейского, и приказал пленному пророку Даниилу изъяснить прорицание. Даниил узрел в этих письменах гибель Вавилона, перед которым трепетали народы. Знамение сентября 2001 года тоже гласит: "Измерено, взвешено и найдено слишком легким". Речь идет обо всем человечестве, не только об Америке, речь идет о господствующей парадигме у правящих и управляемых любого культурного круга, о соблазнах в любом человеке, независимо от его веры. Добро и зло, хорошее и плохое делятся на всех, проистекают из видовой сущности человека, который хочет стать божеством, высмеивает собственное несовершенство и отворачивается от людских горестей и нищеты, им же создаваемых. Как и во времена Валтасара, сына Навуходоносора, наиболее уязвимы премудрые, сильные и богатые: люди поклоняются идолам власти и мамоне, делают ставку на самую современную боевую технику, считают себя неуязвимыми, насмехаются над силой духа и веры, которая способна и горы передви-

гать, и высвобождать смертоносный фанатизм. Народы сейчас закармливают бездуховной массовой развлекаловкой, насаждая правила цинизма по стандарту: "Мир — арена для моих игр". На другие культуры, религии, языки смотрят с презрением, отвергая принцип "от страданий других страдаю и я". Вместо этого провозглашают иной лозунг: "Крупные рыбы всегда пожирают мелких, ведь их хватает с избытком".

Наброски о двух русских классиках напоминают о зловещем германском знамении столетней давности. Один из этих классиков — поэт Тютчев — в Германии до сих пор почти неизвестен, хоть и воплощает уникальный симбиоз духовной жизни России и Германии; другому — романисту Достоевскому — немецкие комментаторы доныне посвящают научные симпозиумы, но все же Достоевский, как и раньше, стоит для них вне русской истории, он как бы экзотический гений то пророческого начала, то непостижимой "русской души".

"...*тут человечество немеет...*"

Когда Федор Иванович Тютчев в сопровождении своего дядюшки, графа Остермана-Толстого, приезжает в Мюнхен в российскую дипломатическую миссию, начинается карьера блестящего посланца старинного высокообразованного дворянства из брянско-орловского края, где жили столь прославленные литературные светила, как Толстой и Тургенев. Всю жизнь Тютчев считал себя по призванию дипломатом, слугой России, хотя ныне соотечественники видят в нем классика самой проникновенной русской поэзии. Стихи Тютчев писал всегда наедине с собой, размышляя о человеке и природе, о тонких, задушевных отношениях, любви и condition humaine[1], о времени и предназначении своей страны, то есть когда не был на службе и когда ему не приходилось сочинять по-французски депеши и памятные записки. Как поэт Тютчев приобрел известность в широких слоях русского народа лишь в XX веке. В XIX веке Тютчева считали многообещающим талантом — например, Пушкин, Некрасов, Толстой, Достоевский, Соловьев. Внешне же Федор Иванович Тютчев для многих современников был в первую очередь остроумным и задумчиво-рассеянным краснословом тогдашнего high society[2], страстным и умным политиком, который при случае, наскучив приемами, покидал общество и писал свои чудесные стихи. И в той и в другой области Тютчев выражал русское стремление к гармонии и умиротворению, к добру, смирению и духовности, неотделимым от веры в царство любви. Одновременно этот классик пушкинской поры глубочайшим образом связан с Германией эпохи классики и романтизма. Важнейший период жизни — с девятнадцати лет до сорока одного года — он провел прежде всего в Мюнхене, где создал и свой первый поэтический сборник. Внимание к себе он привлек вариациями поэтических мотивов Гёте и Шиллера, Гейне, Ленау и Уланда, вел беседы с ведущими фигурами культурной и политической жизни "новых Афин на Изаре" — графом Монжела́*, Фальмерайером, Оке́ном и Шеллингом. Генрих Гейне будто оазисом наслаждался общением с Федором Ивановичем Тютчевым и двумя красавицами сестрами — первой женой Тютчева Элеонорой и ее сестрой Клотильдой, юной крестной их детей.

1. Человеческом существовании (*франц.*).
2. Высшего общества (*англ.*).

* Максимилиан Йозеф Монжела́ (1759—1838) — баварский министр.

В Мюнхене Тютчев встретил спутниц жизни. Обе они считались красою придворного общества. С рано овдовевшей Элеонорой фон Ботмер он сочетался браком в 1826 году. Нелли заботилась о своем Теодоре как о ребенке и до самой своей кончины (1838) ограждала его, склонного к внутренней напряженности и мечтательной рассеянности, от всего, связанного с практической жизнью. В 1839 году он женился вторично, опять-таки на молодой вдове, Эрнестине фон Пфеффель; Нести еще несколько лет (до 1844 года) провела с ним в Мюнхене, а затем вся семья переехала в Россию, где Тютчев занял высокий чиновный пост. Эрнестина выучила русский язык с одной-единственной целью — чтобы в оригинале читать стихи мужа; ей, немке, мы обязаны и тем, что поэтическое наследие Тютчева (приблизительно 400 стихотворений) было опубликовано, хотя сама она до этого не дожила. Дарья и Иван, дети Тютчева, писали в предисловии, что без Эрнестины его стихи навеки канули бы в забвение, если учесть, что самому автору судьба его произведений была совершенно безразлична.

Однако в Германии этот "немец" среди российских классиков по сей день остается неизвестен; знаком Тютчев разве что любителям, переводившим его поэзию. Тому, кто желает узнать о нем, рекомендую обратиться к книге Аркадия Полонского "Поэт Федор Тютчев. Мюнхенские годы". Заинтересованная немецкая публика обязана этим во многом новым, живым портретом поэта Тютчева бывшему киевскому инженеру, который, выражаясь канцелярским языком, "официально имеет в Германии статус беженца", и его издательнице Татьяне Лукиной, руководительнице Центра русской культуры "Мир" (Мюнхен). Когда бы я — начиная с 60-х годов! — ни заговаривал с немецкими издателями о давно назревшей немецкой публикации Тютчева, мне отвечали: его же никто не знает!

Тютчев-поэт нет-нет да и встречается нам в тумане немецких путей-перепутий. Но доступ к мировоззрению дипломата поныне остается за семью печатями, точнее говоря: помимо четырехсот стихотворений, собранных и подготовленных к печати Эрнестиной фон Пфеффель, существует круглым счетом четыре тысячи писем, отражающих дух времени и жизнь Тютчева, однако по-прежнему скрытых во мраке. Тютчев черпал из совокупной сокровищницы европейских культур и языков. И наиболее основательно он занимался взаимоотношениями Германии и России.

В Мюнхене дипломат Тютчев, как сказали бы теперь, поддерживал имидж России при дворе короля Людвига I. Войска Баварии сперва вместе с Наполеоном вторглись в Россию, однако вовремя отмежевались от кровавой авантюры корсиканца. Царь Александр I отблагодарил мюнхенских родственников, он сидел в театре Кювилье, где перед походом в Россию сидел Наполеон.

К числу тютчевских переводов с немецкого на русский, сделанных в Мюнхене, относится ода короля Людвига I "Императору Николаю I", никому из баварцев теперь не известная.

Содержание оды гласит, что Бавария счастлива находиться под покровительством русского императора. Первая строфа называет тему: "О Николай, народов победитель..." Во второй строфе звучит basso continuo[1]: "Тебе, тебе, послу Его велений — / Кому сам Бог вручил Свой страшный меч, — / Известь народ Его из смертной тени / И вековую

1. Непрерывный бас (*итал.*) — басовый голос, на основе которого строится сопровождение.

цепь навек рассечь". В третьей и четвертой строфе следуют вариации — призыв к христианам всех стран объединиться в борьбе против сторонников Корана, как некогда в крестовых походах. Довольно, говорит Людвиг I Виттельсбах, "довольно над Христом ругался Магомет", ведь "тот, о царь, кем держатся державы, / Врагам твоим изрек их приговор... / Он сам от них лицо Свое отводит, / Их злую власть давно подмыла кровь, / Над их главою ангел смерти бродит. / Стамбул исходит — / *Константинополь* воскресает вновь..." Это стихотворение было приложено к депеше, которую мюнхенский начальник Тютчева, русский посланник И. А. Потемкин, направил немцу Карлу Васильевичу Нессельроде; в частности, там говорится, что "стихотворение короля баварского, обращенное к Его Величеству Государю императору, нашему августейшему монарху", было опубликовано в одной из мюнхенских газет. Это "плод поэтического таланта короля, относящийся к прошлому году и <...> появляющийся в печати в ту самую минуту, когда торжество наших армий столь блестящим образом осуществляет пожелания и чаяния августейшего поэта". Оригинал приложен к депеше вместе со стихотворным переводом, "исполненным вторым секретарем императорской миссии камер-юнкером Тютчевым".

Показательно, на мой взгляд, что в этой оде короля Людвига I к венценосному его покровителю в Петербурге Наполеон не упомянут ни единым словом. Зато баварец ведет речь об опасности ислама, что находит отклик и у него самого, и у царя. И это вполне понятно. В 1828 году, когда Тютчев перевел оду, у российского императора были другие заботы. На Кавказе шли войны. И в литературе об этом писали уже с 1822 года. Именно тогда Пушкин опубликовал свою поэму "Кавказский пленник", уже в 1824 году вышедшую в немецком переводе ("Der Berggefangene"). В ту пору Россия втянулась в первую, тридцатилетнюю, войну на Кавказе. Кое-кто из военных, видимо, полагал: нашим огнестрельным оружием мы быстро одолеем простаков-горцев. Но быстро не получилось. После Пушкина, в 1840 году, выйдет роман Лермонтова "Герой нашего времени", повествующий все о той же войне. И, наконец, Лев Толстой в одном из поздних своих произведений — повести "Хаджи-Мурат" (написана в 1896—1904 годах, опубликована в 1912-м) — тоже обращается к нерешенным кавказским проблемам. "Хаджи-Мурата" считают продолжением его шедевра "Война и мир".

Ода баварского короля, написанная в 1828 году, звучит так же беспомощно, как и нынешние жалобы на вновь вспыхнувшие в 1994 году кавказские войны, впервые начавшиеся в 1820-м и до поры до времени закончившиеся в 1859 году победой русского экспедиционного корпуса. Более миллиона черкесов и чеченцев бежало тогда в Османскую империю.

Тютчев, однако, не мог распознать масштабов кавказской трагедии. Он видел иные истоки грядущих катаклизмов, которые позднее обрушились на нас с Первой мировой войной. В его ви́дении мира доминировала травма детских лет — горящая Москва, опустошения войны, которую Наполеон вел в Европе якобы во имя гуманности; наполеоновская пропаганда провозглашала лозунг: мы несем вам Code Napoleon[1]. За личиной объявленного на словах демократического плебисцита пряталась военная диктатура Наполеона Бонапарта. Тютчев же целиком и полно-

1. Кодекс Наполеона (*франц.*).

стью пребывал во власти утопии примирения — в духе идеальной монархии и экуменического христианства. Темы его эссе уже своими названиями указывают на то, из-за чего в 1914 году старые элиты Европы окончательно потерпели крах. В 1844 году вышла в свет статья Тютчева "Россия и Германия", в 1848 году, когда во Франкфурте заседало сословное собрание демократов Германии, — эссе "Россия и революция", годом позже, в 1849-м, — "Россия и Запад". Эти работы были снабжены припиской: "Письмо г-ну доктору Густаву Кольбу, редактору Всеобщей газеты". Имеется в виду "Аугсбургер альгемайне цайтунг". Дух времени, воплощенный в этих статьях, ныне, после распада СССР, пробудился вновь. В обществе середины XIX века ситуацию определяли приоритеты монархий, в последнем десятилетии XX века общественная ситуация характеризуется постсоветскими и национальными чертами. Однако по сути вновь ставятся старые вопросы.

Мир тютчевских идей заключает в себе квинтэссенцию русской тождественности в Европе. Как советник министра иностранных дел князя А. М. Горчакова и тонкий знаток немецкой культуры поэт-дипломат на склоне своих дней пребывает едва ли не в отчаянии. В письме к министру Горчакову от 11 апреля 1865 года он пишет, что русские по натуре люди, в общем, незлобивые и терпеливые, готовые принять даже первенство немцев у власти в России, немцы же имеют к русским "чувство неприязни". И Тютчев напоминает Горчакову о Екатерине II. Эта русская императрица, уроженка Германии, однажды не решилась "назначить <...> на какой-либо ответственный пост" некоего весьма талантливого немца на русской службе, объяснив это тем, "что у него, как и у всех немцев, есть один в моих глазах огромный изъян. Они не довольно уважают Россию".

В последние годы жизни Тютчева симпатия к Германии уступает место отрезвлению и разочарованию. Он бы не был великим поэтом и мыслителем, если бы не указал на недостатки обеих сторон в общении друг с другом и в их отношении к собственным народам. В одном из писем к младшей дочери, Марии Федоровне Бирилевой, Тютчев сетовал на бедственное положение низших слоев населения. Куда ни глянь, в обществе повсюду разложение, причем не по злому умыслу, а просто по нерадению. В правительственных кругах отсутствие совести достигло таких размеров, что просто поверить невозможно. Тютчев приводит пример: во время путешествия императрице предстояло проехать на лошадях 350 верст между двумя железными дорогами. "На каждый перегон требовалось двести лошадей, которых пришлось привести за несколько сот верст и содержать в течение недель в этой местности, лишенной всего, и куда надо все доставлять". Поездка царицы обошлась в полмиллиона золотых рублей. Тютчев знал, о чем говорит, — этот эпизод ему рассказал министр путей сообщения, — и в заключение добавил: "Вот когда можно сказать вместе с Гамлетом: что-то прогнило в королевстве датском". Политически активный свидетель эпохи, Федор Иванович Тютчев все больше испытывал разочарование, о чем говорят следующие строки:

> Смрад, безобразье, нищета —
> Тут человечество немеет...

Тютчев не онемел. В сентябре 1870 года, за три года до смерти, он откликнулся на заявление Железного канцлера Бисмарка, сделанное в 1862 году перед бюджетной комиссией прусской палаты депутатов: "Не

речами и не постановлениями большинства решаются великие вопросы времени — но железом и кровью". Бисмарков суверен, прусский король, откровенно боялся планов Железного канцлера войнами объединить Германию и во время одного из железнодорожных вояжей сказал ему: "Я совершенно точно предвижу, как все это кончится. Там, на площади перед Оперой, под моими окнами, отрубят голову вам, а немного погодя и мне". Король умолк, и князь Бисмарк ответил: "Et après, Sire?[1]" — "Ну, après нас не будет". Оба оказались правы. Они умерли своей смертью, а их преемники исчезли в 1918 году с мировой арены.

Федор Тютчев не делал ставки на тысячелетнюю панацею насилия. Это видно из стихотворения, написанного в сентябре 1870 года — года первого германского единения "крови и железа" — в ответ Бисмарку:

Два единства

Из переполненной Господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши!
Славянский мир, сомкнись тесней...

"Единство, — возвестил оракул наших дней, —
Быть может спаяно железом лишь и кровью"...
Но мы попробуем спаять его любовью, —
А там увидим, что прочней...

Тютчев ответил не только на лозунг Бисмарка, но и на многократно цитированное заявление тогдашнего министра иностранных дел габсбургской монархии: "Надо прижать славян к стене..." Поэт предчувствовал бедствия. В одном из писем той поры он пишет, что у людей мыслящих его удивляет одно: перед лицом апокалиптических знамений грядущих времен у них душа не болит.

Проклятые вопросы

Когда скончался Тютчев, Достоевский работал над своими поздними произведениями. Эпической широтой и психологической глубиной персонажей и коллизий он предупреждал о катастрофах грядущего. Тютчев писал стихи для себя. Достоевский во весь голос обращался к обществу. Писательством ему приходилось зарабатывать на жизнь. А нервозную, лихорадочную жизнь бывшего ссыльного и приговоренного к смерти, который уехал в Европу, чтобы, занимаясь писательством, оплатить долги своего брата Михаила, стал завсегдатаем западноевропейских игорных домов и писал при свечах длинные романы с продолжением, — эту жизнь было очень легко вывести из равновесия. Вдобавок он страдал эпилепсией. Я упоминаю об этом к слову, ибо распространенное в Западной Европе мнение, что-де Достоевский олицетворяет русские первоосновы, относится к числу экзотических представлений европейцев о русских. Писатель Достоевский выстрадал сверхвпечатлительную

1. А потом, Ваше Величество? (*франц.*)

суть всех на свете людей, которые страстно живут, любят, мыслят, поначалу питают надежды на лучшую долю и мало-помалу разочаровываются. Достоевский поехал в Германию и Европу с надеждой, что высокообразованные европейцы поймут проблемы России. И сколь же велико было его разочарование по приезде в Германию.

В сентябре 1868 года Достоевский писал одному немецкому редактору:

Между прочим, меня чрезвычайно поразило необыкновенное незнание европейцев почти во всем, касающемся России. Люди, называющие себя образованными и цивилизованными, готовы часто с необычайным легкомыслием судить о русской жизни, не зная не только условий нашей цивилизации, но даже, наприм<ер>, географии. Не буду распространяться об этой неприятной и щекотливой теме. Замечу только, что самые дикие и необычайные известия из современной жизни России находят в публике полную и самую наивную веру. Нельзя не заметить, что масса этих известий увеличивается как в газетах, так и в отдельных изданиях, что, конечно, составляет признак все большего и большего интереса, который возбуждает мое Отечество в массах европейской публики.

Всем известно, что есть в Европе несколько периодических изданий, почти специально назначенных ко вреду России. Не прекращается тоже в разных краях Европы и появление отдельных сочинений с тою же целью. Эти книжки имеют большею частью вид обнаружения тайн и ужасных секретов России[1].

Этот пассаж письма, которое (наряду с многими другими) на немецкий язык переведено мною, не требует комментариев. Любителям эпистолярного жанра могу прямо сейчас порекомендовать книгу "Dostojewski. Gesammelte Briefe 1833–1881", вышедшую в издательстве "Пипер" и содержащую полный немецкий текст письма. Достоевский так и не отослал это письмо, но повод для протеста имелся, причем в печатном виде. В Германии. Речь шла о книге "Les Mystères du Palais des Czars. Sous l'Empereur Nicolas I par Paul Grimm, portrait de l'éditeur, Vurcburg. F.A. Julien, libraire-éditeur, 1868", то есть о "тайнах царского дворца", сегодня написали бы: "Кремлевские секреты".

Действие этого опуса происходит в 1855 году, в разгар Крымской войны. Изнурительная осада Севастополя (17 октября 1854 года – 9 сентября 1855 года) закончилась капитуляцией русских и решила исход войны. Это касательно года, о котором повествует книга. Одно из главных действующих лиц – *Достоевский*: по возвращении из Сибири писатель вновь участвует в революционном заговоре. Несмотря на пытки в Третьем отделении (тайной полиции), Достоевский не выдает своих товарищей. Его сажают в Петропавловскую крепость. Жена в отчаянии умоляет царя Николая I о помиловании, и в конце концов он удовлетворяет ее просьбу. Она радостно спешит передать это известие мужу в крепость. Но судьба распоряжается иначе: писатель уже на пути в Сибирь и неподалеку от Шлиссельбурга умирает. Жена Достоевского уходит в монастырь. Николай I, видя, что трон его поколеблен, кончает с собой.

Все здесь выдумка, как возмущенно констатировал Достоевский...

Несколько лет назад Игорь Волгин, один из лучших знатоков этого русского классика, выпустил книгу "Последний год Достоевского". В

1. Редактору одного из иностранных журналов. Конец августа–начало сентября 1868 года, Веве (черновое). Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений в 30 тт. Л., 1985. Т. 28. Кн. II.

1997 году, когда мы встретились в Дрездене, он с удивлением спросил, почему у нас нет совершенно никакой реакции на эту книгу, хотя как раз в Германии Достоевский всегда находил огромный отклик. Как ответственный редактор и переводчик писем Достоевского я занялся этим вопросом. В своей книге Волгин вправду увлекательно рассказал о поразительных находках, касающихся жизни и позднего творчества Достоевского, последних попыток взбудоражить российское общество, разорванное меж революцией, террором и консерватизмом. В так и не написанной заключительной части "Братьев Карамазовых" Достоевский намеревался сделать Алешу, символ кротости и примирения, террористом, искупительной жертвой ради возрождения, которая должна была потрясти актеров власти.

Волгин раскрывает эти обстоятельства и реконструирует роковое переплетение литературы, жизни и смерти. Баранников, лидер подпольной террористической организации "Народная воля", поселился в квартире по соседству с Достоевским. Никому ведь в голову не придет, что исполнительный комитет бомбистов расположен в таком месте — под боком у автора написанного в Дрездене романа "Бесы". В подобном убежище можно надежно законспирироваться. В этой квартире планируют покушения, в том числе убийство царя Александра II. Достоевский кое о чем узнает, у него впервые идет горлом кровь, и спасти его врачи уже не могут. Драма творчества перерастает в трагедию сложных переплетений, которую и раскрывает книга Волгина. Рост насилия в России конца XIX века превращает "проклятые вопросы" Достоевского в вопросы общечеловеческие, по сей день сопровождающие и мучающие нас. При каждом террористическом акте.

Обо всем этом я написал в газете "Зюддойче цайтунг". Где же найти эту книгу? — спрашивали меня. Она еще не переведена, отвечал я, но издательство, с начала XX века осуществляющее выпуск полного собрания сочинений Достоевского, ею интересуется. Да, издательство "Пипер", ныне купленное каким-то шведским концерном, в самом деле интересовалось книгой Волгина. И помимо моей рецензии заказало еще одну. В оценках обе рецензии совпали: книга Волгина содержит сенсационные новые сведения о жизни и творчестве Достоевского. Но, в отличие от меня, второй рецензент написал: "Не в пример привычным для нас биографиям из англо-американского региона — в том числе научным — в этой книге отсутствует атмосфера эпохи, отсутствует ощутимая наглядность, отсутствует все, что могло бы дать пищу воображению".

Куда мы идем?

Согласно международной статистике, Германия занимает первое место по числу переводов с иностранных языков. Данные, приведенные в брошюре "Книга и книготорговля в цифрах, 2000 год" ("Buch und Buchhandel in Zahlen 2000"), выпущенной Биржевым союзом немецкой книготорговли (Borsenverein des Deutschen Buchhandels), свидетельствуют, что в 90-е годы на переводы приходится круглым счетом 14 % всех новых изданий. Примерно половина из них — беллетристика, книги для детей и юношества, то есть литература эмоционального характера. Баланс между Россией и Германией в конце XX века по сравнению с его началом выглядит скуд-

но. Однако цифры нужно рассматривать в контексте. На 1999 год баланс переводов на немецкий и с немецкого выглядит так:

– переводы на немецкий осуществлялись с 49 языков;

– переводы с немецкого осуществлялись в 65 странах.

Иными словами, с немецкого на иностранные языки переводится больше, чем с иностранных языков на немецкий. Основная масса переводов на немецкий распределяется по языкам оригинала следующим образом:

1. Английский – 71,2 %.
2. Французский – 10,7 %.
3. Итальянский – 3,3 %.
4. Нидерландский – 2,4 %.
5. Испанский – 2,3 %.
6. Русский – 1,3 %.
7. Шведский – 1,1 %.

Еще 15 языков находятся ниже однопроцентной границы. Остальной мир – свыше 70 % населения земного шара – опять-таки попадает за пределы этой границы.

Можно ли низкий процент переводов с русского (1,3 %) и высокий – с английского (71,2 %) отнести за счет недостаточного спроса у немцев? Скорее, дело в том, что нас кормят так же, как скотину мясной мукой: рынок СМИ и книг ориентируется на "число включений" и на доходы с бестселлеров. Публика – просто объект стратегий соблазна.

Рольф-Дитер Клуге уже много лет указывает на факты нашей истории, которые с конца XIX века в системе народного образования Германии упорно оставляют без внимания[1]. Такая однобокая позиция отрицает культурные корни, связующие нас с Востоком. Ведь как-никак 90 млн. человек, говорящих по-немецки, непосредственно соседствуют с приблизительно 42 млн. говорящих на славянских языках. В обширных регионах Германии имеется множество топонимов и фамилий славянского происхождения. Тысячелетние контакты с Россией и начавшиеся еще в XII веке широкие взаимосвязи немецких поселенцев и экспатриантов с коренными обитателями восточных краев, живой интерес русской интеллигенции к литературе и философии Германии и освоение их способствовали тому, что самосознание русских было связано с Германией значительно теснее, чем с каким-либо другим народом Центральной и Западной Европы. Вплоть до первых десятилетий XX века немецкий занимал в России первое место среди иностранных языков.

Когда в конце XIX века в Германии ввели преподавание иностранных языков, славянские языки, в том числе русский, были намеренно оставлены за пределами школьных программ, тогда как у немецких классиков обстояло совершенно иначе: Лейбниц, Готшед, Шлёцер знали русский, Гёте и Якоб Гримм изучали сербский, Шиллер заимствовал материал для своей последней трагедии из польско-русской истории, Гердер всю жизнь занимался славистикой и русистикой, Рильке переводил "Слово о полку Игореве". "Требование чистоты нации" напрочь вытравило из памяти немцев все эти сплетения наших корней со славянским миром, возникшие еще во

1. Rolf-Dieter Kluge. "Jenseits des europaischen Bewußtseins? Slaven, Russen und die russische Sprache und Kultur im Bildungswesen der Bundesrepublik Deutschland". Tübingen, 1988. (Рольф-Дитер Клуге – штатный профессор I кафедры славянской филологии в Тюбингене; профессор-консультант Харбинского университета, Китай; почетный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва.)

времена оттоновской империи, под лозунгом "Зачем нам учить эти языки? Они же все там говорят по-немецки!" Перед Первой мировой войной в Германской империи было только три кафедры славистики (Берлин, Бреславль [ныне Вроцлав], Лейпциг). Таким образом в умах закрепились структуры высокомерия и невежества, смесь штампов и предрассудков, которые с легкостью вошли в расизм национал-социалистов, мобилизовали Гитлеру армию послушных пособников в войне против Востока и еще долго эхом откликались в годы холодной войны. Многие из давних шаблонов сохранились и оживают вновь. Образ восточных народов Адольф Гитлер заимствовал из книги "Миф XX века" Альфреда Розенберга, а этот выпускник Петербургского университета целиком и полностью находился в плену стереотипов, типичных для балтийских немцев и сформулированных в 1913 году в одной из темпераментных речей кайзера Вильгельма II: славяне существуют не затем, чтобы властвовать, а затем, чтобы служить, и благоденствие их зависит от "культуртрегеров". Термин "культуртрегер" проник из немецкого во все славянские языки, а восходит он к временам крестовых походов, к образу мыслей тогдашних рыцарей-меченосцев и постоянно звучал в путевых записках западных дипломатов. (Отрадно, что молодое поколение немцев и русских смеется над этими клише, которые, увы, еще задают тон в большинстве немецких СМИ по заказу ли, по собственной ли инициативе пишущих[1].)

С 1908 года ученые призывают включить русский язык в учебные планы как равноправный иностранный язык, надлежащим образом привести материалы школьных учебников в пропорциональное соответствие с материалами по другим странам: расхождение сейчас примерно такое же, как в цифрах переводов. В тюбингенской лекции 1988 года Рольф-Дитер Клуге цитирует двух славистов 1927 года: "Образованным кругам Германии по-прежнему совершенно неизвестно значение великой славянской филологии. Она осталась чисто кафедральной наукой, ограниченной узким кругом ученых и не имеющей в обществе ни малейшего отклика. В Германии тому, кто желает посвятить себя этой науке, требуется огромная способность к смирению". И до сих пор ничего не изменилось. Мир славян и наших общих корней лежит по ту сторону немецких зеркал.

По данным Рольф-Дитера Клуге, в 1977–1978 годах в Баден-Вюртемберге русский язык изучали 1450 учащихся. В 1987–1988 годах их осталось всего 877. С тех пор число изучающих русский по всей Германии неуклонно сокращается, хотя эти люди, изучающие русский как первый или второй язык, столь же полезны, как и слависты, владеющие южнославянскими языками и сумевшие осадить иных чиновников, которые ополчались на боснийцев, хорватов, сербов и македонцев. Кафедры славянской филологии закрываются, на существующих уже давно ощущается нехватка преподавателей, точь-в-точь по принципу: Slavica non leguntur[2]. А это в конечном счете поощряет у людей – независимо от их политической ориентации – тенденцию использовать в СМИ любые клише по истории, культуре и литературе России, сочинять комментарии о Кремле, по поводу Кремля и вокруг Кремля, так что немецкая публика свято верит, будто по части всего русского она всегда держит руку

1. Gregor v. Kursell. "Respekt, Uberheblichkeit und Klischees – wie Russen und Deutsche einander sehen". In: Rosch, Olga (Hrsg.) Stereotypisierung der Fremden. Berlin 2000 (Wildauer Schriftenreihe. Interkulturelle Kommunikation, Bd. 4).
2. По-славянски читать незачем (*лат.*).

на пульсе. В результате все это рикошетом бьет по нам же самим: кто смотрит на других в кривое зеркало, вряд ли толком разглядит и себя.

Так, мы никогда не понимали той функции, какую выполняли идиш и немецкий язык российских немцев, служившие мостами меж немецкими и славянскими народами: разрушение этих мостов привело к изгнанию немцев с Востока, к гибели давно интегрированной в России немецкой и родственной ей еврейской культуры. Германия умалилась географически, культурно и духовно. На мой взгляд, здесь коренится и беспомощность муниципальных служб в общении с поздними иммигрантами, которые чувствуют себя на исторической родине как потерянные, поют веселые и печальные песни о долгом пути домой — немецкие песни, нередко восходящие к XVIII веку и сохраненные немцами на Волге и в степях Казахстана.

Объединенная Германия имела бы меньше проблем со страхом перед чужаками, с проблемой иммиграции, языков и сокращением местного населения, если бы черпала из кладезя этих связей с Россией. Но где изучают сокровищницу песен, историй и личностей людей, которую Россия принесла нам в дар? Где семейные предания, соединяющие Швабию и Татарстан, Бремен, Ригу, Новгород, Альпы и Алатау, Дунай и Дон, Рейн и Волгу? Мы отдалились от источников, питавших наших предков на родине и на чужбине, не черпаем из собственных родников, поневоле обходимся кока-колой и нефтью даллассских и денверских кланов, слушаем несносный "немглийский" да еще и удивляемся, что в Лондоне или Нью-Йорке почти никто не интересуется немецкой литературой (мы импортируем оттуда круглым счетом 70 % названий, а они от нас — меньше 7 %), ведь имитации обычно весьма пресны и скучны, а немецкие СМИ и политики откликаются на немецкие темы, только когда они производят фурор в Америке.

Российские германисты до сих пор констатируют, что у многих русских симпатия к Германии — предпосылка немецкого единства, чудо после всех горячих и холодных войн! — связана с надеждой, что Германия более не станет в позу ментора, не будет играть роль вечного всезнайки, с которого надлежит брать пример (как в Берлине "восточники" с "западников").

Поскольку на переломе не удалось вписать объединение Германии в концепцию Большой Европы, будущее Европы после новой глобальной вспышки военной мании опять-таки зависит от взаимоотношений немцев и русских, а в первую очередь от взаимоотношений их элит. Германия, если она, как самый сильный союзник США в Европе, будет лишь рупором и пособником Вашингтона, навредит сама себе. Коль скоро Германия хочет оказать помощь раненой душе Америки, причем от всего сердца, то уж ни в коем случае не как вояка-нибелунг, готовый послать баварских горных стрелков на убой в горы Гиндукуша. Настоящие друзья говорят друг другу правду, младший брат не должен робеть перед старшим. Правда немцев такова: дорогие американцы, не повторяйте немецкой ошибки, не заноситесь перед Востоком, вы еще очень пригодитесь для спасения нашего расшатавшегося мира. Но не ракетными ударами по Афганистану, который схож с Германией под конец Тридцатилетней войны и влечет нас к началу конца света...

В XX веке немецкие элиты, определявшие историческое развитие в собственном государстве, стремились властвовать над Россией и за счет России и Восточной Европы. В XXI веке эта Германия могла бы стать посредником между Россией и Западом, например, напомнить охваченной болью и гневом, горюющей по жертвам непостижимого преступления Аме-

рике, куда ведет заносчивость тех, кто в необходимой борьбе против терроризма руководствуется местью и жаждой расплаты и объявляет остальному миру: кто не с нами, тот за террор. Всякая решительная борьба требует еще и позитивной цели развития и мира, а не только негативной — уничтожения агрессора, которого годами вскармливали и считали полезным. Немцам нужно посмотреть в собственное зеркало, а еще — вновь оживить преданные забвению восточные корни своей национальной культуры, не только до Урала, но повсюду на просторах Евразии, где множество людей — буддистов, христиан, мусульман — давно ждет программ, которые позволят им строить достойную жизнь и смогут осушить трясину, питающую терроризм в регионе вокруг Афганистана. Чингиз Айтматов так обобщил эту концепцию ведущих интеллектуалов Центральной Азии[1]:

На рубеже тысячелетий человечество стоит перед необходимостью глобального исторического выбора, который определит парадигму его развития в третьем тысячелетии, и, по всей видимости, правильным будет выбор концепции гуманизации. Если же пойти по пути глобальной экономизации, то не исключено, что государства и народы, которые окажутся вытесненными из сферы глобального научно-технического прогресса, выразят свое недовольство, и это станет причиной новых конфликтов на межнациональной и межрелигиозной основе. А в этом случае от международных конфликтов не спасут никакие национальные антиракетные проекты и программы. Ибо решение межнациональных конфликтов, которые возникнут в результате глобальной экономизации и расслоения мирового сообщества на сверхбогатые и сверхнищие страны, в закономерном порядке перейдет в плоскость террористических технологий и экстремистских настроений. В свою очередь это приведет к усилению терророфобии в богатых странах, и не исключено, что целые регионы земного шара будут объявлены зоной потенциального террористического риска. При этом не будет учитываться тот факт, что недовольство жителей этих регионов, которое будет проявляться в виде роста экстремистских настроений и террористической активности, будет вызвано прежде всего политикой глобальной экономизации. Именно в результате такой политики богатые страны будут обогащаться за счет усиленной эксплуатации их интеллектуальных и природных ресурсов, сброса экологически вредных технологий и производств, депопуляции и деградации народов этих стран.

В то же время разработка и принятие на уровне мирового сообщества политики глобальной гуманизации экономического развития во имя и во благо мирового сообщества могут стать качественно новым подходом к общемировому развитию. Самое главное — это позволит спасти мир от колоссальной катастрофы самоуничтожения, перед которой мы оказались, игнорируя принцип адекватности научно-технического развития человечества качеству развития его духовно-нравственной сферы.

Единомышленник Айтматова, национальный поэт Казахстана Мухтар Шаханов, предугадывая центральноазиатские катаклизмы, вкладывает в уста Темучина — будущего Чингисхана, архетипа разрушения на все времена — слова о том, что для него, владыки неба, земли и людей, есть воплощение счастья:

1. Из речи "Демократия и развитие. 30 лет программы последипломного обучения для развивающихся стран", прочитанной в Швейцарском техническом институте (Цюрих) и переведенной мною на немецкий язык.

Для меня счастье —
Настичь, растоптать,
Унизить и уничтожить врага,
Захватить все достояние,
Которым он обладает...

В конце же драмы мы слышим слова доброго призрака:

Зло в конечном счете —
Несчастье для самого
Его творца[1].

Часть II
Немецкое в русских зеркалах

(Написано в октябре 2002 г., когда многое опять выглядит, как сто лет назад...)

Продолжение написанного год назад под впечатлением рушащихся башен Центра мировой торговли настигло меня как эхо с Востока. Владимир Штайнерт (р. 1966) – преуспевающий предприниматель, весьма увлеченный проблемами этики истории, по происхождению российский немец, чьи родители и дед с бабушкой прошли при Сталине через ад депортации и преследований, – сам о том не подозревая, исполнил мою мечту: связал меня с Александром Яковлевым, отцом перестройки и демократического возрождения России, самым влиятельным, наряду с Горбачевым, человеком в Политбюро ЦК КПСС. Иными словами, с человеком, который с 1988 года председательствует в Комиссии по реабилитации миллионов жертв большевистских репрессий. Без Яковлева Горбачев так же немыслим, как Яковлев без Горбачева. Но в западных СМИ символом перестройки стал один лишь Горбачев, тогда как Яковлева в основном обходили молчанием, и это неслучайно; занимаясь переводом его автобиографии (она выйдет в 2003 году в лейпцигском издательстве "Faber & Faber"), я понял, в чем тут дело: он анализирует документы и раскрывает сущность власти, которая таится под общепринятой личиной XX века. А кому приятно, когда документы напоминают о том, что его нынешнее представление об истории нуждается в корректировке?

Если одна из сторон в холодной войне утверждает, что одержала победу, говорит Яковлев, выходит, мы имеем дело с войной; поэтому утверждение, что Запад одержал победу над коммунизмом, есть сущая бессмыслица. Причем комментарии и аналитические высказывания Яковлева с давних пор основываются отнюдь не на новой интерпретации известных и якобы уже изученных фактов, нет, он характеризует события, так сказать, из штаб-квартиры власти и предъявляет документы, которые до середины 90-х годов хранились под грифом "совершенно секретно" и были абсолютно недоступны. Прежде всего это касается архивов раннего большевистского режима, довоенного, военного и послево-

1. Мухтар Шаханов. Космоформула карающей памяти (Тайна, унесенная Чингисханом). Роман в поэмах. Алматы, 2001.

енного периодов. Данные документы таят в себе материал, подрывающий многие устоявшиеся точки зрения — на революцию и контрреволюцию, на яркие поворотные пункты Первой мировой войны, на соотношение элит России и Германии при переходе от монархий к республикам и диктатурам, от Первой мировой войны ко Второй. Лично я, во всяком случае, испытываю потрясение, однако оно меня не страшит, наоборот, воодушевляет, наводит на мысли, которые год назад мне бы и в голову не пришли. А кроме того, открывает неисчерпаемые возможности проникнуть в суть власти над массовыми движениями XX века, которые некогда потрясли мир, а теперь оказываются новым Вавилоном, хорошо нам знакомым по всевозможным номенклатурам социализма.

Приступив весной 2002 года к переводу автобиографии Яковлева "Омут памяти", я столкнулся со всем тем, что на протяжении моей сознательной жизни смущало меня и тяготило при мысли о Германии в связи с Россией и Америкой, что я искал и не мог найти, — хотя воспоминания Яковлева, не обвиняя других, позволяют сопережить целое столетие российской истории, то самое XX столетие, в 23-м году которого в ярославской деревушке родился Александр Яковлев, в восемнадцать лет добровольцем пошел на войну, от немецких пуль на всю оставшуюся жизнь стал инвалидом, а в конце концов очутился в святая святых власти новейшего Средневековья — в ЦК КПСС. Там он писал речи для так называемых небожителей — секретарей ЦК и членов Политбюро, — узнал фарисейство всевластия, его интриги и коварство, пал их жертвой и все же сумел выстоять. Здесь, в сердце Кремля, среди "архитекторов" великой державы Яковлев был одним из немногих, кто решился на хорошо продуманную поэтапную революцию, открывшись сам и наперекор угрозам и клевете добившись доступа к прежде совершенно секретным документам. Яковлев по сей день продолжает свою работу и многое уже опубликовал, соединив с собственным практическим опытом.

Когда весной Яковлев был в Германии и мы вместе объездили юг страны, он привез мне два десятка томов таких документов: "Россия. XX век". Я просто онемел и тотчас спросил немецких историков — ни один о существовании этих материалов не знал. Уже хотя бы документы 1940—1941 годов заслуживают внимания немецкой общественности, которая интересуется историей, ведь они опровергают многие утверждения и штампы, касающиеся обстановки перед нападением Германии на Советский Союз в июне 1941 года. С программой этого документального издания можно ознакомиться в Интернете; мемуары Яковлева в первой редакции были опубликованы в 2000 году (я перевожу сейчас третью, расширенную и исправленную редакцию) и разошлись в России очень быстро. Но ни в одной немецкой газете я не встречал упоминаний об этой поистине эпохальной книге. И у меня из головы нейдет вопрос: почему книгу Яковлева у нас замалчивают? Но вернемся к главному, то бишь к *немецкому в русских зеркалах.*

Открытая дискуссия по проблемам реальной истории в средствах массовой информации и в опубликованных книгах, похоже, отходит в сторону, как и силы, которые в ответе за пробуксовку реформ в Германии, заметную почти во всех сферах. А ведь перед великим поворотом повсюду твердили, что хотят знать все, что на Востоке держали под замком. Теперь же имеются сенсационные публикации, позволяющие заглянуть за кулисы мировой истории XX века, — и их не замечают, а то и вовсе игнорируют. Как президент видного международного фонда "Демократия" —

именно этот фонд выпускает документацию "Россия. XX век" – Яковлев подписал в 1996 году протокол о сотрудничестве с Институтом современной истории в Мюнхене, но минуло шесть лет, а он так и не получил ответа, любезно обещанного тогда одним из берлинских министров. Игнорируются причины возникновения и краха перестройки, путча против Горбачева, распада Советского Союза, раздела и воссоединения Германии, войны в Чечне – словом, итоги полутора десятилетий после 1985 года. Впрочем, не буду забегать вперед и подробно пересказывать труд жизни человека, сопричастного изменениям судеб мира и размышлявшего об их причинах. Скоро книга Яковлева будет доступна и немецкому читателю. Но что же представляется мне особенно важным, если подытожить все то, чего две сотни аккредитованных в России немецких корреспондентов упорно не желают видеть?

На всем противоречивом пути послевоенной Германии назад в семью народов мы неизменно считали и считаем главной точкой отсчета 1933 год, когда к власти в стране пришли Гитлер и его подручные. Такой подход едва ли что-то меняет в понимании нашей национальной истории и единственного в своем роде варварства, которое невозможно предать забвению, но что произойдет, если большевистская революция предстанет перед нами не как извращенная Сталиным и ополчившаяся на своих же детей, а как архетип фашизма – точнее, архетип власти массового террора средствами изначально тоталитарного государства? Иначе говоря, если декреты Ульянова-Ленина, Бронштейна-Троцкого, Джугашвили-Сталина и других большевистских вождей, скрепленные их подписями, свидетельствуют, что красный террор не был ответом на белый террор и военную интервенцию, что с первого дня после переворота 25 октября (7 ноября) 1917 года начался систематический расстрел предназначенных к истреблению слоев и групп населения. Что произойдет, если осознать, что многие поколения после 1917 года оказались вовлечены в пропагандистские баталии века, даже не догадываясь, как возникали эти баталии во имя террора и для антитеррора? Что мы сделаем, когда начнем понимать, что целые поколения были одурачены и миллионы людей поплатились жизнью, оттого что верили в виртуальные, мнимо научные построения? Кстати, все это справедливо и для консервативной и прогрессивной традиции – если угодно, можно воспользоваться и устаревшими понятиями "левый" и "правый" лагерь, которые в ходу и поныне.

Как известно, Гитлер и национал-социализм вообще считаются парадигмой зла, ведь под властью этого диктатора и его движения Германия сумела восстановить против себя весь мир, с чисто немецкой основательностью, пользуясь средствами современной пропаганды, почти уничтожила евреев как главного врага всех народов и даже стала причиной создания невероятного альянса, а именно: свела в антигитлеровской коалиции западные демократии с не менее кровожадным тираном – Джугашвили-Сталиным и его окружением.

Как же молодой немец в Америке 50-х годов должен был со всем этим справляться? Ведь он постоянно слышал, что в немцах это запрограммировано – "от Лютера до Гитлера" или "от Гегеля до Гитлера". Помню я и лекцию генерального прокурора Руденко – главного советского обвинителя на Нюрнбергском процессе главных военных преступников, – состоявшуюся в 1961 году в Коммунистической аудитории Московского университета, когда он прибег к сталинской формуле антифашизма и разразился такими обвинениями, что мне хотелось убежать прочь или

громко крикнуть: "А что делали вы? Вы ведь тоже преступники..." Разумеется, я не закричал и не убежал.

Попытки прикрыть дискуссию о немецких преступлениях предпринимаются у нас с начала 50-х годов и по сей день. И когда в 80-е годы историк Нольте взялся сопоставлять зверства нацистской Германии и большевистского СССР, стремясь тем самым преуменьшить первые, то происходило это отнюдь не в духе старого объективного разъяснения, а с намеком, что-де пора перестать ворошить прошлое. Но что предстоит нам теперь? Получить из Москвы доказательства отпущения грехов? Или, может, все-таки осознать, что давняя парадигма зла становится многослойнее и выявляет государственные структуры, порожденные нагнетанием террора и антитеррора и бросающие вызов всем идеологическим направлениям?

Я перевожу сейчас документы большевистских вождей в их практической деятельности во имя так называемой мировой социалистической революции, что заставляет меня коренным образом пересмотреть и давно сложившиеся собственные мои идеальные представления, ибо эти герои мирового пролетариата были кем угодно, только не святыми и весьма напоминают мне нацистов Гитлера и Гиммлера. Для наглядности процитирую здесь фрагмент еще не опубликованной рукописи Яковлева:

9 августа 1918 года Ленин рассылает телеграммы – одна чудовищнее другой.

Г. Федорову – в Нижний Новгород:

"Надо напрячь все силы, составить тройку диктаторов (Вас, Маркина и др.), навести тотчас массовый террор, расстрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т. п. Ни минуты промедления... Надо действовать вовсю: массовые обыски. Расстрелы за хранение оружия".

Евгении Бош в Пензу:

"Необходимо организовать усиленную охрану из отборно надежных людей, провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города".

На другой день в ту же Пензу:

"Товарищам Кураеву, Бош, Минкину и др. пензенским коммунистам. Товарищи! Восстание пяти волостей кулачья должно повести к беспощадному подавлению. Этого требует интерес всей революции, ибо теперь везде "последний решительный бой" с кулачьем. Образец надо иметь.

1. Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц.

2. Опубликовать их имена.

3. Отнять у них весь хлеб.

4. Назначить заложников – согласно вчерашней телеграмме. Сделать так, чтобы на сотни верст народ видел, трепетал...

Телеграфируйте получение и исполнение.

Ваш Ленин.

P. S. Найдите людей потверже".

В этих собственноручно подписанных распоряжениях Ленин уже не кремлевский мечтатель Герберта Уэллса, стремящийся к идеалам справедливости и новому миру без войн и террора, и не раскаявшийся иници-

атор военного коммунизма (ведь, как пишут многие энциклопедии, он очень об этом сожалел), нет – подлинный Ленин создает систему бесчеловечности, которая, как пишет в дотоле неизвестном письме нобелевский лауреат Иван Павлов, "сеет фашизм". Ленин вовсе не good guy[1], извращаемый bad guy[2] Сталиным, – Сталин не лицемерил, когда, своей рукой исправляя гранки учебника для коммунистов всего мира, под названием "Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография", написал: "Сталин – достойный продолжатель дела Ленина или, как говорится ныне в партии, Сталин – это Ленин сегодня".

Публично Ленин и Сталин высказывались заманчиво, ныне сказали бы: популистски. Большевистские вожди во все времена своего господства владели словесной социалистической демагогией так же фундаментально, как и машиной истребления людей. Фанатичные демагоги, они обеспечивали идеалистов материалом и лозунгами, а те на протяжении десятилетий верили во все это, исходя из идей антифашизма, ведь заклятый враг культуры, национал-социализм, объявил им тотальную войну; только так и можно понять Генриха Фогелера* в Кремле в 1923 году и после 1933 года или Лиона Фейхтвангера в том же Кремле в 1937 году. Кто тогда не искал в Кремле спасительный противоположный полюс – в первую очередь коммунисты, – руководствуясь духом антифашизма, когда перед лицом фашизма в Западной Европе, прежде всего в Германии, речь вправду шла о жизни или смерти, о культуре или варварстве! Вдобавок марксисты еще и провозглашали "принцип надежды": каким добрым, прекрасным и справедливым может стать мир при надлежащих социальных отношениях, но сперва надо немножко подстрогать, а при этом всегда летят стружки. К сожалению, утописты и антифашисты того времени не замечали кровавой советской реальности, потому что их виртуозно обманывали, да и сами они обманывали себя, обольщаясь надеждой на светлое Завтра, на утопию бесклассового общества и мира без войн... И ведь эти слова поныне воодушевляют живущих в нищете, эксплуатируемых и отверженных – тех, кого авантюристы всех мастей бросали и бросают в бессмысленные сражения за алмазы, золото и нефть. Но теперь можно доказать, что уже с 1917 года большевистская система, якобы строившая новый мир справедливости, была сродни возникшей в 1933 году нацистской Германии, причем не в смысле расхожего понятия "тоталитаризм". Различия в пропагандистских понятиях и в теоретических обоснованиях скрывали одно – практические указания по массовому террору власти против "врагов народа". Даже Вильгельм Хаузенштайн** в своем экспертном заключении, написанном в 1945 году по заказу военной администрации США и озаглавленном "Размышления на тему коммунизма", не мог провидеть такие бездны; когда Хаузенштайн выступал против поныне широко распространенного заблуждения, что "первохристианство было коммунистическим", его отмежевание от коммунизма имело философскую природу. Первохристианство, писал Хаузенштайн, "*не* было коммунистическим, не могло быть таковым – просто потому, что вообще *не было политическим*" (из неопубликованной рукописи).

1. Хороший парень (*англ.*).
2. Плохой парень (*англ.*).

* Генрих Фогелер (1872–1942) – немецкий художник, график и писатель. После 1923 г., увлекшись коммунистическими идеями, неоднократно ездил в СССР учиться и собирать художественные впечатления; в 1931 году окончательно переехал в Россию.

** Вильгельм Хаузенштайн (1882–1957) – немецкий писатель и переводчик.

Много воды холодной войны должно было утечь по Волге и Миссисипи, по Эльбе и Рейну, по Сене и Темзе, по Дунаю и Тибру, по Янцзы и Гангу, прежде чем — в середине 90-х годов — террористическая сущность большевизма вышла на свет и получила документальное подтверждение в приказах его вождей.

Все признания репрессированных и казненных в 20-30-е годы — возможно, читатель вспомнит здесь книгу Артура Кёстлера "Слепящая тьма" — это не показания рыцарей революции, а результат сфабрикованных протоколов и жесточайших пыток невинных людей, которые перед подписанием этих признаний обливались кровью, только правая или, у левшей, левая рука должна была удержать перо и перед расстрелом поставить подпись. Нарастание террора и антитеррора, встречавшее в XIX веке страстный протест Достоевского, достигло кульминации и поразило как палачей, так и жертвы неизбывным параноидальным страхом. Нормой жизни была смерть, и все слои населения, в том числе и сами палачи, воспринимали жизнь как счастливый жребий небожителей.

Из документов о судьбах невинных людей, что под пытками признавались в планировании террористических актов против руководителей государства и единовластной партии, Яковлев создал книгу своего века, где Германия и ее история присутствуют наравне с народом обоих тоталитарных государств, во имя которых миллионы людей воевали и убивали друг друга, — словом, *демонстрировали всему миру, как никогда больше нельзя делать политику на земном шаре*, хотя, трезво говоря, повторение старого уже состоялось: эпоха Чингисхана, Навуходоносора и Валтасара, христианского Средневековья, инквизиции через черный ход социал-дарвинизма вновь вторглась в Европу под личиной большевизма и национал-социализма.

Большевизм и национал-социализм, узурпаторы-наследники великодержавных амбиций своих аристократов-предшественников, впавших в цинизм от себялюбия и богатства, совершенствовали пропаганду не меньше, чем практические методы террора и антитеррора. Новые пропагандистские приемы позволяли воздействовать на массы во всех слоях. Целенаправленный обман обслуживал жажду возмездия у униженных и оскорбленных, бесправных и арестованных, которым опять-таки надлежало воспринимать террор как наказание. Из бесед с уцелевшими узниками немецких концлагерей я знаю, что, объявляя построенным на плацу заключенным о карательных акциях — как правило, о казнях, — нацисты именовали их возмездием за террористические акты большевиков. Из документов, которые приводит и анализирует Яковлев, видно, что все процессы большевистского руководства против потенциальных террористов, шпионов и заговорщиков всевозможных государств или тайных организаций были сфабрикованы, обвиняемые никогда не совершали таких преступлений, хотя благодаря "бдительности" спецслужб их удалось вовремя "изобличить" и предать "справедливому наказанию" — расстрелу.

С октября 1917 года в России действовал конвейер террора — конвейер выстрелов в затылок и ГУЛАГа; в Германии соответствующий конвейер был запущен с 1933 года. Идеологически оба государства насилия — сначала большевистское, затем национал-социалистское — в своих истребительных планах ссылались на законы природы и научность, одни на так называемую расовую теорию, другие на так называемую теорию классовой борьбы. Что первая, что вторая коренились в со-

циал-дарвинизме. Об этом можно прочитать у Ленина, Сталина, Троцкого, а прежде всего у Гитлера, который указывает в "Майн кампф", почему еще в феврале 1920 года в мюнхенской пивной "Хофбройхаус" – в пику Баварской советской республике, провозглашенной в апреле 1919 года в банкетном зале той же пивной, – он избрал большевизм главным врагом Германии. При этом Гитлер делает особый акцент на заимствованных у Розенберга "мифах" о "протоколах сионских мудрецов", фальшивке царских секретных служб начала века, – здесь мы обнаруживаем сродство политического антисемитизма в России и Германии начала XX столетия. Согласно Гитлеру и его российским единомышленникам, большевизм был "порождением международного еврейского заговора", то есть Россия стала его первой жертвой, второй жертвой "еврейско-большевистского заговора" якобы должна стать Германия, но он, Адольф Гитлер, и его движение сумеют это предотвратить, а заодно "освободят" и Россию. Поскольку же управлять русские не способны, так провозглашал Гитлер в 1920 году в мюнхенской пивной, Германия должна снова привести к власти в России германский элемент.

Грядущая война Германии была, таким образом, предрешена, когда еще толком не закончилась Первая мировая. А подстрекательские речи Гитлера сулили завсегдатаям пивной защиту от всех исконных врагов, освобождение от Версальского диктата и продолжение германского Брест-Литовского диктата другими средствами. При этом Гитлер возлагал большие надежды на маниакальный страх перед заговорами: вот пусть и расплачивается заклятый враг всех христианских народов, то бишь еврейство. То же самое встречалось в России прежде и встречается до сих пор. Весьма знакомый нам расчет на вечную злобу антисемитизма, каковы бы ни были причины. В этом смысле так называемые национал-патриоты нынешней России тоже берут пример с Гитлера.

Гитлер и его единомышленники, как известно, не без успеха делали ставку на антисемитизм по всей Европе, где не раз находились доброхотные пособники холокоста. В Сталинграде наряду с дивизиями из Румынии, Болгарии, Венгрии сражались добровольческие части СС почти из всех стран Европы, воюя против "мирового еврейско-большевистского заговора".

Все это выпустила на свободу чудовищная катастрофа XX века – Первая мировая война, подходящим поводом для которой стал теракт в Сараеве. Военное единоборство Германии и России уже в 1915 году обернулось кошмаром; другие державы, скорее, стояли в стороне, да и впоследствии тоже с интересом наблюдали, как немцы и русские то лицемерно расшаркивались друг перед другом, то хватали друг друга за горло и в конце концов вступили в кровавую схватку.

В Первой мировой войне монархисты обеих держав рассчитывали на войну до победного конца, тогда как социалисты вспоминали лозунги, например, "враг в собственной стране", лозунг гражданской войны, которая стоила России более 5 млн. жизней, а в Германии после 45-го, разделенной на ФРГ и ГДР, почти сорок лет была скрытой угрозой. Эту гражданскую войну успешно раздували в окопах войны 1914–1918 годов. Над мертвыми полями витали призраки гибели человечества, большевики, распространяя свои листовки, выпускаемые на деньги из Берлина, мало-помалу одерживали верх – все это было на руку германским генштабистам. Идеалисты верили лозунгам и видели в интернационале освобождение. Реалисты из числа военных рассчитывали на них как на

орудие разрушения. Идеалисты поклонялись своим полубогам — Ленину, Троцкому, позднее Сталину. А реалисты до поры до времени обеспечивали этих "полубогов", очень выгодных им террористов, деньгами, чтобы их руками — и себе на пользу — вершить уничтожение.

Ситуация, ныне предстающая перед нами из документов, более чем гротескна: чтобы развязать себе руки на Восточном фронте, германский генеральный штаб — по заданию кайзеровского правительства — с 1915 года финансировал большевистскую мировую революцию; на первых порах суммы были невелики, но при растущем успехе достигли свыше 60 млн. марок золотом (в нынешних евро это в десять с лишним раз больше). Иными словами, Берлин рассчитывал на Ленина как на союзника в борьбе против своего бывшего партнера по антитеррористической коалиции — царя Николая II. И меж тем как Ленин лично — сей факт до сих пор оставался в тайне — получал деньги от германского генштаба, левые в Германии веровали в своего Ленина как в нового мессию мировой революции, который якобы волею масс призван стать во главе России. Вот так ход истории принял роковой оборот...

Граф Мирбах, первый посол германского кайзера Вильгельма в советской России, выплатил союзникам, то есть большевистским террористам, бóльшую часть денег сразу после переворота (Октябрьской революции) 7 ноября 1917 года, в несколько приемов. Вскоре — 6 июля 1918 года — Мирбах погибает от взрыва бомбы. Следы тотчас заметают — убийство совершил некто Блюмкин, якобы эсер, как Ленин пишет Сталину. Теперь же выясняется, что теракт организовала ЧК: Блюмкин был руководящим сотрудником Чрезвычайки и убрал свидетеля передачи денег, графа Мирбаха, по заданию Дзержинского и Ленина. Десятью годами позже наемного киллера Блюмкина по решению Политбюро расстреливают — на сей раз по требованию Сталина. Последний соучастник махинаций между большевиками и германским генштабом ликвидирован, остается один-единственный свидетель — Сталин, который под конец своего кровавого правления якобы намеревался открыть тайный сговор Ленина с германским генеральным штабом и, быть может, поэтому умер якобы не своей смертью... А кто бы тогда мог проявить интерес к обнародованию фактов, известных и в Берлине, разумеется, в самом узком кругу? И как обстоит сейчас — так же?

В ту пору мифы прочно закрепились: ведомая большевиками Россия, позднее Советский Союз, утвердилась как центр Коммунистического интернационала, став, таким образом, Меккой для верующих всего мира, а закулисно она продолжала военное сотрудничество с теми кругами в Германии, что финансировали приход большевиков к власти: до середины 30-х годов будущие немецкие танкисты и военные летчики, вторгшиеся в 1941 году в Советский Союз, именно там и проходили подготовку до полной боеготовности. Сталин же тем временем вел беспримерную войну против собственных народов и собственной армии — неизменно во имя предотвращения "терактов" и "диверсий", — методично уничтожая перед войной основу собственной обороны. И даже во время войны Сталин и Гитлер, каждый на своей территории, санкционировали массовое уничтожение невинных людей — либо как потенциальных террористов, шпионов, врагов народа и изменников родины, либо как осквернителей расы, евреев, большевиков и т. п. Сущностью диктатуры — в том числе возросшей в России и в Германии из беспомощных демократий — всегда остается смесь страха перед террором вообще и тер-

ром реальным, практикуемым ради поддержания этого страха, и вознаграждений за доносы, чтобы обезопасить власть.

Никогда в мире после 1917 года не знали о разрушительных потенциалах большевистских сил с такой точностью, как во властных элитах Германии, которые большими деньгами как раз и помогли этим силам утвердиться.

У меня давно возникали сомнения в определенных мифах революций 1917 и 1918 годов, но я цеплялся за них и строил надежды и мечты насчет нового мира, все еще по образцу: социализм похож на первохристианство, проходит в своем развитии несколько этапов, в том числе и этап инквизиции, и когда-нибудь раскроет на благо народам свои целительные силы. И вот теперь документы свидетельствуют, что на самом деле первый практик фашистских реальностей и пропагандистских социалистических виртуальностей XX века, адвокат Владимир Ульянов, взявший в Мюнхене псевдоним "Ленин", благодаря германскому генеральному штабу претворил в жизнь современную форму терроризма. Разве в наши дни это не сигнал, призывающий к размышлениям? Не тема для драм и трагедий, которые, быть может, создадут классики литературы грядущего, подобно Шекспиру, некогда обратившемуся к темам античности и Средневековья?

В моем архиве хранится документ, который я только теперь начинаю понимать в полной мере. Речь идет о рукописи Карла Шнурре, поверенного, который по заданию Риббентропа отвозил Сталину письмо Гитлера. Рукопись озаглавлена "Напряженные дни с 3 по 22/23 августа 1939 года". Поверенный Молотова вручил Шнурре ответ Сталина Гитлеру, и Шнурре отвез его в Берлин, где отдал Риббентропу для передачи фюреру. Отправители – Гитлер и Сталин – скрыли свои имена. Гитлер заклинал "плодотворные политические связи, сложившиеся в веках между Германией и Россией"; Сталин отвечал, что "народы нуждаются в мирных контактах друг с другом", и оба продолжали безостановочно истреблять невинных людей, держать их как рабов в концлагерях и полностью милитаризировали собственные государства, причем ко времени тайной переписки (к августу 1939 года) Сталин уже успел обезглавить военное руководство советских вооруженных сил. Как национал-социалист Гитлер, так и большевик Сталин в своем сговоре таились от мира и от собственных народов. Вопросы тут напрашиваются сами собой: они делали это как враги? Как сообщники? Или просто как трусы, получавшие удовольствие от массового террора, на который опиралась их власть?

Карл Шнурре, из чьего личного архива мне досталось это маленькое досье, лишь в 1987 году подготовил записки, включающие послания Гитлера и Сталина, которые он тогда – перед пактом 1939 года – возил из Берлина в Москву и обратно. После 1945 года он наотрез отказывался от любых интервью касательно своей роли риббентроповского письмоносца – посредника между Гитлером и Сталиным. Для профессионального дипломата Шнурре, дяди писателя Вольфдитриха Шнурре, подобное интервью было бы слишком рискованным. Ведь как-никак речь шла о том, развязал ли этот обмен письмами между Гитлером и Сталиным, предваряющий Пакт о ненападении, войну, унесшую затем жизни 55 млн. людей. Вероятно, Шнурре мог бы куда больше сказать о подоплеке событий, однако время для беседы на эту тему тогда еще не пришло.

Участвуя в Третьем немецко-русском диалоге в Баден-Бадене [начало октября 2002 года, организатор – Международный баден-баденский

фонд (International Baden-Baden Foundation)], я внес некое предложение и сослался при этом на одну мысль Александра Яковлева. Мне хочется и здесь упомянуть об этой инициативе, так как я убежден, что она вполне соответствует идеям, какими руководствовался Вильгельм Хаузенштайн в своей деятельности по примирению Германии и Франции.

Суть инициативы вот в чем. Некогда генуэзец Колумб отплыл на запад, чтобы скорее попасть на восток. Этим замыслом он был обязан новой, Галилеевой системе мира. В своем плавании Колумб открыл неизвестный континент — Америку; названия "индейцы" и "Вест-Индия" поныне свидетельствуют, что в каждой истине может отчасти присутствовать и заблуждение, существующее на тот момент в знаниях о мире. Нам бы нужно снова отправиться в открывательскую экспедицию, на этот раз на восток, тогда, быть может, мы скорее попадем на запад, но, во всяком случае, непременно обнаружим множество вытесненных истин собственной истории и культуры, те тайны Евразии, о которых ныне публично размышляют Збигнев Бжезинский и другие североамериканские геополитики, меж тем как мы упорно не замечаем, что Евразия, где сосредоточено 70 % населения и 60 % ресурсов матушки-Земли, не только была колыбелью культур древности, но и будет эпицентром грядущей эпохи. В какой именно форме — зависит от нашего понимания реальной истории XX века.

Немцы и русские могли бы в такой открывательской экспедиции, вместе с равноправным партнером Америкой, помочь всем народам осознать, чего именно надлежит избегать в необходимой борьбе с терроризмом. И этому могли бы содействовать до сих пор неизвестные политические планы под названием "Документы XX века. Германия и Россия", опубликованные на двух языках. Такое издание явится *энциклопедией ориентации на мир во всем мире*, ибо из него станет ясно, как возникали взаимные агрессии XX века; в наши дни сценарии угрозы демонстрируют множество параллелей эпохе до 1914 года и после 7 ноября 1917 года, того дня, когда старый мир проиграл свое будущее, а Германия и прежде всего Россия — целое столетие.

Русскоязычную версию документации "Германия-Россия", включая перевод на немецкий, можно профинансировать из налоговых поступлений, какие сейчас затрачиваются на один-единственный немецкий танк. А немецкоязычную документацию "Россия-Германия", включая перевод на русский, — из налоговых поступлений, какие тратятся сейчас на один русский танк.

Но сознают ли вообще западные элиты с их влиянием на общественное мнение в своих странах те новые возможности, какие открывает подлинно демократическая Россия? В главе "Самоочищение" своей биографии Александр Яковлев пишет:

> На Западе, как и у нас, оставалось, в том числе и у власти, еще много твердолобых политиков и военных, для которых "холодная война" определяла их образ жизни, держала у власти. Убежден, что, подойди Запад к новой России с новыми мерками, сегодня мир был бы совсем иной. Обстановка была уникальной и очень богатой по своим возможностям.
>
> В конце разговора я на полном серьезе сказал канцлеру:
>
> — Господин Коль, все это хорошо. И беседа у нас сегодня была конструктивной, но мне не дает покоя одно обстоятельство. Оно постоянно гложет меня. Это касается советско-германских отношений.

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду то, что Германия до сих пор не заплатила репарации нашей стране.

— Какие репарации? Мы все заплатили.

— Нет, господин Коль. Немецкие политологи сочинили теорию построения самого лучшего общества на земле. Сами немцы почему-то не захотели строить свое счастье по Марксу и Энгельсу и подсунули эту программу нам. Россия клюнула на приманку, приняв социальную диверсию за добродетель. В результате мы обнищали и отстали. И вот теперь обращаемся к вашей помощи.

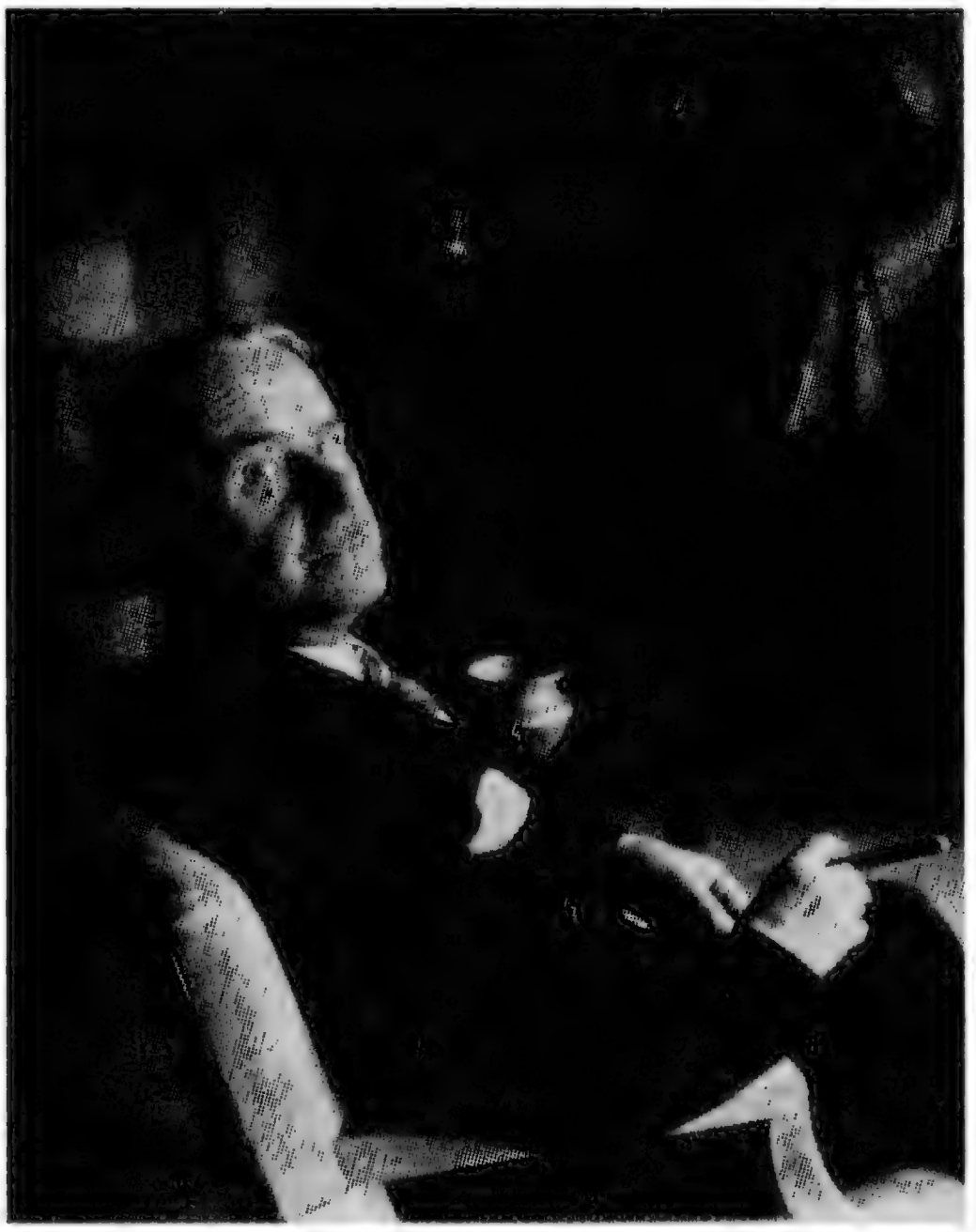
Гельмут Коль долго смеялся. А вот нам не до смеха до сих пор.

Уж коли речь зашла о Германии, то для меня всегда оставалось загадкой, почему наши страны, а вернее, руководители не смогли найти другого пути в отношениях, кроме вражды и войн. Подобное всегда казалось мне исторически алогичным и противоестественным. Невообразимо представить себе огромную экономическую мощь двух государств и богатство народа, если бы строили они свои отношения на базе сотрудничества и мира. Не потеряна такая возможность и в наше время. Только надо решительно отбросить в сторону обветшалые догматы и поработать как следует над новой, экономически и политически емкой и глубоко проникающей в будущее программой отношений.

Вольфратсхаузен, 13 октября 2002 года

Томас Манн
Генрих фон Клейст и его повести

Перевод и вступление С. Апта



От переводчика

По предложению одного американского издательства, готовившего сборник новелл Клейста в английских переводах, Томас Манн в мае 1954 года написал эту статью, а в ноябре того же года по приглашению студентов Швейцарского технологического института прочел им ее в виде доклада о Клейсте. Статье суждено было стать одним из трех последних произведений писателя. До смерти (август 1955 года) он успел начать и кончить еще только "Опыт о Чехове" и "Опыт о Шиллере", а работа над пьесой "Свадьба Лютера" оборвалась на стадии подготовительных заметок.

Клейст (1777—1811), как и Чехов, как и Шиллер, не был для Томаса Манна новой, неожиданной темой. Как и авторы, которым посвящены эти последние очерки, Клейст принадлежал к числу тех, к кому он часто возвращался мыслями и о ком ему и раньше доводилось писать. Такого неотрывного внимания, как Гёте, своему постоянному ориентиру в жизни и творчестве, он, конечно, им не оказывал, но все три имени всплывали на его страницах неоднократно. А имя Клейста чуть ли не впервые появилось на них в прямой связи с Гёте, и ассоциация эта оказалась настолько прочной, что, как увидит читатель нижеследующей статьи, не померкнет и в старости. Еще в 1910 году, читая или, вероятнее, перечитывая Клейста, тридцатипятилетний Томас Манн писал брату Генриху: "Я читаю прозу Клейста, чтобы как-то собраться с силами, и после "Кольхааса" разозлился на Гёте, который отверг его за "ипохондрию" и "дух противоречия". Его "Обручение на Сан-Доминго", шедевр повествовательского искусства, он убил замалчиванием, зато драму "Тони", которую сделал из этой повести Кёрнер, прочел

© С. Апт. Вступление, перевод, 2003

при дворе и набросал для нее декорацию". Семидесятидевятилетний Томас Манн на Гёте не "злится", но несправедливость к Клейсту припоминает ему — как вскоре в "Опыте о Шиллере" вспомнит его улыбку и покачиванье головой по поводу пристрастия младшего собрата к театральным эффектам, и будь Чехов современником Гёте, наверное, и в "Опыте о Чехове" не преминул бы потревожить тень веймерского олимпийца...

Клейст был писателем, которым Томас Манн восхищался всю жизнь, и статья о нем стоит в ряду тех поздних литературно-критических и художественных работ писателя, которые объединены желанием подвести итоги, потребностью еще раз сказать о важном и занимательном для него перед близким концом.

Генрих фон Клейст, отпрыск бранденбургской помещичье-офицерской семьи фон Клейстов, был молодой человек с детским лицом и странными, малообаятельными манерами. Меланхоличный, мрачный, немногословный, косноязычный — отчасти, наверное, из-за дефекта речевого аппарата, дефекта, придававшего его словам, когда он ввязывался в умственные разговоры, неприятную резкость, — он быстро смущался, начинал заикаться, краснел и в обществе почти всегда держался неестественно, неловко, натянуто. Было бы опрометчиво заключить из такого поведения, что человек, удивляющий им общество, — это гениальный, обремененный необычными задачами, страдающий от глубоких проблем художник. Но относительно Клейста такое предположение психологически чуткого наблюдателя оказалось бы верным. Он был одним из самых больших, самых смелых, самых выдающихся писателей немецкого языка, драматургом, не имеющим себе равных — вообще не имеющим себе равных, и как прозаик, как повествователь тоже, -- совершенно единичным, выпадающим из всякого лада и ряда, радикальным в увлеченности своими эксцентричными сюжетами до безумия, до истерии, — глубоко, однако, несчастным; изнуренный требованиями, которые он к самому себе предъявлял, он боролся за невозможное, то и дело сваливался от душевных недугов и был обречен на раннюю смерть. Ему было только тридцать пять лет, когда он покончил с собой вместе с одной женщиной, которую совсем не любил, с ней — она была неизлечимо больна — его связывала только воля к смерти, — покончил с собой, поскольку, как он сказал, "на этом свете мне уже нечего познавать или приобретать", покончил с собой, устав от своего несовершенства, в метафизическом стремлении бросить свою фрагментарную индивидуальность в мировое пространство, чтобы оно, может быть, сотворило из нее что-то более совершенное.

Тридцать пять лет... За такой скупой срок он швыряет — но "швыряет", пожалуй, неподходящее слово, ибо работа его тяжела и трудна, она идет с постоянными вычеркиваниями и переделками, и все же это подходящее слово, ибо все, что он делает, полно предельной, пугающей стремительности, — за такую, стало быть, короткую жизнь, к тому же еще с задержками из-за долгого незнания самого себя, непонимания, что он призван быть писателем и *только* писателем, он скоропалитель-

но создает собрание произведений, изумляющее просто даже количеством, состоящее из восьми драм (одна из которых, "Роберт Гискар", осталась могучим торсом), стольких же повестей, пропавшего двухтомного романа, ряда статей (одна из которых, "О театре марионеток", — шедевр эстетической метафизики), группы великолепно написанных анекдотов и нескольких напоминающих воззвания журналистских работ, таких же горячих, прямо-таки неистовых, как все его творчество. Нет только лирических стихов. Почему их нет? Почему даже представить себе нельзя, чтобы этот недюжинный художник слова, достигающий в своих пьесах таких замечательных вершин лиризма, излил свою душу в песне свободно и непосредственно? Какая психологическая помеха принуждает его к мотивированности, объективности, пусть буйной, но все-таки безличной объективности, которую читатель заметит и в новеллах этого сборника? Не вспоминается ли тут невольно та косноязычность, тот "дефект речевого аппарата"? Дионисийское откровение было его стихией; но путь к исповеди, на которую Гёте с его открытым нравом был так щедр, что мог все свои творения назвать "фрагментами одной большой исповеди", — этот путь был для Клейста закрыт. Последнюю тайну своей страдальческой жизни он унес с собой в раннюю могилу, написав своей верной сестре: "Однако беда в том, что не было мне спасения на земле".

На свет он появился во Франкфурте-на-Одере сыном отставного майора Иоахима Фридриха фон Клейста. В пятнадцать лет нежного и чувствительного мальчика отдают, как полагается, в Потсдамский гвардейский полк, где, как тоже полагается, рядовых бьют, а офицеры — неграмотные забулдыги. В чине прапорщика он попадает в Рейнскую армию, участвует в осаде Майнца и в двух настоящих сражениях. "Пусть небо пошлет нам мир, чтобы гуманными деяниями искупить нынешние бесчеловечные убийства!" — пишет он. Восторга по поводу принадлежности к воинскому сословию в этих словах не слышно. Антипатия, которая в них заметна, не уменьшается, а постоянно растет — и тогда, когда он возвращается в Потсдам для гарнизонной службы. Уже в двадцать один год, лейтенантом, он подает в отставку. После семи лет службы, которые он проклинает, его отпускают, и в качестве студента университета в своем родном городе он может заняться науками — математикой, философией и физикой, а также "литературной энциклопедией".

Совершенно ясно, что в юности литература отнюдь не была для Клейста тем, чем ей суждено было стать для него — бурным творчеством, страстью, трагедией, судьбой. Он ждал от нее образования, просвещения, нравственного совершенствования, учености и поучения. Положение профессора видится ему подобающим для себя. Все, чему он учится, он пускает в дело, читая с самодельной кафедры лекции девицам своего сословия. Служение добродетели побуждает его обручиться с некоей Вильгельминой фон Ценге, генеральской дочерью, которую он, предварительно обучив ее немецкой грамматике, заставляет писать сочинения о целях и счастье истинного брака.

Что все это, начиная с помолвки, чистейший вздор, что до наук, особенно математики, до философских рассуждений и даже до нравственного совершенствования ему нет никакого дела, что вся отвлеченность, которой он изводит себя — а как благочестивый жених он изводит себя и вообще, — это надругательство над его нервами, над его жизненными силами, он, вероятно, смутно чувствовал, когда летом 1800 года вдруг снялся с места, пустился в первое свое путешествие, за которым, чередой поисков и метаний, последовало много других. Впрочем, это первое совершается в медицинских целях — почему именно, не совсем ясно. Во всяком случае, он направляется в вюрцбургский госпиталь для "устранения помехи браку": состояла ли она в нервном расстройстве или, как выражается один биограф, в "маленькой физической деформации"? Упоминаются также "юношеские смятения", рецидива которых он опасался.

В своих письмах он говорит о пребывании в клинике в загадочно-патетическом тоне, в таких выражениях, как "невероятные жертвы" и

"огромная затрата сил", но возвращается оттуда с торжеством, заявляя невесте: "Ты рождена стать матерью" и "Девочка, какое ждет тебя счастье!" — только чтобы уже чуть позже написать ей: "Я часто боролся с собой, не долг ли мой покинуть тебя?" — и чтобы немного спустя действительно покинуть ее со странными словами: "Вы, женщины, не можете понять одно немецкое слово — *честолюбие*". И: "Милая девочка, не пиши мне больше. Единственное, чего я хочу, — поскорее умереть".

С этим "честолюбием", которое связано с таким желанием, означающим капитуляцию, дело обстоит весьма запутанно. Он говорит это сам: "Все во мне перепуталось, как кудель в прялке". Поступить на какую-нибудь службу, как того требовал бы брак с Вильгельминой, он упорно не хочет. Его научное усердие, его культ истины рухнули под страшным ударом: изучение Канта стало для него духовно-нравственной катастрофой, показав ему, что истина и совершенство недостижимы, поскольку всякое познание обусловлено формами нашего мышления. Это ошеломляет его. "Моя единственная, моя высшая цель низвергнута, никакой другой у меня теперь нет". Бездеятельно, "душевно опустошенный", он неудержимо мечется с места на место. Неудержимо, да не совсем. Ибо потихоньку, сам того не замечая и не желая, он стал сочинять. В Париж, который, как Гёттинген, Берлин, Страсбург, Берн, Кёнигсберг, Дрезден, принадлежит к городам, где он на какое-то время задерживается, он привез две начатые драмы: "Семейство Шроффенштайн" и "Роберт Гискар, герцог Норманнский". Первую он закончит, выспреннюю рыцарскую трагедию рока, полную полунелепостей и нелепостей, но искрящуюся талантом, ее он вскоре назовет "жалкой дребеденью". "Гискар", напротив, трагедия норманнского герцога, стремящегося наперекор пожирающей его войско и не щадящей его самого чуме завоевать Константинополь, становится для него роком, невыполнимой задачей, с которой он снова и снова вступает в единоборство, задачей, превращающейся для него в символ того "честолюбия", о котором он говорил и в котором есть что-то совершенно гротескное, потому что оно лишь косвенно направлено на внешний мир, на художественное свершение как таковое, а по сути — на свое прусско-историческое имя, на свою семью, перед которой он, деклассированный, раздираемый гордыней и мукой неполноценности, должен оправдать, утвердить себя, от которой должен добиться признания, что он по-своему достоин своего имени, что он настоящий Клейст. "Гискар" должен быть порукой тому. Все, кто знаком с начальными страницами, в полном восторге. Еще какое-то время "Гискар" — это венец бессмертия. Потом поэт признает себя побежденным. "Я вот уже полтысячи дней, а чаще заодно и ночей, — пишет он сестре, — отдал попытке присовокупить ко множеству венцов *во славу нашей семьи* еще один. Но теперь наша священная богиня-заступница возглашает мне, что довольно. Она поцелуем стирает пот с моего лба и утешает меня словами, что, если бы каждый из ее сыновей сделал столько же, нашему имени нашлось бы место под звездами". Большего вздора нельзя и вообразить. Если у этого имени есть место под звездами, то поместил его под звездами он, и он один[1]. Не знаю, да и никто не знает, какие заслуги перед Бранденбургом снискали себе майоры и генералы фон Клейсты, зато знаю, что во всем мире Божьем есть только один Клейст, и это он, автор "Пентесилеи", "Михаэля Кольхааса" и одного колоссального акта "Роберта Гискара", который попросту слишком хорош, чтобы он мог быть превзойден или вынес какие-то дополнения. Пустым звуком было бы имя Клейст без него, а он думает, что его гениальные труды вершатся для славы его семьи, и каждый знак пренебрежения со стороны этих людей для него как нож в сердце.

Смятенная, детская душа! Впрочем, к этому дурацкому "честолюбию" примешаны элементы и намерения, которые больше подходят нешуточному жару этого слова, хотя и в них есть что-то злосчастное, психологи-

1. Среди его предков был один баловавшийся сочинительством офицер, Эвальд фон Клейст (1715—1759), но я не знаю его, да и незачем его знать. (*Прим. авт.*)

чески вредное для него. Ибо по сути своей они заносчиво-задиристы, ревнивы и болезненно соревновательны, это вызов неистового претендента, который заявляет, что хочет "сорвать" у кого-то "венец с чела", и этот кто-то оказывается к тому же самым великим, самым благословенным, самым счастливым — это Гёте.

Колеблющееся между смирением и ненавистью отношение к Гёте, гложущая злость на его славу, судорожное стремление отнять у него венец, личный даже конфликт с завершителем любых начинаний, который не замечает его, знать о нем не желает, очень сильно отравили жизнь Клейста. Совсем нелепой, однако, его неистовая мечта столкнуть Гёте с престола все-таки не была. В Османштедте он, обычно робкий и замкнутый, рассказал Виланду, который сумел развязать ему язык, замысел "Гискара", прочел ему наизусть какие-то части драмы. Старый знаток очарован. Он заявляет: вот сила, которой суждено заполнить тот большой пробел в драматической литературе Германии, что остался даже после Гёте и Шиллера. Вослед уехавшему Клейсту он посылает письмо: "Нет ничего *невозможного* для гения священной Музы, вдохновляющей Вас. Вы *должны* дописать своего "Гискара", даже если на Вас обрушится весь Кавказ и весь Атлас..." Удивительно ли, что волны клейстовской самоуверенности вздымаются ввысь — на миг? Ведь потом — безумный поступок! — он сжигает рукопись, правда оставив несожженной небольшую часть материала, по которой впоследствии восстановит хотя бы фрагмент.

"Тот, кто отчаянья не знал, и жить не вправе", — сказал Гёте. Бурная натура Клейста была как нельзя более склонна к отчаянью. Но и в отчаянье его жаркий взгляд по-прежнему направлен на венок олимпийца. Ибо втайне он знает, что есть в нем что-то, пусть темное, подспудное, предолимпийское, титанически-варварское, что может вознести его над творческим успехом любимца богов и его друга, идеалиста-ритора, каким-то стихийно-драматическим образом, не имеющим ничего общего с образованностью, гуманностью, прекрасной линией, золотой серединой, идеализмом, винкельмановским эллинизмом, ничего общего с морализаторством идейной поэзии, а по-дионисийски, с богоодержимостью, с хмельной чрезмерностью, проникающей в малейшую дольку перегруженного выразительностью языка, с бесстыдной грубостью.

Гёте и Шиллер повернули от "бури и натиска" своих юношеских произведений к благородной гуманности, классицизму, к высокой цивилизованности, к чистой красоте. Расцветает немецкая классика, эпоха высочайшей нашей образованности. Нет ничего более благотворно-возвышенного, чем гётевская "Ифигения". Немыслим более искусный эксперимент в части формы, чем шиллеровское подражание античности в "Мессинской невесте". Но скажем правду: Клейст единственный, от чьих отвергающих всякую соразмерность творений — я думаю прежде всего о том, где он потерпел поражение, о фрагменте "Гискара", — исходит сила, исходит драматическая вибрация, мифический трепет, священный ужас античной трагедии.

Отвергающая антипатия Гёте к этому дикому явлению, к гению, который слишком стихиен, чтобы держаться традиционных норм образованности и правил искусства, — как я понимаю, как *разделяю* ее! Верно, что он добивался "смятения чувств", этот поэт. Он добивается его даже в такой милой пьесе, как чудесная обработка мольеровского "Амфитриона", где в то же время, к великой досаде Гёте, заявляет о себе его склонность к мистике, когда он "le partage avec Jupiter"[1] толкует как христианскую осененность святым духом. Что он был мучительно мнителен, не в ладу с жизнью, болезненно радикален, всегда склонен к выбору патологических сюжетов, к сомнамбулам, сновидцам-мечтателям, а вдобавок и к тяжким правовым проблемам, даже напоследок, на самой вершине и перед самым концом, в "Принце Гомбургском", — все это правда. Вакхическая эротика убийства и людоедство его "Пентесилеи", которую он преподнес Гёте "на коленях своего сердца", ужасна. Еще ужаснее бешеный,

1. Дележ с Юпитером (*франц.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

поносящий "Рим", то есть Францию и Наполеона, национализм его "Битвы Германа", голубоглазый герой которой — а это опять-таки очень реалистическая, скорее предостерегающая от немецкого характера, чем идеализирующая его психология, — голубоглазый герой которой фальшивее и коварнее, чем пуниец. Точно так же безмерная наивность, прямотаки пародийная народность "Кетхен из Хайльбронна", рыцарской пьесы, деромантизирующей всякую романтику, где нет ничего, кроме лунатизма, двойничества и помощи херувима, позволяющей пройти сквозь огонь и воду, по вкусу не каждому, уж во всяком случае не Гёте. Вместо того чтобы поставить "Кетхен", как он поставил деревенский с голландским оттенком фарс о "Разбитом кувшине", погубив таковой разделением на три акта, за что Клейст хотел вызвать его на дуэль — гротескное неприличие, — Гёте сжег эту пьесу в печке за "дьявольскую неестественность" и ту смесь смысла с бессмыслицей, которую она, по его мнению, представляла собой, а в рецензии написал: "При всем желании искреннего участия у меня этот автор всегда вызывает ужас и отвращение, как прекрасное по замыслу природы тело, если оно поражено неизлечимой болезнью".

Метафора эта запоминается, она рождена подлинным чувством, и некоторые собственные слова Клейста, например: "Смотри на мое сердце как на больного", как бы подтверждают ее правдивость. И все-таки — не говоря о том, что автору "Вертера" и "Тассо" не надо бы так уж чураться болезненности, аномалии, — у Клейста они кажутся скорее усилением жизненной энергии, поэтическим взлетом, чем настоящим недугом, и сколько бы болезненного ни было в его гении, сколько бы болезней ни вторгалось в его перегруженное высочайшей ответственностью физическое бытие — больным этот человек не был. В самой ранней его пьесе есть строчки:

Удар не всякий человек обязан
Сносить без мук: кто богом посещен,
Имеет право никнуть. И со стоном.
Похвально равнодушье у борцов.
Мы ж, люди, погибаем не за деньги.
Не напоказ. И все-таки должны
Пред посторонним с честью
подниматься[1].

Он всегда с честью поднимался после провалов и приступов отчаянья, и отношение здоровья к своей кажущейся противоположности слишком сложно, чтобы торопиться отказывать в жизненной силе таким, как он. В его личных болезнях есть что-то от обмороков, которыми изобилуют его произведения, то есть они похожи на отдых через уход в глубину бессознательного, к источникам жизни; и его выносливость, его способность к созреванию посрамляют любую дюжесть. За один год, 1808-й, он создает после изнурительных экстазов "Пентесилеи" не только прелестную "Кетхен из Хайльбронна", но еще и всю дикую "Битву Германа", а сверх того четыре сильнейшие свои повести, в том числе могучего "Михаэля Кольхааса". Хотел бы я обладать *такой* жизненной силой! А в 1810 году, за год до смерти, он создает свою великолепную, самую, при всем пугающем, что есть и здесь, радостную и самую удачную по форме драму — "Принца Гомбургского". Затем он обрывает свою многострадальную жизнь. Она завершена. Жизни не надо длиться восемьдесят лет, чтобы на свой лад состояться и завершиться победой.

Без биографической тщательности я кое-что сказал о личности и писательской судьбе Клейста, полагая, что англосаксонский читатель нижеследующих повестей пожелает что-то узнать об авторе этих необыкновенных созданий. Их первым издателем был некий Георг Раймер в Берлине — храбрый человек! Но издательство "Критерион букс инкорпорейтед" я нахожу не менее смелым, даже бесстрашным в выборе предмета. Ведь я пишу это, не зная английского перевода, и не могу составить себе вообще никакого представления о том, что получилось у лица, которому издательство доверилось. Если его переложение удалось хотя бы наполовину, оно уже достойно было бы восхищения, ибо пере-

1. Перев. Б. Пастернака.

водческой задачи, которая была бы ближе к границе с невозможным, еще не существовало на свете.

Язык прозы Клейста – нечто совершенно уникальное. Недостаточно читать ее "исторически": и в его время ни один человек не писал так, как он. Если его темы вызывающи, то не менее вызывающа его интонация, и его современники, если не считать нескольких сведущих в искусстве поклонников, прежде всего Тика, находили ее донельзя манерной. И все же о манерности не может быть речи там, где царят такая серьезность, естественность, личная озабоченность. Буря, загнанная в железную, совсем не лирическую объективность, родит запутанные, узловатые, перегруженные фразы, где то и дело встречаются сложные конструкции типа "таким образом, что", и фразы эти как бы терпеливо куются и в то же время мчатся не переводя духа. Он умудряется растянуть косвенную речь на двадцать пять печатных строк без единой точки для передышки, пуская подряд, вдогонку друг другу, не менее тринадцати "что", а под конец и "короче, что", но это тоже не конец, ибо следует еще "и что". Знаменита, как шедевр сжатой экспозиции, начальная фраза "Землетрясения в Чили", ухитряющаяся с величественной объективностью вместить в себя и сразу очень складно выразить все нужное: "В Сантьяго, столице королевства Чили, как раз в минуты великого землетрясения 1647 года, принесшего гибель тысячам людей, один молодой, обвиненный в преступлении испанец по имени Херонимо Рухера стоял у пилястры тюрьмы, куда его засадили, и собирался повеситься".

В этом необычайном стиле рассказаны истории, ни в одной из которых нет недостатка в необычайном. Я назвал американского издателя этого тома смелым человеком, но, в общем-то, я думаю, он знает, что делает, и вместе с ним вполне уверен, что литературная заслуга соединится на сей раз с успехом деловым. Книга найдет массу взволнованных читателей, ибо все, что в ней есть, волнующе, предельно занятно, сенсационно насквозь; на меньшее, чем совершенно чудно́е, даже разительное, этот автор не идет.

По своему объему новеллы Клейста варьируют между long – very long – short story[1] о взыскующем права поджигателе Михаэле Кольхаасе, почти романом, и близкой к короткому анекдоту "Локарнской нищенкой", историей с привидением, которую очень любил и хвалил Э. Т. А. Гофман и в конце которой владелец замка, виновный в ужасных событиях, "доведенный ужасом до высшей степени возбуждения", поджег свой дом со всех четырех сторон. "Доведенный ужасом до возбуждения" – обратите внимание на эту формулировку. Она очень клейстовская... Что касается "Кольхааса", то мне незачем указывать на особое место внутри сборника этой повести, может быть самой сильной из написанных на немецком языке. Она с поэтической свободой следует сведениям одной старой хроники, ибо Кольхаас, по имени Ханс, а не Михаэль, действительно жил на свете; чувство права, точное, как "весы для золота", возмущенная "слабостью мира" страсть к справедливости толкнули его на страшные преступления, которые осудил Лютер и которые осудить полностью мы не можем, хотя, с другой стороны, мы, как и он сам, согласны с тем, что голову ему отсекает палач, когда его дико отстаиваемое, но священное требование справедливости наконец удовлетворено. В описании Клейста этот человек с как бы неподвижным лицом, никогда не поднимающий голоса и все-таки разрывающий наши чувства между симпатией и ужасом, временами явно безумен в своем террористическом рвении исправить мир, безумны его "кольхаасовские грамоты", которые он рассылает из резиденции своего "временного мирового правительства"; и Гёте находил, что "зрелый ум не может испытывать удовольствия от насильственности подобных мотивов". Гёте хоть и назвал "Кольхааса" "приятно изложенным и остроумно составленным" (простите, здесь нет ни приятности, ни остроумия), но считал, что нужен великий дух противоречия, чтобы с такой ипохондрической основательностью возводить столь единичный случай в ранг собы-

1. Длинным рассказом и небольшой повестью (*англ.*).

тия мировой истории. Что ж, в этом весь Гёте, а в "Кольхаасе" весь Клейст, и это тоже кое-что значит. Не тот человек был этот автор, чтобы по-министерски брать под защиту от "духа противоречия" подлость мировой истории, и не тот был человек, чтобы так поступать, один большой немецкий юрист, Рудольф фон Иеринг, выступивший в 1870 году со знаменитой впоследствии книгой "Борьба за право". В этой книге он с восторгом говорит о страстном чувстве справедливости у клейстовского барышника, который становится преступником именно из-за этого свойства, возвышающего его над его подкупленными противниками, из-за своей веры в священность права, из-за идеалистического порыва этой веры, которому он жертвует всем. "Совершенные им преступления, — говорит Иеринг, — двойной и тройной тяжестью ложатся на князя, его чиновников и судей, столкнувших его со стези права на путь беззакония... Юридическое убийство, как метко определяет это явление наш язык, есть воистину смертный грех права. Хранитель и страж закона превращается в его убийцу... Жертва продажной и пристрастной юстиции становится мстителем, осуществляет свое право собственными руками и нередко, хватив дальше своей ближайшей цели, делается заклятым врагом общества, преступником, а неся за это наказание, мучеником своего чувства права".

Думаю, что англосаксонский читатель воспримет трагическую новеллу Клейста в духе этих слов. Она, по-моему, не совсем несвоевременна и содержит некий призыв в такой исторический момент, когда в мире, сдается, распространяются правовая тупость, очерствелое равнодушие к несправедливости, вялый жест усталого "That's one of those things..."[1]. Заодно Клейст весьма забавно, с презрительным комизмом показывает, в какое смущение приходит общество, которому вообще-то плевать на законность, из-за одного человека, который не мирится с беззаконием, и как это общество отступается от остолопа-помещика, из-за которого загорелся сыр-бор, хотя, если бы не неприятные последствия его наглости, оно было бы с ним вполне согласно. Обесчещенный и всеми покинутый, он под конец "то и дело падает в обморок".

"Смятение чувств" — его хватает в жутковато-занимательной истории о "Найденыше", и если мне хочется поставить ее, наряду с "Кольхаасом", выше всего прочего в художественном отношении, то объясняется это нравственной глубиной и тонкостью, которые демонстрирует автор в изображении постоянной психологической неверности Эльвиры Пиаки, ее супружеской измены с нежной памятью о давнем спасителе-рыцаре, с этим романтическим и нравственно небезупречным культом любви, который обнаруживает и хочет использовать, играя на своей обманчивой внешности, ее приемный сын, негодяй и преступник. Он превосходно написан, этот не лишенный обаяния злодей и провозвестник несчастья Николо, начиная с первого скупого описания его странно неподвижной физиономии; и есть опять-таки обескураживающая психологическая глубина в том, как из-за какого-то неуловимого сходства с умершим возлюбленным, толкающего его на гнусный обман, даже из-за логогрифического родства его имени с именем генуэзца, Николо — Колино, отношение к нему Элвиры, невинное до безразличия в ее разумении, все-таки предстает в сомнительном свете... Возмутительное попрание законности, на этот раз поощряемое попами, играет роль и здесь, и именно оно доводит до крайности доброго Пиаки. Крайность, она всегда нужна Клейсту, больше того, ему нужна сверхкрайность. Мало того, что Пиаки "вдавливает в стену мозги" Николо и заталкивает ему в рот беззаконный декрет, — так он еще, сбесившись, как Кольхаас, отказывается от необходимого для его казни отпущения грехов, потому что он, спокойный купец, ни за что не хочет попасть на небо, где ему нечего делать, а хочет угодить в самую преисподнюю, где надеется найти Николо и "снова за него взяться". В итоге его вешают по указанию папы без отпущения грехов. В концовке

1. Так уж ведется (*англ.*).

есть что-то избыточное, выходящее из рамок. А с другой стороны, этой истории все-таки чего-то не хватало бы без "яростного жеста", которым Пиаки на лесенке эшафота воздевает руки горé, проклиная *бесчеловечный* закон, не желающий отпустить его в ад...

Тут, пожалуй, уместно указать на двойственное отношение Клейста к католической церкви. Есть строки его писем, свидетельствующие о сожалении по поводу внутренней неготовности севернонемецкого протестанта искать утешения у папистской церкви на ее народный и близкий к искусству лад. Позиция новеллиста неустойчива, противоречива – в "Найденыше" она так же отрицательна и враждебна, как в "Землетрясении в Чили", великолепном рассказе, где все счастье, прощение, вся доброта, все душевное очищение и братство людей, "вырастающие" из общего бедствия, из ужасной посланной природой катастрофы, "как прекрасный цветок", разрушаются и превращаются в губительную ярость возмездия из-за фанатизма доминиканского проповедника. Так, у мерзавца Николо с юности наблюдается склонность и к сладострастию, и к ханжеству, к дружбе с попами. Он завсегдатай в кельях монахов-кармелитов, где в четырнадцать лет теряет невинность в объятиях любовницы епископа, каковой покрывает его пакости в награду за то, что негодяй женится на этой особе, наскучившей святому отцу.

Все это инвективы против римского духовенства и монашеской морали – слишком резкие, чтобы не подивиться пылу, с каким тот же Клейст в полной чудес легенде "Святая Цецилия, или Власть музыки" отдается ангельскому волшебству католического богослужения, внушая в то же время ужас перед природной жутковатостью его магии, перед его сокрушительной властью над душами собственных врагов-заговорщиков, иконоборцев. Поэты – люди непостоянные. В "Дон Карлосе" Шиллер вывел на театральные подмостки ужаснейшего Великого инквизитора, а в "Марии Стюарт" он отбрасывает весь свой либерализм, заставляя влюбленного в прекрасную пленницу Елизаветы Мортимера пропеть поистине арию в ямбах, восхваляющую великолепие католической церковной службы. Клейст в "Святой Цецилии" столь же религиозен, сколь в иных случаях по-северному холоден к католическому миру. Но его религиозность относится прежде всего к тому искусству, покровительницей которого является эта чудесно вмешивающаяся в действие святая: к музыке и ее чарующей силе, в действительности оказывающейся ужасной – тем более что однажды, в знаменательной вставной фразе, автор говорит о "принадлежности этого таинственного искусства к женскому полу". То, что учиняет оно под руководством своей небесной покровительницы в душах несчастных, намеревавшихся нарушить порядок, скандально до ужаса, это обращение в веру в форме неизлечимого религиозного помешательства, вопиющее, нет, орущее к небу отвратным голосом. Ни о чем подобном никто не рассказывал. Должен был прийти Клейст, чтобы донимать нас ознобом и страхом, описывая словами, доступными лишь безудержности его языка, как эти четверо покоренных богом и музыкой, как они до изнеможения и пота, снова и снова до полного изнеможения, голосами, в которых уже нет ничего человеческого, орут Gloria in excelsis[1], орут невыносимо и возмутительно, отчего любопытные разбегаются и волосы у них становятся дыбом. И тут мне вспоминалось, что рассказывают, будто на лице Льва Толстого, когда он слушал великую музыку, появлялось выражение *ужаса*...

При чтении этих историй невозможно избавиться от ужаса, от волнения, от страха перед чем-то чудовищным, от власти разделенного чувства. "Маркиза д'О." – самый ранний из рассказов Клейста, он написал его в двадцать восемь лет, в ту пору, когда занимал в Кёнигсберге небольшую должность при Земельной палате (управление государственными имениями), сразу после анонимной публикации "Семейства Шроффенштайн". Сюжет стар и был в ходу не раз. Клейст мог заимство-

1. Слава в вышних (*лат.*) – славословие, возглашаемое ангелами при рождении Иисуса Христа.

вать его из французской новеллистики, у Сервантеса, у Монтеня, а мог и взять из действительности. Во всяком случае, его манера обращения с ним носит очень личный характер, она типично клейстовская. Нельзя с большей строгостью и большим достоинством говорить о трудном и скандальном. Однако ничто не помогло — историю эту приняли очень скверно. "Только коснуться ее фабулы, — писал один журнал, называвшийся к тому же "Фраймютиге" ("Прямодушный"), — значит уже изгнать ее из благовоспитанного общества. Маркиза забеременела, неизвестно как и от кого. Разве это сюжет, заслуживающий места в журнале изящных искусств? И подробности, которых он требует, весьма оскорбительны для целомудренного слуха". Целомудренным слухом обладала, например, одна дама, высказавшаяся письменно: "Его историю маркизы д'О. ...ни одна женщина не может читать без краски стыда. К чему этот тон?" Восстановил против себя автор прежде всего, разумеется, дамскую часть публики. Но даже мужчины, такие, как Фридрих фон Генц, вообще-то почитатель Клейста, были шокированы, и их мнение оказалось несостоятельным перед смелым шедевром, возведенным впоследствии в тот ранг, который уже тогда признали за ним сочувствующие умы, вроде австрийского политолога Адама Мюллера, — в ранг "высоконравственной новеллы, равно превосходной по мастерству, манере и стилю".

Кстати, Адам Мюллер был политик романтического толка, к тому же новообращенный католик, и на его мнение, подтвержденное затем временем, могли оказать какое-то влияние некоторые хоть и легкие, но недвусмысленные намеки, которые не преминул вставить в свою куда как естественную историю будущий автор "Амфитриона". На них следует указать. Когда маркиза, вне себя из-за своего непостижимого состояния, спрашивает повитуху, неужели существует в природе такое явление, как непорочное, без ведома забеременевшей, зачатие, та отвечает, что, кроме Пречистой Девы, это не случалось ни с одной женщиной на земле. Так вот, это сухость узкой специалистки. А зато в момент прекрасного душевного подъема, когда невинно отторгнутая решает покориться непостижимому, целиком уйти в свой внутренний мир, целиком посвятить себя воспитанию обоих своих детей, "*а дар, которым одарил ее Бог, послав ей третьего ребенка*, пестовать со всей материнской любовью", насчет этого "дара", незаконного ребенка, она полагает, что его происхождение именно в силу своей таинственности, вероятно, и божественнее, чем чье бы то ни было. Вернее, эту мысль внушает ей автор, которому по душе объяснять скандалы намеками на таинство.

Вот и всё об этом некогда самом подозрительном, а ныне, пожалуй, самом знаменитом рассказе Клейста. Теперь вкратце о двух других, входящих в наш сборник. Суматохой, опасностью для жизни и, наконец, убийством и самоубийством окрашено "Обручение на Сан-Доминго", история рокового недоразумения между влюбленными. Действие происходит около 1800 года, в то время, когда негритянское население Гаити восстало против господства белых. В выборе сюжета виден вкус к ужасам, и весьма характерно для этого вкуса описание, как швейцарец Густав фон дер Рид, которому померещилось, что она предала его, стреляет в свою спасительницу, миловидную метиску Тони, а поняв, что ошибся, "пускает себе пулю в мозг", причем через рот и вдребезги разбивая себе череп, "осколки которого прилипли к стенам". Таков Клейст. Но эта история не выдержавшего проверки доверия трагически-трогательна, как явно нашел и Теодор Кёрнер, прочитавший ее в венском "Замлере", что привело к тому, что этот молодой человек сделал из нее довольно плоскую в своей сентиментальности пьесу, каковая, однако, очень понравилась Гёте, хотя новеллу Клейста он игнорировал. Любезный старик даже прочел кёрнеровскую ерунду при дворе и сделал для декораций спектакля эскиз негритянского дома. Благосклонность духовного величия к посредственности остается феноменом досадно комичным.

Наконец, еще одно важное произведение — гениально задуманный рассказ о поразительном Божьем суде "Поединок". В чем-то он напоми-

нает "Маркизу д'О.", поскольку и здесь мнимопадшая, а в действительности непорочная борется за то, чтобы убедительно доказать миру свою невинность. Но насколько страшнее и противоречивее душевное состояние бедной госпожи Литтегарды, чем маркизы, ибо само небо, по старому благочестивому обычаю призванное решить дело, на глазах у всех свидетельствует против нее и в пользу ее обвинителя, отчего ее вера приходит в обескураживающий разлад с ее разумом, с сознанием своей невинности. Всякая вера посрамлена: ее собственная, которая вправе сказать: "И выйди мой рыцарь в бой без шлема и лат, Бог со всеми своими ангелами его защитит!"; вера этого рыцаря, господина Фридриха фон Трота, столь же убежденного в ее чистоте, сколь и в безошибочности открывающего правду приговора оружия; и наконец вера самого злодея, графа Якоба Рыжей Бороды, который вообще-то убийца, но в данном деле добросовестный клеветник, которого обвели вокруг пальца. Это маленькое произведение, полное богословских реминисценций, показывает, в какую бедственную беспомощность впадает человеческий дух, когда дело идет о "совсем другом", о Боге. Совсем по-другому все и выходит: боец невинности повергнут, в пользу лжеца свидетельствует "безошибочное" оружие, а перед императором и государством, да и перед собственной мучительно раздвоенной совестью обвиняемая изобличена не только в своем проступке, но и в том, что позорно послала на гибель человека, который верил в нее. "Бог правдив и верен!" Да, он правдив и верен, но не так, как то представляет себе человеческий ум. Через несколько недель повергнутый, в это трудно поверить, оправляется от смертельных, как думалось, ран, а победивший на Божьем суде сгнивает заживо из-за пустяковой царапины, и прав оказывается первый, воспротивившийся в беде приговору оружия и вопросивший: "Где оно, обязательство высшей мудрости Божьей указывать и возвещать правду, услышав исполненный веры призыв?" А император велит, чтобы в устав всякого священного поединка Божьего, благодаря которому вина должна открыться сама, вставлялись отныне слова: "Если на то будет воля Божья". Что уже можно считать началом конца такого романтического обычая и почти решением отказаться от священного поединка как юридического средства выяснения истины...

Понятие "увлекательность" тесно связано с понятием "повествование" по праву: повествовать — значит увлекать, и искусство повествователя состоит в том, чтобы занимать и тем, что, собственно, скучно, увлекать даже тем, что, по сути, давно знакомо, историями, ход и развязка которых известны каждому. Увлекательность, создаваемая повествователем Клейстом, иного рода. Он держится буквального смысла слова "новелла", означающего "новость". То, что он с невозмутимым видом рассказывает, — это всё новости, все что-то неслыханное; и в увлеченности, в напряжении, в котором он держит читателя, есть что-то жутковато особое. Это беспокойство, страх, ужас перед загадочным, двойственность разума, робкое впечатление, что Бог ошибается, — "смятение чувств". Не преувеличивая, можно сказать: он умеет превращать увлеченность в пытку — и добивается того, что мы его за это благодарим.

Е. Соколова

С Востока на Запад и обратно

Литература Германии после объединения

...В железных кущах, в стороне восточной
сидело старое отродье волчье.
оно высиживало чудо,
неподражаемого луноглота.

Берт Папенфус[1]

На протяжении восьмидесятых и большей части девяностых немецкие критики и издатели били тревогу: привлекательность немецкоязычной литературы для читателей оставалась крайне низкой. Даже в Германии романы соотечественников неизменно вытеснялись из списка бестселлеров книгами Умберто Эко, Исабель Альенде, других латиноамериканских или североамериканских авторов. Если авторами немецкоязычного романа были не Генрих Бёлль, Гюнтер Грасс, Зигфрид Ленц или Криста Вольф, то он выдерживал тираж от силы в несколько тысяч экземпляров. Единственным исключением стал "Парфюмер" (1985) Патрика Зюскинда, разошедшийся по всему миру почти в десяти миллионах экземлярах.

Некоторые тенденции к изменению ситуации наметились вскоре после объединения Германии, однако явных сдвигов ждать пришлось еще несколько лет.

К середине девяностых в стране возродился интерес к своей литературе — главным образом за счет увлечения западных читателей новыми для них авторами из бывшей ГДР. И только потом приход нового поколения писателей — "внуков третьего рейха"[2] — заметил международный книжный рынок. Дебютные тиражи некоторых счастливчиков подскочили до сотен тысяч экземпляров.

Первый роман выходца из ГДР Томаса Бруссига (1967) "Герои, такие же, как мы" ("Helden wie wir", 1995), названный критикой одним из самых оригинальных "литературных воспоминаний о ГДР" (Ф. Хаге), разошелся тиражом в двести тысяч экземпляров и почти сразу был экранизирован. Киноверсия второй его книги — "Тупик на Зонненаллее" ("Am kurzre Ende der Sonnenallee", 1999) — появилась в прокате раньше, чем вышел печатный вариант. Не меньший успех имел роман "Simple Storys"[3] (1998) другого "восточного" автора — Инго Шульце (1962), впервые также заявившего о себе в середине девяностых ("33 мгновения счастья" / "33 Augenblicke des Glücks"[4], 1995). Дебютный роман швейцарца Кристиана Крахта (1966) "Faserland"[5] (1995) широко обсуждался в немецкой прессе и был многократно переиздан крупным кёльнским изда-

© Е. Соколова, 2003

1. Перев. с нем. С. Ромашко.

2. "Внуки третьего рейха" — обозначение, принятое немецкими критиками по аналогии с устоявшимся термином "дети третьего рейха" (1940–1950-х годов рождения). Само по себе это название не имеет идеологической окраски и относится к нынешним тридцатилетним, которые по возрасту могли бы быть внуками тех, кто пережил фашизм. Другие названия этого поколения, встречающиеся в прессе, — "поколение Гольф" (их духовное становление пришлось на период войны в Персидском заливе) и "поколение X" (по аналогии с одноименным романом Д. Коупленда, посвященным их канадским ровесникам).

3. В русском переводе: И. Шульце. Simple Storys / Перев. с нем. Т. Баскаковой. — М.: Ad Marginem, 2003.

4. В русском переводе: И. Шульце. 33 мгновения счастья / Перев. с нем. А. Березиной. — СПб., 2000.

5. В русском переводе: К. Крахт. Faserland / Перев. с нем. Т. Баскаковой. — М.: Ad Marginem, 2001.

тельством "Киппенхойер & Вич". Второй его роман – "1979"[1] – стал одним из самых заметных событий Франкфуртской книжной ярмарки 2001 года. Компакт-диск с записями рассказов из дебютного сборника Юдит Герман (1970) "Дом? Подождет..." ("Sommerhaus, spater", 1998) в авторском исполнении имел феноменальный успех. Повесть "Я вижу то, чего не видишь ты" ("Ich sehe was, was du nicht siehst", 1999) известной уже писательницы Биргит Вандербеке (1956)[2], удостоенной в 1990 году премии И. Бахман, попала в международный список бестселлеров, а первая же книга семнадцатилетнего Беньямина Леберта "Crasy" (1999) моментально разошлась тиражом 180 тысяч экземпляров.

Лидерам рынка наступают на пятки дебютанты "второго эшелона". Их тиражи пока пятизначны, но приближаются к заветной отметке в 100 тысяч. Назовем некоторых из них. Популярная певица Сильвия Шиманski (1959) вслед за успешным романом "Химчистка" ("Chemische Reinigung", 1998) выпустила сборник парадоксальных эротических рассказов "Никакого секса с Майком" ("Kein Sex mit Mike", 1999); Эльке Натерс (1963) в 1999 году выпустила уже второй роман – "Ложь" ("Lügen"), весьма претенциозный и успешный; Дженни Эрпенбек (1967), получившая в 1999 году премию журнала "Аспекты" за лучший литературный дебют на немецком языке – "Рассказы старого ребенка" ("Geschichte eines alten Kindes"), в 2001 году опубликовала новую книгу рассказов "Пустяки" ("Tand"); популярная среди молодежи Юлия Франк (1970) вслед за двумя романами – "Новый повар" ("Der neue Koch", 1997) и "Слуги любви" ("Lieberdiener", 1999) – выпустила сборник изящных рассказов "Посадка на брюхо" ("Bauchlandung", 2000); Терезия Мора (1971) за первый же сборник рассказов "Странная материя" ("Seltsame Materie") была удостоена премии И. Бахман 1999 года.

Одновременное появление такого количества новых имен и заметный в последнее время рост популярности немецкой прозы в мире, естественно, впечатляет. Но тому есть причины, и некоторые из них лежат на поверхности. В первую очередь это причины геополитические, так или иначе связанные с воссоединением Германии.

В 1989 году из двух конкурирующих Германий сложилась одна, объединенная, и к середине девяностых швы, стягивающие вместе два, на первый взгляд, совершенно чужеродных государственных образования, стали медленно, хоть и не безболезненно, срастаться. Или, говоря словами повествователя (не немца) из публикуемого в этом номере рассказа Г. Кляйна "О немцах" ("Von den Deutschen", 2002): "...Германия эта самая очень долго, лет этак сто примерно, была на две части разделена. И обе ее половинки стояли друг супротив друга, как два заклятых врага, вдоль границы, которая не колышками была размечена, а здоровенной бетонной стеной перекрыта. И когда какой-нибудь немец через стену эту перелезть норовил, другой немец по другую сторону стены пулял в него с вышки.

Но потом немцам все-таки как-то там удалось сызнова объединиться. Стену эту громадную всю снесли, и теперь вот они играют в футбол одной национальной командой. ...когда кто-то из наших их игру смотрит, обязательно нужно, чтобы рядом кто-то из немцев был, чтобы объяснять, кто из игроков раньше по какую сторону стены мяч гонял".

За сращением двух Германий напряженно следили не только политики и журналисты, но и обыкновенные люди – поддавшись такому же примерно восторженному любопытству, смешанному с недоверием, какое могло бы пробудить известие, скажем, об успешной пересадке мозга. Ведь казалось, что в конце XX века общим для двух Германий (помимо футбола) оставался лишь язык. И теперь отсветы уважительного интереса упали и на него, и на тексты, на нем написанные. А в 1999 году Нобелевскую премию по литературе вручили Гюнтеру Грассу, что тоже подстегнуло интерес.

1. В русском переводе: К. Крахт. 1979 / Перев. с нем. Т. Баскаковой. – М.: Ad Marginem, 2002; см. рецензию С. Кузнецова в этом номере "ИЛ".
2. В "ИЛ" печаталась ее повесть "К Альберте придет любовник" (2001, № 12).

Можно говорить и о причинах историко-психологических. После 1945 года центральное место в немецкоязычной литературе надолго захватила тема вины Германии в преступлениях фашизма. У многих авторов (в особенности австрийских – И. Бахман, П. Целана) она принимала форму разочарования в языке: почти невозможно писать на языке, носители которого причинили миру столько страданий. Сложилась парадоксальная ситуация, когда адекватно облечь в слова рассказ о преступлениях фашизма невозможно, но и больше ни о чем рассказывать не получается – для переживших фашизм все остальное обесценилось в сравнении с главным. В послевоенной литературе Германии преобладали эмоции, поэтому в сороковые и пятидесятые было написано много хороших стихов, но мало настоящих романов.

В начале шестидесятых в литературно-критических изданиях Германии развернулась бурная дискуссия: поколение "детей третьего рейха" вынесло "отцам" приговор, отняв у них право рассказывать о чем бы то ни было так, "словно ничего не произошло". Однако и сами "дети", пережившие разделение страны надвое, так или иначе принимавшие участие в студенческих волнениях 1968 года, оставались чересчур политизированными. Направляя активность во внешний мир, они не могли или не хотели возвращаться к истокам литературы – просто рассказывать истории: судьба отдельного человека казалась им чем-то незначительным по сравнению с судьбами мира.

"Внуки" – первое поколение, которому в той или иной степени удалось "преодолеть прошлое". Недавняя тема номер один не то чтобы утратила для них актуальность, – скорее, они научились дистанцироваться от прошлого: признавать его как данность, не связывая с собой лично. Талантливый роман Марселя Байера (1965) "Летающие собаки" ("Flughunde", 1995), воскрешающий мрачную действительность последних дней национал-социализма по дошедшим до наших дней записям голосов детей Геббельса, убитых родителями, получается не страшным, а увлекательным. А в "Faserland" К. Крахта, где на заднем плане тема фашистского прошлого присутствует постоянно, рассказчик, словно иллюстрируя позицию всего "подчеркнуто аполитичного", по мнению многих критиков, поколения "внуков", выражает свое отношение к нацизму (в лице пожилого водителя) следующим образом: "Водила, естественно, натуральный наци, но нам почему-то даже приятно ехать вот так сквозь ночь, курить дешевые сигареты и смотреть на сидящего впереди тупого нацистского хряка в спортивной робе, который болтает и болтает, будто его прорвало".

У нынешнего литературного бума есть, конечно, и другие причины. Чтобы прояснить те из них, которые можно было бы назвать внутренними, стоит воскресить в памяти идущую еще от дадаизма линию развития литературы, которая на протяжении почти всего XX столетия пыталась разрушить традиционную "высокую" культуру, используя, в частности, методы культуры "массовой". В конце шестидесятых американский ученый Л. Фидлер ввел для нее специальный термин – "поп-литература". Первые произведения этого направления чаще всего представляли собой небольшие сцены из повседневной жизни, проиллюстрированные фотографиями, коллажами или комиксами.

Самым заметным немецким представителем поп-литературы в фидлеровском смысле стал Рольф Дитер Бринкман (1940–1975). Он и его последователи противопоставили "серьезной" культуре поколения "отцов" веселье и анархизм. Напряженность, вызов, обновленный язык, непривычная форма, отличавшие их произведения, подготовили почву для возникновения и сатирической, и документальной, и критической литературы семидесятых-восьмидесятых, в некоторой степени усвоившей взгляды французских философов-постмодернистов (М. Фуко, Ж. Делёза). "Кёльнская школа", чей расцвет пришелся на семидесятые годы, прочно вошла в историю немецкой литературы: ее представители – Р. Д. Бринкман, Г. Зойрен (1932) и Г. Хербургер (1932) – подготовили почву для сближения поп-литературы с документалистикой и сформулировали принципы "нового реализма", основанного на

изображении прессинга повседневной жизни и, безусловно, взятого на вооружение нынешними "новыми" авторами.

В отличие от "Кёльнской", "Новая франкфуртская школа" развивала сатирическое направление и была ориентирована на критическое переосмысление языка. Среди представителей ее второго поколения, давшего знать о себе в конце восьмидесятых — начале девяностых, выделяются Виглаф Дрост (1962), Герхард Хеншель (1962) и Юрген Рот (1968), виртуозы литературной полемики и критического комментария.

Центром литературного андеграунда в ГДР стал в восьмидесятые годы знаменитый квартал Восточного Берлина — Пренцлауэрберг, в определенной степени, кстати, сохранивший за собой эту роль и в сегодняшнем, объединенном Берлине. Среди наиболее ярких представителей той литературной субкультуры — Берт Папенфус (1956), Стефан Дёринг (1954), Уве Кольбе (1957), а также их идейный вдохновитель Адольф Эндлер (1930).

После воссоединения Германии, как считает молодой немецкий исследователь Томас Эрнст[1], стало ясно, что надежды литературных радикалов на разрушение основ традиционной культуры с помощью поп-культуры потерпели крах. Зашаталось само понятие поп-литературы в фидлеровском смысле — многие ее элементы были заимствованы развлекательной индустрией, а отдельные представители — Райнальд Гётц (1954), Андреас Ноймастер (1959), Томас Майнеке (1955), — напротив, получили возможность печататься в издательстве "Зуркамп", самом авторитетном в "высокой" культуре Германии, и перешли, таким образом, в "серьезную" литературу. Тематика, язык и формы, характерные для поп-литературы в пору ее становления, используются отныне лишь в той мере, в какой могут способствовать увеличению тиражей. В результате на рубеже веков усилилась тенденция обозначать этим термином развлекательную литературу вообще, игнорируя изначальную приоритетность критического отношения к традиционным формам.

В начале девяностых весьма заметную, едва ли не ключевую роль в литературной жизни новой Германии играют писатели из бывшей ГДР. Это относится как к авторам среднего поколения, начинавшим за "железным занавесом" — В. Хильбигу (1941), Р. Йирглю (1953), так и к более молодым — И. Шульце (1962), Д. Грюнбайну (1964), Т. Бруссигу (1967) и другим. Оказалось, что восточные немцы не только иначе видят мир, но нередко совсем по-другому подходят к самому процессу литературного творчества. Избежав в отличие от западных современников повального увлечения постмодернизмом, они в большей мере отдают предпочтение традиционному повествованию, сохраняя при этом особое восприятие истории, особое представление о собственной судьбе.

Развал Восточной Германии открыл дорогу литературе, способной улавливать живые черты современности через призму ГДР и воплощать их в парадоксальном, с точки зрения западного читателя, художественном пространстве. На этой волне раскрылось яркое дарование прозаика Вольфганга Хильбига. Писатель, подобный ему, на Западе был бы немыслим. По мнению немецкого критика Х. Бёттигера, Хильбиг — "последний из великих Поэтов шиллеровского толка", последний "наивный художник". Его главные произведения — повести "Бабы" ("Die Weiber", 1987), "Старая живодерня" ("Alte Abdeckerei", 1991), роман "Я" ("Ich", 1993) — представляют собой масштабные, экспрессивные, отчасти даже визионерские по сути своей картины гэдээровской жизни, напрочь лишенные поверхностных связей с подлинной реальностью и потому гораздо более значительные, чем может показаться поначалу. В центре повествования, как правило, одна главная фигура (чаще всего писатель), равнозначных персонажей нет, и основная проблема — поиски идентичности, ставшие вновь актуальными в круто изменившемся после воссоединения мире, — раскрывается вне контекста глубоких отношений с другими людьми.

В отличие от Хильбига, Райнхард Йиргль до 1989 года не был известен

1. T. Ernst. Popliteratur. — Hamburg: Rotbuch Verlag, 2001.

на Западе, хотя и написал к тому времени уже несколько книг. Широкая известность в странах немецкого языка пришла к нему после романа "Прощание с врагами" ("Abschied von den Feinden", 1995), за которым последовали "Собачьи ночи" ("Hundsnächte", 1997) и "Стена Атлантиды" ("Die atlantische Mauer", 2000). Восточная Германия Йиргля являет собой апокалиптическую картину заката мира и крушения индивидуума. Его произведения формируют собственный космос, собственную грамматическую и географическую реальность. Центральное место в проблематике отведено искусству: писателя, в частности, интересует роль несчастной любви в жизни и творчестве художника.

Книжный рынок с самого начала выказывал повышенный интерес именно к гэдээровской молодежи, которая обладала гораздо более яркими, коммерчески привлекательными "параметрами", и не вполне воспринял этих по-настоящему значительных авторов: поиски "лица" новой немецкой литературы продолжались.

К середине девяностых на эту роль, как ни парадоксально, "был утвержден" поэт: интеллектуал, западник и отчасти традиционалист Дурс Грюнбайн, который имел несчастье (или счастье?) родиться и вырасти "за стеной", довольно рано осознать бесперспективность ГДР как отдельного государственного образования, заявить о своем желании перебраться на Запад и все же дождаться объединения, так и не покинув родину. К тому же, во-первых, он оказался по-настоящему талантливым, а во-вторых, его с подачи самого Хайнера Мюллера взялось раскручивать издательство "Зуркамп".

Мрачная реальность Восточной Германии и личный опыт предопределили мировосприятие и отчасти творческий метод молодого поэта. Взяв на вооружение "биологический детерминизм и клинический цинизм" раннего Готфрида Бенна, он хирургическим скальпелем беспощадного, лишенного иллюзий сознания разрезает на части современный мир и современного человека.

Первый же сборник его стихов — "Серая зона утром" ("Grauzone morgens", 1988) — стал событием Франкфуртской книжной ярмарки 1988 года, привлек внимание критики. Препарируя позднюю гэдээровскую реальность, сливая воедино жизнь и смерть, свободу и несвободу, любовь и ненависть, Дурс Грюнбайн создает нечто новое — страшное и одновременно притягательное. За эпатирующими образами явственно проступают страх и боль "обыкновенного человека", брошенного в противоестественную среду.

Развивая удачный прием в "Лекции об основании черепа" ("Schädelbasislektion", 1991), автор решается на поэтическую трепанацию человеческого черепа. Однако его надежды обнаружить внутри мозг оказываются тщетными: взору открывается лишь далеко зашедший процесс распада. Следующая книга — "Изгибы и ловушки" ("Falten und Fallen", 1994) — разрабатывает по сути те же темы, яснее, быть может, расставляя акценты, придавая авторскому мировидению определенную завершенность. Многочисленные аллюзии выдают особый интерес Грюнбайна к наукам о человеке: медицине, антропологии, психологии. Он пропускает через себя разнообразные древние и современные теории и духовные системы, переводит их на язык образов, прокладывая путь непосредственно в сознание читателей. В его стихах остро ощущается конфликт между сверхразвитым материальным и недоразвитым духовным началами в современном мире.

Вехи успеха: Бременская литературная премия (1991), премия города Марбурга (1992), премия Николаса Борна (1993) и, наконец, премия Георга Бюхнера, самая престижная в Германии (1995).

Досадно вот только (с коммерческой точки зрения), что такой перспективный молодой автор по-прежнему отдает предпочтение стихам перед гораздо более популярной прозой. За книгой эссе "Галилей измеряет Дантов ад..." ("Galilei vermißt Dantes Hölle", 1996)[1] вновь следует поэтический сборник — "Подражание сатирам" ("Nach den Satyren", 1999), в котором идет игра с античным стихом, современность предстает рекон-

1. См. "ИЛ", № 1, 1998.

струкцией Древнего Рима. Глубоко, тонко, даже актуально, но все-таки чересчур элитарно. Чего-нибудь бы попроще. И желательно в прозе... Читатели ждут романа. На худой конец, рассказов. Это знают издатели и критики, чувствуют сами авторы.

Во второй половине девяностых преобладание "восточных" авторов на литературной арене Германии становится несколько менее заметным. "Осси" разбудили, встряхнули, заинтриговали, задали вопросы, предложили ответы и, не уходя со сцены, подвинулись, уступая место и "западным" ровесникам. Ведь на Западе тем временем выросло новое поколение писателей, уставших от постмодернизма. К тому же это поколение выступает (и воспринимается) как единое целое. А значит, ему необходимо новое "лицо".

И вот в начале 1998 года едва ли не во всех газетах и журналах, так или иначе связанных с литературой, почти одновременно появляется фотография прелестной молодой женщины. Длинные светлые вьющиеся волосы, грустные умные глаза, улыбка Джоконды. Такое лицо невозможно не заметить. В механистическом мире, где материальные ценности постепенно вытесняют духовные и это несоответствие ощущается все острее, подобное лицо пробуждает надежду: не все еще, мол, потеряно, можно еще попытаться вернуть и свежесть восприятия, и чистоту помыслов, и любовь.

Лаконичная подпись гласит, что на фотографии изображена известная писательница Юдит Герман. Парадокс заключается в том, что к тому моменту, как ее фотография обошла все периодические издания, имеющие хоть какое-нибудь отношение к литературе, и большинство ежедневных газет, "писательница" не опубликовала еще ни строчки: только получила грант на написание первого сборника рассказов.

Как мы уже знаем, рекламная стратегия, избранная издательством "Фишер", сработала блестяще: упомянутый выше дебютный сборник ее рассказов "Дом? Подождет..." выдержал несколько допечаток, в течение двух лет вышел на основных европейских языках. Вторая книга Ю. Герман "Кругом одни привидения" ("Nichts als Gespenster", 2002) уже собрала блестящую критику и сейчас переводится во многих странах (в том числе в России).

Мгновенно и безболезненно Юдит Герман заменила Дурса Грюнбайна в роли "лица поколения". И дело тут не только и не столько в привлекательности внешнего облика. В ее человеческой и литературной судьбе соединились сразу несколько важных обстоятельств.

Во-первых, она стала первым ярким примером успешного соединения имиджа автора и его текстов в некое "художественно-коммерческое целое". Позднее этот прием был взят на вооружение другими писателями (в том числе и очень достойными — И. Шульце, К. Крахтом). Во-вторых, "вовремя" переехав в Восточный Берлин и поддерживая слухи о своем "восточном" происхождении (на самом деле Юдит Герман родилась и выросла в Западном Берлине), она сумела сыграть на интересе, пробужденном ранее "восточными" писателями. В-третьих, ей действительно удалось стать "голосом" заметной части "поколения тридцатилетних": ее герои — современная берлинская молодежь, люди творческие, талантливые, углубленные в свой внутренний мир и свободные, — стремятся к самореализации и, на первый взгляд, живут полной жизнью, в которой, правда, не остается места любви. И в-четвертых, живя в Берлине — городе, занимающем сегодня особое место в литературной жизни Германии, она вольно или невольно оказалась в самой гуще событий.

Роль Берлина в литературе в последние годы действительно изменилась. Обойдя конкурентов (в частности, Веймар), столица Германии не только превратилась, наконец, в самый крупный центр литературной жизни страны, но и стала самостоятельной темой современной немецкоязычной прозы.

Первое понятно и естественно: город обрел былые масштабы, вернул себе статус столицы и привлекательность в глазах провинциалов. Размах развернутого здесь строительства поражает воображение. Именно в Берлине произошла реальная встреча "осси" и "весси", прозвучал призыв поведать друг другу правду о своей столь различно прожитой жизни. Именно здесь наиболее остро

ощущается потребность в общении, и в результате сформировалась совершенно уникальная культурная атмосфера.

Литературная жизнь бьет ключом. Многочисленные фонды щедро выделяют стипендии молодым авторам. "Берлинский литературный коллоквиум"[1] приглашает в столицу талантливую молодежь из провинции: обеспечивает жильем, устраивает чтения их произведений, организует презентации книжных новинок, проводит литературные дискуссии, приглашает гостей из-за границы, проводит программу поддержки переводчиков немецкоязычной литературы в других странах.

В многочисленных кафе бывшего Восточного Берлина процветает новая субкультура авторов-чтецов (выросшая отчасти из культуры андеграунда): их "представления" собирают все больше слушателей. В кафе "Бургер" неустанно эпатируют публику темпераментный представитель группы "Пренцлауэрберг" Берт Папенфус (1965) и его гости. При этом "Бургер" – отнюдь не единственное заведение, где проходят подобного рода "сценические чтения". Девиз "Чтение вслух – это круто" нашел массовый отклик у берлинской молодежи. В первый понедельник месяца в ресторане "Вальден" на Хоринерштрассе проходит литературный салон. Во вторник в подвальчике "Цош" на Тухольскиштрассе идет программа под интригующим названием "ЛСД" – "Любовь стирает дурман". По средам желающие приглашаются в клуб "Бергверк" на вечер Лиги борьбы и свободного времени или в бар "Кнорре" в Фридрихсхайне, чтобы ознакомиться с литературным резюме недели, и так далее.

Постоянные авторы литературных кафе придерживаются нескольких важных принципов: никаких стихов, никакой интеллектуальной прозы, никаких призывов к борьбе за изменение мира к лучшему. Только истории из повседневной жизни: собственный опыт, собственные переживания в своем собственном изложении.

Время от времени из этой среды всплывают новые дарования. Например, Фалько Хенниг (1969), уроженец Восточного Берлина. Журналист по профессии, ведущий на легендарном "Радио Хохзее", в 1999 году он дебютировал романом "Все было украдено" ("Alles nur geklaut"), а недавно выпустил второй роман – "Трабанты" ("Trabanten", 2002), в котором преподносит историю ГДР как историю автомобилестроения.

Другой пример – Владимир Каминер (1967), бывший наш соотечественник, который с 1990 года живет в Берлине и пишет по-немецки. В последние годы его литературная слава растет как на дрожжах: книга "Далекие путешествия" (2002) вошла в шорт-лист премии Биржевого союза книготорговцев. В небольших по объему текстах Каминер рассказывает немцам о русских в России и в Германии. Рассказывает интересно, местами даже смешно, умело используя приемы весьма популярного у нас эстрадно-юмористического "разговорного жанра", а не искушенная в этом жанре берлинская публика приходит в восторг. Помимо литературной деятельности, В. Каминер известен как репортер, ведет собственную передачу "Мир Владимира" на радиостанции "Свободный Берлин", организует различные мероприятия в кафе "Бургер", в том числе и "русскую дискотеку"[2].

Что же касается Берлина как литературной темы, то изменение статуса тут хоть и менее очевидно, зато гораздо более значимо. Дело в том, что немецкие писатели никогда особо не жаловали Берлин. Фридрих Гёльдерлин и Йозеф фон Айхендорф писали о Гейдельберге. Произведения Гёте вообще не имели определенного места действия: веймарского классика не интересовало, где живут персонажи "Избирательного сродства" и где дает представления театр Вильгельма Мейстера. Конечно, о Берлине иногда писали Э. Т. А. Гофман и Г. Гейне, позднее – Т. Фонтане, А. Дёблин, Г. Фаллада и Э. Кестнер, но они в силу тех или иных лич-

1. "Берлинский литературный коллоквиум" (BLC) – весьма известная литературная организация Германии, обладающая собственной виллой на берегу озера Ванзее.
2. Так называется первая книга В. Каминера ("Russendisko", 2000). По-русски она увидела свет в 2003 г. в переводе Н. Клеменюка, И. Кивель.

ностных особенностей или обстоятельств так и остались, по мнению известного критика Йохена Хёриша, в стороне от "магистральной линии развития" немецкой литературы.

В литературе послевоенной Германии, которую, вообще говоря, вроде бы не пугали парадоксы мироустройства середины XX века, тема Берлина и вовсе отсутствовала. Генриху Бёллю вполне хватало Кёльна, Гюнтеру Грассу – Данцига, Уве Йонсону – Мекленбурга и Нью-Йорка. У Томаса Манна на тот случай, если ему хотелось поточнее обозначить географию своих романов, всегда оставались Любек и Гамбург. Таким образом, во второй половине прошлого века Берлин окончательно превратился в своеобразную terra incognita немецкоязычной литературы.

И вдруг в конце девяностых ситуация резко меняется. "Берлинский роман" становится самостоятельным жанром современной немецкоязычной прозы. К удачам самого последнего времени можно отнести иронический роман Петера Шнайдера "Возвращение Эдуарда" (1999), роман "Человек и город" (1999) Мартина Курбьюна о своеобразном раздвоении личности и судьбы, а также исполненную трагизма "Стену Атлантиды" (2000) Райнхарда Йиргля. Виртуозно и увлекательно рассказывает Йиргль трагическую историю немолодой женщины, которая работала в Восточном Берлине медсестрой в психиатрической клинике, а после падения Стены решила убежать в Нью-Йорк от прошлой жизни и семейных неурядиц. Но из-за проблем с паспортом ей приходится вернуться в Берлин, и там на фоне любовной истории один за другим всплывают неприятные эпизоды ее прошлого – те самые, от которых она надеялась спастись.

В жанре "берлинского романа" работают и дебютанты. "Тонким, меланхоличным на первый взгляд произведением из жизни сегодняшнего Берлина" названа критикой вторая книга Ю. Франк, роман "Слуги любви" (1999). Эту же тему выбирают для своих первых работ Сюзанна Ридель (1959) и Инка Парай (1967). В "Жаре" (2002) Ральфа Ротмана декорациями служит "новый" Берлин, предстающий у него городом внезапно обедневших людей.

В целом в немецкоязычной прозе конца девяностых возрождается интерес к частной человеческой судьбе, конкретному эпизоду из личного опыта автора. Формальные и теоретические изыски отходят на второй план, уступая место личностной интонации, индивидуальной точке зрения, умению преподнести свою историю. Соединение разработанных ранее "фидлеровской" поп-литературой тем и методов с элементами "нового повествования" оказалось созвучно нынешней неоконсервативной самоидентификации жителей Германии, и это тоже способствует росту популярности сегодняшней прозы на фоне утраты былого значения и актуальности поп-литературой.

С этой точки зрения примечателен сам факт образования в 1999 году "Поп-культурного квинтета": Иоахим Бессинг (1971), Экхарт Никкель (1966), Александр фон Шёнбург (1969), Бенджамен фон Штукрад-Барре (1975), центром которого стал упомянутый выше Кристиан Крахт. В 1999 году в Берлине вышла книга "Tristesse royale[1]: Поп-культурный квинтет с И. Бессингом, К. Крахтом, Б. фон Штукрад-Барре, Э. Никкелем и А. фон Шёнбург-Глахау", составленная из записей бесед этой пятерки между собой на актуальные темы: от поп-музыки и моды до терроризма. Их самоназвание явным образом перекликается с названием весьма популярной в Германии литературно-критической телепередачи "Литературный квартет", которую ведет "живая легенда" традиционной немецкой критики Марсель Райх-Раницкий. Перекличка, разумеется, не случайна: тем самым "квинтетчики" подчеркивают, что не относят себя к "высокой" литературе, а, напротив, противопоставляют себя ей. Они и в самом деле как будто возвращают поп-литературе изначально присущий ей протестный и эпатажный характер, воскрешают элементы китча и коллажа, но в итоге, по мнению некоторых критиков (Г. Бартельс, М. Теркессидис), создают все-таки нечто прямо

1. Королевская грусть (*франц.*).

противоположное: элитарную литературу "богемной буржуазии", отграничивающей себя от прочих "при помощи системы тончайших эстетических дифференциаций"[1].

Основоположники "нового дендизма", как еще называют представителей "квинтета", не единственные, кто стремится определять важнейшие эстетические и идеологические тенденции литературного развития в Германии рубежа веков. Поколению "внуков" вообще свойственно действовать сообща. Движимые общей целью – завоевать массового читателя, к которой они продвигаются очень осмысленно и серьезно, они легко создают весьма странные, на первый взгляд, литературные объединения. Как, например, "Группа тринадцати", куда вошли молодые писатели, собравшиеся по приглашению Норберта Нимана (1961) и Хайнера Линка (1960–2002) в Рендсбурге летом 1999 года.

Целью встречи была провозглашена необходимость "переустроить книжный бизнес", "развернуть его на 180 градусов – лицом к авторам". По мнению организаторов встречи, идея авторов-одиночек утратила популярность среди молодежи: отказавшись от постмодернистской иронии, "внуки" готовы поставить на ее место "цеховую дружбу", чтобы вместе противостоять враждебному миру и не в последнюю очередь маститым критикам, "не желающим отступиться от устаревших эстетических критериев в оценке современного литературного процесса". Упрекая молодежь в цинизме и равнодушии, в отсутствии морали как объединяющего стержня их произведений, критики, мол, забывают, что одной из важнейших потребностей человека является общение с себе подобными. Люди должны говорить, рассказывать друг другу о себе, лишь это дает надежду на преодоление затянувшегося "кризиса коммуникации" не только в литературе, но и в жизни. И чтобы повлиять на литературный бизнес, по мнению участников встречи, стоит создавать литературные группы, основанные на стремлении к разговору, на взаимном интересе, придавая тем самым новый смысл традиционной для немецких писателей форме объединения.

Следуя примеру знаменитой "Группы 47", во многом определявшей направления развития немецкоязычной литературы после Второй мировой войны, "Тринадцать" (которых, кстати, на самом деле более двух десятков) хотят, в частности, учредить собственную литературную премию в противовес традиционным. "Подобно тому как авторитеты литературного бизнеса предоставили право присуждать премию Ингеборг Бахман исключительно критикам без участия писателей, мы не включим в наше жюри ни одного критика", – говорит Норберт Ниман.

Стремительно войдя в литературу, разочарованные в постмодернизме "внуки" ощутили потребность в пересмотре основных его принципов. "Мир как хаос" утратил для них притягательность, на смену ему идет мир хоть и убогий, но все же не потерявший надежды на спасение (Ю. Франк, Дж. Эрпенбек). Пародийный модус повествования замещается трагической серьезностью. На задний план отходят ирония и игра: новые авторы, в отличие от предшественников, видят себя частью воспринимаемой всерьез реальности (Ю. Герман, К. Дуве). Интертекстуальность утрачивает былое значение: переживания конкретного человека представляются уникальными, не требующими аналогий и аллюзий (Ю. Франк, И. Шульце, Г. Кляйн). "Кризис авторитетов" теряет остроту, происходит частичный возврат к традиции.

Сложнее всего оказалось преодолеть "кризис коммуникации". Однако "новые авторы" и тут предлагают целый ряд рецептов. Временный переход в "виртуальную реальность" с целью обретения взаимопонимания (Т. Байер), радикальная смена обстановки (Г. Кляйн), признание невозможности общения нормой (К. Крахт, "Faserland") или отождествление индивидуального кризиса общения с цивилизационным (между Востоком и Западом, Ираном и Америкой) и попытка, пусть смешная, даже китчевая, разрешить уже этот гло-

1. Т. Баскакова. Апокалипсис в блекло-зеленых тонах // К. Крахт. 1979. М:, 2002. С. 262.

бальный кризис (К. Крахт, "1979"). Но главное, на смену отсутствию действия, мозаичности хронотопа и фрагментарности повествования приходят связный рассказ, динамичный сюжет, живость и цельность мировосприятия.

Вызывающая серьезность "новых авторов" по отношению к себе самим и окружающему их миру отчасти объясняется тем, что, с их точки зрения, нет ничего важнее "простых" историй о человеческой жизни. Цинизм и подчеркнутая аполитичность, которую, как было сказано выше, ставят им в вину многие критики, помогают преодолеть бесконечный комплекс немецкой вины. Полная свобода — в выборе, в отношениях, в передвижениях — позволяет им легко перемещаться с континента на континент, общаясь друг с другом по Интернету, и ощущать весь земной шар единым целым. Мир для них не так уж велик — и они пишут для всего мира. В первую очередь о себе.

Их герои — молодые люди, представители творческих профессий, углубленные в свои внутренние проблемы, в поиски гармонии с собой и окружающей действительностью, — очень напоминают самих авторов. И неудача, с которой, как правило, сталкивается в конце протагонист, — это их собственная неудача, свидетельство тщетности их собственных поисков, их страха и неуверенности в себе перед лицом враждебной реальности.

Герой "Романа дождя" Карен Дуве — молодой писатель Леон. Поначалу он нисколько не сомневается в своем таланте и мечтает удалиться от суеты большого города в деревню, где сможет творить без помех. Аванса, выплаченного криминальным авторитетом за художественное изложение его биографии, хватает, чтобы приобрести домик в забытом богом местечке на территории бывшей Восточной Германии (символ духовного возрождения!) и уехать туда вместе с красивой молодой женой. Но оказывается, что там всегда идет дождь. Изо дня в день, без перерыва. И этот дождь, и болото, обступившее деревню (которое оказывается государственным природным заповедником), постепенно разрушают все: талант писателя, его душу, тело, судьбу.

Метафора постепенно заполняющего душу болота, конечно, не нова, но автору — дебютантке 1999 года, удостоенной сразу нескольких довольно престижных литературных премий, безусловно, удалось создать убедительную картину прогрессирующей внутренней пустоты, которой в одиночку противостоять невозможно.

Пара протагонистов в начале "1979" К. Крахта — рассказчик и его друг Кристофер — представители той самой тусовки "богемной буржуазии", "новых денди", которой был, собственно говоря, посвящен его первый роман "Faserland". Однако на этот раз все не так очевидно: "1979" может быть прочитан и как приговор "тусовке", констатация ее духовной несостоятельности.

Кристофер, убежденный сноб, не способный отказаться от привычных "идеалов дендизма" (вполне подходящий на роль рассказчика "Faserland"), умирает, не дожив до середины романа. Его приятель, напротив, с готовностью отбрасывает "тусовочный" образ жизни (в чрезвычайных, правда, обстоятельствах) и продолжает жить дальше. Но в результате оказывается в состоянии, "максимально удаленном от исходного": в китайском трудовом лагере по исправлению "закоренелых" преступников. То есть "дендизм", конечно, плох, но и все остальное не лучше. Или даже так: атмосфера "тусовки" постепенно отнимает способность к духовному возрождению (перерождению?), а ведь только оно дает человеку способность жить где угодно, даже в китайском трудовом лагере, каковым автору, возможно, представляется наше общее будущее.

"Новые" писатели боятся мира, в котором живут. На самом деле им холодно и страшно. Они и пишут-то, пытаясь разобраться в причинах своего одиночества и одновременно подавая сигнал другим, таким же — лучше, мол, действовать сообща. И их показное равнодушие ко всему, что выходит за рамки индивидуальных переживаний, — скорее всего такая же маска, как их "дендизм" и цинизм. Маска, натянутая поверх растерянности и жажды любви.

Ингрид Нолль: "Женщина как личность мне интереснее мужчины..."

Ингрид Нолль называют в Германии "немецкой Агатой Кристи" и "королевой детектива" (ее роман "Аптекарша" был опубликован в *ИЛ*, № 5 за 2001 г.)[1]. На первый взгляд, ничего особенного в ее книгах нет — бытовые истории, живописующие немецкую повседневность, но сила писательницы — в психологической достоверности повествования. Написанные прозрачным, ясным, сдобренным юмором языком, детективы Нолль изобилуют внутренними монологами-исповедями, буквально выворачивающими героев наизнанку; расследовать же то или иное преступление обычно поручается не хитроумному сыщику, вроде Эркюля Пуаро или Шерлока Холмса, а нескольким героям сразу. Иначе говоря, суть не в разоблачении преступника и уж никак не в его наказании и торжестве правосудия — кстати говоря, полиции и судопроизводству в этих детективах вообще не находится места, — а в исследовании мотивов преступления и в прослеживании того, как вроде бы случайные поступки и происшествия сплетаются в роковую цепь событий.

С Ингрид Нолль беседовала Анна Кукес.

"ИЛ". Фрау Нолль, как вы сами определили бы жанр ваших произведений? Это детектив или психологический триллер?

Ингрид Нолль. И то, и другое. Пусть решает читатель. Я пишу романы с детективным сюжетом; если их можно назвать психологическими детективами — очень хорошо.

"ИЛ". А что для вас важнее — криминальная интрига или психология?

И. Н. Пожалуй, психология. Детектив интересно читать, но только если у него есть психологическая правда, без нее он теряет смысл: нельзя понять взаимоотношения и поведение людей.

"ИЛ". Какова ваша цель, что заставляет вас браться за перо?

И. Н. Я пишу, потому что мне это нравится, доставляет удовольствие. Коллеги-писатели порой жалуются, что сочиняют через силу, заставляют себя, мучают. Я же пишу с огромной охотой и увлечением. Много лет мне не хватало на это времени. Я начала лет десять назад и счастлива, что мо-

1. В московском издательстве "Слово" в марте 2003 г. вышел однотомник с двумя романами И. Нолль — "Прохладой дышит вечер" и "Натюрморт на ночном столике" в переводе А. Кукес.

гу писать. Надеюсь, буду и дальше. Пишу я, конечно, не каждый день, иногда делаю паузы. Но потом снова с радостью берусь за работу.

"ИЛ". Почему ваши романы всегда о женщинах? Почему неизменно превалирует женская тематика?

И. Н. Я сама женщина, у меня много подруг, две сестры, дочь, вообще, вокруг меня очень много женщин. Разные женщины рассказывали мне свои истории, и я прекрасно могу представить себе все, что с ними происходило, могу поставить себя на их место, вжиться в их образы, прожить их жизнь. Женщина как личность мне интереснее мужчины. Поэтому я пишу книги о женщинах и с женской точки зрения — мои героини как бы сами о себе пишут.

"ИЛ". Почему все ваши героини вынуждены все время сражаться, сопротивляться, бороться, защищаться от мужчин, утверждать свои права? Почему им приходится играть роль амазонок?

И. Н. У моих героинь лишь та жизнь, какую я могу для них придумать. На мой взгляд, у них должны быть проблемы и страхи, они не могут не страдать неврозами — они должны пережить то, что толкает их на преступление. Судите сами, женщина становится убийцей — отчего, как это случилось? Если бы у нее было безмятежное детство, прекрасные родители, замечательный муж и очаровательные дети, если бы ей всегда везло с работой, неужели она стала бы убивать? Нет, конечно. Коль скоро человек становится преступником, это должно быть чем-то мотивировано.

"ИЛ". Но почему непременно убийцами?

И. Н. Убийство — самое страшное из преступлений. И когда человек берет в руки газету, книгу, смотрит криминальную хронику по телевизору, его прежде всего интересует именно убийство и его мотивы. Вообще стоит иногда поразмыслить, почему человек стал преступником, что его к этому привело.

"ИЛ". Значит, вы ставите над вашими героинями своеобразный эксперимент?

И. Н. Если угодно.

"ИЛ". А как вы сами относитесь к своим героиням?

И. Н. Одних очень люблю, других — не особенно. Некоторые мне очень близки, и я их очень хорошо понимаю и чувствую. Есть и такие, которых я вообще терпеть не могу.

"ИЛ". А кто самая любимая?

И. Н. Пожилая женщина из "Прохладой дышит вечер" — ее я люблю больше всех. Она, собственно, и не убийца. С ее мужем ведь произошел несчастный случай. Она симпатична мне тем, что в восемьдесят с лишним лет сохранила ясный ум, твердую память, активность, всем интересуется, всегда принимает непосредственное участие в жизни, не озлоблена, сохранила чувство юмора.

"ИЛ". А какие из романов вы считаете автобиографическими?

И. Н. Таких нет.

"ИЛ". Но ведь, наверное, некоторые из ваших героинь чем-то напоминают вас, отчасти повторяют вашу биографию.

И. Н. Почти никто. Иногда им приходится переживать то, что когда-то где-то случалось со мной, но я об этом пишу совершенно отстраненно. Иногда кое-что из жизни моих друзей и родственников попадает на страницы книг, но эти мелочи замечают только посвященные, только самые близкие. Например, какой-нибудь шифр к сейфу может совпа-

дать с датой рождения моей дочери. Но я никогда не использую чужие истории в своих книгах. Я считаю, если уж взялся писать романы — тренируй фантазию, научись выдумывать.

"ИЛ". Вы не жалеете, что поздно стали писательницей?

И. Н. Да нет, не особенно. Всю жизнь я была занята важными и нужными делами. У меня трое детей, и это прекрасно — я всегда очень хотела иметь детей. Я их растила, не расставалась с ними, пока они были маленькие, просто жила. Как иначе я приобрела бы необходимый опыт? Я могу писать, потому что много всего повидала. Что мы знаем в юности, даже в молодости, пока живем под крылом у родителей? Зато теперь у меня достаточно багажа.

"ИЛ". Как бы вы сформулировали свою основную писательскую задачу?

И. Н. Мне хотелось бы, чтобы читатель задумался о себе. Чтобы он узнал себя в моей героине и сказал себе: "Господи, да я же сто раз так думал, так чувствовал, хотел сделать то же самое! Слава богу, только думал. А ведь мог бы, вот как эта дамочка, взять и задушить своего шефа!" Мне хотелось бы, чтобы люди задумывались о себе и не были слишком строги к другим.

"ИЛ". Как вы относитесь к тому, что ваши книги переводят на русский язык?

И. Н. Очень-очень рада! Это замечательно. К огромному моему сожалению, я не смогу их прочитать. Увы, я не владею большинством языков, на которые меня переводят. Я читаю по-английски, заглядывала во французские переводы, испанские, но на остальных языках ни слова не могу прочесть.

"ИЛ". А какие у вас отношения с русской литературой?

И. Н. В юности, лет в шестнадцать, я зачитывалась Достоевским. Он меня потряс. Думаю, он на меня сильно повлиял.

"ИЛ". Каким образом?

И. Н. Например, "Братья Карамазовы". Это же детектив. И психологический аспект у Достоевского особенно важен. Он всегда докапывается до сути: почему человек совершает преступление.

"ИЛ". Как вы думаете, как вас примет русский читатель?

И. Н. Даже не знаю. Трудно судить. Из некоторых стран, где публикуют переводы моих романов, я получаю критические отзывы, из других — не приходит ничего. Я думаю, Россия все же не так далека в культурном плане от Германии. По крайней мере все европейцы, в принципе, понимают друг друга. Поэтому я надеюсь, что русские читатели оценят, скажем, мой юмор.

Л. Лазарев

“А по пятам война грохочет вслед...”

О “Траектории краба” Г. Грасса

Штральзунд — небольшой немецкий портовый город на Балтике. Мы попадаем туда утром, поезд в Берлин только во второй половине дня. Надо как-то убить время. Бродим по городу. Я вдруг вспоминаю, что в военно-морском училище одна из карт, на которой мы на уроках навигации занимались прокладкой курса, была картой штральзундского морского района. В путеводителе среди главных достопримечательностей Штральзунда собор. Идем смотреть собор — я ничего особенного в нем не нахожу. Как во многих соборах в Германии, внутри на стенах мраморные доски, на них фамилии прихожан, погибших в Первую мировую войну, — кроме имени и фамилии, дата рождения, а также дата и место гибели. Не на виду, за алтарем, где темновато, уже не на мраморных досках, а на фанерных листах, покрашенных под мрамор, фамилии прихожан, погибших во Вторую мировую войну. Главным образом на Восточном фронте, больше всего на юге, — видно, местных жителей отправляли в действовавшую там дивизию. Много погибших на Миусе летом 1943 года, трое — 27 августа, в тот день, когда мы там в очередной раз безуспешно пытались овладеть Саур-могильскими высотами и я получил три пули — одну обычную и две разрывных, похоже, тот, кто целил в голову, но, слава богу, мазал, попал в руки, повезло мне, не первоклассный стрелок за мной охотился.

Ни мстительного, ни злорадного чувства, ни угрызения совести я не испытываю. Все-таки ранили меня на нашей земле, которую я защищал, отвоевывал, а эти трое сложивших голову явились к нам завоевателями из далекого Штральзунда, от которого до Миуса многие сотни километров, никто их сюда не звал. Лучше меня об этом сказал Генрих Бёлль в последнем своем произведении, в сущности завещании, “Письме моим сыновьям”: “...у меня нет ни малейшего основания жаловаться на Советский Союз. То обстоятельство, что я там несколько раз болел, был там ранен, заложено в “природе вещей”, которая в данном случае зовется войной, и я всегда понимал: нас туда *не приглашали*”. Замечу тут, что даже сейчас, когда от той поры нас отделяют шесть с лишним десятилетий, кажется, далеко не все это осознали — и старики, участники завоевательного похода, “дранга нах остен”, и их внуки. Об этом последняя, только что переведенная на русский язык книга Гюнтера Грасса “Траектория краба”.

Каковы сегодня взаимоотношения немецких и русских солдат, стремившихся уничтожить друг друга, какие уроки они извлекли, извлекают из страшного, трагического прошлого — этому посвящена и только что опубликованная повесть Даниила Гранина “По ту сторону”. Не только у немцев, в наших собственных шкафах немало скелетов, которые тщательно скрывались, говорить о которых не полагалось, было запрещено. Героя Гранина как прорвало: “Любая война, самая справедливая, вырождается. И наша тоже. Ради званий и наград мы своих не жалели. Мой полк разбомбили, чтобы я первым не вошел в Тильзит... Наряду с той войной, о которой он обычно рассказывал, — с цветами, что бросали им под ноги, с объятиями и слезами освобожденных узников лагерей — была и другая война, ее изнанка. Он вспом-

© Л. Лазарев, 2003

нил, как укладывал к себе в постель немок за банку тушенки. Его солдаты обирали немецкие дома, тащили занавеси, белье, посуду, шубы. Из какого-то дома принесли русские иконы, громили винные погреба — он покрывал своих, спасал от СМЕРШа".

Этот период истории у нас и у немцев оказался общим — свела в смертельной схватке два государства, два народа долгая, жестокая, кровавая война, превратившая города в руины, села в пепелища, выкосившая миллионы людей — и солдат, и мирных жителей. В этой общей истории уже несколько десятилетий стараются разобраться и немецкие и русские писатели — для них и для их читателей это все еще не остывшая, обжигающая, больная, кровоточащая тема. Как это у Булата Окуджавы: "А по пятам война грохочет вслед..." Поэтому мы с не меньшим интересом читали Генриха Бёлля и Альфреда Андерша, чем немцы Виктора Некрасова и Константина Симонова.

А стоит ли, надо ли ворошить свинцовое, черное время? Какие можно из него извлечь уроки? На пользу ли это? "Историческую память народа формирует нравственный климат, в котором живет народ, — писал Д. С. Лихачев. — Может быть, следует подумать — не основывать ли нравственность на чем-либо другом: игнорировать прошлое с его порой ошибками и тяжелыми воспоминаниями и быть устремленными целиком в будущее, строить это будущее на радужных основаниях самих по себе, забыть о прошлом с его темными и светлыми сторонами. Это не только не нужно, но и невозможно". Верно, не разобравшись до конца в том, что происходило, пропуская мрачные страницы, мы будем обречены на исторические тупики и нравственные потемки. И пусть порой кое-кому начинало казаться, что все тяжелое и гнетущее уже быльем поросло, отболело. Очень уж этого хотелось. Но нет, не отболело... Почти одновременно появившиеся новые вещи немецкого и русского писателя тому свидетельство, похоже, что точку ставить еще рано...

Книга Гюнтера Грасса имела в Германии неслыханный читательский успех — за короткое время было продано больше чем полмиллиона экземпляров. Нам из России (а уж мне, не германисту, и говорить нечего) трудно разобраться в том, кого именно, молодых ли, старых, и чем именно она привлекла, зацепила. И хотя в этом успехе был и привкус политического скандала, отмеченного немецкой прессой, — критики и журналисты не разделили энтузиазм читателей, — нет сомнений, что ее автор нащупал реальные болевые точки, даже если это фантомные боли (видел это в госпиталях: у человека может очень болеть ампутированная нога или рука).

Гюнтер Грасс решил рассказать немцам известную многим русским читателям по многочисленным газетным публикациям и книге Александра Крона "Капитан дальнего плавания", появившимся через много лет после войны, — на то были свои причины, — когда героя их уже не было в живых, историю корабля "Вильгельм Густлофф", потопленного 30 января 1945 года советской подводной лодкой "С-13", которой командовал Александр Маринеско. "О гибели любимого лайнера из флотилии СЧР ("Сила через радость" — название организации, созданной нацистами в целях укрепления "единства нации". — *Л. Л.*) в рейхе не сообщалось, — говорится в книге "Траектория краба". — Такие сообщения могли подорвать у населения стойкость духа. Ходили только слухи". И в послевоенные годы, продолжает он, "никто не хотел об этом слышать, ни здесь, на Западе, ни тем более на Востоке. "Вильгельм Густлофф" и проклятая история этого корабля сделались на десятилетия, так сказать, общегерманским табу".

Что же останавливало, что смущало, почему возникло это табу? Дело в том, что на торпедированном "Густлоффе" было не только более тысячи моряков-подводников, из которых в Киле должны были сформировать новые экипажи, и триста девушек-военнослужащих из вспомогательных подразделений ВМС, и расчеты зенитных установок, но и несколько тысяч беженцев — мирных жителей, спасавшихся от наступающих советских войск. И каждому, кто отважился бы нарушить табу, надо было решать, принадлежало ли это судно ВМС (тогда о чем здесь толковать, война есть война) или было лишь транспортом для беженцев. А во втором случае

"вечно вчерашние", как называют их в Германии (хорошо бы нам заимствовать это точное определение, очень оно годится для характеристики собственных "твердокаменных"!), бритоголовые, неонацисты вполне могли представить всю эту тяжелую историю как одно из "военных преступлений", ставящих противников на одну доску, уравнивающих их, — все, мол, одного поля ягода, все одним миром мазаны, злодеяния фашистского режима сильно преувеличены, нечего во всех грехах винить только немцев, у них тоже есть свой большой счет к союзникам и прежде всего к Красной армии. Видимо, этого опасались.

Замалчивание правды всегда таит в себе серьезную потенциальную опасность — даже когда оно диктуется, казалось бы, благими намерениями. Это как заложенная когда-то мина: о ней забыли, считается, что опасности уже нет, но это до тех пор, пока кто-то на нее не наступил, — что происходит при этом, объяснять не надо. Утаиваемое, когда его наконец обнародуют, часто утяжеляется, превышая свой истинный вес, выступает на первый план, заслоняя порой все остальное, искажая реальную картину, смещая подлинные пропорции. Отчасти этим, наверное, объясняется читательский бум, вызванный повестью "Траектория краба".

Новелла — так обозначен, не уверен, что точно, жанр новой вещи Грасса. Но вроде бы и самому автору это определение кажется сомнительным. "Старик утверждает, — замечает герой-рассказчик, — что моему повествованию более всего соответствует жанр новеллы. Впрочем, меня подобные литературные тонкости не волнуют. Я лишь излагаю факты". Это не совсем так — без беллетристики не обошлось (я еще буду об этом говорить), но действительно, художественный вымысел играет в книге явно вспомогательную роль. Нет в ней живых полнокровных характеров. Персонажи — олицетворенные знаки тех или иных политико-исторических веяний, позиций, явлений. Хотя написана книга сильно, мастерски. Точнее было бы сказать, сконструирована. Не хочу этим словом принизить ни книгу, ни ее заслуженно знаменитого автора, потому что в данном случае мы имеем дело с литературной инженерией самого высокого класса, когда каждая деталь точно рассчитана, значима, работает. А сцены гибели лайнера написаны с потрясающей силой. Вряд ли кто-нибудь из читателей книги забудет, как дети "падали с корабля головками вниз. Они и застряли в своих громоздких жилетах ножками вверх". Или "тысячеголосый вопль, тот финальный вопль, который раздался отовсюду: из недр тонущего лайнера, с треснувшей застекленной прогулочной палубы, с захлестываемой волнами солнечной палубы, с быстро уходящего под воду носа, вопль раздался над штормовым морем, где барахтались тысячи живых людей или дрейфовали, обмякнув в спасательных жилетах, мертвецы. Вопль разнесся с заполненных или полупустых шлюпок, с плотиков, где теснились люди, они взмывали вверх на гребень вала и рушились вниз, в провалы, отовсюду несся этот вопль, к которому неожиданно присоединилась, создав жуть неимоверного двуголосия, корабельная сирена, чтобы так же внезапно умолкнуть".

"Траектория краба" представляет собой сплав публицистики, эссеистики, документалистики. Это книга-расследование. Грасс предпринял его, чтобы докопаться до корней происходившего, произошедшего. Начинает он издалека, обращается к далеким тридцатым годам. Подробно рассказывает о Вильгельме Густлоффе, серенько ученом секретаре обсерватории в Швейцарии и по совместительству агенте страхового общества, который стал деятельным руководителем нацистов, вербуемых среди проживавших там немцев и австрийцев. Тогда нацисты занялись травлей евреев. Чтобы привлечь к этому факту внимание общественности, Густлоффа застрелил студент, сербский еврей Давид Франкфуртер, заявив в полиции: "Я стрелял, потому что являюсь евреем. Я в полной мере сознаю тяжесть содеянного, но ничуть не раскаиваюсь". Швейцарский суд приговорил Франкфуртера к пожизненному заключению. Густлофф в Германии был причислен к лику нацистских святых-мучеников: организовали пышные государственные похороны, "партийный лидер, ранее не более известный в Мекленбурге, чем другие ландесгруппенляй-

теры зарубежной организации НСДАП, Вильгельм Густлофф возвысился после смерти до фигуры таких масштабов, что некоторые из ораторов испытывали явные трудности с подбором сравнений, соразмерных ее грандиозности"; в Шверине, откуда он был родом, соорудили грандиозный мемориал. Его именем назвали улицы, площади, школы, заводы и самый большой и роскошный флагманский лайнер организации "Сила через радость". И если бы не этот "бесклассовый" (так он, как и вся организация "Сила через радость", преподносился — это была государственного масштаба и весьма успешно осуществляемая демагогия) лайнер, имя нацистского великомученика наверняка постепенно выветрилось бы из памяти большинства немцев. А вот благодаря лайнеру, который стал очень популярен — разумеется, "при информационной поддержке", как нынче у нас принято выражаться, мощной геббельсовской пропаганды, — оно многим запало в память.

В книге воссоздается история этого корабля, который сначала совершал дешевые туристические круизы в норвежские фьорды и в Италию. Потом, когда началась Вторая мировая война, он использовался армейскими и флотскими соединениями при оккупации Норвегии и Дании в качестве военно-транспортного и госпитального судна, затем стоя у причала Гдыни, уже захваченной немцами и переименованной в Готенхафен — как база подводных лодок. Все эти описания пронизывает столь свойственный писательской манере Грасса сарказм. Приведу лишь один пример — из сцены спуска "Вильгельма Густлоффа" на воду: "Не стану перечислять всех, кто маршировал в колоннах, кто щелкал, здороваясь, каблуками. Когда Вождь всходил на трибуну, внизу толпились, приветствуя его, рабочие. Четыре года назад на последних свободных выборах большинство из них еще голосовали за социал-демократов или коммунистов. Теперь же для них существовала лишь одна-единственная Партия и перед ними стоял собственной персоной олицетворяющий ее Вождь".

Процитировав это место (можно было бы привести и немало других цитат), я должен, однако, сказать, что автор, быть может, одержимый идеей сбора фактов для создания объективной картины, выбрал себе место за кулисами повествования, и мы даже не во всех случаях можем точно определить его отношение к тем или иным событиям, которые всплывают в книге (поэтому мне то и дело приходится использовать вводные слова — видимо, кажется, — читатели наверняка заметили это). Повествование ведут два его представителя или посредника (не знаю, как точно их назвать). В сущности, это "клоны" автора — он наделил их некоторыми чертами своей биографии и особенностями своего мироощущения. Один из них журналист, работавший в шпрингеровской, а потом в одной из левых газет, но у него возникла идиосинкразия к "интерпретациям", и он переключился на последние известия для информационных агентств — его интересуют только факты. "Обычно держу нейтралитет, — говорит он о себе. — Если же получаю заказ, не важно от кого, то лишь излагаю факты, зато делаю это добросовестно и обстоятельно". Это наложило отпечаток на характер повествования в "Траектории краба", оно должно привлечь читателя объективностью и добросовестностью. К тому же так случилось (здесь Грасс разрешает себе художественный вымысел), что рождение героя-рассказчика совпало с гибелью "Густлоффа". На этом основании его втравил в эту историю Старик — известный писатель: "Вообще-то любой сюжет, так или иначе связанный с Данцигом и его окрестностями, должен был бы остаться за ним самим, — говорил он. — ...Но к сожалению... этой темой он заняться не удосужился. Это его упущение и даже, как ни прискорбно в том признаться, его фиаско. Он, дескать, не ищет себе оправданий, а в качестве объяснения может сказать лишь следующее: к середине шестидесятых прошлое набило ему оскомину..."

Думаю, что все это сделано и для того, чтобы объяснить (а быть может, и самооправдаться), почему Грасс, выходец из Данцига, прославившийся произведениями, которые называли "данцигской трилогией", долгие годы отодвигал от себя ужасную историю торпедированного корабля.

Но главное, убрав себя как автора с авансцены, выдвинув вперед

двух вроде бы независимых от него персонажей, Грасс усиливает столь важный для него эффект объективного расследования, хотя кое в чем, как мне кажется, это лишь декларация, видимость объективности. Кстати, расследование включает в себя и сведения, почерпнутые героем-рассказчиком в Интернете, — они занимают в книге большое место. Вообще в современной литературе (читатели, наверное, это заметили) Интернет все чаще начинает играть очень важную, смыслообразующую роль, создавая новейшие коллизии, заменяя сюжетные скрепы. Книга Грасса демонстрирует, какие здесь открываются широкие возможности.

Однако уход автора в тень — иногда он выглядит намеренным, нарочитым — рождает у некоторых читателей претензии к нему: им недостает ясности и определенности оценок. Некоторые русские читатели были задеты тем, что́ и как он пишет о Маринеско. Нет, он не искажает фактов — о том, что командир "С-13" жажду заливал не квасом и нарзаном, волочился за дамами, случалось, мог загулять, — об этом не умалчивали и наши авторы. Но хотел этого Грасс или нет, у него получилось, что эти земные слабости героя находятся в прямой связи с тем, что он потопил корабль, на котором было много мирных жителей. Это по меньшей мере странное умозаключение: любой опытный подводник, даже из тех, кто всем крепким напиткам предпочитает кефир и не теряет голову в присутствии обольстительных женщин, действовал бы в этих обстоятельствах точно так же, постарался бы не упустить такую цель. Я уже не говорю о том, что Маринеско понятия не имел и не мог знать, кто находится на корабле, он атаковал военный транспорт. Назойливо повторяющаяся в книге Грасса его характеристика как полууголовного типа внушает на эмоциональном уровне читателю мысль, что атака на "Густлоффа" очень смахивает на "военное преступление", тень такая бросается, хотя для этого нет ни малейших оснований. Что касается фактов, хочу еще раз подчеркнуть, Грасс точен: он не утаивает, что это было военно-транспортное судно, на нем находились экипажи подводных лодок и т. д. Кстати, в недавно переведенных у нас мемуарах гросс-адмирала Дёница, командовавшего подводным флотом Германии, а потом всеми ее военно-морскими силами, приводятся записи в вахтенных журналах подводных лодок, которые свидетельствуют, что немецкие подводники не колеблясь отправляли на дно пассажирские суда (на некоторых были дети, что тоже зафиксировано). Так что ни по каким меркам торпедирование "Густлоффа" нельзя считать из ряда вон выходящим происшествием.

В том же духе рассказывает Грасс о жизни Маринеско после конца войны: разжаловали, выгнали с флота, судили, упекли на Колыму — давая понять, что, наверное, все это не без оснований, вот таким он был, офицер, утопивший "Густлоффа". Но послевоенная судьба командира "С-13" не имеет никакого отношения ни к "Густлоффу", ни вообще к немцам. Это уже наша, чисто советская история, наша драма и печаль. Суть ее в горьких строках Бориса Слуцкого:

Когда мы вернулись с войны,
Я понял, что мы не нужны.
Захлебываясь от ностальгии,
От несовершённой вины,
Я понял: иные, другие,
Совсем не такие нужны.

Сталин и его подручные очень боялись надышавшихся воздуха свободы фронтовиков, которые в годы войны, как писал Василь Быков, "осознали свою силу и поняли, на что способны", они истории и самим себе "преподнесли великий урок человеческого достоинства". В человеческом достоинстве нашим властям всегда мерещилась государственная опасность. К тому же был приводивший в трепет Сталина, большого любителя исторических параллелей, хрестоматийный пример: герои 1812 года стали декабристами. Осознавших свое человеческое достоинство, не хотевших гнуться власти преследовали, не считаясь с их военными заслугами, с пролитой ими кровью, ломали им судьбы. Одним из них был Маринеско. Всего этого не понимает Грасс, но это, хочу повторить, наша, советская история.

Более серьезные — политического свойства — претензии к книге Грасса высказывались в польской печати.

Они касаются судьбы немцев, бежавших на Запад в последние месяцы войны и переселенных из Польши после войны, предстающих в его книге как безвинные страдальцы, которых не щадили жестокие победители (в одной из рецензий — в газете "Вельт" — прямо говорится, что "книга Гюнтера Грасса будет восприниматься как подтверждение их правоты теми, кто уже с 1945 года считал истинными жертвами истории немцев и Германию").

Как же это так, в чем здесь дело? В "Письме моим сыновьям", которое я уже цитировал, Генрих Бёлль писал: "Вы всегда сможете различать немцев по тому, как они называют 8 мая: днем поражения или днем освобождения. Мы ждали наших "врагов" как освободителей. Один из выживших из ума генерал-фельдмаршалов потом назвал это не "поражением", а "утраченными победами". Грасс почему-то решил, что пришел час (может быть, под влиянием каких-то настроений, возникших нынче в Германии) это соединить — "освобождение" и "поражение". Но не получается такое соединение — тут все-таки или — или. Другое дело, что говоря "освобождение", нельзя скрывать, как она ни горька, правды: чего она стоила не только победителям, но и побежденным. Выступая в 2000 году в Вильнюсе (тогда уже, наверное, шла работа над "Траекторией краба", и этими соображениями он руководствовался), Грасс говорил: "Поразительно, как поздно и со все еще продолжающимся оттягиванием вспоминают о страданиях немцев во время войны. Последствия войны, проводившейся преступно и без зазрения совести, т. е. разрушение немецких городов, смерть сотен тысяч гражданских лиц от ковровых бомбардировок и изгнание с родины 12 млн. немцев из восточных земель — все это было темой на дальнем плане. Даже послевоенная литература лишь в малой степени сохранила в памяти множество погибших при ночных бомбардировках. Одно бесчестие вытеснило собой другое. Достойным укоризны стало сравнивать одно с другим, не говоря уже о поисках виновных". Что говорить, немцам пришлось хлебнуть лиха во время войны, особенно тогда, когда она докатилась до Германии, но об этом в данном случае говорится так, словно война длилась всего несколько месяцев сорок пятого года и лишь на территории Германии, а не разоряла и выжигала в течение нескольких лет почти всю Восточную Европу. И на весах истории, как ни старайся, в этом вопросе равенства не установишь, даже если без укоризны относиться к тщетным попыткам нечто подобное сделать. И о каких "поисках виноватых" идет речь. Главные виновники помрачения, военного разбоя, в том числе и те, кто тосковал по "утраченным победам" (тогда бы немцы в третьем рейхе благоденствовали вечно и осчастливливали покоренные народы), хорошо известны.

А теперь о "новелле", беллетристическом сюжете книги. Написанная слабее, чем эссеистски-документальные страницы, новелла несет в себе жгуче современную и очень серьезную мысль, расходясь, как мне кажется, с тем, что Грасс говорил в Вильнюсе. Это история трех людей. Прежде всего матери рассказчика, родившей его в ту кошмарную ночь, когда был торпедирован "Густлофф", — ее подобрал сопровождавший лайнер миноносец. Странный это персонаж — словно кукла, сшитая из разного цвета лоскутов. Она вспоминала не только ужасы той ночи, когда она и ее новорожденный сын чудом остались живы, но и те прекрасные времена, когда на роскошном белоснежном лайнере ее родителям (отец был членом партии, а мать — национал-социалистической организации женщин, поэтому путевки были льготными) удалось совершить волшебный круиз. Многозначительная деталь: она то и дело возвращается в своих рассказах к пропавшему на торпедированном "Густлоффе" альбому со снимками, сделанными во время этого чудесного путешествия. Мать рассказчика представляет в книге те слои обывателей, которые все еще не избавились от ностальгии по нацистскому "светлому прошлому". Оказавшись (как восточная беженка) в ГДР и вступив в СЕПГ, она заявляла, что "бесклассовая" организация "Сила через радость" должна служить образцом для каждого коммуниста. Она боготворила Сталина, но была вне себя, когда снесли мемориал Густлоффа в Шверине. Видимо, этот разнобой должен был иллюстрировать мысль о том, что для определенного типа сознания переход от одного тоталитарного режима к другому

не представляет особого труда. Мысль эта справедливая, но цельного и психологически убедительного характера не получилось.

"Я и живу-то только для того, чтобы сынок мой когда-нибудь все бы засвидетельствовал", — была у нее такая мечта. Трудно сказать (наверное, она и сама этого точно не знает), что́ должно быть засвидетельствовано: ужасная ночь на тонущем лайнере или прекрасное время, когда простые люди проводили на нем свой отпуск? Скорее всего и то и другое. И так как сын-журналист не стал заниматься "густлоффской" эпопеей, переключилась на внука, заразив его мифами нацистского происхождения — у него иммунитета не было. Этот внук и его оппонент — фигуры виртуальные, раскрываются они главным образом через Интернет, где ведут острую дискуссию: внук представляет и защищает позицию Густлоффа, повторяя все те гнусности, которые в свое время твердила фашистская пропаганда. Его оппонент выступает от имени Давида Франкфуртера. Эта полемика, носившая поначалу как будто бы полуигровой характер, закончилась убийством. Молодые люди решили встретиться, и внук застрелил своего заочного оппонента, — в полицейском участке он, как бы повторяя когда-то сказанные слова Франкфуртера, заявил: "Я стрелял, потому что являюсь немцем". Не уверен, что этот зеркальный прием в данном случае оправдан, но важно здесь другое. Оказывается, бывает и так, что от вроде бы безобидной ностальгии (все зависит от того, что́ мы вспоминаем) рукой подать до злодейского убийства.

Вскоре после конца войны, в июне сорок пятого года, Илья Эренбург предостерегал: "Мало уничтожить фашизм на поле боя, нужно уничтожить его в сознании, в полусознании, в том душевном подполье, которое страшнее подполья диверсантов". Опьяненные долгожданной, оплаченной такими жертвами победой, мы тогда были уверены, что это относится только к подписавшей безоговорочную капитуляцию фашистской Германии. Увы, это было не так, и в сознании и полусознании многих наших соотечественников не все было благополучно, и, как герои Грасса, они никак не могут изжить ностальгию по нашему "светлому прошлому", в котором было и раскулачивание, и голод, и рабский колхозный труд за "галочки", и архипелаг ГУЛАГ, и чуть было не проигранная война, за которую заплачено многими миллионами жизней (никто точно не подсчитал), и высылка народов и т. д. — всего тяжелого и бесчеловечного, что выпало на нашу долю, не перечислишь. Этого помнить не хотят. А отсюда сегодняшняя ксенофобия, дедовщина, скинхеды, озверевшие полковники Будановы, осквернённые кладбища, тоска по твердой, стальной руке.

Как часто нам приходилось и сейчас приходится слышать: с именем Сталина мы выиграли войну, при Сталине был порядок и цены снижали, евреям не давали ходу и лица кавказской национальности не мозолили глаза на московских рынках, была осененная его именем великая и прекрасная эпоха. А недавно, когда наши СМИ наперегонки, кто с большим размахом, кто задушевнее, отмечали пятидесятилетие смерти "гения всех времен и народов", заполонив телевидение и радио возбуждающими сладкую ностальгию песнями и фильмами о "главном", некоторые политики и генералы, те, кого в Германии называют "вечно вчерашними", недвусмысленно давали понять, что, если бы Сталин встал из гроба, его бы немедленно усадили на трон генсека, — а заодно восстановили бы в былых самодержавных правах "ум, честь и совесть нашей эпохи", и они, наследники и продолжатели Сталина, наконец-то развернулись бы по-настоящему. Вот что им снится, вот о чем их ностальгия. Они все еще надеются, что придет этот час.

Не все в новой книге одинаково удалось Гюнтеру Грассу, не всегда с ним соглашаешься. Но главную свою задачу он видел в том, чтобы донести до читателей ту серьезную тревогу, которую у него вызывают некоторые явления сегодняшней жизни, прежде всего ностальгия по нечистому прошлому, которая может подтолкнуть к крови. В этом пафос его книги. Русского же читателя "Траектория краба" заставляет думать не только о немецких, но и о наших собственных опасностях и бедах. А это случается не часто.

Безумная Женщина в белом на рубеже веков

Beste deutsche Erzähler 2002. — Stuttgart, München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2002

Лучшие немецкие рассказы 2002. — Штутгарт, Мюнхен: Дойче ферлагс-аншталът, 2002

В Германии приход нового тысячелетия положил начало долгосрочному литературному проекту: с 2000 года начал выходить ежегодник "Лучшие немецкие рассказы". Если переводить название буквально, то надо было бы сказать "Лучшие немецкие рассказчики", однако мы позволим себе дать более нейтральный перевод, потому что рассказчиком по сути можно назвать и, скажем, автора повести, здесь же речь идет именно о жанре рассказа, точнее, короткого рассказа, а прообразом нового проекта послужила знаменитая серия "The Best American Short Stories", выходящая с 1915 года, в которой было опубликовано много шедевров классики XX века. "Мы приближаемся к Америке, — пишет основательница и составительница немецкой серии Верена Аufферман, — но все же живем в другом мире". В сборнике 2002 года этот другой мир представлен девятнадцатью авторами, в основном живущими в Германии, хотя среди них есть и несколько швейцарцев и австрийцев. Некоторым из авторов за семьдесят, иным же не исполнилось и тридцати, есть маститые, отмеченные литературными премиями писатели (К. Ланге-Мюллер, Н. Ниман, Э. Педретти, Р. Ротман, А. Равик Штрубель), есть недавние дебютанты (Б. Рихард). Практически никто из них (кроме И. Хармс) не ограничивает свое творчество жанром рассказа: они пишут также романы, пьесы, стихи, сценарии. В. Ауфферман утверждает, что стремилась отбирать для первых трех сборников только "рассказы, заставляющие задуматься об изломах нашей реальности", вызывающие реакцию: смех, размышление, страх, воспоминание, — или просто рассказы, от которых на мгновение перехватывает дыхание.

Но, честно говоря, в сборнике мало рассказов, вызывающих смех, в них больше растерянности перед жизнью, нежели иронии. Сюжеты чаще всего трагичны. Это закат жизни одинокого мелкого служащего, участвующего в процессии в честь святого Мартина, на которой подавший в отставку местный старик священник произносит свою последнюю, абсолютно не слышную собравшимся проповедь (Н. Ниман. "Святой Мартин"). Это отчаяние молодого педагога, потратившего все время практики в интернате на то, чтобы установить контакт с полубезумной девочкой, в результате чего последняя окончательно потеряла рассудок, а ее врач пояснил юноше, что "для нашей Франциски в настоящее время полезнее всего отсутствие контакта с людьми" (У. Хольбайн. "Циска с низкой березки"). Это и странное семейство (Ю. Цее. "Подаренный час"), в котором все по очереди гибнут при ужасных обстоятельствах, а последние двое (дядя и племянница) приходят к заключению, что тот из них, кто останется в живых, и должен считаться во всем виноватым. "Люди говорят о случае, — объявляет дядя, — если боги мыс-

лят изощреннее, чем человек. Если так продолжается достаточно долго, то говорят уже о судьбе". Среди других рассказов — описание мужем постепенного умирания больной жены (Б. Рихард. "Стойко на одной ноге"), или еще одна зарисовка — портрет психически нездорового ребенка, чье видение мира, кстати, точнее и ярче шаблонного зрения среднего взрослого (К. Грибель. "Когда лупит дождь, он лупит прямо по голове"), или воспоминание девочки о гибели брата, встреч с которым она стеснялась, находясь в детском лагере (Ю. Шох. "Удар походя"), или растерянность девушки, которая никак не может доехать до университета в американском городе Сиракузы (реализация ее мечты все время отодвигается происками действительности (И. Хармс. "В Сиракузы"). Многие герои живут внутренней, почти не соприкасающейся с окружающим миром жизнью, говорят, ничего другим не объясняя, пытаются понять, не задавая вопросов. Порой проявляющаяся ирония тоже не спасает: героиня рассказа К. Ланге-Мюллер "Будущее, или Я вижу в черном свете" вообще предлагает сделать целью жизни собственные похороны, организуя их как праздник, чтобы хоть этим доставить людям радость. Проскальзывает и напоминание о нацизме. Рассказ С. Левичарофф "Говорящий зверь" — история миролюбивого столяра, которому являлся во сне Гитлер, после чего столяр начал в жизни копировать площадное красноречие фюрера и мечтать о том, чтобы из истории вычеркнули "всего каких-то шесть лет": с 1939-го по 1945-й. Язык, слова, громкие фразы оказались сильнее человека.

Но если язык столь силен, то, должно быть, литература тем более способна воздействовать на людей? Составитель сборника В. Аufферман так не считает. Она сравнивает литературу со встреченной на улице безумной Женщиной в белом: та подражает движениям окружающих, "задает бессмысленные вопросы, на которые не получает ответа, потому что ответа на них не существует... говорит в пространство ночи просто затем, чтобы слова явились на свет... играет в действующих лиц и исполнителей, в изображение и реальность". Наблюдающие за безумицей дети "передразнивают ее, не замечая, что Женщина в белом передразнивает других". По мнению В. Аufферман, Женщина в белом, которая "необучаема и, сама того не подозревая, самодовольна становится идеальным персонажем в игре писателя. Ее существование — вне времени, она живет в расселине между тем, что уже рассказано, и тем, что еще предстоит рассказать", ибо функция рассказывания состоит в том, чтобы "избавиться от страха, который охватывает нас, когда мы хотим сказать правду о реальном мире. Реальная жизнь предъявляет к нам слишком высокие требования". Составительница признается, что отбирала рассказы, исходя только из их художественной ценности, но в конечном счете получилось так, что все они повествуют именно о страхе, ощущаемом в "опасной зоне под названием 'настоящее'".

Поначалу может показаться, что в выборе рассказов и оценке творчества авторов превалирует субъективное отношение к современности самой В. Аufферман. Однако обращение к не вошедшим в сборник произведениям тех же писателей показывает, что многим из них действительно присуще томление духа. Частые темы их произведений — война, тоталитаризм, неизбежность происходящего. По высказыванию К. Грибель (интервью в Интернете), "когда мы видим, как каштан падает на землю, то думаем: хорошо, что не случилось ничего худшего". Оценивая творчество другого участника сборника, Р. Ротмана, Т. Пальцер в выступлении по немецкому радио (19.08.2001) назвал его "представителем ново-

го, обновленного потерянного поколения". Недавно вышедший роман Б. Рихарда "Бедствие" ("Desaster", 2003) назван критиками "апокалипсическим ремиксом на переломе времен". В рецензии на этот роман в Интернете критик К. Герман пишет: "Создается впечатление, что художественная литература уже давно отстала от кошмарных темпов и сложности нашей реальности и безнадежно ковыляет за ней следом". Может быть, отсюда и страх? Ведь многие рассказы сборника явно отражают несостоятельность прежде победоносного прагматического ума, стремящегося не столько понять мир, сколько благоустроить его, не столько жить, сколько добиваться успеха. И если какое-то время позитивистские установки позволяли не замечать всего того, что не поддается разложению на составляющие и переустройству ради собственного успокоения, то на рубеже веков этот подход стал невозможен. Старое ви́дение мира исчерпало себя, но так и не научило соотносить свое существование с извечными проблемами: смертью, болезнью, несчастьем, бездумным существованием, одиночеством. Старые рецепты не действуют, других пока нет; перелом веков стимулирует ожидание нового понимания мира. Пока же оно не пришло, Женщина в белом не может не изображать страх. И единственным спасением от него видится философское утешение, которое мать дает своим больным и голодным детям в рассказе П. Морсбах "Жизненные правила": "Есть такая штука — судьба. Улица задана заранее, но как ты по ней пойдешь — это твой собственный выбор. Можешь идти пешком, прямо или зигзагами, можешь ехать на велосипеде, а то и на автобусе. Но на автобусе не всегда быстрее: попадешь в пробку, и даже пешеходы тебя обгонят. Так что все зависит от вашего свободного решения. Понятно?"

Элина Драйтова

Без пяти 1984

Кристиан Крахт. 1979 / Перев. Т. Баскаковой. М.: Ad Marginem, 2002

Вторая книга модного немецкого[1] прозаика Кристина Крахта выпущена издательством "Ad Marginem" с похвальной оперативностью. Сенсация Франкфуртской книжной ярмарки 2001 года оказалась на прилавках московских магазинов всего через год с небольшим. Роман с не требующим перевода названием "1979" стал одной из самых модных книг сезона — тем более что ее появление было подготовлено переводом предыдущего романа Крахта — "Faserland". Таким образом, говоря о московской книжной новинке, мы можем — редкий случай — говорить о действительно актуальной тенденции в европейской литературе. Уже за одно это можно простить легкую небрежность перевода и комментариев Татьяны Баскаковой.

На первый взгляд роман Крахта достаточно традиционен. В нем нет особых формальных изысков, он в меру описателен и повествователен. Герой, дизайнер интерьеров, путешествует в 1979 году вместе со своим другом (и бывшим любовником) Кристофером по шахскому Ирану. После смерти Кристофера он спешно покидает охваченную исламской революцией страну и отправляется в Тибет. Там, совершив паломничество к священной горе Кайлаш, он попадает в исправительный китайский лагерь, где вполне успешно обучается любить Мао Цзэдуна. Финальный аккорд романа ("Я исправился, я исправил себя") напоминает о "1984", романе с названием, состоящим, как и у Крахта, из номера года.

1. Несмотря на то что Кристиан Крахт родом из Швейцарии и живет большей частью в Таиланде, его книги принадлежат прежде всего немецкой литературе.

Возможно, на такой сюжет можно написать приключенческий роман. Крахт, однако, пишет что-то другое. Несмотря на некоторую авантюрность, динамики в романе почти нет. Безымянный главный герой детально описывает интерьеры (что неудивительно при его професии); остальные персонажи рассуждают обо всем на свете — от ислама до модной в 1979 году музыки. Похоже, что перед нами идеологический роман, где пестрые картины мира служат только иллюстрацией к приключениям идей.

Идеям в самом деле тесно в книге Крахта. В наполненном ссылками на Интернет-публикации послесловии переводчица Т. Баскакова скрупулезно перечисляет то, что ей удалось обнаружить при работе над романом: тут тебе и неоанархизм Хоакима Бея, и мистицизм Хафиза Ширази, и (анти)утопизм Карла Мангейма. При таком подходе главной темой Крахта неизбежно оказывается либерализм и его границы. При желании можно легко воспринять "1979" как лишенную благодати евангельскую притчу или вывернутый наизнанку роман воспитания, рассказывающий о том, что крайней точкой путешествия богемных снобов должен оказаться концлагерь. Тут в самый раз было бы написать об ответственности интеллектуалов за фундаментализм, фашизм, коммунизм и геноцид в Камбодже, а также защитить (или оплевать) либерализм, антиглобализм и множество других "измов". Можно сказать, что идеологический разбор романа Крахта рискует затянуться на множество страниц, поскольку он заставит нас еще раз обсуждать все темы, которые неизбежно возникают при попытке понять корни тоталитаризма или пределы демократии. Беседа на подобные темы даже сегодня остается довольно напряженной и познавательной: слишком часто серьезный анализ оказывается подменен риторикой и излишне эмоциональными выступлениями.

Важно, однако, то, что идеи, возникающие при чтении Крахта, возникают в голове современного читателя не впервые. Похоже, что "1979" скорее имитация интеллектуального романа, чем интеллектуальный роман как таковой. Имитация, надо отдать Крахту должное, виртуозная: в "1979" есть историческая глубина с экскурсами в XIII век или времена Д'Аннунцио; есть географическая протяженность — начинаясь в Иране, действие кончается в Китае, но Эгейское море, Германия, Нью-Йорк и Тибет тоже вписаны в эту рамку; есть интертекстуальная насыщенность — каждая фамилия на что-то намекает, каждая цитата куда-то ведет, ни одна песня не случайна, все на своем месте. Есть религиозное разнообразие: ислам и буддизм фигурируют в сюжете, христианство подразумевается.

Идеологический коктейль, смешанный Крахтом, прян, но не оригинален. Эзотерика, религиозный или социальный утопизм, онтологический анархизм, арт-терроризм и тоталитаризм... Для меня образцовым писателем подобной тематики остается Томас Пинчон; многие мои соотечественники предпочитают Александра Дугина. В любом случае ясно, что эта осетрина второй свежести. Пинчон написал свои лучшие романы задолго до 1979 года, и если меня и Дугина извиняет культурный железный занавес, долгие годы разделявший Запад и Россию (следует ли сделать его поклонникам приятное и написать: атлантические и евразийские государства?), то Крахт, живущий в центре Европы и, вероятно, читавший всяких Повеля, Бержье, Оссендовского или Мангейма едва ли не в колыбели, не может не чувствовать изрядной затхлости этих идей. Иными словами, не очень понятно, зачем в 2001 году модный европейский интеллектуал пишет книгу на темы, которые

начитанные нацболы мусолили лет пять до того.

Отгадка находится в газетном интервью автора. Крахт замечает: "Когда я писал, я то и дело громко смеялся, потому что думал: такой китч в наше время просто невозможно писать серьезно", и эти слова ставят все на место. Скандальность романа Крахта не в его идеях и уж конечно не в формальных приемах. Просто одним из первых немецкий прозаик продемонстрировал, что идеологическая литература может быть материалом для китча не в меньшей степени, чем трэш. Грамотный профессионал, превосходно владеющий языком, может изготовить глубокий интеллектуальный роман точно так же, как полвека назад Борис Виан изготавливал боевики под псевдонимом Вернон Салливан. Роман этот будет выглядеть совершенно серьезным и ничто не подскажет читателю, что над ним издеваются.

Само по себе это выглядит необычным: мы привыкли к тому, что смысл книги ясен из нее самой, а вовсе не требует привлечения газетных интервью и прочих комментариев автора. Это, конечно, неслучайно: особенность интеллектуального китча в том и заключена, что он выглядит как настоящий интеллектуальный роман. Подражание массовому жанру может подмигивать читателю; подражание жанру "серьезному" и должно быть совершенно серьезным.

Прикидываясь интеллектуальным романом, "1979" для вида рассуждает о тоталитаризме и демократии, но говорит совсем о другом. Главное утверждение романа остается нигде не сформулированным — самим фактом существования "1979" Крахт настаивает: раз идеи — такой же лежалый товар, как и все остальное, то можно беззастенчиво слепить модный роман, который молодые люди и маститые критики во всем мире примут всерьез, а сам автор даже не будет скрывать, что сделал китч, попсу, фэйк.

В свое время Ги Дебор описал современное общество как Общество Спектакля, где создана экономика образов — рекламных, новостных, гламурных. Крахт говорит, что нет разницы между образами и идеями. Можно было бы сказать, что Интернет девальвировал мысль точно так же, как телевидение девальвировало изображение и создало Общество Спектакля. От того, чтобы всерьез сказать такое, удерживает только то, что и эту мысль наверняка можно найти на одном из бесконечных контркультурных сайтов.

То, что делает Крахт с интеллектуальной литературой, можно сравнить с действиями Владимира Сорокина по отношению к классической русской или соцреалистической литературе или действиями молодого поэта Шиша Брянского по отношению к русской поэзии XX века. Разница только в том, что Сорокин и Шиш Брянский, в какой-то момент не выдержав, ломают канон и начинают писать про телесный низ, экскременты и каннибализм. Моча, кал и людоедство в финале крахтовского романа не выбиваются из канона европейского интеллектуального чтива — и потому производимое "1979" разрушение едва ли не более тотально, чем сорокинское.

Мир, в котором живет сын богатого швейцарского промышленника Кристиан Крахт, неуютен не потому, что люди в нем умирают, религиозные фанатики устраивают революции, а пятилетние девочки нюхают кокаин. В "1984" подвергалась сомнению возможность любви и свободной мысли — но именно эта невозможность и создавала трагедию. Осуществленное Сорокиным разрушение классической литературы — или, если угодно, уничтожение эпигонов классической литературы — вызывает горький смех. В "1979" нет места ни любви, ни литературе, ни мысли, ни смеху, ни трагедии. Точнее, место для них строго указано:

они расфасованы и лежат на одном прилавке со всем, что выработало на своем пути человечество.

Распродажа идет полным ходом, и мы все — критики и читатели — принимаем в ней участие.

На этой распродаже где-то на соседних полках с Крахтом лежат романы Мишеля Уэльбека и Брета Истона Эллиса. Книги всех этих авторов так или иначе посвящены критике идеологии "Нью-эйдж" и шестидесятых, а также описанию превращения проанализированного Ги Дебором рынка образов в рынок идей и чувств. Желающие навешивать ярлыки могут назвать это направление поп-литературой или постконсьюмеристским интеллектуализмом.

Все это очень хорошо. Проект можно признать блистательно задуманным и талантливо реализованным. Впрочем, что-то мешает мне полюбить роман Крахта — и это что-то не результат сбоя или авторской ошибки, а часть концепции.

Дело в том, что я никак не могу расслышать за текстом авторскую интонацию.

Осознание того факта, что идеи стали поп-товаром, может вызывать две реакции: грусть, которую испытываю я, и смех, который я тоже готов поддержать. Крахтовский текст — вполне филигранный — не располагает ни к тому, ни к другому. Он нейтрален, поскольку его виртуозную пародийность приходится вычитывать извне, из того же крахтовского интервью.

Понятно, что нейтральность есть важное условие той игры, которую затевает со своим читателем Крахт. Писатели-постмодернисты слишком часто пытались уравновесить собственный скептицизм простыми человеческими чувствами — сентиментальностью или отчаянием. Пафос, смех, любовь и трагедия были, пожалуй, единственным, что так или иначе оставили постмодернисты прошлого поколения литературе, после того как они отказали ей в праве быть учителем жизни. Отказываясь от их идеологического наследия, Крахт отказывается и от любимых ими эмоций, вынося эти эмоции за скобки своего текста.

И то, что мне это не нравится, свидетельствует прежде всего обо мне самом, а не о Крахте и его романе. Отвергая наследие шестидесятых, всю болтовню об автономных зонах, тоталитарных корнях и границах демократии, разделяя с Крахтом отношение ко всем "измам" на свете, я все же не готов отказаться от мысли о том, что где-то за гранью ожидает спасение.

Что паломничество к Священной Горе может все-таки не быть попсой.

Что нечто, что можно назвать *чудом*, существует — и вся попса мира не может это девальвировать.

Я понимаю: подобное признание делает меня слабым и уязвимым. Осознание того, что я публично расписываюсь в своей неготовности принять предложенную в "1979" картину мира, заставляет меня, сверстника Крахта, почувствовать себя старым, вспомнив, как десять лет назад критики постмодернизма корили его за черствость, сухость и цинизм.

То, что я хочу получить от книги, находится не в книге, а во взаимодействии между книгой и читателем. Страх, страдание, отчаяние, смех и слезы — все это проскакивает как искра между глазами и листом бумаги. Вероятно, мои глаза не приспособлены к прозе Крахта — придется подождать, пока эту искру, пробегающую между текстом и читателем, высечет другая книга того же направления, Брет Истон Эллис или Уэльбек.

Потому что эта искра, заставляющая плакать или смеяться, и есть то трансцендентное *чудо*, то откровение, которого я жду и в котором мне отказывает Кристиан Крахт.

Сергей Кузнецов

Книги и люди: взгляд из Германии

SIEGRFIED LENZ. *Mutmaßungen über die Zukunft der Literatur.* – Hamburg: Hoffmann und Campe, 2001

ЗИГФРИД ЛЕНЦ. *Догадки о будущем литературы.* Гамбург: Хофман унд Кампе, 2001

Von Büchern und Menschen. Frankfurt am Main: Schöffling & Co, 2001

О книгах и людях. Франкфурт-на-Майне: Шёфлинг & Ко, 2001

Ставшее уже общим местом утверждение о книжности европейской культуры заставляет серьезно задуматься, если начинаешь задавать конкретные вопросы: какую роль играют книги в нашей жизни? Почему писатели пишут, а читатели читают? Всегда ли писатель, работая над книгой, памятует о читателе, а читатель следует утверждаемым в книгах ценностям?

Для читающей публики Германии это отнюдь не праздное вопрошание, свидетельством чего является тот факт, что в первый же год нового тысячелетия в стране было предпринято по меньшей мере два интересных издания на эти старые темы: книга Зигфрида Ленца, включающая три эссе разных лет ("Догадки о будущем литературы", "С близкого расстояния. О североамериканской литературе", "Произведение искусства как правительственное заявление"), и сборник "О книгах и людях", в котором не только объединены многие известные в современной немецкой литературе имена (К. Ланге-Мюллер, Ю. Цее, У. Хольбайн, И. Шульце и др.), но и представлены самые разнообразные жанры: от критических статей и литературоведческих эссе до рассказов и стихов на тему, давшую книге заглавие.

"Чтение – это откровенно рискованное занятие, – считает З. Ленц. – Мы отдаем что-то свое и созидаем себя заново". "Написание книги – замечательное приключение, равно как и чтение, – утверждает И. Шульце. – Когда начинается движение сюжетов и, вступая в диалог с ними, ты следуешь за их развитием, написание книги становится похожим на чтение. А иногда чтение уподобляется написанию, если человек раскрывает книгу как партитуру, нащупывает темы и исполняет их для себя, как бы управляя целым оркестром".

Согласимся, чтение – тоже творчество: не вникнув, читатель не услышит оркестра. А каково издательскому редактору-рецензенту, профессиональной задачей которого является постоянное – изо дня в день – чтение? Ему снятся книжные страницы, которые надо было прочитать "еще вчера", законы же книжного рынка неумолимо заставляют учитывать не только качество произведения, но и потенциальную "продаваемость" книги. А сколько приходится прочитывать откровенной чепухи! Потому так иронично звучит название посвященной этой теме заметки М. Ингендаи "От чтения еще ни одна книга не стала лучше".

Но книги составляют основу жизни не только профессионально ангажированных лиц: писателей, издателей, редакторов. Существуют энтузиасты-добровольцы, доводящие "книжность" своей жизни до предела, ибо в книге привычно видят "высокое" в противовес "низкой" повседневности. В рассказе Б. Доппань "El Libro"[1] мы читаем об интеллектуальной старой деве, которая приехала в Мексику основывать Центр французской словесности и обращалась за советами к духу преданно любимого ею Виктора Гюго. Новые впечатления отвлекают героиню от застарелой фа-

1. Книга (*исп.*).

натичной привязанности, и Гюго, приревновав ее к испаноязычной культуре, насылает наводнение на заботливо собранную библиотеку будущего Центра. В результате драма оборачивается выздоровлением: переболев физически и морально, героиня начинает смотреть на жизнь шире и больше не стремится к ранее вожделенному креслу библиотекаря.

Впрочем, книги все равно остаются частью жизни. Иногда именно они дают повод для переклички абсолютно незнакомых, разделенных тысячами километров людей. Подготовив подборку писем, адресованных Маргарите Хольцман и пришедших со всего света после публикации дневников ее матери Елены (записи 1941—1944 годов), публикатор Р. Кайзер вольно или невольно подтверждает мысль о том, что мир удивительно тесен и все в нем взаимосвязано: на книгу откликнулись читатели из США, Израиля, Германии, Швеции и других стран, люди, пережившие холокост и встретившие в дневниках Е. Хольцман упоминание о своих близких и знакомых. Думала ли покойная Елена, учительница рисования в каунасской гимназии, о том, что кто-то прочтет ее записи? Вряд ли. Скорее всего ведение дневника было для нее не литературным трудом, а внутренней потребностью, возможностью выплеснуть чувства. И часть жизни стала книгой.

А вот писателю-профессионалу зачастую приходится общаться с читателями; во всяком случае, уже сложились некие обязательные ритуалы отношений с публикой, один из них — встречи с читателями, и, если верить рассказу Б. Шпиннена "Поэт в оранжерее", они очень неплохо проходят во влажном и темном ботаническом саду, когда аудиторию почти не видно за экзотическими растениями.

Книги — это еще и книжные ярмарки, чья сутолока прекрасно описана в очерке У. Хольбайна: тут и "выбритые до синевы, олицетворяющие компактное высокомерие" знаменитости, и "вечные пластиковые пакеты, вечно висящие на руке", и деловые встречи, и светская болтовня, и суета торговли, и ежегодное решение: "Никогда больше не поеду на книжную ярмарку!", после чего остается только ожидать начала следующей.

А что все-таки чувствуют писатели, оставаясь наедине с собой? Насколько они зависят от общества? З. Ленц сравнивает власть писательской фантазии с властью политической и размышляет об их взаимоотношениях. Литературные вымыслы могут порой привести к социальным движениям, а политическая власть способна заставить художественную фантазию служить ей в качестве "революционной валюты". И все же, "какова бы ни была власть писателя над людьми, она является непредсказуемой и незаконной в политическом смысле". У фантазии и политической власти разная природа, "фантазия дает миру то, чего ему не хватает, но дает это на ином уровне реальности", и потому политическая власть и литература, имея различные задачи и методы, не должны вмешиваться в дела друг друга.

Однако наблюдения за сменой власти могут обогатить писателя. В уже цитированном выше эссе чрезвычайно популярного в Германии И. Шульце, чьи нашумевшие "Simple Storys" недавно вышли на русском языке (перев. Т. Баскаковой), автор заявляет, что предоставленная ему судьбой возможность пожить сначала при социализме в ГДР, а теперь при капитализме в современной Германии — большая удача, позволившая ему оценить относительность смыслов в литературе, понять, что, в зависимости от социокультурных условий, та же самая фраза несет при прочтении различную смысловую нагрузку. Одна из глав "Simple Storys" возникла как попытка перенести на

"постперестроечную" немецкую почву сюжет рассказа Хемингуэя "У нас в Мичигане" — получилось нечто совершенно непохожее...

Хемингуэй вдохновлял не только И. Шульце. З. Ленц также считает его одним из своих учителей, равно как Фолкнера и Дос Пассоса. Шульце же признается, что многому научился у Владимира Сорокина. А К. Ланге-Мюллер поет хвалу Ингеборг Бахман. Судьбы писателей и книг переплетаются. Но что будет, если книги исчезнут, вытесненные новейшими компьютерными технологиями? З. Ленц уверен, что исчезнет только справочная литература и, кроме того, разовьется жанр коллективного сетевого творчества. Что до уже существующих жанров и самих книг, то им исчезновение не грозит, хотя истинных любителей чтения, как, впрочем, и всегда, будет не так уж много.

Элина Драйтова

Рим всюду

Гертруд фон Лефорт. *Плат святой Вероники.* Роман. Новеллы / Перев. с нем. Р. Эйвадиса. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2002

> Кто видел Рим, тому больше нечего видеть.
>
> Анна Ахматова.
> *Из записных книжек*

Читателя, за последнее десятилетие уже привыкшего к регулярному появлению новых имен в литературе, трудно удивить характером и содержанием произведений, биографией неизвестных дотоле авторов или историей появления их книг в печати.

Среди новинок, не замедливших привлечь всеобщий интерес, немало сочинений, вышедших из-под пера женщин-писательниц. Назовем хотя бы Джоан К. Ролинг, которая, уже подойдя к сорокалетнему рубежу, заслужила любовь тысяч детей и взрослых и внимание критики. Свое место в этом ряду занимает и Ингрид Нолль с ее знаменитой "Аптекаршей" — лауреат литературных премий, "немецкая Агата Кристи". А еще десять лет назад такой писательницы никто не знал, была скромная домохозяйка предпенсионного возраста, в судьбе которой "с поправкой на феминистский бум второй половины минувшего века реализовался миф о Золушке"[1].

Первая книга Гертруд фон Лефорт также увидела свет, когда ее автору исполнилось сорок восемь лет. Этим судьбоносным поворотом, однако, сходство немецкой писательницы, классика XX века, с названными выше авторами ограничивается, ибо книга, о которой пойдет речь, принадлежит к литературе совсем иного рода. Фамилия же автора наверняка вызовет у читателя воспоминания об истории становления молодой Российской империи, где среди прочих достопримечательностей может быть упомянута и Лефортовская слобода.

Баронесса Гертруд фон Лефорт — прямой потомок Франца Яковлевича Лефорта, швейцарца по происхождению, российского адмирала, знаменитого сподвижника Петра Первого. Писательница родилась в 1876 году в семье прусского офицера, получила домашнее образование и уже в тридцатилетнем возрасте изучала в течение нескольких лет историю, философию, теологию, историю религии в Гейдельберге, Марбурге и Берлине. Она стала первой женщиной, которой было присуждено звание почетного доктора теологии. Лишь во второй половине жизни она реализовала свой писательский талант, создав более двадцати книг, среди которых были и поэтические творения, и романы, и новеллы.

1. См. "ИЛ" 2001, № 5.

Любовь читателей, признание критиков и уважение собратьев по перу баронесса фон Лефорт завоевала при жизни, да и в наши дни тиражи ее книг, выпущенных в разных странах мира, поражают.

В России же это имя пришло к читателю через тридцать с лишним лет после смерти писательницы (1971). Открыл это "новое" имя известного всему миру автора Р. С. Эйвадис, в чьем переводе в издательстве Ивана Лимбаха был недавно опубликован роман "Плат святой Вероники" (1928) — самое значительное произведение Лефорт (наряду с его продолжением — романом "Венок ангелов", которому еще только предстоит увидеть свет на русском языке). Кроме того, в книгу вошли новеллы: "Суд моря" (1947), "Преддверие неба" (1954), "Жена Пилата" (1955), "Башня Постоянства" (1957), "Дочь Иеффая" (1964).

Роман "Плат святой Вероники" рассказывает о том, как юная героиня (ей около пятнадцати лет) самостоятельно, своим собственным путем приходит к Господу. Сюжетная канва книги бедна, событий (в буквальном, не нравственно-символическом плане) происходит мало. Еще девочкой Веронику после смерти матери отправляют из Германии в Рим, где живут ее бабушка и тетя Эдельгарт. Некогда отец Вероники был влюблен в Эдель, которая земной любви предпочла любовь Божественную, после чего он женился на ее сестре. Отец настаивает на том, чтобы девочка воспитывалась вне религиозного мира своей тетки, так как сам уже давно утратил связь с Церковью.

Вероника оказывается словно меж двух миров, где "бабушка сама себя называла язычницей, тетушка Эдель любила, чтобы ее считали католичкой, а маленькая Жаннет (домашняя учительница. — *А. Б.*) и в самом деле была таковою". Центром этого домашнего царства является бабушка Вероники — женщина удивительная, пережившая трагическую любовь в самом расцвете своего жизненного пути. Прекрасная внешне и внутренне, она необычайно образованна, умна, обладает сильным характером. Вечный город — предмет ее страстного поклонения, и путешествия по Риму занимают немалое место в повествовании.

Бабушка становится главной человеческой любовью Вероники, а ее смерть — первым сильнейшим потрясением девочки.

Тетушка Эдельгарт так и не приходит окончательно к Церкви и лишь на пороге смерти предает себя в руки Господа. Маленькая же героиня, наоборот, несмотря на поставленные запреты и свободные взгляды любимой бабушки, по велению свыше делает свой выбор. Во время посещения собора Святого Петра в Великий четверг девочка чувствует, как ее касается первый луч любви Спасителя и бросается наземь перед мощами святой Вероники.

Основным предметом исследования автора являются движения души, оттенки и нюансы мыслей, чувств, настроений. Однако Г. фон Лефорт делает это отнюдь не в камерно-психологической манере, тональность ее прозы созвучна величию неповторимого Вечного города, который становится еще одним героем книги. Размеренный ход повествования можно сравнить с неторопливым путешествием, когда от внимательного взгляда не ускользает ни одна деталь, ни одна особенность окружающего мира.

И мир, рождающийся под пером Г. фон Лефорт, предстает рельефным, вполне осязаемым. Высокие духовные устремления не мешают автору наслаждаться описанием земной жизни, когда внешнее и внутреннее соединяется в едином чувстве Прекрасного.

Рим в этом романе, сосуществуя в языческом плане как средоточие красоты и свободы духа и в христианском как священное

сердце мира, становится в итоге высоким символом победы света над мраком, философским воплощением Вечной любви. Ибо, по мнению автора, "нет ничего, что было бы непреодолимо и незаглушаемо, как любовь к Богу".

К концу повествования близкие Веронике люди уходят из жизни: вслед за бабушкой умирает тетушка Эдельгарт, а незадолго до этого приходит письмо с извещением о смерти отца. Вероника должна ехать обратно в Германию к его близкому другу, которому предстоит стать ее опекуном. В свои шестнадцать лет Вероника хочет принять послушничество, и ее очень огорчает, что она не может дождаться положенного срока в любимом городе. Ее духовный наставник отец Анжело отвечает на это: "Рим всюду".

Трагизм вытесняется ощущением Света и Истины — над девочкой отныне словно распростерт плат святой Вероники.

Новеллы, включенные в книгу, на наш взгляд, уступают "Плату святой Вероники" как по глубине и напряженности повествования, так и по сюжетному строю.

Религиозно-нравственный пафос романа, как и прочих произведений Гертруд фон Лефорт, стал причиной тому, что ни одно из них не было опубликовано в России до самого последнего времени. А между тем ее книгами восхищались такие великие современники, как Сигрид Унсет, Поль Клодель, Шарль дю Бо, Карл Цукмайер и многие другие. Г. фон Лефорт была связана узами дружбы с Германом Гессе, который выдвигал ее произведения на соискание Нобелевской премии.

Антонина Балакина

Провокация Маурицио Каттелана

В мае на главной площади города Кёльна поселилась вполне каноничная провокация. Маленький мальчик лет трех сидит на крыше музея Людвига в сени знаменитого Кёльнского собора и... барабанит. С завидным упорством, по-детски аритмично, не обращая на происходящее вокруг ни малейшего внимания. На нем обычные желтые штанишки, ветровка цвета хаки, кеды, на коленях — маленький детский бело-синий барабан; он сидит на самом краю крыши, свесив ножки, твердо вознамерившись не спускаться вниз и барабанить вплоть до осени. Сей мальчишка — не сумасшедший беспризорник, а очередное творение итальянского художника Маурицио Каттелана.

Каттелан — enfant terrible современного искусства и один из самых ярких его представителей. Его творческий путь можно обозначить как движение от банальной провокации к провокации политически и социально окрашенной. Он начинал с инсталляций, которые и принесли ему мировую славу. Каттелану ничего не стоило привести в выставочный зал осла, поместить на всеобщее обозрение связку сосисок или точную копию произведений других художников, либо же не выставить ничего, к примеру, продав выделенное ему помещение фирме, рекламирующей новую марку итальянских духов. Постепенно из инсталлятора Каттелан превращается в скульптора: самые известные его работы на сегодняшний день — это скульптура Папы Римского, сбитого метеоритом, и фигурка Гитлера, молящегося в огромной пустой зале. Его ответом на события 11 сентября стала инсталляция "Фрэнк и Джейми" в одной из нью-йоркских галерей: два перевернутых вниз головой полицейских как символ новых "перевернутых" отношений с государством и властью.

Кёльнское творение Каттелана вызывает прямые ассоциации с романом Гюнтера Грасса "Жестяной барабан". Критики так и прозвали мальчишку Оскархен, не забыв, однако, указать и на различия: и одет ребенок не по-грассовски, и барабан у него сине-белый, а не красно-белый, как в романе. И вообще, есть в нем что-то такое автобиографичное. Существенно одно: в новой инсталляции Каттелана никто не хочет видеть нечто большее, чем неуместную шутку.

Сам Каттелан, который не любит комментировать свои произведения, на этот раз все-таки сказал пару слов в телефонном интервью: "Дело в том, что я вырос, осознавая себя частью единства. Но затем, по мере взросления, это ощущение во мне постепенно ослабевало. Каждый пытается найти истину для самого себя. И все же что-то остается единым для всех. Я думаю, это отражается в моем искусстве, в попытке найти равновесие. Равновесие между общением и одиночеством".

В романе Гюнтера Грасса "Жестяной барабан" Оскар выражал барабанным стуком то, что не мог или не хотел выразить словами. Он поздно начал говорить: ведь все, что надо, он мог набарабанить. Одна из тем романа — это тема человеческой разобщенности, отсутствия взаимопонимания. Кёльнский барабанщик Каттелана, собственно, выражает ту же идею: попытку "достучать" до зрителя некое послание, сломать стену между единичным и единым. Вполне закономерно, что этот стук раздражает. Ведь зрителю проще, когда провокационность не приправлена идейным или философским соусом. А вне такого контекста каттелановские блюда абсолютно безвкусны.

Кёльнский барабанщик Каттелана

"Новая вещественность"

Недавно в Гренобле состоялась выставка, на которой были представлены около двухсот графических работ художников одного из самых ярких течений немецкого изобразительного искусства XX века — "Новой вещественности". Это направление впервые официально заявило о себе в 1925 году,

когда в музее немецкого города Мангейма директор музея Кунстхалле Густав Хартлауб (именно ему "Новая вещественность" обязана своим названием) организовал экспозицию картин Отто Дикса, Георга Гроса, Макса Бекмана, Александра Канольдта и других художников-новаторов.

Участники выставки не были формально объединены в группу, не имели ни программы, ни манифеста, писали в различных жанрах — общим для них являлось одно: отказ от абстракции и возврат к реализму. Это было искусство холодной объективности, фотографической четкости, которое сочетало в себе неоклассическую стилистику и гротеск. "Мы хотим изображать предметы обнаженными, до предела ясными, почти без артистизма", — говорил Отто Дикс.

Направление "Новая вещественность" стало складываться после окончания Первой мировой войны. "Это были безумные годы. Город казался серым окаменевшим трупом. Дома растрескались, штукатурка и краска осыпались, и в мертвых глазах запыленных окон, ищущих взглядом тех, кто уже никогда не вернется, стояли слезы, — вспоминал Георг Грос в своей автобиографии. — Я бросался в жизнь очертя голову, и вскоре вернувшиеся было силы пришли к полному упадку". Зародившись в русле экспрессионизма, который к этому времени уже более или менее прочно утвердился в искусстве, "Новая вещественность" скоро выделилась в самостоятельное течение. Одни художники — Канольдт, Шримпф, Мензе — тяготели к неоклассическому стилю, другие — Дикс, Грос, ранний Бекман — создавали картины социально-критической направленности, стремясь отразить царящий вокруг хаос, показать истинное лицо эпохи.

Движение угасло с приходом к власти Гитлера, когда одни художники были вынуждены эмигрировать, другие — отказаться от творчества, найти себе иное ремесло. Так закончился недолгий, но плодотворный век "Новой вещественности".

Последние дни фашисткой Германии в литературе, театре и кино

Сразу две книги, увидевшие свет в 2002 году, были посвящены последним дням фюрера. Первая — "Крушение" Йоахима Феста, известного историка и биографа Гитлера, — была представлена на Лейпцигской книжной ярмарке и стала главным ее событием, хотя и не получила награды ни в одной номинации. Фест собрал и опубликовал уникальные материалы. Балансируя на границе науки и публицистики, он скрупулезно описал две последние недели нацистского режима — со дня рождения фюрера 20 апреля 1945 года и до его самоубийства 2 мая.

Вторая книга, которая пятьдесят лет ожидала публикации, — воспоминания секретарши Гитлера Траудль Юнге "До последнего часа". Она была написана в 1947 году по заказу некоего американского издательства, затем неожиданно потерявшего к этой теме интерес, и записки Юнге, относящиеся к 1942—1945 годам, легли в стол. И лежали там, пока не попали к берлинской журналистке Мелиссе Мюллер, которая вместе со смертельно больной Юнге подготовила книгу к выходу в свет. Перед кончиной 81-летняя Юнге успела сняться в документальном фильме "В мертвой зоне" Шмидерера и Хеллера, сделанном по мотивам ее воспоминаний. И книга, и фильм очень популярны в Германии. Хотя больше всего зрителей и читателей поражает, даже шокирует то, что Юнге сохранила до своего последнего часа безоговорочную веру в фюрера или даже любовь к нему.

К теме падения третьего рейха обращаются и визуальные виды искусства. Так, австралиец Невилл Трентер, основатель и бессменный режиссер "Театра тряпичных кукол", превратил историю последних дней Гитлера в макабрическое кукольное представление. Члены гитлеровского кабинета изображены в виде огромных уродливых марионеток, которые, не выходя из бункера фюрера, вновь и вновь переживают последние две недели режима. Здесь празднуют день рождения вождя, женятся, жалуются на запрет пить и курить и, наконец, отравляют собаку Гитлера Блонди и пятерых детей Геббельса, а в финале приходит Смерть и забирает вождя с собой. Спектакль выдержан в стиле средневековых представлений, балансирующих на грани трагического и смешного. Замечено, что чем больше страшного на сцене, тем громче смеются зрители в зале.

По монографии Феста будет сниматься фильм под рабочим названием "Крушение". Критики предсказывают, что он станет крупнейшим событием немецкого кино. В роли Гитлера — немецкий актер Бруно Ганц, своего рода "лицо немец-

кого кино". Ганц не сразу согласился на роль, только очень удачные пробы побудили его принять участие в съемках. Сценарист "Крушения" Бернд Айхингер признается, что двадцать лет не решался подступиться к теме фашизма. И лишь после публикации книг Феста и Юнге он понял, что фильм должен быть о самом конце режима, его распаде. Свою главную задачу Айхингер видит в полном и точном воссоздании картины прошлого ("подлинность — высшая заповедь"). Как это ни парадоксально звучит, по замыслу авторов фильма, съемки частично пройдут в Санкт-Петербурге, поскольку этот город, по их мнению, более других похож на Берлин последних дней войны. В настоящий момент идет работа над сценарием, которая продлится вплоть до сентября 2004 года.

Подъемные краны в отблеске красных фонарей

Представьте себе площадь, а по обеим сторонам ее — два огромных желтых подъемных крана высотой 110 метров. На каждом из кранов — подобие детского надувного плавательного круга. Между ними — некая стальная конструкция: то ли усы Пуаро, то ли женская ножка, а внизу развешаны рыбацкие сети. Ночью все сооружение светится. Так к 2004 году, согласно проекту, будет выглядеть Шпильбуденплац в Гамбурге.

Площадь расположена в квартале "красных фонарей" Репербан — главной местной достопримечательности. В этом портовом районе в прошлые века вовсю гуляли заезжие моряки. В 60-е годы здесь прово-

Джефф Кунс и его творение

дились первые концерты группы "Битлз". Сегодня это самый чинный и благопристойный квартал "красных фонарей" в Европе: с уютными кафе, аттракционами, детскими площадками. Здесь, как и повсюду в Гамбурге, классическая архитектура мирно сосуществует с современными зданиями из стекла и алюминия. Однако властям показалось, что городу не хватает приманки для туристов, очень уж бюргерским и добропорядочным стал он выглядеть в последнее десятилетие. Поэтому был объявлен конкурс на лучший культурный объект коммерческого назначения, который предполагалось возвести на пустующей Шпильбуденплац. Соревнование выиграла француженка Ники де Сен-Фалл, но она умерла в 2002 году, не успев завершить работу. И тогда в Гамбург пригласили американца Джеффа Кунса, классика современного поп-арта. В апреле 2003-го Кунс представил свой проект — и поверг общественность в глубокий шок.

С одной стороны, согласно статистике, 97 % жителей Гамбурга отказываются признать творение Кунса произведением искусства и тем более не желают его лицезреть в родном городе. Городские власти настроены более либерально, но с одной лишь оговоркой: сумма в пять миллионов евро, которую они должны выделить на сооружение монумента, кажется им несколько завышенной. Кунс же считает, что проект завершен, и предлагает концепцию своего творения: "Оно соединяет в себе женское, мужское и детское начала, детские спасательные круги показывают связь с водой и одновременно символизируют безопасность".

Сейчас трудно сказать, будет ли сооружен монумент Кунса, и если будет, то в каком виде. В любом случае, американский художник пока умело использует возникшую ситуацию в рекламных целях. "Мы живем в мире коммерции, где этика основана на экономике" — очевидно, это рабочий принцип и для самого Кунса, и для людей, которые его пригласили. Остается вспомнить, что говорила о Кунсе американский искусствовед и культуролог Розалинда Краусс: "В его произведениях нет смысла. Есть лишь самореклама, и я нахожу это отталкивающим".

По материалам газет "Вельт" [ФРГ], "Зюддойче цайтунг" [ФРГ], "Тагесшпигель" [ФРГ], "Штутгартер цайтунг" [ФРГ], "Экспресс" [ФРГ], еженедельника "Цайт" [ФРГ], журналов "Шпигель" [ФРГ], "Кензен литтерер" [Франция].

Немецкая литература на страницах "ИЛ"

Проза, стихи, пьесы, статьи, эссе

1956 Эрих Мария Ремарк. *Время жить и время умирать.* Роман [8–10]

1957 Бертольт Брехт. *Добрый человек из Сезуана.* Пьеса [2]
Анна Зегерс. *Возвращение.* Повесть [6]
Эрих Мария Ремарк. *Черный обелиск.* Главы из романа [8]

1958 Иоганнес Роберт Бехер. *Стихи* [10]

1959 Эрих Мария Ремарк. *Триумфальная арка.* Роман [8–11]

1960 Анна Зегерс. *Решение.* Роман [1–4]
Стефан Хермлин. *Стихи* [5]

1961 Анна Зегерс. *О глубине и широте в литературе.* Сокр. текст доклада на Пятом съезде немецких писателей [9]

1962 Дитер Нолль. *Приключения Вернера Хольта.* Роман
Книга первая. [4–7]

1964 Криста Вольф. *Расколотое небо.* Роман [1]
Генрих Бёлль. *Глазами клоуна.* Роман [3]
Дитер Нолль. *Приключения Вернера Хольта.* Роман
Книга вторая [8–10]

1965 Вольфганг Кёппен. *Смерть в Риме.* Роман [10]
Эрвин Штриттматтер. *Оле Бинкоп.* Роман [7–10]

1966 Ханс Магнус Энценсбергер. *Стихи* [10]
Генрих Бёлль. *Чем кончилась одна командировка.* Повесть [11, 12]

1968 Герман Кант. *Актовый зал.* Роман [1–3]
Гюнтер Грасс. *Кошка и мышь.* Повесть [5]

1969 Иоганнес Бобровский. *Литовские клавиры.* Роман [4]
Гюнтер Кунерт. *Стихи* [10]
Гюнтер де Бройн. *Буриданов осел.* Роман [11, 12]

1970 Иоганнес Бобровский. *Стихи разных лет* [8]

1971 Зигфрид Ленц. *Урок немецкого.* Роман [5–7]
Эрих Мария Ремарк. *Тени в раю.* Роман [10,11]

1972 Иоганн Вольфганг Гёте. *Стихи* [8]

1973 Гюнтер де Бройн. *Присуждение премии.* Роман [5]
Сара Кирш. *Стихи* [6]

1974 Мартин Вальзер. *Дуб и кролик.* Пьеса [2]
Герман Кант. *Выходные данные.* Роман [3–5]

1975 Мария Луиза Кашниц. *Стихи* [2]

1977 Герман Гессе. *Степной Волк.* Роман [4, 5]

1978 Дитер Веллерсхоф. *Повести* [2]

1979 Макс Вальтер Шульц. *Солдат и женщина.* Повесть [10]

1981 Иоганнес Роберт Бехер. *Стихи* [6]
Фолкер Браун. *Стихи* [10]
Эрих Арендт. *Стихи* [10]

1982 Гюнтер де Бройн. *Бранденбургские изыскания.* Повесть [1]

1983 Ангелика Мехтель. *Другая половина мира, или Утренние беседы с Паулой.* Роман [1]
Гюнтер Грасс. *Встреча в Тельгте.* Повесть [5]
Гюнтер Грасс. *Стихи* [10]
Иоганнес Бобровский. *Рассказы* [12]

1984 Вильгельм Буш. *Стихи* [3]

1985 Генрих Бёлль. *Письмо моим сыновьям* [12]

1986 Криста Вольф. *Кассандра.* Повесть [1]
Дитер Веллерсхоф. *Победителю достанется все.* Роман [6–8]
Гюнтер Вальраф. *На самом дне.* Главы из книги [8, 9]

1987 Кристоф Хайн. *Чужой друг.* Повесть [1]
Криста Вольф. *Авария.* Повесть [12]

1988 Гюнтер Вальраф. *Взгляд в досье* [1]
Гюнтер де Бройн. *Новое благоденствие.* Роман [1]
Генрих Бёлль. *Под конвоем заботы.* Роман [11, 12]
Франц Фюман. *Два рассказа на античные сюжеты* [12]

1989 Зигфрид Ленц. *Рассказы* [6]
Генрих Бёлль. *Четыре статьи о Солженицыне* [8]
Вернер Хайдучек. *Прегрешение.* Повесть [2]

1990 Стефан Гейм. *Книга царя Давида.* Роман [4, 5]

1991 Иоганнес Бобровский. *Стихи* [6]
Патрик Зюскинд. *Парфюмер.* Роман [8]
Эрнст Юнгер. *Из философской прозы* [11]

1992 Томас Манн. *Страдая Германией.* Дневники 1933–1936 гг. [1]
Ханс Хайнц Эверс. *Паук.* Рассказ [3]

1993 Готфрид Бенн. Лирика [1]
Герберт Розендорфер. *Письма в Древний Китай.* Роман [1]
Герман Гессе. *Демиан.* Повесть [5]

1994 Улла Хан. *Стихи* [2]
Ульрика Мари Майнхоф. *Статьи* [3]
Стефан Гейм. *Агасфер.* Роман [9]
Герман Гессе. *Время в саду.* Поэма [9]
Герман Гессе. *Сиддхартха.* Индийская поэма [9]
Патрик Зюскинд. *Голубка.* Повесть [9]
Немецкая эпиграмма [9]
Хайнц Чеховский. *Стихи* [9]
Ханс Магнус Энценсбергер. *Великое переселение.* Тридцать три фрагмента с одним примечанием о некоторых особенностях охоты на людей [9]
Вольф Бирман. *Отречение.* Речь, произнесенная 13 декабря 1993 года в связи с вручением поэту и барду премии им. Генриха Гейне [9]
Журнал AKZENTE. В рубрике "Литературная пресса мира" [9]

1995 Сара Кирш. *Стихи* [3]
Эрих Кестнер. *Notabene 45.* Фрагменты дневника [5]
Ханс Магнус Энценсбергер. *Взгляд на гражданскую войну* [6]
Стефан Хермлин. *"Я знал, что каждый звук мой – звук любви..."* Стихи [9]
Дурс Грюнбайн. *Стихи* [11]
Гюнтер Грасс. *Жестяной барабан.* Роман. Книга первая [11]

1996 Ильза Тильш. *Стихи* [8]
Гюнтер Грасс. *Собачьи годы.* Роман [5–7]
Томас Манн. *Фрейд и будущее.* Доклад, прочитанный в Вене 8 мая 1936 г. на праздновании 80-летия Зигмунда Фрейда [6]
Томас Клинг. *Стихи* [9]
Биргит Хогефельд. *К истории РАФ* [11]
Отто Пёггелер. *Поэзия в наше время.* В рубрике "Портрет в зеркалах" [12]

1997 Криста Вольф. *Медея. Голоса.* Роман [1]
Гюнтер Грасс – Кэндзабуро Оэ. *Вчера, полвека тому назад.* Переписка [2]

Улла Хан. *Стихи* [7]
Ханс Магнус Энценсбергер. *Роскошь – прежде и теперь, или Кое-что об излишествах.* Эссе [9]
Дорис Дёрри. *Рассказы* [11]
Вальтер Беньямин. *Центральный парк.* Эссе [12]

1998
Дурс Грюнбайн. *Галилей измеряет Дантов ад.* Эссе [1]
Гюнтер де Бройн. *Сорок лет. Повесть о жизни.* Главы из книги [2]
Зигфрид Ленц. *Людмила.* Рассказ [4]
Томас Манн. *Август фон Платен.* Эссе [4]
Томас Манн. *Отрок Енох.* Фрагмент романа *Иосиф и его братья* [5]
Ханс Магнус Энценсбергер. *Племянник Вольтера. Мистификация в стиле Дидро.* Пьеса [7]
Илья Троянов. *Мир велик, и спасение поджидает за каждым углом.* Роман [11]
Бертольт Брехт. *Чтение на несколько минут.* [12]
Арно Хольц. *Фантазус.* Фрагмент поэмы [12]

1999
Эрнст Юнгер. *Из книги "В стальных грозах"* [2]
Арно Шмидт. *Гадир, или Познай самого себя.* Рассказ [7]

2000
Гюнтер Грасс. *Мое столетие.* Фрагменты книги [1]
Готфрид Бенн. *Двойная жизнь.* Главы из книги [2]
Эрих Мария Ремарк. *Земля обетованная.* Роман [3]
Гюнтер Грасс. *Продолжение следует...* Речь по случаю присуждения Нобелевской премии [5]
Вильгельм фон Штернбург. *"Как будто все в последний раз".* Отрывки из книги о жизни и творчестве Эриха Марии Ремарка [10]
Юдит Герман. *Рассказы* [11]

2001
Генрих Бёлль. *Завет.* Повесть [1]
Иоганнес Марио Зиммель. *Человек, который рисовал миндальные деревца.* Повесть [2]
Ингрид Нолль. *Аптекарша.* Роман [5]
Ханс Иоахим Шедлих. *Даруй ему язык. Жизнь и смерть баснописца Эзопа.* Повесть [6]
Кристоф Хайн. *Вилленброк.* Роман [7, 8]
Биргит Вандербеке. *К Альберте придет любовник.* Повесть [12]

2002
Себастиан Хафнер. *Биография одного немца. Воспоминания 1914–1933 годов.* Главы из книги [2]
Вольфганг Хильдесхаймер. *Рассказы* [4]
Ингомар фон Кизерицки. *Деловое общение, или Школа жизни.* Рассказ [5]
Гюнтер Грасс. *Траектория краба.* Новелла [10]

Гюнтер Грасс
Günter Grass
[р. 1927]. Немецкий писатель. Лауреат Нобелевской премии [1999], лауреат литературной премии Георга Бюхнера.

Автор романов *Жестяной барабан* [*Die Blechtrommel*, 1959; рус. перев. *ИЛ*, 1995, № 11; книга первая), *Собачьи годы* [*Hundejahre*, 1963; рус. перев. *ИЛ*, 1996, № 57], *Из дневника улитки* [*Aus dem Tagebuch einer Schnecke*, 1972], *Крысиха* [*Die Rättin*, 1986] и др.; книги путевых очерков *Гомункулы* [*Kopfgeburten*, 1980]. В *ИЛ* напечатаны повести Г. Грасса *Кошка и мышь* [1968, № 5] и *Встреча в Тельгте* [1983, № 5], стихи [1983, № 10], фрагменты книги *Мое столетие* [2000, № 1], новелла *Траектория краба* [2002, № 10].
Публикуемая речь взята из Интернета.

Криста Вольф
Christa Wolf
Немецкая писательница, лауреат многих литературных премий, член Академии искусств Германии.

Автор романов *Расколотое небо* [*Der geteilte Himmel*, 1963; рус. перев. *ИЛ*, 1964, № 1], *Образы детства* [*Kindheitsmuster*, 1976, рус. перев. 1989], *Медея. Голоса* [*Medea. Stimmen*, 1996, рус. перев. *ИЛ*, 1997, № 1], повестей *Московская новелла* [*Moskauer Novelle*, 1961], *Размышления о Кристе Т.* [*Nachdenken über Christa T.*, 1968], *Кассандра* [*Kassandra*, рус. перев. *ИЛ*, 1986, № 1], *Авария. Хроника одного дня* [*Störfall. Nachrichten eines Tages*, 1987, рус. перев. *ИЛ*, 1987, № 12], *Летний этюд* [*Sommerstück*, 1989, рус. перев. 1990], книги рассказов *Унтер-ден-Линден. Три невероятных истории* [*Unter-den-Linden. Drei unwahrscheinliche Geschichten*, 1974], автобиографического эссе *Что остается* [*Was bleibt*, 1989; рус. перев. 1990].
Роман *На своей шкуре* публикуется по изданию *Leibhaftig* [München, Luchterhand, 2002].

Андрей Георгиевич Битов
[р. 1937]. Прозаик. Вице-президент Международного ПЭН-клуба. Лауреат Государственной премии Российской Федерации [1992, 1996].

Автор сборников *Большой шар* [1963], *Аптекарский остров* [1968], повестей *Образ жизни* [1972], *Человек в пейзаже* [1988]; романов *Пушкинский дом* [1978], *Улетающий Монахов* [1990], *Оглашенные* [1995], книг *Империя в четырех измерениях* [1996]; *Неизбежность ненаписанного* [1998], *Путешествие из России* [2003] и др.

Саид
Said
[р. 1947]. Поэт и прозаик иранского происхождения, пишущий на немецком языке.

Автор нескольких поэтических сборников, книг воспоминаний и размышлений *Длинная рука мулл. Записки из моей эмиграции* [*Der lange Arm des Mullahs. Notizen aus meinem Exil*, 1995], *Зверь, которого не было. Бестиарий* [*Dieses Tier, das es nicht gibt. Ein Bestiarium*, 999], *Встречи с далекой матерью* [*Landschaften einer fernen Mutter*, 2001] и др.
Публикуемые стихотворения взяты из сборника *Будь ночью мне. Стихи о любви* [*Sei Nacht zu mir. Liebesgedichte* [München, Verlag C. Beck oHG, 1998].

Катя Ланге-Мюллер
Katja Lange-Muller
Немецкая писательница.

Автор сборников рассказов *Боль и жалость – все как в жизни* [*Wehleid – wie im Leben*, 1986], *Утки, женщины и истина* [*Die Enten, die Frauen und die Wahhrheit*, 2003], повести *Слишком ранняя любовь к животным* [*Verfrüe Tierliebe*, 1995], романа *Последние* [*Die Letzten*, 2000].
Публикуемые рассказы взяты из книг *Moskau–Berlin. Stereogramme* [Berlin, Berlin Verlag, 2001] и *Die*

Enten, die Frauen und die Wahrheit. Erzälügen [KÖLN, KIEPENHEUER & WITSCH, 2003].

Юдит Герман
JUDITH HERMANN
Немецкая журналистка и писательница.

В *ИЛ* [2000, 11] были опубликованы ее рассказы из дебютной книги *Дом? Подождет...* [*Sommerhaus, später*, 1998].
Публикуемые рассказы взяты из книги *Nichts als Gespenster* [FRANKFURT AM MAIN, S. FISCHER, 2003].

Георг Кляйн
GEORGE KLEIN
[р. 1953]. Немецкий писатель, лауреат премии братьев Гримм [1999] и премии Ингеборг Бахман [2000].

Автор романа *Либидисси* [*Libidissi*, 1998] и *Барбар-роза* [*Barbar Rosa*, 2001], сборников рассказов *Призыв слепой рыбы* [*Anrufung des blinden Fisches*, 1999] и др.
Рассказ *Про немцев* [*Von den Deutschen*] взят из одноименного сборника [HAMBURG, ROWOHLT VERLAG, 2002].

Ханс Магнус Энценсбергер
HANS MAGNUS ENZENSBERGER
[р. 1929]. Немецкий поэт, публицист, переводчик, издатель. Лауреат премии Бюхнера.

Автор сборников стихов *Защита волков* [*Verteidigung der Wölfe*, 1957], *Язык страны* [*Landessprache*, 1960], *Шрифт слепых* [*Blindenschrift*, 1964], *Мавзолей. 37 баллад из истории прогресса* [*Mausoleum. Siebenunddreißig Balladen aus der Geschichte des Fortschritts*, 1975], *Музыка будущего* [*Zukunftsmusik*, 1992], книги очерков *Ах, Европа!* [*Ach, Europa!* 1987]. В *ИЛ* напечатаны стихи Х. М. Энценсбергера [1960, № 10], книги *Великое переселение. Тридцать три фрагмента с одним примечанием о некоторых особенностях охоты на людей* [1994, № 9], *Взгляд на гражданскую войну* [1995, № 6], эссе *Роскошь – прежде и теперь, или Кое-что об излишествах* [1997, № 9] и пьеса *Племянник Вольтера* [1998, № 7].
Публикуемые стихи взяты из сборника *Gedichte* 1950–1985 [FRANKFURT AM MAIN, SUHRKAMP VERLAG, 1986].

Вольфганг Хильдесхаймер
WOLFGANG HILDESHEIMER
[р. 1916]. Немецкий писатель и драматург.

Автор романа *Рай фальшивых пташек* [*Paradies der falschen Vögel*, 1953], пьес *Трон дракона* [*Der Drachenthron*, 1955], *Опоздание* [*Verspätung*, 1961] и др. В *ИЛ* публиковались его рассказы [2002, № 4].
Публикуемый рассказ взят из книги *Lieblose Legenden* [FRANKFURT AM MAIN, SUHRKAMP VERLAG, 1962].

Ханс Хенни Янн
HANS HENNY JAHNN
[1894–1959]. Немецкий драматург и романист. Лауреат ряда литературных премий.

Автор пьес *Пастор Эфраим Магнус* [*Pastor Ephraim Magnus*, 1919], *Медея* [*Medea*, 1926], *Бедность, богатство, человек и зверь* [*Armut, Reichtum, Mensch und Tier*, 1948] и др., романов *Перрудья* [*Perrudja*, 1929] и *Свинцовая ночь* [*Die Nacht aus Blei*, 1956], романной трилогии *Река без берегов* [*Fluß ohne Ufer*, 1949–1961].
Перевод главы из первой части трилогии *Деревянный корабль* выполнен по изданию *Fluß ohne Ufer. Erster Teil. Das Holzschiff*, Bd 1–3 [FRANKFURT AM MAIN, EUROPÄISCHE VERLAG–ANSTALT, 1959].

Готфрид Бенн
GOTTFRIED BENN
[1886–1956]. Немецкий поэт, эссеист, теоретик искусства.

Автор поэтических сборников *Морг* [*Morgue*, 1912], *Фрагменты* [*Fragmente*, 1951] и др., прозаического сборника *Птолемеец* [*Der Ptoläemer*, 1949], куда также вошла написанная в 1936 году книга *Пивная Вольф* [*Weinhaus Wolf*] и написанный в 1944 году *Роман фенотипа* [*Roman des Phänotyp*]; эссе *Может ли поэт изменить мир?* [*Knnen Dichter die Welt ändern?* 1930], *Гёте и естественные науки*

[*Goethe und die Naturwissenschaften*, 1934], *Искусство и власть* [*Kunst und Macht*, 1934] и др. На русском языке опубликованы: *Избранные стихотворения* [1994] и *Собрание стихотворений* [1997]. В *ИЛ* печатались главы из книги *Двойная жизнь* [2000, № 2].
Стихи взяты из сборника *Статические стихи* [*Statische Gedichte*, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1948].

Павел Максимович Топер
[р. 1923]. Критик, литературовед.

Автор многочисленных публикаций по проблемам современного литературного процесса и сравнительного литературоведения, в т. ч. книг и статей о творчестве Т. Манна, Л. Франка, Э. М. Ремарка, А. Цвейга, Г. Фаллады, А. Зегерс, В. Кеппена, Г. Белля, А. Андерша, Ф. Дюрренматта, С. Андерса, Э. Штриттматтера, Г. Э. Носсака, Г. де Бройна и др. Автор сборника статей *Овладение реальностью* [1980], монографий *Ради жизни на земле. Литература и война. Традиции. Решения. Герои* [1970], *Перевод в системе сравнительного литературоведения*, [2000]. Неоднократно печатался в *ИЛ*.

Уве Йонсон
Uwe Johnson
[1934–1984]. Немецкий писатель, прозаик, переводчик, телеведущий. Лауреат многочисленных литературных премий, в т. ч. премии Теодора Фонтане, Георга Бюхнера и Ингеборг Бахман.

Автор романов *Догадки насчет Якоба* [*Mutmaßungen über Jakob*, 1959], *Третья книга про Ахима* [*Das dritte Buch über Achim*, 1961], *Два взгляда* [*Zwei Ansichten*, 1965], *Дни года* в 4-х тт. [*Jahrestage*, 1970–1983] и рассказов. На русском языке публикуется впервые.
Публикуемые рассказы взяты из сборника *Где же мое место на самом деле* [*Wohin ich in Wahrheit gehöre*. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1994]. Переписка с М. Фришем печатается по изданию: Max Frisch/Uwe Johnson. *Der Briefwechel.* 1964–1983 [Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1999].

Фридрих Хитцер
Friedrich Hitzer
[р. 1935]. Писатель, публицист, переводчик с русского языка.

Автор книг *Что происходит с Россией?* [*Was geschieht mit Rußland?* 1996], *Я родился пять тысяч лет назад* [*Ich wurde vor fünftausend Jahren geboren*, 1996] и др. В *ИЛ* были опубликованы: *Тебя предупреждали...* (*Слушание дела искусствоведа Габриэлы Шпригат*) [1980, № 3], *Выступление на софийской встрече писателей 1982 года* [1983, № 5], *Выступление на Вайнгартенском симпозиуме "Индивидуальное и массовое сознание"* [1990, № 11].
Публикуется с рукописи.

Томас Манн
Thomas Mann
[1875–1955]. Немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии [1929].

Автор романов *Будденброки* [1901], *Волшебная гора* [1924], *Иосиф и его братья* [1933–1943], *Доктор Фаустус* [1947], новелл и публицистических статей. На русском языке было опубликовано собрание его сочинений в 10 тт. [1959–1961]. В *ИЛ* печатались *Дневники* 1933–1936 гг. *Страдая Германией* [1992, № 1], эссе *Август фон Платен* [1998, № 4], фрагмент из романа *Иосиф и его братья* [1998, № 5].
Эссе печатается по изданию *Gesammelte Werke in zwölf Bänden* [Berlin, Weimar, 1955].

Елизавета Всеволодовна Соколова
Переводчица с немецкого, кандидат филологических наук.

В ее переводе в *ИЛ* напечатаны стихи австрийского поэта К. Любомирского [1995, № 8], немецких поэтесс У. Хан [1994, № 2 и 1997, № 7] и И. Тильш [1996, № 8], швейцарских поэтесс Э. Буркарт [1998, № 9] и И. Ракузы [2002, № 9], австрийской поэтессы Ф. Майрёкер [2003, № 2], эссе Д. Грюнбайна *Галилей измеряет Дантов ад* [1998, № 1], рассказы Ю. Герман [2000, № 11].

Лазарь Ильич Лазарев
[р. 1934]. Литературный критик, литературовед, кандидат филологических наук.

Автор многих статей и книг, в т. ч.: *Поэзия военного поколения* [1966], *Это наша судьба* [1978, 1983], *Василь Быков. Очерков творчества* [1979], *Константин Симонов. Очерк творчества* [1985], *Шестой этаж, или Перебирая наши даты* [1998], *Память трудовой годины. Великая Отечественная война в русской литературе* [2000].

Переводчики

Нина Николаевна Федорова
Переводчица с немецкого, норвежского, нидерландского, английского и польского языков, лауреат Австрийской государственной премии в области литературного перевода [1994].

В ее переводе печатались произведения К. Вольф, Г. Гессе, Ф. Дюрренматта, А. Зегерс, К. Рансмайра, П. Низона, Й. Рота, А. Штифтера, рассказы М. Л. Кашниц и З. Ленца, драмы Р. Музиля и др.

Евгений Николаевич Колесов
[р. 1951]. Поэт, переводчик с немецкого.

В его переводе издан роман М. Шпербера *Слеза в океане* [1991]. В *ИЛ* в его переводах выходили *Письма в Древний Китай* Г. Розендорфера [1993, № 1], стихи А. Густас [1996, № 2], повесть У. Видмера *Рай забвения* [1998, № 9], рассказы М. Сутера [2001, № 10], В. Хильдесхаймера [2002, № 4].

Галина Михайловна Косарик
Переводчица с немецкого.

В ее переводе печатались произведения немецких, швейцарских и австрийских авторов Г. Кунерта, Ф. К. Крёца, П. Хэртлинга, Э. Кестнера, И. В. Гёте, Х. И. Шендлиха, Г. Гессе, Ф. Глаузера, Ф. Дюрренматта, А. Мушга, М. Сутера, Г. Вольфгрубера, М. Шпербера, Г. Эрнста, П. Хандке и др.

Серафима Евгеньевна Шлапоберская
Переводчик с немецкого и французского языков, кавалер "Почетного креста за заслуги в области науки и искусства 1-го класса" [Австрия].

В ее переводе изданы романы Х. фон Додерера, Б. Фришмут, Г. Гессе, Ф. Мориака, рассказы и повести Ф. Кафки, Р. Вальзера, Ф. Фюмана, И. Бахман, Э. Кестнера, сказки В. Гауфа, письма Г. Флобера и др.
В *ИЛ* были опубликованы ее переводы романа *Склеп капуцинов* [2002, № 6], повести *Легенда о святом пропойце* Й. Рота [1996, № 1], рассказов И. Бахман [1996, № 9].

Михаил Львович Рудницкий
[р. 1945]. Литературный критик и переводчик с немецкого, кандидат филологических наук. Лауреат премии *Инолит* [1996] и премии им. Жуковского [2002].

Автор книги *Перед лицом правды* [1987]. В его переводах издавались романы и повести *Короткое письмо к долгому прощанию* П. Хандке, *Искра жизни* Э. М. Ремарка, *И больше нечего желать* А. Мушга и др. В *ИЛ* напечатаны его переводы *Под конвоем заботы* Г. Бёлля [1988, № 11, 12], *Другой процесс* Э. Канетти [1993, № 7], *Медея. Голоса* К. Вольф [1996, № 1], *Собачьи годы* Г. Грасса [1996, № 57], *Земля обетованная* Э. М. Ремарка [2000, № 3], *Завет* Г. Бёлля [2001, № 1], *Вилленброк* К. Хайна [2001, № 7, 8], *Писем Ф. Кафки Фелиции Бауэр* [2003, № 2] и др.

Сергей Михайлович Морейно
[р. 1964]. Поэт-переводчик с немецкого и польского языков.

В его переводе с немецкого печатались стихи поэтов П. Целана, Г. Бенна, Г. Айха, К. Кролова [*ИЛ*, 1993, № 8], с польского — Ч. Милоша и др.

Галина Евгеньевна Окулова
Аспирантка кафедры зарубежной литературы Литературного

В ее переводе издавались рассказы Й. фон Эйхендорфа и Ф. Рюккерта в сборнике *Хоровая музыка немецкой романтики* [1999], рассказ В. Кирстен *Качели* в сборнике *Дни немецкой культуры в Москве. 1999* [2000].

института им. А. М. Горького, переводчик с немецкого и английского языков.

Нина Сергеевна Павлова
Литературовед, критик.

Автор книг *Фридрих Дюрренматт* [1967], *Технология немецкого романа. 1900—1945* [1982], *Швейцарские варианты* [Совместно с В. Седельником, 1990], составитель хрестоматии *Альпы и свобода. Швейцарские писатели о литературе своей страны* [1992] и др., а также автор статей по немецкой, австрийской и швейцарской литературам.

Татьяна Александровна Баскакова
Переводчица с немецкого, французского и итальянского языков.

В ее переводе изданы книги А. Роке *Брейгель, или Мастерская сновидений*, И. Фрэн *Клеопатра, или Неподражаемая*, О. Ролена *Пейзажи детства*, Р. Сафрански *Хайдеггер. Германский мастер и его время*, романы К. Крахта *Faserland* и *1979*, А. Шмидта *Каменное сердце*; в *ИЛ* рассказы А. Шмидта [1999, № 7] и И. фон Кизерицки [2002, № 5], повесть Б. Бернхарда *Племянник Витгенштейна* [2003, № 2], роман Ф. Йегги *Пролетарка* [2003, № 3].

Софья Львовна Фридлянд
Переводчица с немецкого и скандинавских языков. Лауреат премии им. Жуковского [1998].

В ее переводе издавались романы, рассказы и пьесы К. Гамсуна, С. Цвейга, В. Кёппена, К. Вольф, М. Вальзера, А. Стриндберга, И. Бахман. В *ИЛ* в ее переводе были напечатаны произведения Г. Бёлля, М. В. Шульца, Э. Штриттматтера, Ф. Дюрренмата, Г. Грасса, Г. де Бройна и др.

Соломон Константинович Апт
[р. 1921]. Литературовед, переводчик. Лауреат премии им. Жуковского [2000], кавалер "Почетного креста за заслуги в области науки и искусства 1-го класса" [Австрия].

Автор книг *Томас Манн* [1972, в серии ЖЗЛ], *Над страницами Томаса Манна* [1980]. В его переводах издавались трагедии Эсхила, романы *Иосиф и его братья* Томаса Манна, *Степной волк* [*ИЛ*, 1977, № 4, 5] и *Игра в бисер* Г. Гессе, *Человек без свойств* и *Душевные смуты воспитанника Терлеса* М. Музиля [*ИЛ*, 1992, № 4], пьесы Б. Брехта и др.

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❑ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❑ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❑ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❑ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В формлении обложки использован фрагмент картины немецкого художника Генриха Хёрле [1895–1936] *Рабочий* [1930].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Расимя Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции, в Санкт-Петербурге — в магазине издательства "Азбука" — ул. Решетникова, д. 15, тел. (812) 327-04-56

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.8.2003
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 5186.
Тираж 9000 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой "Красный пролетарий", 103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.

Уважаемые читатели!

Напоминаем вам, что началась подписная кампания на 2004 год. Подписной индекс “Иностранной литературы” – 70394 в зеленом объединенном каталоге “Подписка-2004. Пресса России”. Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи.
Стоимость подписки на один месяц – 95 рублей плюс доставка.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию, могут оформить льготную подписку по адресу: Пятницкая улица, 41 (м. Третьяковская или м. Новокузнецкая).

Помимо этого в редакции можно приобрести отдельные номера “Иностранной литературы”. Справки по телефону: 953-51-47.

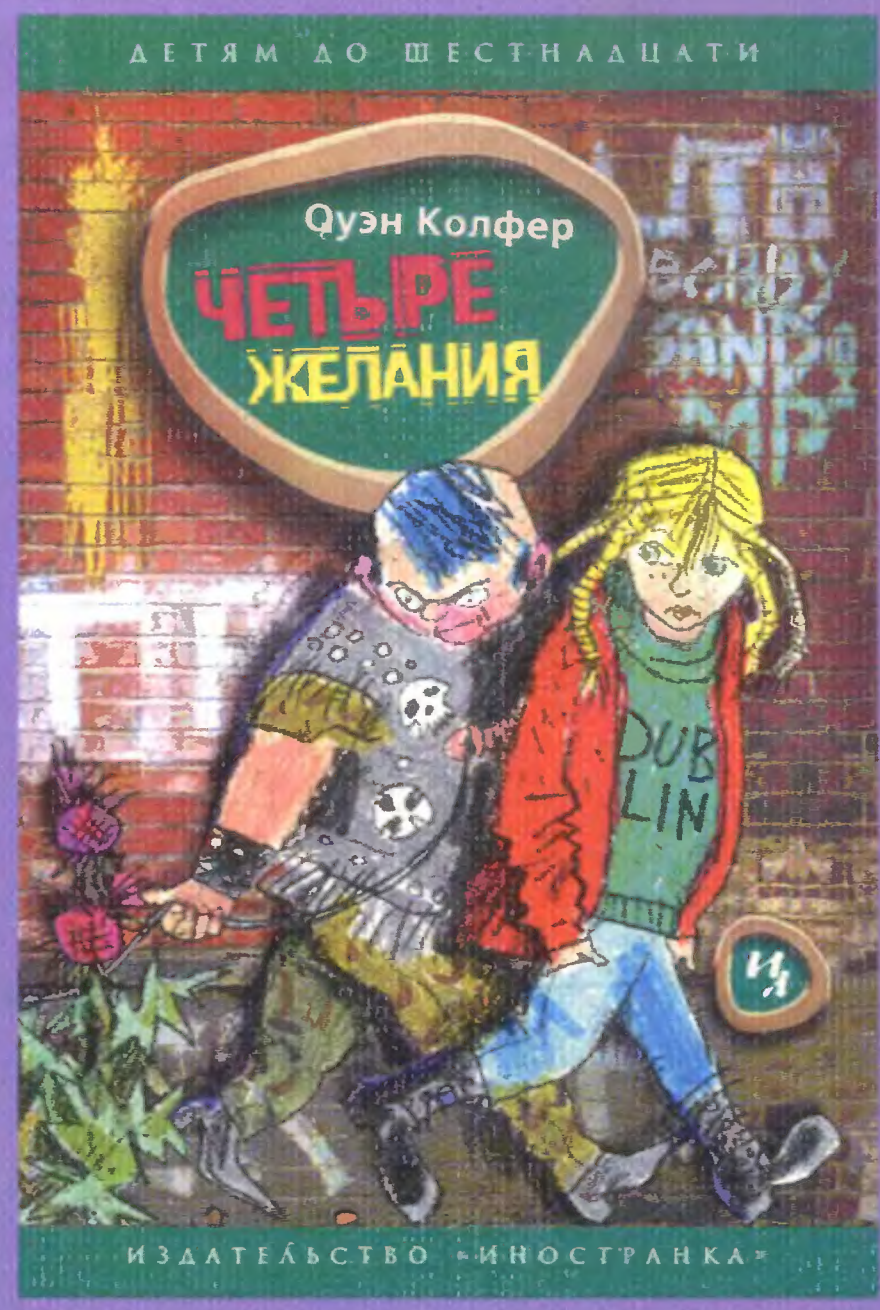
Редакция журнала заранее благодарит вас за своевременное продление подписки.

---

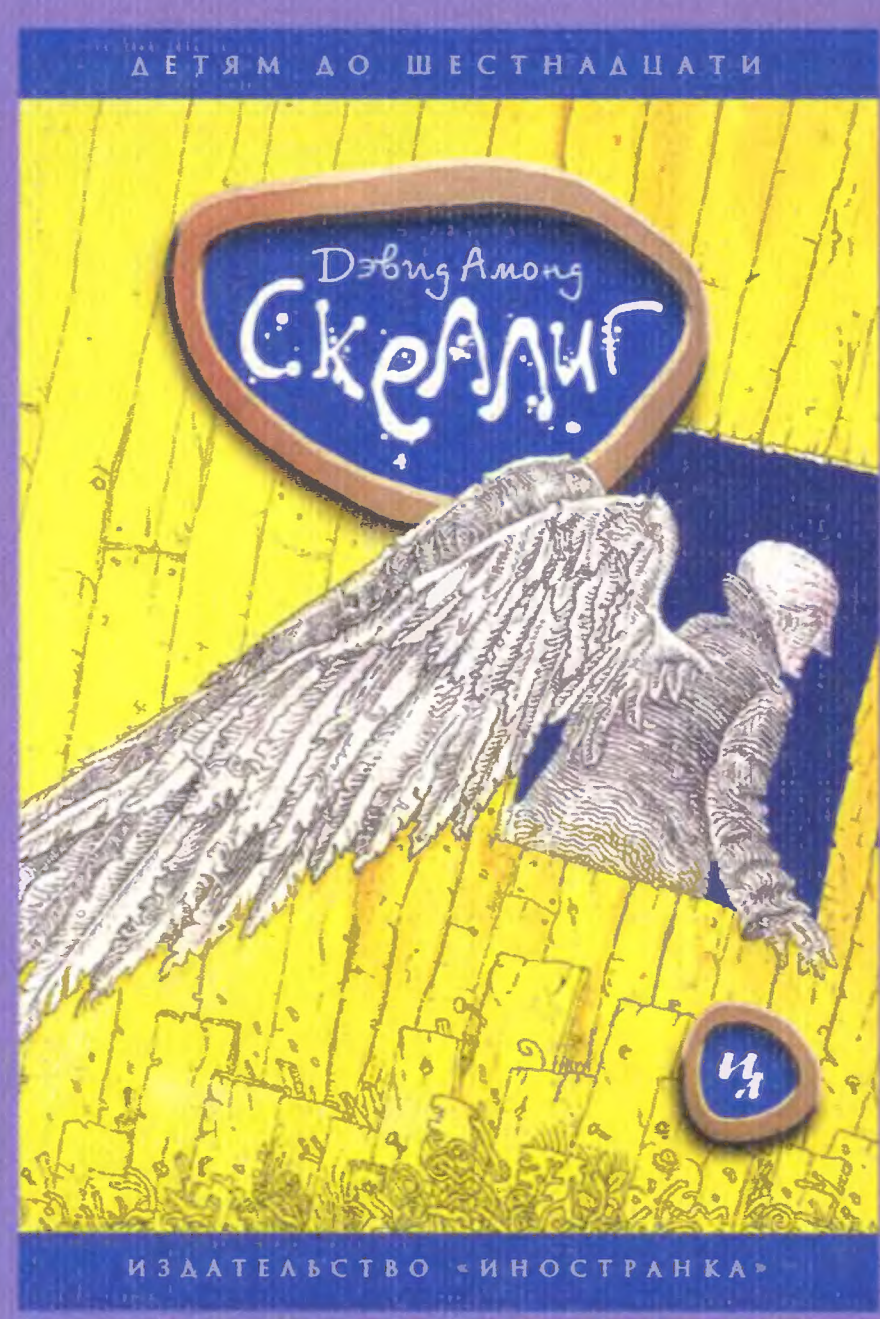
[10] 2003

РОМАН ФРАНЦУЗСКОГО ПИСАТЕЛЯ ВЕНСЕНА РАВАЛЕКА “НОСТАЛЬГИЯ ПО ЧЕРНОЙ МАГИИ” / ПОЭМА ИОАННА ПАВЛА II “РИМСКИЙ ТРИПТИХ” / ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА ЕЖИ ПИЛЬХА “ПЕСНИ ПЬЮЩИХ” / СТИХИ ПОЭТОВ ЯПОНИИ / РОМАН ЛУИ-ПОЛЯ БООНА “МЕНУЭТ” / АРГЕНТИНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ МАНУЭЛЬ ПУИГ В РУБРИКЕ “ПОРТРЕТ В ЗЕРКАЛАХ”

«ДЕТЯМ ДО ШЕСТНАДЦАТИ»



ЕСЛИ ЧИТАТЬ, ТО ЛУЧШЕЕ!



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИНОСТРАНКА»

По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru
или по телефону в Москве (095) 289 0284

ИНДЕКС 70394
ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2003, №9, 1-288